ISSN 0130 – 6545

11. 1984

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Караван

Цветные иллюстрации номера — работы монгольского художника Нямосорына Цултема

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

11 ноябрь 1984

Содержание

Из монгольской поэзии

БЭГЗИЙН ЯВУУХУЛАН. МИШИГИЙН ЦЭДЭНДОРЖ. ДОЖООГИЙН ЦЭДЭВ *(Переводы с монгольского Владимира Цыбина, Геннадия Ярославцева, Людмилы Букиной. Вступление К. Яцковской)* 3

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР — Арфа и тень *(Роман. Перевод с испанского Инны Тыняновой. Послесловие Юрия Дашкевича)* 11

ЭНЦО РУССО — Логово горностаев *(Роман. Окончание. Перевод с итальянского А. Богемской и Л. Вершинина)* 95

Критика

Ю. БОГДАНОВ — Энергия исторической памяти *(К сорокалетней годовщине Словацкого национального восстания)* 184

Письма из-за рубежа

УИЛЬЯМ КУПЕР — Два направления в современном английском романе 192

Культура и современность

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ — «Сколь ты немилосердна, о сладкая Испания!» *(Перевод с испанского и вступление Хуана Кобо)* 195

Публицистика

ЗДЕНЕК ГОРЖЕНИ — «...Все это нужно для революции» *(Как Россия стала второй родиной бравого солдата Швейка. Перевод с чешского Елены Галенкиной)* 200

Ю. КАГРАМАНОВ — О носорожьих играх и немного о текущей политике 208

Документальная проза

ПАТРИК Д. СМИТ — В поисках русского медведя *(Фрагменты книги. Перевод с английского Ю. С. Родман. Вступление Г. Злобина)* 214

Советская литература за рубежом 226, 234

Антирубрика

А. КОППАРД — Селезень *(Перевод с английского Дмитрия Аграчева)* 227

Наши гости

М. ТАРАСОВА — Камен Калчев (Болгария) 230

К нашим иллюстрациям

Б. АНДРЕЕВ, Е. ЧЕРНЯЕВ — Ровесник нового века 233

Среди книг

Русская и советская литература в зарубежном мире

Издано в СССР

Л. ТАРТАКОВСКАЯ — Духовная необходимость *(А. И. Мамонов. Пушкин в Японии)* ✦ Н. ЖЕГАЛОВ — Повседневное и вечное *(Аднан Салим. Тургенев — художник, мыслитель)* 235

Издано за рубежом

АЛЬБЕРТ КОВАЧ — Достоевский — при свете дня *(Валериу Кристя. Словарь персонажей Достоевского)* ✦ ГЭ БАОЦЮАНЬ — На благо нашей дружбы ✦ ЭЛЬЧИН МЕХТИЕВ — Живой интерес *(А. Мюмтаз Идил. Действительность и роман. Советская проза)* ✦ РОБЕР МЕРЛЬ — Три гения русской литературы ✦ АННИ ГАРРИК — Источник познания 238

Из месяца в месяц 246

Авторы этого номера 255

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы монгольского художника НЯМОСОРЫНА ЦУЛТЭМА «Призыв», «Тихий вечер».

© «Иностранная литература», 1984

Из монгольской поэзии

В конце ноября исполняется 60 лет со дня провозглашения Монголии Народной Республикой. Эту юбилейную дату монгольский народ отмечает славными успехами в созидании новой жизни, в развитии культуры, национальной литературы и искусства.

Читатели журнала не раз имели возможность для встреч с современной литературой Народной Монголии — поэзией и прозой, литературно-художественной критикой и публицистикой — книжной графикой, работами монгольских художников. На страницах журнала печатались произведения монгольских писателей-классиков Д. Нацагдоржа, Ц. Дамдинсурэна, таких крупных художников слова, как Ч. Лодойдамба, Ч. Лхамсурэн, Д. Сэнгээ, Л. Тудэв, С. Удвал, Д. Цэдэв, М. Цэдэндорж, Ч. Чимид, С. Эрдэнэ, Б. Явуухулан. В журнале же состоялось немало творческих дебютов талантливой писательской молодежи Монголии.

В этой подборке читатель встретит знакомые уже имена известных монгольских поэтов. Стихи Б. Явуухулана, М. Цэдэндоржа, Д. Цэдэва являют вновь самобытность и жизнеутверждающую силу монгольской поэзии.

Почти четверть века разделяют две поэтические книги Б. Явуухулана, вышедшие на русском языке,— «Лирика» и «Полдень». Последний сборник поэт успел прочитать буквально за несколько дней до скоропостижной кончины. Новая книга лирических стихов в переводах советских поэтов, его друзей, доставила Явуухулану радость; прекрасно владея русским, он понимал всю трудность переложения в иноязычные стихи монгольской поэзии, с ее совершенно иной организацией текста... Еще со студенческих лет, а они прошли в стенах Литературного института имени А. М. Горького, русская поэзия была для Явуухулана школой лирики. Его привлекали также литературы Востока и Средиземноморья, поэтика древних греков. Интерес к восточной словесности реализовался в переводах из японской поэзии XVII в. Монгольского поэта увлек жанр хайку. Позже он сам создал цикл стихотворений, близких хайку.

В седой древности, в фольклорной стихии кроются истоки лаконизма и выразительности малых форм современной поэзии Монголии. Именно этими жанрами мы представляем в подборке М. Цэдэндоржа, обращавшегося к ним на протяжении всей своей жизни. Талант Цэдэндоржа сверкал разными гранями. Его начитанность в мировой классике, тонкое чувство образного слова вызывают восхищение и позволяют понять, как успевал он писать, переводить, распознавать таланты начинающих поэтов, помогать, поддерживать советом, дружеским участием. Дружба для Цэдэндоржа была святым понятием. Больше десяти лет он работал над «Антологией советской поэзии». Составитель, переводчик, автор эссе, М. Цэдэндорж не только знакомил монгольских читателей со стихотворениями советских поэтов, но и рассказывал, чем ему дорога и близка советская поэзия. Второй том «Антологии» вышел из печати в Улан-Баторе летом этого года. Для Цэдэндоржа уже посмертно.

В Монголии нет поэта, который не воспевал бы в своих стихах землю, где он родился. Эта традиция идет издревле. Она питала еще старинную монгольскую лирику, дошедшую до нас в народных песнях. Глубокое знание поэзии — народной и классической,— собственный поэтический дар, работа над художественными переводами, литературоведческие исследования Д. Цэдэва привели к тому новому сплаву традиционного и новаторского, который определяет его творчество последних лет. Его поэтические произведения получили широкое признание, одно из свидетельств тому и стихотворения Д. Цэдэва, положенные на музыку и полюбившиеся народу. Поэма-раздумье «Ритм сердца», с фрагментами которой мы знакомим читателя, написана Д. Цэдэвом в самом конце прошлого, 1983 года.

К. ЯЦКОВСКАЯ

Халхин-Гол

Вижу юрту отцовскую, белую,
Степь свою вспоминаю восточную —
Красоту ее светлую, смелую
И любовь материнскую прочную.

Легендарною саблей булатною
Халхин-Гол голубеет в степи моей,
И овеяно славою ратною
Пламя вечное, неугасимое.

Степь моя, колыбель моя теплая!
Ты впитала баюканье нежное.
Пряно пахнет трава твоя блеклая,
Ветер гладит равнины безбрежные.

Земли эти, горячие, знойные,
Халхин-Гол рассекает медлительный.
Схожи воды речные, спокойные
С молоком материнским, живительным.

Степь восточная вдаль растекается,
Будто песня протяжная, чистая...
Долгим эхом в душе откликается
Дымка летняя, мгла золотистая.

Степь прохладой овеяна ласковой...
Голубою, прозрачной, глубокою
Опоясана речкой халхасскою,
Вечно помнящей битву жестокую.

Не прискачет к тебе жеребенок кулана...

Не прискачет к тебе
Жеребенок кулана,
Чтоб свободу сменять
На седло.
Не объявится лето
В разгаре бурана,
Чтоб покой тебе дать
И тепло.
Плоскогорьем пологим
Не станет вершина,
Чтобы ты
Одолеть ее смог.

Каждый встречный не скажет:
«Красивый мужчина!..»
И к ногам
Не подступит порог.
Зная эту житейскую
Мудрость простую,
Я тебя не пущу никуда —
Я любовь нашу, нежность
(И ревность пустую!)
В руки долгих разлук
Не отдам!

Перевод ВЛАДИМИРА ЦЫБИНА

Четыре времени года

(Подражания хайку)

1. ВЕСНА

Там, где были загон и юрта,—
Только галок чернеет стая.
Разгребают мерзлую землю.

2. ЛЕТО

Целый день верблюд неподвижно,
Изнуренный зноем, стоит.
Телом всем вспоминает зиму.

3. ОСЕНЬ

Над речной излучиной ива
Наклонилась. Водоворот.
Сиротливо кружатся листья.

4. ЗИМА

В защищенном от ветра месте
Спит зимовье. К нему спешит
Тропка, вытоптанная стадом.

Перевод ЛЮДМИЛЫ БУКИНОЙ

МИШИГИЙН ЦЭДЭНДОРЖ

Из книги «Камни родины»

■ ■ ■

Не так уж любы мне пути неторные,
Но ими лишь всю жизнь иду покорно я.
Однако почему?
Всесильный рок?
Иль в мире проторенных нет дорог?

■ ■ ■

На берегу океана живете? —
Океан у вас и в почете.
А кто у ручья живет,
Тот ручью воздает почет.

■ ■ ■

Мы давно с хитрецом знакомы...
Тогда у этой лисы
Мысли были черны, как усы.
Поседели усы и обвисли.
Побелели ли мысли?

■ ■ ■

Взираю на горы Алтая, на снежный венец —
И мне представляется мой благородный отец.
Когда на бескрайнюю степь я подолгу гляжу,
В ней мамы моей милосердной черты нахожу.

■ ■ ■

Песнею тогда гордиться можно,
Если правда в песне непреложна.
Слово в песне прямотою лечит,
Ложь в ней — только души нам калечит.

■ ■ ■

«Гляжу я,— осудил меня знакомый,—
Все бродишь ты,
Все не сидится дома.
Я, ежели не ошибаюсь,
Сегодня третий раз с тобой встречаюсь!»
Ответил я с улыбкой виноватой:
«Да, бродим мы с тобою многовато...»

■ ■ ■

Кроме смерти —
Я твердо уверен в том —
Ничто не откладывают на потом.
Если ждут впереди невзгоды,
Только твердостью их одолев,
Обретешь счастливые годы.

Сетующему на свою бесталанность

Воистину неисчерпаем
Священный океан — мы это знаем.
Из океана каждый зачерпнет
Лишь в тот сосуд, что на плечах несет.
А ты — ты прихватил с собой не то:
Ты опускаешь в воду решето.

■ ■ ■

Кверху взор обращаю — плывут облака,
Вниз глаза опускаю — струится река.
Слышу — мчатся стремительно ветры,
Покрывая степей километры...
Нет, не ведает отдохновенья
Мир нескончаемого движенья!

■ ■ ■

Палка бывает о двух концах,
А у медали две стороны.
О, как поговорки эти верны!
Будь, скажем, у палки один конец,
Уж был бы на свете я не жилец...

■ ■ ■

Гоби, Алтай и Хангай —
мое сердце, его биенье.
Тола, Орхон, Селенга —
моей крови круговращенье.
Солнце, звезды, луна —
глаза мои, мое зренье,
А соловьиная трель —
сердца весеннее пенье.

■ ■ ■

Если ныне самому себе
Ты сказал: «Поэт я настоящий!» —
Знай, вчера погасла навсегда
Искорка в душе твоей пропащей.

Перевод ГЕННАДИЯ ЯРОСЛАВЦЕВА

ДОЖООГИЙН ЦЭДЭВ

Ритм сердца,

или Размышления
в послеоперационной палате

(Из поэмы)

Советским врачам Н. Н. Малиновскому,
Б. Д. Савчуку, В. П. Тетерину, В. П. Фоминых,
Е. С. Лушиной посвящается.

Открыл глаза,
Как заново рожденный,
И осмотрелся медленно вокруг...
Сквозь потолок увидел
Свод бездонный —
И понял вдруг,
Что небом синим

Потолок и стены
Окрашены,
Свое родство храня
С голубизной небесного огня.
Увидел пол...
Услышал, как дышала
Натруженная глубина земли —
Сквозь доски плоть земная проступала,
Из почвы токи
Жизненные шли...
. . . . . .

«О-о-о!..» —
Младенец кричит из пеленок.
«О-о-о!..» —
Очнувшись, воскликнул и я.
Это значит,
Родился ребенок
И поднялся
На круг бытия.
Это значит,
Что жизнь повернулась
Вновь лицом,
И под взглядом ее
Сердце, вскрикнув от боли,
Проснулось —
Вновь рожденное
Сердце мое.

Жить!..
Жаждою сжата грудь.
Пить!..
Влаги живой глотнуть.
Путь...
Тянется без конца.
Пыль
Скрыла черты лица.
Зной...
Плавится сонный шар...
Злой
В теле бунтует жар.
Смерч...
Сухо хрустит песок.
Смерть?
Сделать еще бросок!

Я прошел
Перекресток вопросов
И ответов
Над белым столом.
Пролетел
Через ужас хаоса,
Будто птица
С подбитым крылом.

«Пульс?» —
Тонкая, слабая нить.
«Пить!»
«Ритм?» —
Невозможно почти уловить.
«Жить!..»
Кажется,
Будет жить!

. . . . . .

«Раз, два, три...»
В каждом ударе — век.
«Раз, два, три...»
Сердце берет разбег.
Солнечные часы
Движутся круглый год.
На волоске висит
Сердца неровный ход.
Скальпель. Рука врача.
Точных движений ритм.
Вновь запылал очаг —
В доме моем горит.
Снова течет родник,
Что от жары иссяк.
Снова поток шумит,
Снова рысит косяк.
Дождик струится вновь,
Птицы опять поют.
Снова пришла любовь,
Жизнь озарив мою.
Свадебным гулом степь
Снова оглашена.
Гор серебрится цепь.
В небе стоит луна.
Вижу и слышу я!
Сердце мое стучит!
В солнечные края
Каждый удар летит!

Сознание вернулось — вместе с ним
Ход времени стал снова ощутим:
«Авроры» залп гремит сквозь времена,
В нем поступь революции слышна.
История великая встает
Передо мной опять за годом год:
И пламенные речи Ильича
В душе, рожденной заново, звучат...
И Сухэ-Батор скачет на коне...
Передо мною — Халхин-Гол в огне...
Вот — в Эрдэнэте новый комбинат,
Что редкой медью славен и богат...
Все это стало вновь доступно мне
Лишь потому, что в гулкой тишине
Забилось сердце под рукой врача,—
Смерть отошла от моего плеча.

Метр за метром,
Ступень за ступенью
Мир возводит незыблемый мост,
Чтоб наука,
Искусство и гений
Шли вперед по нему
В полный рост.
В ритме сердца
И в ритме столетий
Вверх стальные ступени ведут.
Пусть по ним
Пробегут наши дети.
Этот мост —
Человеческий труд.
Вновь рожденный,
Стремлюсь к совпаденью
Ритма сердца
И ритма страны,
Чтобы к мосту
Добавить ступени
Песен,
Льющихся из глубины.

Перевод ЛЮДМИЛЫ БУКИНОЙ

■

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР

Арфа и тень

РОМАН

Перевод с испанского ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛИЛИИ

В арфе, когда она звучит, есть три вещи: искусство, рука и струна.
В человеке — тело, душа и тень.

«Золотая легенда»

I

Арфа

Хвалите Его на кимвалах громогласных!
Хвалите Его на арфе!..

Псалом 150
(Библия, испанское издание)

Остались позади восемьдесят семь светильников Алтаря Исповеди, чьи пламена колебались не раз этим утром в своих хрустальных чашах, согласно торжественным звукам мощных голосов папской капеллы, поющих Тедеум; тихо притворились монументальные двери, и в часовне Святого Таинства, которая тем, кто выходил из ослепительного света базилики, казалась погруженной в вечерний сумрак, папские носилки, передаваемые с плеч на руки, замерли на три пяди от пола. Опахальщики вставили стебла своих высоких вееров из перьев в рукоять, и началось медленное следование Его Святейшества через бесчисленные палаты — что еще отделяли его от личных апартаментов — под такт шага носителей, одетых в пурпур, которые подгибали колени, когда надлежало пройти через какую-нибудь дверь с низкой притолокой. По обе стороны длинного-предлинного пути, пролегающего меж стенами залов и галерей, скользили темные полотна маслом, лепные украшения, зачерненные временем, ковры потухших тонов, что показывали тому, кто взглянет на них с любопытством чужеземного гостя, мифологические аллегории, славные победы веры, молящиеся лики блаженных или сцены, изображающие назидательные жития святых. Немного усталый, Первосвященник забылся легкой дремотой, покуда сменялись, согласно чину и рангу, сановники свиты, приглашенные не следовать далее за грань того или иного порога, в соблюдение строжайшего порядка церемоний. Сперва, попарно, стали исчезать кардиналы в парадных мантиях, со своими угодливыми шлейфоносцами; затем епископы, облегчая голову от тяжести блестящих митр; за ними — каноники, капелланы, апостолические протонотарии, главы конгрегаций, прелаты из тайной камеры, офицеры охраны, монсеньор мажордом и монсеньор камерленг — до тех пор, пока, уже близ палат,

чьи окна выходят на двор Сан-Дамазо, роскошь золотого, фиолетового и гранатового, муары, шелка́ и кружево не уступили места более скромным одеяниям домашних прислужников, привратников и буссоланти — служителей при папских носилках. Наконец престол был спущен на пол возле скромного рабочего стола Его Святейшества и затем, уже лишенный священнейшей ноши, снова поднят носильщиками, удалившимися с многократными благоговейными поклонами. Сидя теперь в кресле, придающем отдохновенное чувство устойчивости, Папа спросил освежающего оршада у сестры Крешенсии, ведающей его яствами, и, отослав ее взмахом руки, относящимся также и к его камердинерам, услыхал, как запиралась дверь — последняя дверь, отделяющая его от блестяще-мельтешащего мира князей церкви, придворных прелатов, иерархов и патриархов, чьи епископские посохи и священнические облачения мешались, средь облаков ладана и усердия кадильщиков, с мундирами камеристов, рыцарей плаща и шпаги, дворянской гвардии и швейцарской гвардии — эта последняя такая роскошная в своих серебряных кирасах, касках кондотьерского толка, при старинных алебардах и в платье, исполосованном оранжевым и бирюзовым — цвета, предписанные ей раз и навсегда кистью Микеланджело, столь связанного в своем творении и памяти людей с пышным бытием базилик.

Было жарко. Поскольку окна во двор Сан-Дамазо были заложены — кроме его окна, кстати,— чтоб не дать возможности нескромным взглядам шарить по приватным папским покоям, тишина здесь царила столь не ведающая городской суеты, стука колес или шума ремесел, что, когда сюда долетало эхо какого-нибудь далекого колокола, он звенел как музыка памяти — о Риме, таком отдаленном, словно всплыл из иного мира. Викарий Господа умел различать отдельные голоса бронзы по звукам, какие приносил ему ветер. Этот, легкий, с частым перезвоном, принадлежал барочному храму Иль-Джезу; тот, величественный и неторопливый, более близкий,— базилике Санта-Мария-Маджоре; а еще один, теплый и гулкий,— церкви Санта-Мария-сопра-Минерва, где в глубине алых мраморов рисовалось человеческое лицо Екатерины Сиенской, страстной и безудержной доминиканки, пламенной защитницы его предтечи Урбана VI, вспыльчивого героя Великого Раскола, кого чтил за воинственность тот, кто пять лет назад опубликовал пресловутый «Syllabus» [1], под которым не фигурировала его подпись, хотя целый свет знал, что текст был питаем его обращениями-аллокуциями, проповедями, энцикликами и пастырскими письмами, где осуждалась *зараза* тех заблуждений, какие, в переводе на новые времена, означают социализм и коммунизм, так жестко бичуемые его строгой и четкой латинской прозой наравне с тайными обществами (следует понимать: все франкмасоны), библейскими обществами (предупреждение Соединенным Штатам Америки) и вообще многими клерико-либеральными группами, которые так настойчиво давали о себе знать в те времена. Скандал, развязанный «Силлабусом», принял такой размах, что сам Наполеон III, кого трудно заподозрить в либерализме, сделал невозможное, чтоб воспрепятствовать его распространению во Франции, где половина клира, изумленная подобной непримиримостью, осуждала подготовительную энциклику «Quanta Cura» — «Столь великое попечение» как чрезмерно нетерпимую и крайнюю... о, как бледна она в своем осуждении любого религиозного либерализма, если ее сравнить с почти библейскими хулами Папы Урбана, так свирепо поддержанными Сиенской доминиканкой, чей образ во второй раз приводил ему нынче на память перезвон церкви Санта-Мария-сопра-Минерва! «Силлабус» созревал медлительно в его мозгу, с тех пор как в своих странствиях по американским землям он мог убедиться в плодовитой мощи неко-

[1] Послание папы Пия IX 1864 года, осуждающее «современную ересь».

торых философских и политических идей, для коих не существовало границ ни морских, ни горных. Он видел это в Буэнос-Айресе и видел по ту сторону Андийских Кордильер во время того путешествия, уже далекого, такого богатого полезными уроками, от которого, однако, с мягкой и скорбной настойчивостью его отговаривала праведница-мать, графиня Антония Каттарина Солацци, примерная жена того надменного, прямого и строгого отца, графа Джироламо Мастаи-Ферретти, кто хиленькому и болезненному мальчику, каким был тогда он сам, виделся и сейчас еще — величественный и суровый, шествующий в парадном платье хоругвеносца под завистливыми взглядами жителей его родного города Сенигаллии... В покое, обретенном наконец в этот день, начавшийся помпой и блеском церемоний, прозрачное имя Сенигаллии гармонически слилось с далеким-далеким хором римских колокольчиков для духовной паствы, принеся воспоминание о хороводах, какие под колокольный звон водили, взявшись за руки, во внутреннем дворике обширного родового поместья его старшие сестры с такими красивыми именами — Мария Вирджиния, Мария Изабелла, Мария Текла, Мария Олимпия, Каттарина Джудитта, все они со свежими и веселыми голосами, чей звук, хранимый памятью сердца, воскресил внезапно те, другие голоса, тоже детские, слитые в наивном вильянсико, слышанном в начале грозового рождества в таком далеком, таком далеком и, однако, памятном городе Сантьяго-де-Чили:

В эту ночь у нас сочельник,
В эту ночь никто не спит,
У Пречистой нынче роды,
Знать, к полуночи родит.

Но внезапно мощный голос церкви Санта-Мария-сопра-Минерва оторвал его от воспоминаний, возможно слишком легкомысленных в такой день, когда, немного отдохнув от долгой церемонии, зажегшей солнца Кафедры Святого Петра, ему предстояло отважиться принять исключительное решение. Меж дароносицей ювелирной работы, предположительно Бенвенуто Челлини, и кадильницей из горного хрусталя, очень старинной по своей фактуре, чья форма напоминала *Иктус* (греческую монограмму Христа в форме рыбы) древних христиан, находилось собрание бумаг — знаменитое дело! — ожидавшее еще с прошлого года. Никто не проявил нескромного намерения торопить его, но было очевидно, что высокочтимый кардинал Бордоский, митрополит епархии Антильских островов, его преосвященство кардинал-архиепископ Бургоса, высокоименитый архиепископ Мексики, так же как и шестьсот с чем-то епископов, поставивших свои подписи под документом, должны были чувствовать настойчивое желание познакомиться с Его Решением. Он открыл папку, где лежали широкие листы, покрытые сургучными печатями, связанные лентами алого атласа, чтоб не распадались, и в который раз принялся читать предложение о ходатайстве, направляемое Святой Конгрегации Обрядов, которое начиналось благозвучной и тщательной латынью: „Post hominum salutem, ab Incarnato Dei Verbo, Domino Nostro Jesu Christo, feliciter instauratam, nullum profecto eventum extitit aut praeclarius, aut utilius incredibili ausu Januensis nautae Christophori Columbi, qui omnium primus inexplorata horrentiaque Oceani aequora pertransiens, ignotum Mundum detexit, et ita porro terrarum mariumque tractus Evangelicae fidei propagationi duplicavit". ...Да, правильно говорит здесь примас из Бордо: открытие Нового Света Колумбом было величайшим событием, какое узрело человечество с тех пор, как в мире установилась христианская вера, и благодаря Несравненному Подвигу, *удвоилось пространство ведомых нам земель и морей, куда нести слово Евангелия*... И вместе с почтительным хо-

датайством на отдельном листе было краткое послание, обращенное к Святой Конгрегации Обрядов, каковая, получив поручительство папской подписи, немедленно даст ход запутанному делу о причтении к лику святых Великого Адмирала католических королей Фердинанда и Изабеллы. Его Святейшество взял перо, но рука стала кружить над страницей, словно в сомнении разбирая еще и еще раз скрытые препятствия каждого слова. Так случалось всякий раз, когда он чувствовал особый порыв начертать свою решающую подпись под этим документом. И причиною тому была одна фраза из одного параграфа этого латинского текста, намеренно подчеркнутая, которая всегда удерживала его руку: „. . .pro introductione illius causae exceptionali ordine". Эта необходимость внести ходатайство *«особым путем»* заставляла колебаться в который раз Римского Первосвященника. Было очевидно, что беатификация, причтение к лику блаженных, предварительный шаг к канонизации — причтению к лику святых, Открывателя Америки составила бы дело беспрецедентное в анналах Ватикана, потому что в деле его отсутствовали некоторые биографические гарантии, которые по канону являлись необходимыми для венчанья ореолом. Это обстоятельство, подтвержденное учеными и беспристрастными болландистами — сочинителями житий святых, приглашенными к высказыванию, будет использовано, вне всякого сомнения, Адвокатом Дьявола, хитроумным и грозным Прокурором Адских Пределов... В 1851-м, когда он, Пий IX, пройдя через архиепископство в Эсполето и епископство в Имоле, уже удостоенный кардинальской шапочки, занимал еще не более пяти лет Престол святого Петра, он заказал французскому историку графу Розелли де Лоргу «Историю Христофора Колумба», множество раз изученную и продуманную им, которая представлялась ему определяющей ценности для решения о канонизации Открывателя Нового Света. Страстный почитатель своего героя, католический историк превозносил добродетели, возвеличивающие фигуру прославленного генуэзского моряка, выделяя его как заслуживающего выдающегося места в списке святых и даже в церквах — сотне, тысяче церквей...— где будут почитать его образ (образ весьма неопределенный до сих пор, поскольку портретов его не имелось — и со сколькими святыми случалось то же самое? — но который скоро обретет телесность и характер благодаря указующим исследованиям чьей-нибудь вдохновенной кисти, которая придаст персонажу силу и выразительность, каких Бронзино, портретисту Цезаря Борджиа, удалось достигнуть, прославив личность знаменитого моряка Андреа Дориа в картине маслом несравненной красоты). Подобная возможность заворожила молодого каноника Мастаи со времени его возвращения из Америки, когда он был еще очень далек от предвиденья того, что в один прекрасный день будет возведен на престол базилики святого Петра. Создать святого из Христофора Колумба было необходимостью по многим мотивам, как на почве веры, так и на почве самой политики — и стало очевидно со времени публикации «Силлабуса», что он, Пий IX, не презирал политической деятельности, той политической деятельности, что не могла вдохновляться ничем иным, кроме политики божьей, хорошо известной тому, кто столь тщательно изучал святого Августина. Подписать Декрет, что лежал сейчас перед ним, было бы жестом, что останется одним из важнейших решений его понтификата... Он снова обмакнул перо в чернильницу, и, однако, перо снова замерло в воздухе. Он усумнился еще раз в этот летний вечер, когда колокола Рима готовились настроить свои звоны на молитву «Ангелус Домини».

Уже в пору детства Мастаи перестала Сенигаллия быть шумным городом ярмарок, в порту которого приставали корабли, отплываю-

щие ото всех берегов средиземноморских и азиатских, теперь поглощенные процветающим, надменным Триестом, своим богатством жаждущим задушить ущербного соседа, так возвышаемого некогда греческими мореплавателями. К тому же времена стояли суровые: своей опустошительной итальянской кампанией Бонапарт все переворошил, заняв Феррару и Болонью, овладев Романьей и Анконой, унижая церковь, грабя Папские области, бросая в тюрьмы кардиналов, вторгшись в самый Рим, доведя свою наглость до ареста Папы и похищения столь почитаемых скульптур, гордости христианских монастырей, чтоб выставить их в Париже — верх надругательства! — среди Озирисов и Анубисов, соколов и крокодилов, в музее египетских древностей... Времена стояли дурные. И соответственно, родовое поместье графов Мастаи-Ферретти пришло в упадок. Слабо скрывали фамильные портреты, выцветшие гобелены, гравюры, местами засиженные мухами, старинные буфеты и полинялые шторы все большую ветхость стен, которые сырость, сочащаяся из щелей кровли, покрывала уродливыми бурыми пятнами, упорно расползавшимися все шире с течением дней. Стали уже скрипеть старые деревянные полы, чудо краснодеревщеского искусства, отбрасывая куски мозаики, чей узор расстроила непогода. Каждую неделю лопались еще две-три струны в старинном фортепьяно с пожелтевшей клавиатурой, на котором Мария Вирджиния и Мария Олимпия все еще пытались играть, соло или в четыре руки, сонатины Муцио Клементи, пьесы отца Мартини или «Ноктюрны» — чудесное новшество — англичанина Филда, притворяясь, что не замечают немоты некоторых клавиш, которые, отсутствуя в инструменте, вот уже несколько месяцев как перестали отвечать на прикосновение. Парадное убранство хоругвеносца было единственным, что еще придавало важности знатной особе графа Мастаи-Ферретти, ибо, когда он возвращался с какой-нибудь церемонии, где главенствовал, к своему очагу, где в котле осталось мало жиру, то облачался в сюртук, залатанный и перелатанный двумя преданными служанками, какие еще оставались в доме, получая жалованье, которое им платили раз в два года. А в остальном графиня весело подставляла лицо противным ветрам — с достойным соблюдением внешних приличий, всегда ей свойственным, блюдя траур по воображаемым родственникам, умершим в городах всегда весьма отдаленных, чтоб оправдать бессменное ношение двух-трех черных платьев, давно вышедших из моды, и чтоб как можно меньше показываться на люди, ходила на рассвете в церковь ордена сервитов в сопровождении своего младшего сына Джованни Мариа, чтоб помолиться Скорбящей, прося ее облегчить эти объятые печалью области севера в их испытаниях и бедах. Короче, мы влачили жизнь надменной нищеты средь рушащихся замков, какая была свойственна стольким итальянским семьям в ту эпоху. Жизнь надменной нищеты: гербы на воротах и нетопленные камины, мальтийский крест на груди и всегда голодный желудок, с чем юный Мастаи встретится еще, изучая кастильское наречие в испанских плутовских романах — чтение, вскоре оставленное как легковесное, дабы углубиться в утонченные вычуры арагонского иезуита Грасиана, прежде чем прийти к более питательным для его духа раздумьям и опытам «Духовных упражнений» святого Игнатия Лойолы, научившим его направлять мысль — или молитву — на заранее избранный образ, дабы избежать посредством «воображаемого беседования» непредвиденных побегов фантазии, вечной домашней юродивой, в сторону тем и мотивов, чуждых главнейшему нашему думанью.

Мир разворошился. Франкмасонство просачивалось во все углы. Прошло едва лишь сорок лет — а что такое сорок лет для течения Истории? — с тех пор, как умерли Вольтер и Руссо, учителя безбожия и распутства. И менее тридцати лет назад один истинно христианский король был гильотинирован, словно мимоходом, на виду у республи-

канской и богоотступной толпы, под бой барабанов, размалеванных тем же синим и красным, что и революционные кокарды... Неуверенный в своем будущем, после беспорядочных занятий, включавших теологию, гражданское право, испанский, французский и латынь, явно клонящуюся в сторону поэзии Вергилия, Горация и даже Овидия,— ничего, чем бы можно в те дни заработать на хлеб,— после регулярных появлений в высших кругах римского общества, где он был принят благодаря своей фамилии и где понятия не имели о том, что, зачастую без гроша в кармане, чтоб пойти поесть в трактир, юноша больше всего ценил на этих блестящих приемах — больше, чем красоту декольтированных дам, больше, чем балы, где появилась уже новомодная вольность — вальс, больше, чем концерты знаменитых музыкантов, даваемые в богатых особняках,— то мгновение, когда мажордом приглашал всех в столовую, куда при свете канделябров вплывут на серебряных подносах обильные яства, к каким влек его ненасытный голод. Но однажды, после одной любовной неурядицы, молодой Джованни Мариа поменял вино, подаваемое в хрустальных с золотом графинах, на воду монастырских колодцев и тонко приправленную дичь с придворных кухонь на горох, капусту и кукурузную кашицу монастырской трапезной. Он решил посвятить себя служению Церкви, вступив вскорости в третий орден святого Франциска. Получив сан священника, он сразу выделился своим рвением и красноречием своих проповедей. Но он знал, что путь его будет долог и труден, без надежды достигнуть высоких чинов в духовной иерархии, из-за замкнутого образа жизни семьи, недостатка связей и в особенности из-за мятежного круговорота эпохи, какая настала, в лоне христианства раздробленного, уязвимого, как никогда в истории, под бурным и почти всемирным натиском новых идей, теорий и доктрин, тяготеющих каждая по-своему к созданию опасных утопий, с тех пор как социальное равновесие прошлых дней — равновесие, не всегда удовлетворяющее, но все же равновесие — было взорвано опасным иконоборством Французской революции... И все было темнота, отрешение и покорство в его жизни, как вдруг произошло чудо: монсеньор Джованни Муци, архиепископ Филиппополя, что в Македонии, колыбели Александра Великого, назначенный Апостолическим делегаторием в Чили, настоятельно просил Мастаи содействовать ему в одной весьма тонкой миссии. Прелату ранее не приходилось видеть, чтоб вот так кого-то выбирали по рекомендации знакомого аббата. Но он считал, что молодой каноник может быть ему крайне полезен и своей общей культурой, и в особенности своим знанием испанского языка. И так будущий Папа перешел из обители, где занимал скромнейшую должность воспитателя сирот, в высокое звание посланника в Новый Свет — тот Новый Свет, которого одно имя отдавалось у него в ушах горячим ветром приключений. По тому самому, в согласии со своим длиннополым облачением, он чувствовал в себе призванье миссионера — призванье, внушенное, быть может, его знакомством с миссионерской деятельностью учеников святого Игнатия в Китае, на далеком Востоке, на Филиппинах и в Парагвае. И вот внезапно он сам оказывается в роли миссионера, но не наподобие тех иезуитов, каких зло высмеял Вольтер в своей широчайше известной повести, даже переведенной на испанский вероотступником аббатом Марченой, а с сознанием того, что времена переменились и что политические вопросы обретают все большее и большее значение в тот век, что сейчас начинается,— и он принялся тщательно изучать, собирая гору разных сведений, ту среду, где он должен будет действовать с тактом, рассудком и хитростью.

Для начала вот что казалось ему особенно любопытным: о посланнии апостолической миссии в Чили ходатайствовал перед Папой Пием VII не кто иной, как Бернардо О'Хиггинс, стоящий во главе

своего государства в звании Верховного Правителя. Он знал уже, как О'Хиггинс освободил Чили от испанского колониального господства, но ему было совершенно не ясно, почему О'Хиггинсу понадобилось просвещение Ватикана, чтоб реорганизовать чилийскую церковь. Рим в эти бурные и неустойчивые времена стал прибежищем и защитой интриганов всех мастей, заговорщиков и задир, замаскированных карбонариев, расстриженных священников, ренегатов и священников кающихся, бывших попов-вольтерианцев, вернувшихся на круги своя, шпионов и доносчиков, и — они сразу бросаются в глаза — перебежчиков из масонских лож, всегда готовых продать тайны франкмасонства за тридцать сребреников. Среди последних наткнулся Мастаи на Кадоша, экс-рыцаря ложи имени Лаутаро в Кадиксе, детища Великой американской ложи в Лондоне, основанной Франсиско де Мирандой, уже имеющей филиалы в Буэнос-Айресе, Мендосе и Сантьяго. А О'Хиггинс был большим другом — говорит доноситель — этого замечательного венесуэльца, учителя Симона Боливара, генерала Французской революции, странствия по свету и похождения которого составляют самую фантастичную приключенческую повесть, и даже говорят — «Огради меня, Боже, от греховных помыслов»,— думает Мастаи,— что он спал с императрицей русской Екатериной, ибо «поелику любовник ее Потемкин устал от излишнего пылу своей владычицы, то и пришло ему на ум, что красавец-креол с жаркою кровью может насытить неудержный аппетит русской, которая, хоть и порядком толстуха, вы меня понимаете, была ужасть как склонна к тому, чтоб ее...» — «Но довольно, довольно, довольно,— говорит Мастаи своему доносителю.— Поговорим о делах более серьезных, и я угощу вас еще одной бутылкой вина». Ренегат освежает глотку, расхваливая отвратительное пойло, какому только его вечная жажда может придать вкус, и продолжает свое повествование. На своем тайном жаргоне франкмасоны называли Испанию «Геркулесовы столбы». А масонская ложа в Кадиксе имела «Комиссию доверенных», которая занималась почти исключительно тем, чтоб мутить умы и провоцировать политическое брожение в испаноговорящем мире. И под эгидой этой комиссии, как известно, издал в Лондоне Миранда тетрадь под названием «Советы старого южноамериканца молодому патриоту, предлагаемые им по возвращении из Англии в свою страну», где встречались фразы, подобные следующей: «*Не доверяйте ни одному человеку, перешагнувшему рубеж сорокалетия, если вы не убеждены в его склонности к чтению. Молодость — это пора страстных и благородных чувств. Среди юношей вашего возраста вы скоро найдете многих, кто будет вас слушать и кого легко убедить*». («Сразу видно, что этот Миранда, подобно Грасиану, с опаской думая об *унижениях и ублажениях старости,* возлагает все надежды *на волшебные замки юности*»,— думает Мастаи.) Еще такое пишет знаменитый франкмасон: «*Было бы ошибкой думать, что всякий человек затем лишь, что у него тонзура на темени и он восседает в кресле каноника, есть некто нетерпимый, фанатик и ярый враг прав человека*». «Я уже лучше понимаю этого Бернардо О'Хиггинса»,— сказал Мастаи, заставив перебежчика из Кадикской ложи повторить этот абзац три раза. Становилось ясно: какими бы ни были его идеи, О'Хиггинс знал, что Испания мечтает восстановить в Америке авторитет своей уже сильно пошатнувшейся колониальной империи, отчаянно сражаясь за то, чтоб выиграть решающие битвы на западных пределах континента, прежде чем задушить в других местах путем настоящей второй реконкисты — и для этого она не пожалеет средств — недавно отвоеванные очаги независимости. И зная, что вера не может быть разом искоренена, как за одно утро бывает покончено с вице-королевским правительством или военным губернаторством, и что испаноамериканские церкви были до сих пор зависимы от испанского епископата,

без необходимости повиновения Риму, освободитель Чили хотел вырвать свои церкви из-под влияния бывшей метрополии — каждый испанский святоша мог стать завтра союзником возможных вторженцев,— поручая их высшему авторитету Ватикана, слабого как никогда в сфере политики и мало что способного предпринять в заокеанских землях, кроме того, что относилось к юрисдикции исключительно духовного порядка. Так нейтрализовался клир враждебный, консерваторский и реваншистский, который ставился тем не менее — на что не сможет пожаловаться! — под прямое охранение Викария Господа Нашего на этой Земле. Мастерский ход, который можно будет использовать во всех смыслах!.. Молодому Мастаи становился симпатичен теперь Бернардо О'Хиггинс. Ему уже не терпелось переплыть океан, невзирая на страхи его праведницы-матери графини, которая из своего облупленного жилища в Сенигаллии подговаривала его сослаться на слабое здоровье, чтоб быть освобожденным от изнуряющего путешествия по бурному морю с такими частыми кораблекрушениями — «настоящее море Христофора Колумба»,— думал каноник, тоскуя накануне великого путешествия по тишине домашнего очага и вспоминая с особой нежностью Марию Теклу, любимую свою сестру, которую застал как-то раз, когда родителей не было дома, поющей вполголоса, словно в мечтах (о, какой легкий, какой невинный грех!) французский романс отца Мартини, появившийся в одном из сборников великого францисканца, автора стольких ораторий и месс:

Любви наслаждение
длится мгновение.
Любви страдание
длится всю жизнь.

Невзирая на призывы к осторожности, к благоразумию, молодой каноник с жадным нетерпением ждал даты отплытия. И теперь еще больше, ибо все, казалось, ставило препоны на его пути: смерть Папы, этого Папы, так униженного дерзким корсиканцем, который заставил его санкционировать шутовскую церемонию своего коронования в имперской парадной одежде, с венцом, возложенным накануне торжественно на голову мартиникской мулатки; избрание Льва XII после нескончаемого конклава, длившегося двадцать шесть дней; интриги испанского консула, узнавшего через своих шпионов о цели апостолической миссии; противные ветры, интриги, нашепты, письма туда — письма обратно, ответы, которые заставляют себя долго ждать. Но наконец, наконец 5 октября 1823 года подымает якоря корабль «Элоиза» («Предпочитаю раннюю Элоизу Абеляра поздней Элоизе Руссо»,— думает Мастаи), чтоб отплыть в направлении Нового Света. Вместе с ним на борту делегаторий Джованни Муци, его личный секретарь дон Салустио, доминиканец Раймундо Арсе и архиепископ Сьенфуэгос, полномочный представитель Чили — недавно назначенный О'Хиггинсом — перед Папским Престолом.

Из Генуи они отплывали. Генуэзцем был тот, кто однажды предпринял неслыханное странствие, которое должно было дать человеку полное представление о мире, в каком он живет, открыв Копернику ворота на подступе к началу исследования Бесконечности. Путь в Америку, путь в Сантьяго, «Звездное Поле — Campos Stellae», в действительности путь к другим звездам: первый подступ человека к многообразию необъятностей звездных.

Слишком затянувшаяся, раздражающая порою остановка в Генуе оказалась переполненной открытиями для молодого каноника, ослепленного на каждом шагу блеском гордого города могущественных Дориа, с именем звонкой славы, полнящегося памятью Андреа, зна-

менитого адмирала, представленного в воспевающих изображеньях-аллегориях нагим по пояс, с курчавой бородой и символическим трезубцем в руке, как живой, возможный и явственный образ Посейдона. Долго в задумчивости стоял юноша перед домом Бранки Дориа, этого блистательнейшего убийцы родом из Генуи, кого Данте встретил в девятом кругу ада искупающим муками свой грех как душа, покуда, движимое бесом, оставленным им во плоти взамен себя, еще *«здравствует»* его *«земное тело»* [1]. Перед церковью святого Матфея жилище Ламбы Дориа, которое воздвиг Мартино Дориа, солидное, как знатный род его владельцев, противустояло шагу столетий, и все высились, прекрасные и горделивые, особняки Доменикаччо Дориа и дом Константино Дориа, в котором в конце концов поселился Андреа — все здесь, кажется, звались Дориа! — чудо-моряк, покрытый славой бесчисленных своих побед над Турком... И теперь, когда «Элоиза» входила в замутненные воды Ла-Платы, была еще в памяти у Мастаи величественная декоративность портового города, оставленного позади, в роскоши дворцов алых и дворцов белых, хрусталей и балюстрад, ростральных орнаментов и стройных колоколен. Причал в Монтевидео произвел на него, напротив, такое впечатление, будто он вдруг оказался в огромном хлеву, ибо там не было зданий ни примечательных, ни красивых, все было грубо сколочено, как в деревне, и лошади и рогатый скот обретали в каждодневной жизни значение, утерянное в Европе со времени меровингов. В Буэнос-Айресе вовсе не было порта, а лишь плохонькая гавань, откуда надо было добираться до города в повозке, запряженной лошадьми, сопровождаемой людьми верхом на лошадях, в зловонии лошадиного пота и перебивах лошадиного ржанья — назойливое присутствие лошади, какое будет преследовать путешественника, покуда он останется на континенте, на чью почву вступил первый раз. При свете фонарей, принесенных местными, был оказан прием апостолической миссии в городе, с давних пор не знающем епископа. Первое впечатление сложилось у Мастаи катастрофическое. Улицы, правда, были прямы, словно вытянуты по веревке, но сплошь покрыты грязью, размазанной, разбрызганной, утоптанной и топтаемой снова, месимой и опять разбрызгиваемой копытами множества лошадей, что по ним проходили, и колесами повозок, запряженных волами, погоняемыми палкой с железным наконечником. Попадались негры, много негров, занятых на посылках и в нехитрых ремеслах, или бывших бродячими торговцами, выкликалами крепкой капусты и свежей моркови под своими тентами на углу или еще слугами в богатых домах, кого сразу можно было отличить по приличному платью, составлявшему контраст с забрызганными кровью юбками негритянок, носящих потроха с бойни — этой бойни, играющей, по-видимому, столь значительную роль в жизни Буэнос-Айреса, что Мастаи невольно спрашивал себя, не окажется ли она — с этим культом Жаркого, Филея, Огузка, Грудинки или того, что некоторые, воспитанные на английский лад, называют Bife,— зданием, более важным для городской жизни, чем сам кафедральный собор или приходы церквей Сан-Николас, Ла-Консепсьон, Монтсеррат или Ла-Пьедад. Остро пахло кожевенным товаром, дубленными кожами, скорнячеством, скотом, солониной, вяленым и копченым мясом, конским потом и людским потом, пометом и навозом в этом заокеанском городе, где в лачугах, закусочных и притонах танцевали бурную «рефалосу» и «Когда, жизнь моя, когда же?» — задорный танец, чья музыка раздавалась в те времена по всему американскому континенту вдоль и поперек, если не возникала за глухими стенами варварская дробь барабанов, отбивающих разные «танго» — как их здесь называли — под пальцами черных. Рядом

[1] Здесь и далее — цитаты из Данте в переводе М. Лозинского: «Ад» (Л., Изд-во художественной литературы, 1939), «Чистилище» (М., Гослитиздат., 1944).

процветала высшая аристократия, ведя жизнь роскошную и утонченную, одеваясь по последней парижской или лондонской моде, устраивая блестящие вечера, где слушали самую модную музыку, какая только раздавалась на европейских балах и приемах, и в дни религиозных празднеств, в усладу юному канонику, не бывало недостатка в голосах прекрасных креолок, которые пели «Stabat Mater» Перголези. Но, к несчастью, заокеанские моды, в украшениях ли, в развлечениях или светских манерах, никогда не приходят одни. И с ними сюда пришла «опасная мания раздумья» — и Мастаи знал, что говорил, определяя как «опасную манию» стремление доискиваться истины и ясности или новых возможностей там, где был лишь пепел и сумерки, ночь души. Некоторые идеи пересекли бескрайний океан вместе с писаньями Вольтера и Руссо, которых юный каноник атаковал окольными путями, определяя как *склеротиков* и *отсталых*, отрицая какую-либо действенную силу за книгами, появившимися более полувека назад. Но эти книги коснулись многих умов, для которых сама Французская революция, при взгляде с расстояния, не представлялась провалом. И лучшим доказательством этого было то, что Бернардино Ривадавия, министр правительства, смотрел с большой антипатией на пребывание в Буэнос-Айресе апостолической миссии. Либерал и, по всей вероятности, франкмасон, он уведомил архиепископа Муци, что ему запрещено творить обряд конфирмации в городе, пригласив его продолжить путешествие как можно скорее — путешествие, которое к тому же постарался омрачить ему заранее, намекнув, что, возможно, посланцы римской курии не будут приняты в Чили с такими почестями, каких ожидают.

Так, в средних числах января 1824 года церковнослужители двинулись в путь в двух просторных каретах, сопровождаемые медлительной повозкой, на которой высились баулы, тюки и ящики, кроме кроватей и самой необходимой утвари, какую навряд ли можно достать на постоялых двориках, где придется менять лошадей и весьма нередко заночевывать, если не видно вблизи гостеприимной асьенды. Выслушав добрые советы участливых людей, горячо порицавших нечестивую невежливость Ривадавии, кто не предложил никакой официальной помощи миссии, путешественники везли с собою много провизии: зерно, картофель, вяленое мясо, сало, лук и чеснок, лимоны вместо уксуса, который в местных тавернах употреблялся неочищенным, и несколько пузатых кувшинов с вином, ромом и настойками. «А говорят еще, что прелаты едят лишь форель да пирог с голубями!» — заметил Джованни Муци, смеясь. Но Мастаи мало говорил, а больше смотрел. Пейзаж был удручающе однообразен, но в конце концов захватил его внимание из-за шири. Он думал, что знает, что такое равнина, но видение бесконечной пампы, где, сколько ни иди, всегда останешься в середине круглого горизонта одноцветной земли, пампы, создающей у путешественника ощущение, что он топчется на месте, не движется вперед по своему пути, сколько б ни погонял свою упряжку, пампы, своим простором, своим совершенным образом бескрайности ставящей Человека пред явственным изображением Бесконечного, приводило на ум аллегорическое видение мистика, в котором человеческое существо, втиснутое в тесный проход без ведомого начала и конца, пытается удалить от себя, через науку и познание, две стены, что справа и слева ограничивают поле его зрения, и ему удается с годами раздвинуть перегородки, но никогда не сокрушить и никогда, как бы далеко ни случилось их оттолкнуть от себя, не изменить их вид, не узнать, что там за ними... Мастаи пересек пампу, погруженный в светлый сон — прерываемый от времени до времени, если мимо проносился табун, криками, ржаньем и свистом лассо,— от которого его пробудило после дней, монотонно катящихся за днями, возвращение чего-то знакомого: провалов почвы, ручьев, камышей, напоминающих *тамошние*; и дома похожей

постройки, растения, группы животных, уже не рассеянные по ширям этой природы, которой нет конца. Но вскоре бесконечность горизонтальная превратилась в бесконечность вертикальную, какую являли собой Анды. Рядом с этими невиданными громадами, подъятыми над землей, чьи пики заблудились в небе — словно неприступны вовек,— Доломитовые Альпы, знакомые ему, представлялись теперь декоративными горами для прогулок (правда, он ступал лишь на нижние их отроги), и так открывалась внезапно неизмерность этой Америки, которую он начинал уже находить сказочной, несмотря на то, что люди ее зачастую казались ему дикими, грубыми и затерянными внутри пространства, какое заселяли. Но подобная природа могла рождать лишь людей особых, думал он, и будущее покажет, какие расы, какие устремления, какие идеи выйдут отсюда, когда все это еще немного дозреет и континент обретет сознание, вскормленное собственными своими возможностями. Теперь ему казалось, что во всем, что он видел доселе, «не хватало сусла», употребляя выражение тонких знатоков старых вин.

И началось затем трудное и медленное восхождение на вершины, которые, рождая и распростирая реки, делили карту на куски по дорогам на краю ущелий и пропастей, куда устремлялись грохочущие потоки, упавшие со снежной выси какого-нибудь невидимого пика под завыванье вьюг и свистящие вздохи бездн, для того чтобы уже там, наверху, познать пустынность равнин, и бесплодье предгорий, и страх высоты, и глубину ям, и оцепененье пред диконравьем гранита и причудливостью всех этих утесов и обрывов, и черные камни, тянущиеся как в покаянной процессии, и лестницы сланцевых складок, и обманное виденье разрушенных городов, созданное осколками старых скал, чья история столь долга, что, веками сбрасывая минеральные лохмотья, они выставляют под конец во всей гладкой наготе свои космические скелеты. И был переход с первого неба на небо второе, и на небо третье, и на небо четвертое, покуда не достигли вершины хребта на седьмом небе — во всех смыслах,— чтоб начать спуск к долинам Чили, где растительность обретала зеленый цвет, неведомый лишайникам, рожденным туманами. Дороги были почти непроходимы. Недавнее землетрясение перетряхнуло каменистую почву, забросав осколками чахлую равнинную траву... И пришло успокоение возврата к миру деревьев и вспаханных земель, и наконец после девятимесячного путешествия, считая со времени отъезда из Генуи, прибыла апостолическая миссия в Сантьяго, столицу Чили. «Ну и роды!» — вздохнул с облегчением Мастаи.

Столько храмов и монастырей представало взору при въезде в Сантьяго, что молодой каноник сравнил город с маленькими итальянскими селениями, где на сто крыш — двадцать колоколен. Если Буэнос-Айрес пахнул кожами, дубильнями, сбруей и часто — зачем скрывать? — конским навозом, то здесь жизнь текла средь курений ладана, средь келий и монастырских строений святого Доминика, святого Антония, святого Франциска, монахинь строгого ордена Реколектов и Клариссинского ордена Смирения, Августинцев, Общества Иисуса, святого Диего, не считая большой обители монахинь, возвышавшейся на главной площади — Пласа Майор. И уже поздравлял себя Мастаи с тем, что может начать отправление своей новейшей должности аудитора в такой благословенной земле, как вдруг печальная новость поселила смятение в душах путешественников: Бернардо О'Хиггинс, верховный правитель Чили, который настаивал на миссии монсеньора Муци через своего посла Сьенфуэгоса, О'Хиггинс, герой суровой и славной войны за независимость, был свергнут два месяца назад человеком, которому верил больше всего,— генералом Рамоном Фрейре, командующим войсками Чили. А последний был в

отсутствии, занятый военными делами на далеком острове Чилоэ... («Еще не умерли настоящие генералы, рыцари шпаги, а уже появляются генералы — рыцари ножен»,— подумал молодой священнослужитель.) Все, о чем было договорено ранее, оказывалось под запретом. Неведомо было, в каком расположении духа окажется Фрейре. И по этой причине началась изнуряющая передышка, в течение которой написал Мастаи послание, отражающее его досаду: *«Современные американские правительства суть правительства, сотрясаемые судорогами, по причине непрерывных перемен, каким подвергаемы».* («Сам не желая того, я был Бледный Ангел Печальных Пророчеств»,— пробормотал Его Святейшество Пий IX, когда перечитывал копию этого письма, предсказавшего столькие драматические события, какие произойдут в будущем, хранимую доселе тем, кто был тогда безвестным каноником...). Но Мастаи не был столь уязвим, чтоб пасть духом от первого серьезного препятствия его замыслам. В ожидании возможности начать работу он стал поддерживать знакомства, которые с первого дня завелись у него среди зажиточных и образованных жителей Сантьяго. Усердно навещал барышень Котапос, увлекающихся классической музыкой, которые, как и следовало ожидать, принимая во внимание тонзуру гостя, много раз предоставили ему возможность послушать «Stabat Mater» Перголези. («Любопытно...— думал Мастаи.— Одной партитурой композитор, умерший в двадцать шесть лет, добился славы более громкой, чем старый Палестрина со своими бесчисленными творениями, написанными в течение долгой жизни».) «Весьма знаменита здесь также его опера «Служанка-госпожа»,— говорили барышни Котапос,— и мы знаем из нее отдельные куски. Но вы, ваше преподобие, будете, возможно, шокированы вольностью ее содержания». Мастаи благодарил за предупредительность благосклонной, хоть и несколько лицемерной улыбкой, ибо хорошо помнил, как они с сестрой Марией Теклой всласть поразвлекались как-то под вечер в Сенигаллии, напевая партии двух единственных персонажей — третий там немой — из этой прелестной буффонады, стоящей на пюпитре расстроенного старенького фортепьяно. От чилийских девушек узнал он несколько народных вильянсико, какие каждый год на рождество оживляли город — довольно унылый и печальный, уверяли они, в продолжение всего года. Одна из этих песенок с очень известной мелодией восхитила его своей свежей, хоть и нескладной простотой:

Сеньора Донья Мария,
Пришел я из дальной дали
И принес твоему младенцу
Пару крольчат в подарок.

И вот подошла Страстная неделя, и привелось новичку аудитору изумиться мрачному, драматическому, почти средневековому характеру, какой являла здесь в пятницу процессия кающихся, что шла вечером страстей господних по центральным улицам: босые люди, одетые в длинную белую тунику, в венце из терна, с тяжелым деревянным крестом на левом плече и бичом в деснице, которым яростно хлестали себя по спине... Мастаи подумал, что сила веры в этой стране должна безусловно способствовать успеху миссии. Но в то же время он убеждался, что сюда, как и в Буэнос-Айрес, просочились так называемые «новые идеи». Покуда бичующиеся кровавили себе хребет в своем искупительном шествии, некоторые элегантные и скептически настроенные юнцы, каких здесь зовут «либералами», нарочно, чтоб взбудоражить его, давали ему понять, что скоро установится свобода печати — поневоле ограниченная трудной войной, которую только что пережили,— и что в голове у Фрейре засел тайный замысел о секуляризации чилийского клира. В ожидании событий Мастаи принял новую тактику в отношении тех, кто изображал себя либера-

лами в его присутствии: она состояла в том, чтоб изображать себя еще бóльшим либералом, чем сами эти либералы. И, пользуясь стратегическими ходами, почерпнутыми у иезуитов, уверял, что Вольтер и Руссо были людьми необыкновенного таланта — хотя он, священнослужитель, не может разделять их критериев,— напоминая, однако, с тонким коварством, что данные философы по своим идеям принадлежали к поколениям, давно превзойденным нынешними людьми, и что ввиду этого настало время идти в ногу с эпохой, отбросив обветшалые книги, полные исторических концепций, опрокинутых действительностью, и что назрело приятие «новой философии». Подобное происходит и с Французской революцией, событием, отошедшим в прошлое, неудавшимся в главных своих идеалах, о которой слишком много еще говорят на этом континенте, тогда как в Европе никто больше и не вспоминает. «Отупение, дряхлость, несвоевременность, люди другого века»,— говорил он об «Общественном договоре» и об энциклопедистах. «Утопическое устремление, не приведшее ни к чему, невыполненные обеты, преданные идеалы. Нечто могшее стать великим, но что никогда не достигло воплощения того, о чем мечтали его основатели,— говорил он о Французской революции. — И это утверждаю я, кто является священнослужителем и кого вы, должно быть, почитаете человеком, замкнувшимся в пределах мышления догматического и устарелого». Но нет, и нет, и нет. Либерализм уже не тот, каким считают его эти элегантные юноши. Существует сегодня либерализм иного рода: либерализм — как точнее выразиться? — подавшийся влево от самих левых, если вспомнить, что в зале Конвента якобинцы занимали всегда скамьи, помещающиеся в левой стороне собрания. «Так мы, что ж, должны быть больше якобинцами, чем сами якобинцы?» — спрашивали его. «В настоящее время существует, возможно, новый способ быть якобинцем»,— отвечал будущий наставитель «Силлабуса», который из-за своего умения ловко манипулировать мыслями, обратными собственным, достиг понтификата с репутацией человека глубоко либерального и друга прогресса.

Следующие месяцы протекли в ожиданиях, огорчениях, растерянности, беспокойстве, нетерпении, раздражении, унынии из-за скрытой враждебности Фрейре, достигшего высшей власти, который умел, к вящей досаде священнослужителей, быть одновременно любезным и неприступным, порою приветливым и порою грубым, учтивейшим, когда сталкивался с архиепископом Муци, подчеркнуто обязательным и откровенным, чтобы сделать в итоге нечто совершенно противоположное обещанному. Старая аристократия Сантьяго постепенно сплачивалась вокруг апостолической миссии. Но тем временем ареал клеветы расширялся вокруг чужестранцев. Обвиняли Муци в применении закона, напоминавшего о колониальных временах, когда тот отказался обвенчать одного вдовца с его падчерицей. Поговаривали, что молодой Мастаи получил кругленькую сумму за исполнение своих религиозных обязанностей в поместье одной зажиточной семьи. Сплетни, россказни, пререканья, слухи и небылицы, интриги да наветы, какие с каждым днем становилось труднее сносить прославленным мандатариям... И в довершение всего — несмотря на то, что Фрейре заверил римского архиепископа, что никогда не впадет в подобную крайность,— случилось то, что «либералы» предсказывали: была провозглашена свобода печати. С этого дня жизнь папских посланников сделалась невыносимой. Было пропечатано черным по белому, что содержание праздной миссии обойдется государственной казне в 50 000 песо. Их обозвали шпионами Священного союза. И в довершение всего была объявлена, уже с полной определенностью и на ближайшее время, секуляризация чилийского клира, благодаря чему здешняя церковь будет национализирована и отторгнута от всякого повиновения Риму... Ввиду таких собы-

тий Муци довел до сведения правительства, что намерен немедля возвратиться в Италию, поскольку считает, что его доверие и добрая воля были обмануты. И после девяти с половиной месяцев бесплодного труда сам прелат, его молодой аудитор и дон Салустио пустились в дорогу по направлению к Вальпараисо, который был в ту пору беспорядочным поселком рыбаков, расположенным по уступам горного амфитеатра, где английская речь слышалась не реже испанской благодаря процветанию там британских лавок, бойко торгующих с кораблями, ставшими на якорь после долгих изнурительных плаваний средь полуденного Тихого океана, и в особенности со стройными быстроходными североамериканскими клипперами, с каждым днем более многочисленными и которые, ко всеобщему изумлению, могли уже похвастаться четырехмачтовым вооружением. Мастаи, немного огорченный провалом миссии, узнал планетарные судороги землетрясений, которые, не причинив вреда, заставили его испытать неведомую тоску от чувства потери устойчивости — словно нарушено равновесие тела,— изумляясь спокойствию нескольких слепых музыкантов, которые во время коротких сейсмических толчков не переставали играть веселые танцы — более сосредоточась на своих подаяниях, чем на разгуле вулканических стихий,— и как-то в портовом кабачке был приглашен насладиться редчайшим вкусом съедобных моллюсков пиуре и локо, морских водорослей и огромных десятиногих крабов с Огненной Земли. И вот наконец священнослужители вышли в море на борту «Колумбии», парусника красивых линий и с крепким корпусом, привычным противустоять разгулу океанических стихий на всегда трудном водном пути, огибающем южный конус Америки. С увеличением холода появились два кита, когда пересекали параллель у порта Вальдивия. 10 ноября достигли уже широты острова Чилоэ. А 17-го путешественники приготовились встретить с отвагой грозное испытание прохода вдоль мыса Горн.

И тут произошло чудо: море у самой знаменитой кузницы бурь, у тех высот черного гранита, обметаемых ревущими южными ветрами, что обозначили край континента, было спокойно, как воды итальянского озера. Капитан и моряки с «Колумбии» удивились тиши, какой никогда не наблюдалось в этом месте земного шара,— настолько, что самые матерые из всей команды «горномысовцы» не припоминали подобного дива. Ночь, ясная и приветная, опустилась на корабль в покое, нарушаемом лишь мерным скрипом тросов и легким покачиванием судовых фонарей. Опершись локтем о борт, скорее угадывая, чем различая землю, что оставалась у него по левую сторону, вспоминал Мастаи приключения и превратности этого опасного путешествия, в каком хватало эпизодов, могущих украсить лучшие романы, вдохновленные борьбой с океаном, очень по вкусу теперь многим, после леденящего кровь случая с плотом «Медуза»: бури, противные ветры, пугающие штили, встречи с редкостными рыбами и даже одно нападенье пиратов — у Канарских островов, еще на том пути,— которые; ворвавшись на корабль с ужасающими криками и размахивая в воздухе ножами, удалились в смущении, увидев, что на борту «Элоизы» нет никаких ценностей, кроме дароносицы, реликвария, ковчега и чаши, каковую, будучи добрыми католиками, а не дерьмовыми протестантами, они почтительно оставили в руках архиепископа Муци. А потом было открытие Америки, более мятежной, глубокой и самобытной, чем мог ожидать каноник, где больше, много больше, чем темных крестьян и гаучо, было воинственных индейцев, виртуозных метателей лассо, всадников невиданной ловкости, вдохновенных народных певцов, что, пощипывая струны гитары, воспевали необъятность равнин, любовь, бесстрашие, мужество и смерть. И во всем этом присутствовало особое человечество, в бурном кипении, умное и норовистое, всегда изворотливое, хоть порой безрассудное, беременное будущим, какое, по мнению Мастаи, придется ставить вровень с бу-

дущим Европы — и особенно теперь, когда войны за независимость подрядились рыть ров, с каждым днем шире и глубже, между Старым и Новым Светом. Связующей нитью могла послужить вера, и молодой клирик вспоминал многочисленные монастыри и церкви Чили, смиренные часовни средь пампы, пограничные миссии и одинокие кресты андийских нагорий. Но вера здесь, для вящего различия между тем, что *здесь*, и тем, что *там*, сосредоточивалась в местных культах и в особых местных святых, которые, по правде сказать, были мало известны в Европе. Действительно, перебирая мысленно страницы американской агиографии, хорошо им изученной, когда он готовился к предстоящему путешествию, удивлялся каноник, насколько экзотичны, если можно так выразиться, были для него все эти блаженные и святые. Кроме Розы Лимской с ее мистической неизреченностью, чья слава достигала самых глухих углов, он не встречал ни одной фигуры, выходящей за границы чисто местной фантазии. Рядом с Розой — но гораздо менее известные — высились, словно дополняя андийский триумвират, фигуры Торибио Лимского, родившегося на Майорке, инквизитора Филиппа II, кто в течение семи лет, после того как был возведен в сан архиепископа, исходил свою огромную перуанскую епархию, окрестив бесчисленное число индейцев, и Марианы де Паредес, «Лилии из Кито», соперницы Розы в усердном умерщвлении плоти, которая однажды, во время ужасного землетрясения 1645 года, принесла на алтарь Бога свою собственную жизнь, дабы взамен ее остались невредимы жители города. Очень близок к Торибио Лимскому был Франсиско Солано, редко упоминаемый в Старом Свете, кто во время плаванья на невольничьем корабле спас рабов от кораблекрушения, когда команда трусливо покинула их, отдав, беззащитных и лишенных плотов и шлюпок, на милость яростной стихии Атлантического океана. Затем шел сомнительный наставник в вере Луис Бельтран, кто в Колумбии и Панаме обратил в христианство многих индейцев, канонизированный вопреки разговорам о том, что эти обращения немногого стоили, потому что были произведены с голоса толмачей, по причине полного незнания святым мужем каких-либо местных наречий. Более выдающейся рисовалась личность Педро Клавера, защитника негров-рабов, ярого противника Святого Судилища Картахены. Индий, кто, как уверяли современники, окрестил более трехсот тысяч африканцев за время своей долгой и достойной подражания благочестивой деятельности. Потом шли блаженные и святые помельче, предмет культа узкоместного, такие как Франсиско Кольменарио, проповедник в Гватемале, чья примерная жизнь бедна событиями; Грегорио Лопес, бывший придворный короля Филиппа, канонизация которого не прошла в Риме, хоть ему и продолжали поклоняться в Сакатекасе; Мартин де Поррес, цирюльник и костоправ из Лимы, первый метис, причисленный к лику блаженных; Себастьян Апарисио — предмет местного культа в Пуэбла-де-лос-Анхелес — галисийский богомолец, строитель дорог и управитель почтовой связью между Мексико и Сакатекасом, озаренный верою в семьдесят лет, в конце жизни безбожной и суетной, в течение которой похоронил двух жен. Что же касается Себастьяна Монтаньоля, убитого индейцами в Сакатекасе (положительно мексиканский Сакатекас, как и перуанская Лима,— место, словно избранное для проявления возвышенных призваний!..), и еще Альфонсо Родригеса, Хуана дель Кастильо и Роке Гонсалеса де Сантакрус — парагвайских великомучеников, то все они вписаны в историю узкоместную и далекую, так что вполне возможно, что не найдется ни одного их почитателя в том мире, куда возвращался сейчас молодой Мастаи.

Нет. Идеалом, совершенством для того, чтоб утвердить христианскую веру в Старом и Новом Свете, обретя в том антидот против ядовитых философских идей, какие столь многих приверженцев имели в Америке, явился бы святой всемирного культа, святой славы без-

граничной, святой планетарного разлета, ничем не опровержимый, столь огромный, что, будучи еще более гигантом, чем легендарный Колосс Родосский, одной стопою попирал бы этот берег Континента, а другою — европейские «края света», охватывая взглядом над ширью Атлантического океана все пространство обоих полушарий. Святой Кристобаль, по-гречески Христофорос — Несущий Христа, известный всем, обожаемый народами, вселенский по своим делам, вселенский по своему влиянию. И внезапно, словно просвещенный внутренним озарением, подумал Мастаи о Великом Адмирале католических королей Фердинанда и Изабеллы. Устремив глаза в небо, чудесно усеянное звездами, он ждал ответа на вопрос, летящий туда с его губ. И ему послышался стих Данте:

Я умолчу, чтоб ты решил задачу.

Но немедля ощутил он тяжесть сознания собственной ничтожности: чтоб продвинуть канонизацию Великого Адмирала, чтоб представить ходатайство Святой Конгрегации Обрядов, было необходимо иметь полномочие Первосвященника или по крайней мере высшего духовного лица — ибо много времени протекло со дня смерти Открывателя Америки, да и случай, откровенно говоря, не совсем обычный... — а он, скромнейший подчиненный Римской курии, был всего лишь безвестным каноником Мастаи, неудачливым участником провалившейся апостолической миссии. Он закрыл лицо руками, погрузившись в эту ночь, простертую над бескрайностью у мыса Горн, чтоб отогнать от себя мысль, которая тем, что огромна, превосходила его возможности к действию... Да. В эту памятную ночь он закрыл лицо руками, но эти руки были те же, что замерли сейчас в воздухе между чернильницей и пером, и теперь это были руки Его Святейшества Папы Пия Девятого. К чему долее медлить? Сколько лет лелеял он эту мечту — мечту, какая вмиг станет действительностью, явив миру канонизацию Христофора Колумба как одно из самых великих дел его, уже долгого, правления. Он медленно перечел параграф латинского текста, представленный его вниманию примасом из Бордо: „Eminentissimus quippe Princeps Cardinalis Donnet, Archiepiscopus Burdigalensis, quattuor ab hinc annis exposuit SANCTITATI TUAE venerationem fidelium erga servum Dei Christophorum Columbum enixe deprecans pro introductione illius causae exceptionali ordine" [1].

И, опустившись на лист, сопровождавший ходатайство, его рука провела твердый росчерк под декретом, которым разрешалось начать изучение и ведение дела. И Его Святейшество закрыл красную папку, содержащую документы, со вздохом облегчения и с чувством, что завершил большую заботу. Приотворив тихонько двери, зашла сестра Крешенсия, неся лампу мягкого света, умеряемого зеленым абажуром, ту, что каждый вечер напоминала ему о близости сумерек. Он отдал бумаги монахине, прося ее доставить их назавтра, как полагается по уставу, главе Святой Конгрегации Обрядов. Папа остался один. Уже много лет, по причине совершенного им когда-то путешествия, на него смотрели в ватиканских кругах как на лучшего знатока проблем Америки, и потому его мнение запрашивалось в каждом остром случае и выслушивалось с максимальным вниманием. Он сам (как утверждают документы [2]) не раз хвалился тем,

---

[1] «Его Преосвященство Кардинал Донне, архиепископ Бордоский, привел в известность, тому четыре года, Ваше Святейшество относительно почитания верующими раба Божия Христофора Колумба, ревностно ходатайствуя о введении дела знаменитого сего лица особым путем» (Приложение «С» к «Постулату», опубликованное в конце книги «Открыватель Мира» Леона Блуа). *(Прим. авт.)*

[2] Согласно документу, опубликованному Апостолической Нунциатурой Чили (1952). *(Прим. авт.)*

что он «Первый Папа Американский и *даже чилийский*». («Ибо ничто, происходящее или могущее произойти в сих заморских странах, уже не может оставить меня равнодушным»,— говорил он.) И тем не менее сейчас, когда он пустил в ход сложнейшую машину беатификации и ему предстояло самому лично назначить Ходатая, Кардинала Подателя документации, Высшего Духовного Фискала, Протонотария, Канцлера, которым надлежало участвовать в процессе — предварительный шаг для канонизации Христо-фороса,— он был озабочен, в который раз, необходимостью внесения этого дела особым путем: „pro introductione illius causae exceptionali ordine". Рим всегда предпочитал, чтоб процессы беатификации начинались как можно скорее после смерти избранного лица. Когда же протекло слишком много времени, возникала опасность, что местное почитание слишком превознесло то, что было всего лишь благочестивою жизненною дорогою, и что единственное, чего можно добиться от Конгрегации Обрядов, это беатификация *эквивалентная* — умаленная в размахе и блеске, — что касательно Колумба шло бы вразрез с намерениями Первосвященника, желающего признания всемирного, славы широкой и звонкой. Вопрос времени, разумеется, оправдывал «особый путь». И однако... В остальном? Нет, сомнений не было. Тринадцать лет назад он просил графа Розелли де Лорга, французского католического писателя, написать правдивую историю Христофора Колумба в свете новейших документов и исследований, посвященных его жизни. А из этой истории — он читал и перечитывал ее раз двадцать — ясно следовало, что Открыватель Америки заслуживал по всем делам своим места среди главных святых. Граф Розелли де Лорг не мог ошибиться. Это был историк скрупулезный, ревностный, пылкий, достойный всяческого доверия, для кого великий мореплаватель всю дорогу жизни прошел с невидимым ореолом вокруг головы. Настало время сделать ореол видимым, «к вящей славе Божьей — ad majorem Dei gloriam». Вспомнил Папа, что Колумб принадлежал, как и он сам, к третьему ордену святого Франциска и что францисканцем был исповедник, который давним вечером, в Вальядолиде... О, если б это был Он, тот безвестный монах, кому *тем вечером* в Вальядолиде выпало такое безмерное счастье — принять последнюю исповедь Открывателя Планеты. Какое лучезарное откровение! И как должна была полниться космическими образами в тот вечер жалкая комната в домике на окраине Вальядолида, преображенная словами Того, кто говорил, в роскошный дворец, полный невиданных чудес!.. Никогда рассказ Одиссея при дворе феаков не может равняться, хоть приближенно, во внезапностях и блеске, рассказу, что сошел *тем вечером* с уст Того, кто должен был, едва упадет ночь, познать тайны смерти, как познал при жизни тайны географической запредельности, незнаемой, хоть и ожидаемой людьми еще со «счастливых времен и счастливого века, коему древние дали имя Золотого»,— счастливых времен и счастливого века, воскрешенных Дон Кихотом в его речи к козопасам...

II

Рука

Он простер руку Свою на море, потряс царства...

Исаия, 23, 11

...Уже пошли за исповедником, но он прибудет не скоро, ибо медлителен шаг моего мула, когда гонят его по плохим дорогам (а мул, вообще говоря, годится для езды только женщинам да священникам), и потому еще, что не так просто будет найти разумного

францисканца, без особых предрассудков, чтоб отпустить грехи ближнему своему, нуждающемуся в последнем причастии, где-то за четыре мили от города. Словно у края каменной гробницы жду я того, кому должен поведать так много, собираясь с духом, чтоб говорить столь долго, сколь склонен я говорить теперь, сломленный, быть может, многими моими испытаниями и трудами более, чем болезнью... И надобно рассказать все. Все, как есть все. Излиться в словах и сказать много более того, что сказать хотелось бы — ибо (и уж не знаю, может ли понять такое монах...) зачастую *действовать* означает нужные к тому побуждения, дерзания, крайности (не побоюсь этого слова), какие не совсем согласны, хоть сделано, что делалось, и свершено, что вершилось, со словами, которые, в заключение, изукрашенные слогом, отмытые от пятен, образуют чье-то имя на мраморе веков. Почти невинным предстает пред Престол Господень поселянин, сбивавший палкой оливы за чужой оградой, равно как почти невинной явится и девка (пусть простят мне словечко, но я его не раз ставил без обиняков в послании, направляемом к самым неприступным Высочествам), которая, не имея лучшего занятия, ложится пузом вверх под любого матроса в порту, а затем ищет заступничества у Марии Магдалины, чье святое изображение украшает в Париже хоругвь одного из убежищ Магдалинских Сестер для помощи падшим женщинам, признанных общественно полезными — и это в бумагах, скрепленных подписью и печатью,— еще французским королем Людовиком Святым. Этим-то для последней исповеди понадобится немного слов. Но те, что, подобно мне, несут груз образов, никогда дотоле не виденных людьми, предшествующими их жизни и трудам; те, что, подобно мне, взяли курс к неизведанному (и другие опередили меня в том, да, я скажу это, обязан сказать, даже если, чтоб лучше быть понятным, придется мне называть Колхидою то, что никогда Колхидою не было); те, что, подобно мне, проникли в царство чудищ, прорвали завесу потаенного, шли навстречу ярости стихий и ярости людей,— те приневолены поведать многое. Приневолены поведать о вещах, являющих скандал и безобразие, опрокидывание свидетельств и раскрытие обманов для монашьего слуха, даже и в таинстве исповеди. Но в такую минуту и, пока живы — еще живы — в ожидании последнего слушателя, нас как бы двое в одном. Лежащий на смертном одре, уже с молитвенно сложенными руками, покорившийся — не совсем! — тому, что смерть войдет сейчас в его дверь, и другой, тот, что внутри, силящийся освободиться от меня, от «меня», что его заключает, и закрепощает, и пытается задушить, возглашая голосом святого Августина: «Тело мое не может более нести тяжесть моей души окровавле́нной». Глядя на себя глазами другого, прошедшего мимо ложа моего, я вижу себя словно тою диковиной, которую на острове Хиосе показывал во время ярмарки некто со знаками зодиака на шляпе, уверяя, что привез из земли Птолемея: вроде как ящик, по форме напоминающий человека, а внутри — второй, похожий на первый, и в него заключено тело, которому египтяне, искусные бальзамировщики, не дали утерять выражение жизни. И такая энергия утвердилась в этом иссохшем и словно дубленом лице, что, казалось, жизнь вот-вот вернется... Застылою чувствую уже оболочку из грубой ткани, которая, как первый ящик, обнимает мое обессиленное тело; но внутри этого тела, сломленного трудами и болезнями, есть глубинное «я», еще с ясным умом, просветленное, помнящее и наполненное, свидетель чудес, жертва слабостей, чинитель обид, сожалеющее сегодня о содеянном вчера, тревожное пред самим собою и тихое пред другими, робкое и мятежное одновременно, грешное Волей Божию, актер и зритель, судья и подсудимый, адвокат себя самого пред Трибуналом Высшей Инстанции, где и сам претендует на почетное место в Магистратуре, чтоб выслушать свои аргументы и смотреть себе в лицо, глаза в

глаза. И вздевать руки, и возглашать, излагать, и опровергать, и защищаться от перста, тычащего мне в грудь, и выносить приговор, и обжаловать его, и дойти до последних инстанций суда, где в конечном счете я — один, один со своей совестью, которая горячо меня обвиняет и горячо меня оправдывает, один пред Распорядителем навеки неуяснимого, чей облик мы никогда не познаем, чье даже имя не произносили в течение долгих веков те, кто были, подобно моим родным и дедам, верными блюстителями его Закона, и кто, хоть и говорится в Писании, что создал нас по своему образу и подобию, был слишком снисходителен, позволив поместить такое в своей Книге, полагая, возможно, что несовершенное создание, возникшее из Бесконечного Совершенства, нуждается в какой-то аналогии, в каком-то образе, чтоб представить своим ограниченным умом вездесущую и всеобъемлющую силу Того, кто ежедневно, с неотступной точностью приводит в действие и порядок волшебную механику планет.

...Но не время мне приподымать завесу над тайнами, превосходящими мое понятие, и в час смирения, какого требует близость развязки — той развязки, когда ответчик, уже внесенный в список, спрашивает себя, будет ли ослеплен, опален устрашающим видением Вовек Незримого Лика иль должен ожидать тысячелетиями во мраке часа, когда будет посажен на скамью для преступивших, уведен за перегородку для осужденных или заперт в обиталище долготерпения каким-нибудь крылатым приставом, ангелом-писцом, с перьями в крыльях и пером за ухом, держателем реестра душ. Но вспомни: подобными мудрствованиями ты грубо нарушаешь духовные устои своей веры, отводящие любое нескромное предположение. Вспомни, мореход, слова, какие помещены на плите, ежедневно попираемой верными в величайшем святилище толедском:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ
ПРАХ
ПЕПЕЛ
НИЧТО

Как *тот раз,* одним январским днем, в грохоте разбушевавшейся бури звучит голос — ясный и могучий, далекий и близкий одновременно — в твоих ушах: «*О, глупец мешкотный в вере и служении Богу твоему, богу всех. С тех пор, как ты родился, Он имел о тебе великое попечение. Не страшись, надейся: все терзания твои начертаны на мраморе и будут судимы по справедливости*».

Да, я буду говорить. Я скажу все.

Из тягчайших грехов один был мне вовсе неведом: леность. Ибо что касается распутства, то в распутстве я жил, доколь не избавили меня от него более глубокие влечения и одно лишь имя городка Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес — слова, складывающиеся для меня в образ гордого благородства, красоты, царственного величия, высшей меты желаний,— не возвело мой дух к такому экстазу, что уже в самой форме гор, впервые представших взору христиан, нашел я сходство с другими формами, которые с трепетом и тоскою рисовали самые потаенные пути моей памяти... Еще с тех пор как мой отец, не оставив ремесла чесальщика шерсти, открыл в Савоне лавку, где продавались сыры и вина,— с задней пристройкой, где завсегдатаи могли поднести стаканы к бочкам, чтоб потом содвинуть их над массивным столом орехового дерева,— я полюбил слушать рассказы моряков о своих приключениях, прикладываясь иногда к стаканчику красного вина, когда и мне тайком перепадало,— мне уж тогда сильно полюби-

лось вино, так что многие дивились позднее, что в моих походах я никогда не забывал взять на корабли как можно больше бочек и что когда приходилось заботиться о возделывании земель, то самые плодородные из тех, что даровал мне Промысл Божий, оставлял под возделывание лозы. Ной, предтеча всех мореходов, был первым, кто подал дурной пример, и поскольку вино горячит кровь и возбуждает греховные желания, то не было меж волнами портового притона, где б не изведали юношеского пыла моего, когда, к вящей обиде моего отца, мне вздумалось уйти в море... Напробовался я баб и на Сицилии, и на Хиосе, и на Кипре, и на Лесбосе, и на других островах более или менее мулатских кровей, с их смесью из мавров, наполовину обращенных, недавних христиан, что упорно не хотят есть свинину, сирийцев, что крестятся на любую церковь, так что и не поймешь, к какому приходу они приписаны; греков, продающих своих сестер по часам и по звону колокольчика, торгашей, промышляющих всем на свете, содомитов, склонных к мужеложству или скотоложству, смотря по обстоятельствам; напробовался я таких, которые до всего ударяли в бубен или пощипывали струны халдейской арфы; «генуэзок», которые, придя из какого-нибудь еврейского квартала, заговорщицки подмигивали мне, прощупывая в мыслях и на деле; плясуний с отуманенными хмелем глазами, заставляющих в своих извивах трепетать бабочек, вытатуированных на их животах; других — мавританок почти всегда,— что хранят во рту полученные монеты, чтоб защитить свой язык от вторженья чужого; и тех, которые клянутся и божатся, что если взглянуть со спины, то они еще девицы, разве что какой благородный порыв заставит их отдать как великую услугу то, что они никогда никому не отдавали; и александриек, набеленных, нарумяненных, раскрашенных, как фигуры на носу корабля,— ровно покойницы, изображенные на крышках пышных саркофагов, еще не вышедших из моды в их стране; и тех, что отовсюду, тех, что стонут до изнеможенья, и ах, ты их убиваешь, и ах, они уже умерли, и другого, как ты, на свете нет, и всего раза три дернутся да брыкнутся, пока, чтоб не заскучать, перебирают четки у тебя на спине, а ты силишься вызвать наслаждение, такое разрекламированное, что, кажется, заплатил бы за одну рекламу... Все это и много больше я уж испытал к тому времени, как очутился на суровой Сардинии и в Марселе, городе многих пороков, и это когда только через годы предстояло, плывя вдоль берегов Африки, познакомиться с темнокожими — одна другой чернее,— пока не доплыл до черным-черных из Гвинеи, с Золотого Берега, с ножевыми шрамами на щеках, ускользающим телом и крепким крупом, которых так справедливо предпочитают испанцы и португальцы — я говорю «справедливо», ибо, помнится, царь Соломон славился своими соломоновыми решениями и мудростью своего правления, но был не менее мудр, сбирая обильную жатву этих... «я есмь черна» — nigra sum, чьи груди напоминают гроздь винограда, черного сочного винограда, что, родившись на склоне горы, дает густое ароматное вино, вкусный след которого остается, пока не оближешь губы... Но не плотью единой жив человек, и я из моих плаваний вынес большой опыт в искусстве вести корабли — хотя, сказать по правде, более доверялся я своему особому умению различать запахи ветров, понимать язык туч и разгадывать волн цветные переливы, чем любым расчетам и приборам. Очень любил я следить полет птиц над землей и морем, ибо они более разумны, нежели человек, в избрании дорог, какие им подобают. Я признавал здравый смысл гиперборейцев, «живущих за северным ветром», которые — как мне рассказывали — брали с собой на корабли двух воронов, чтоб выпустить на свободу, когда во время какого-нибудь опасного плаванья сбивались с пути, ибо знали, что, если птицы не возвратятся, достаточно будет повернуть нос корабля в ту сторону, где они исчезли в полете, чтоб обнаружить землю на рас-

стоянии нескольких миль. Эта мудрость птиц побудила меня изучить особенности и привычки некоторых животных, которые, к вящему изумлению туманного разума нашего, живут, и совокупляются, и плодятся во вселенной. Так узнал я, что носорог... «на носу рог» — in nare cornus — только может быть укрощен в своей ярости, если пред ним поставить юную девушку, чтоб обнажила грудь, как он подступит, и «таким порядком (говорит нам святой Исидор Севильский) животное лишается своей дикости, дабы прильнуть головою к юнице». Не имея случая наблюдать столь чудовищное создание природы, я знал, однако, что василиск, царь змеиный, убивает своим взглядом всех себе подобных, так что нет птицы, что пролетала бы невредимой вблизи него. Знакома была мне и саура — ящерка, что, как станет стара и слепа глазами, забирается в щель стены, выходящей на Восток, и, когда всходит солнце, глядит на него, силясь увидеть, и вновь обретает зрение. Занимала меня также саламандра, которая, как известно, живет посередь пламени, не мучась и не сгорая; ураноскопус — рыба-звездочет, прозванная так потому, что у нее один глаз на голове, и она все время глядит в небо; рыбы-прилипалы, которые, если их много, могут задержать корабль настолько, что кажется, будто он пустил корни на морском дне; и еще меня, как детище моря, очень заинтересовал зимородок-рыболов, который зимой мастерит свое гнездо средь вод океана и там выводит птенцов, и еще говорит святой Исидор, что когда он выводит своих птенцов, то успокаиваются стихии и умолкают ветра на целых семь дней как дар природы этой птице и ее потомству. С каждым днем все более удовольствия находил я, изучая мир и его чудеса,— и от столь многого учения представлялось мне, будто мир раскрывает понемногу свои потайные двери, за которыми скрываются дива, еще не явленные большинству смертных. Я жаждал познать все. Я завидовал царю Соломону — наимудрейшему из мудрейших,— кто мог говорить обо всех деревьях, начиная с ливанского кедра до иссопа-куста, растущего из стен, и знал также привычки всех во вселенной четвероногих, птиц, гадов и рыб. И как ему было не знать всего, если обо всем извещали его всякие вестники, посланцы, купцы и мореплаватели? Из Офира и Тарса прибывали грузы золота. В Египте покупал он свои колесницы, из Киликии прибывали для него лошади, а его конюшни в свою очередь снабжали скакунами царей хеттитов и царей Арамеи. Кроме того, он получал сведения о великом множестве вещей: о полезных свойствах растений, о случении животных, о пакостях, бесчинствах, кровосмешениях, распутствах, скотоложствах разных народов — через своих женщин, моавитянок, амониток, эдомянок, финикиянок из Сидона, не говоря уж об египтянках; и куда как счастлив был он, мудрый муж, хитроумный муж, кто в своем роскошном дворце мог себе позволить, сообразуясь с погожестью дней и сменами собственной прихоти, семьсот главных жен и триста наложниц, не говоря уж о чужеземках, о проезжих или нежданных, вроде царицы Савской, которые ему еще платили за это дело. (Тайная мечта всякого настоящего мужчины!) И тем не менее, если обширен и разнообразен был мир, знакомый царю Соломону, сложилась у меня убежденность, что флот его в конечном счете плавал только по знакомым и неопасным путям. Ибо, если б не так, его мореходы привезли б известия о чудищах, упоминаемых путешественниками и мореплавателями, пересекшими пределы пространств, еще мало изведанных. По свидетельствам авторитетов непререкаемых, есть на Крайнем Востоке племена людей вовсе без носа, у которых все лицо ровное; у других нижняя губа так выдается, что для сна и защиты от солнечных лучей они ею укрываются до самого лба; иные имеют рот столь малый, что пищу могут получать только через овсяную соломину; есть и такие, что без языка и пользуются только знаками и движениями, чтоб сообщаться с близкими.

В Скифии существует народ с такими большими ушами, что в них можно заворачиваться, как в плащ, спасаясь от холода. В Эфиопии живет одно племя, замечательное своими ногами и быстротою бега, и которое летом, лежа на земле вверх лицом, создает тень своими стопами, такими длинными и широкими, что их удобно употреблять как солнечный зонт. В подобных странах можно встретить людей, что питаются только ароматами, и таких, у кого по шесть рук, и, что самое удивительное, женщин, родящих стариков, причем старики эти постепенно молодеют и превращаются в детей уже в зрелом возрасте. И чтоб далеко не искать, вспомним, что рассказывает нам святой Иероним, верховный учитель, описывая одного фавна, или козлонога, которого показывали толпам в Александрии и который оказался превосходным христианином вопреки всему, что думали люди, привыкшие связывать подобных существ с языческими баснями... И если теперь уж многие хвалятся, что хорошо знают Ливию, то верно и то, что им совершенно неведомо существование там людей-чудищ, что рождаются без головы, с глазами и ртом, помещенными там, где у нас пуп и соски. И в Ливии, сдается мне, живут также *антиподы*, у которых стопы вывернуты и на каждой — по восемь пальцев. Но насчет *антиподов* мнения разделились, ибо некоторые путешественники утверждают, что народ этот представляет собою не что иное, как неприятную разновидность собакоголовых, циклопов, троглодитов, людей-муравьев и людей безглавых, не считая людей о двух ликах, подобных Янусу, богу древних... Что же касается меня, я не думаю, чтоб наружность *антиподов* была такова. Я уверен — хотя это мое только собственное мнение,— что антиподы весьма отличны по природе своей: дело идет просто о тех, кого упоминает святой Августин, хотя сей епископ города Гипоны, вынужденный говорить о них, поскольку о них повсюду говорят, сам скорее отрицает их существование. Если летучие мыши могут спать, повиснув на своих лапах; если многие насекомые без труда передвигаются по гладкому потолку каморки этого притона, где сейчас текут мои мысли — пока женщина пошла за вином в ближайшую таверну,— могут же быть на свете человеческие существа, способные ходить вниз головой, что б там ни говорил высокочтимый автор сочинения «Enchiridion», или «Руководство». Есть канатные плясуны, которые проводят полжизни, передвигаясь на руках, и виски у них не лопаются от прилива крови; еще рассказывали мне о святошах, где-то в Индиях, которые, упершись локтями в землю, напрягают тело и могут оставаться целые месяцы ногами вверх. Меньше чуда заключено в этом, чем когда Иона был во чреве кита три дня и три ночи, с челом, опутанным водорослями, и дыша, словно находился в родной стихии. Мы отрицаем многие вещи потому лишь, что наш ограниченный разум заставляет нас полагать, что они невозможны. Но чем больше я читаю и обретаю знания, тем больше вижу, что считавшееся невозможным в мыслях становится возможным в жизни. Чтобы удостовериться в этом, достаточно послушать рассказы неутомимых странствующих торговцев или прочесть описания великих мореплавателей, особенно их описания, таких вот, как этот Пифей, родом из Массалии, обученный финикийскому искусству гребли, который, поведя свой корабль к северу, и все дальше и дальше к северу в своей ненасытной страсти к открытиям, дошел до места, где море затвердело, словно лед на горных пиках... Но думается мне, что я читал пока мало. Надо будет достать еще книг. В первую очередь книг, в которых повествуется о путешествиях. Мне говорили, что в одной трагедии Сенеки рассказывается об этом Язоне, что, отправившись к Западу от Понта Эвксинского во главе аргонавтов, нашел Колхиду с золотым руном. Надо мне познакомиться с этой трагедией Сенеки, она, видно, весьма полезные знания содержит, как и все, что написано древними.

...Пронзительно, громовно, долгим звуком падая с марса, гудят трубы на корабле, который плывет медленно в кисее тумана, настолько плотной, что с носовой части не различить кормы. Море вокруг кажется озером свинцового цвета, с недвижными волнами, чьи крохотные гребни опадают, не увенчав пеной свои острия. Бросает в воздух свой сигнал дозорный, и ему не отвечают. Снова повторяет он вызов, и его вопрос тонет в зыбкой тишине тумана смыкающегося за двадцать вар длины пред моими глазами, оставляя меня наедине — наедине среди призрачных видений — с моим упорным ожиданием. Ибо трепет предсказанного, страсть увидеть удерживают меня на борту с тех пор, как прозвучал колокол молитвы шестого часа. И если я немало плавал до сих пор, то сегодня я нахожусь вне всякого известного курса, в путешествии, от которого веет еще ароматом подвига, чего нельзя сказать, вспоминая средиземноморские торговые перевозки. Я жажду различить вдали дивную нам землю — и впрямь дивная она, говорят!.. — которая метит предел Земли. С тех пор как мы вышли из порта Бристоль, нам благоприятствовали добрый ветер и доброе море, и ничто, казалось, не предвещало, что могут повториться для меня трудные испытания у мыса Сан-Висенте, откуда я, благодаря помощи Божьей, спасся вплавь, ухватившись за весло, от ужасного кораблекрушения, когда одна наша урка загорелась. В Галлоуэе мы взяли на борт Боцмана Якоба, умевшего, как никто, водить по этим опасным дорогам корабли Спинолы и Ди Негро, с их грузом дерева и вин. Ибо, сдается мне, что, поскольку нет ни лесов, ни виноградников на этом острове, который мы скоро завидим, дерево и вино — это вещи, наиболее ценимые его обитателями: дерево — чтоб строить свои жилища; вино — чтоб веселить свои души средь бесконечной зимы, где застывший океан, волны, изваянные из хлада, ледяные горы, легшие в дрейф, какие увидел Пифей, массалиец, отделяют их намертво от мира. По крайней мере так мне сказывали, хотя Боцман Якоб утверждает, как хороший знаток этих широт, что в нынешнем году море не должно бы застыть — и так уж бывало, — ибо некоторые течения, пришедшие с Запада, иногда смягчают суровый климат тех мест...

Живой и приятный в обращении этот Боцман Якоб, которого неведомо как занесло в далекий Галлоуэй, где он сошелся с одной пригожей шотландкой, девушкой с большими грудями и множеством веснушек, не особо обеспокоенной вопросом чистоты крови, который в наши дни отравляет умы в Кастильских королевствах. Поговаривают там давно уж, что скоро — в ближайшем месяце, на этих днях, неизвестно когда — Судилища Инквизиции начнут ворошить и вытаскивать прошлое, происхождение, историю рода новых христиан. И уже недостаточно будет отречения, но об каждом обращенном будут собираться сведения, даже обратной силы, что обрекает заподозренного в подлоге, утайке, двуличии или притворстве на донос любого должника, любого польстившегося на чужое добро, любого сокрытого врага — любой штопальщицы девьего стыда или мастерицы дурного глаза, заинтересованной отвести взоры людские от собственной коммерции заговорений и любовных зелий. Но это еще не все: родившись неведомо откуда, ходит из уст в уста одна песенка как предвестник роковых дней. Та — я ее слыхал, — где говорится: *«Иудеи, вы пожитки собирайте...»*, сложенная, может, и в шутку, но шутка эта, коль укрепится, может стать предупреждением близости нового исхода — что Господь не допустит, ибо многие богатства текут из еврейских кварталов, и род Сантанхель — крупные тузы — передал в королевскую казну, заимообразно, тысячи и тысячи монет, меченных чеканкой их обрезаний. Поэтому Боцман Якоб подумал, что человек дальновидный двоих стоит, что можно жить и в диаспоре, и поэтому-то решил осесть в Галлоуэе, под защитою торгового

дома Спинолы и Ди Негро, чьи товары он складывает подле своей девчонки, кругленькой, веснушчатой и с большими грудями, которая услаждает ему жизнь, хоть порой и несет от нее потом, как от многих рыжих. Кроме того, он знает, что есть нечто делающее его необходимым всюду — его удивительная способность изучить любой язык в несколько дней. Так же владеет он португальским, как провансальским, как говором Генуи или Пикардии, и равно может объясниться с англичанином из Лондона на его жаргоне, и даже понимает тот крутой язык, ощетинившийся согласными, грохочущий и рокочущий —«наречье, чихающее в глубь себя», он его называет,— который распространен на неведомом острове, куда мы плывем, острове, который меж туманами, что окрашиваются сейчас в странный цвет гончарной глины, начинает вырисовываться на горизонте сегодня, теперь, вскоре после молитвы девятого часа. Мы достигли предела Земли!..

И не знаю почему, Боцман Якоб смотрел на меня с издевочкой каждый раз, как я произносил эти слова «предел Земли». И теперь, когда мы уж на земле, в доме, сколоченном из добротной куэнкской сосны, и бурдюк густого вина переходит из рук в руки, он открыто смеется, Боцман Якоб, немножко расшумевшись от выпивки, над тем, что кто-то может считать, что здесь достиг границ известного. Он говорит, что даже малолетки, что в меховых шапках и с мокрыми штанами ходят по улицам этого порта, чье название я никогда не научусь произносить, поднимут меня на смех, если я скажу, что земля, по которой мы здесь ступаем,— это граница или конец чего-то. И, удивляя меня с каждым часом все больше, он сказал, что эти люди Севера (*норманны* их поэтому, кажется, и называют —«северные люди») раньше чем мы начали выходить из известного нам круга, ища ощупью новых дорог, по каким двигаться вперед, дошли с Востока до областей *руссов* и, поведя свои стрельчатые легкие ладьи в реки Юга, достигли владений Гога и Магога и султанатов Аравии, откуда вывезли монеты, которые у себя показывали потом с гордостью, словно трофеи, добытые в каком-нибудь Херсонесе... И чтоб доказать мне, что не врет, положил передо мною Боцман Якоб несколько динариев и других каких-то монет, которые, поскольку дошли из областей, где кочевали племена далеких его предков, хранит в качестве талисманов, завернутые в его матросский плат,— хотя его религия, с которой я хорошо знаком, запрещает предаваться подобным суевериям. Проглотив затем длинную струю вина, льющуюся из бурдюка ему в глотку, Боцман обращает взгляд на Запад. Он говорит мне, что много уж лет назад, коль сложить, то века будут, один рыжий идальго из здешних мест, будучи осужден на изгнание за убийство, предпринял плавание вне знакомых направлений, которое привело его к огромной земле, названной им Зеленая Земля из-за того, что свежезеленые росли там деревья. «Не может быть того»,— сказал я Боцману Якобу, опираясь на авторитет крупнейших картографов эпохи, не знающих вовсе об этой зеленой земле, никогда не упоминавшейся лучшими нашими мореходцами. Боцман Якоб взглянул на меня с лукавством, доведя до сведения моего, что уж более двухсот лет назад было сто девяносто сельбищ на Зеленой Земле, два мужских монастыря и даже двенадцать церквей, одна из них едва ли не такая же большая, как самая высокая из тех, что *норманны* построили в своих владениях. Но это еще не все. Затерянные средь мглы, ведя свои призрачные корабли к безрассветным ночам гиперборейских миров, эти люди, одетые звериным мехом, прорывая туманы ревом труб, доплыли дальше на Запад и еще дальше на Запад, открывая острова, неведомые земли, и об них упоминалось уже в одном латинском трактате, мне неизвестном,— под названием «Inventio fortunata», то есть «счастливое открытие», с которым часто, сдается, справлялся Боцман Якоб. Но это опять не все. Плывя упря-

мо на Запад, дальше на Запад и еще дальше на Запад, один из сыновей рыжего морехода, прозванный *Лейф Счастливый,* достигает обширной земли, которой дал имя Лесная Страна. Там изобилует лосось, растут ежевика и другие ягоды, деревья там огромны, и — чудо, невероятное для этих широт,— трава не жухнет зимой. Кроме того, берег не уступчат и не обрывист, не изрыт гротами, где ревет океан и живут страшные драконы. *Лейф Счастливый* углубляется в этот неизведанный рай, где от него отстал и заблудился один германец-моряк, по имени Тирк. Проходит некоторое время, и когда его товарищи уж решили, что им больше не суждено его увидеть или что его пожрали какие-нибудь дикие звери неизвестной породы, вдруг появляется этот Тирк, пьяный, как рыбак на ловле тунцов, и объявляет, что нашел огромные заросли дикого винограда и что ягоды, перебродив, дают такое вино, что... да ладно, достаточно на меня посмотреть, и лучше вы тут не кашляйте, и дайте мне проспаться, и что здесь Очарованная Страна, и что я отсюда ни ногой, и что лучше не подходите, а то я вам голову снесу, как снес король Беовульф дракону с отравленными клыками, и король здесь — я, а кто хочет вызвать меня на поединок... И тут он падает, и блюет, и кричит, что все *норманны* — сукины дети... Но в тот день для норманнов родилась, после Зеленой Земли, другая — *Земля Вина*... «И если ты думаешь, что вру,— говорит Боцман Якоб,— достань писания Адама Бременского и Одерико Виталя». Но я не знал, где искать эти тексты, к тому ж написанные, по всей вероятности, на незнакомом мне языке. Чего я хочу, так это чтоб мне рассказали, чтоб мне повторили то, что и посейчас — здесь, на этом острове, что словно выбрасывает струи кипящей воды из чрева черных скал, — рассказывают, пощипывая струны арфы, памятчики о старых делах, какие здесь называют *скальдами.* И еще поведал мне мой нечестивый друг, что, едва здесь прозналось про Землю Вина, к ней направились новые путешественники, сто шестьдесят человек, под началом такого Торвальда, другого сына рыжего изгнанника, и еще Торварда, его шурина, женатого на особе с мечом за поясом и ножом между грудями, по имени Фрейдис. И снова лосось в изобилии, кислое вино, что опьяняет приятно и задаром, травы, что никогда не жухнут, сосна-лиственница, и даже открываются, дальше вглубь, огромные равнины дикой пшеницы. И все обещало удачу и процветанье, как вдруг появляются, гребя на лодках, сделанных будто из кожи морских животных, некрупные человечки с медноцветными лицами, широкоскулые, с миндалевидными какими-то глазами, с волосами наподобие конской гривы, которых наши крепко сбитые белокурые мужи сочли весьма уродливыми и дурно сложенными. Поначалу завязываются с ними разные сделки. Ведется обмен, сулящий большие выгоды. Приобретаются ценные меха за любую мелочь, представляющую новизну для тех, кто выражает свои мысли знаками: дешевые пряжки, янтарные четки, стеклянные бусы и в особенности красную материю — ибо, сдается, их особенно привлекает красный цвет, столь любимый также и *норманнами.* И все шло мирно, до того дня, когда какой-то бык, привезенный на одном из кораблей, вдруг убегает из хлева и начинает реветь где-то на побережье... Незнамо что приключилось с этими человечками: словно обезумев из-за чего-то, что соотносится, верно, в их варварской религии с каким-то образом зла, они спасаются бегством; но через некоторое время возвращаются огромной толпой, стремительные, напористые, обрушивая град камней, ливни валунов, лавины щебня на белокурых гигантов, чьи топоры и мечи в такого рода сражении оказываются бесполезными. Ни к чему не ведет и то, что эта их Фрейдис выставляет свои груди, чтоб устыдить мужчин, которые за неимением чего нужно пытаются укрыться на своих кораблях. И схватив двуручный меч павшего воина, она бросается на метальщиков камней, которые, объяты вне-

запным ужасом пред воплями разъяренной женщины, в свою очередь обращаются в бегство... Но в ту ночь *викинги* — так их еще кличут — принимают решение вернуться на этот остров, чтобы начать новый поход, с бóльшим числом хорошо вооруженных людей. Однако этот план не особенно-то увлек тех, кто год от году, уверенные в успехе, водили свои корабли до Парижа, Сицилии и Константинополя. Никто теперь не осмелится бросить вызов опасностям рискованного предприятия в мире, где менее страшат враги-люди, звери известной натуры, чем тайны отвесных скал, едва различимых вдали; пещер, могущих быть жилищем чудищ; равнин, бескрайних в своей пустынности; кустарников в расселинах, где по ночам слышится улюлюканье, стенанья и вой, указующие на присутствие духов земли — столь обширной земли, столь далеко простертой к югу, что потребовались бы тысячи и тысячи мужчин и женщин, чтоб заселить ее и возделать. Не будет, значит, возврата на Большую Западную Землю, и образ Винланда — Земли Вина — растает вдалеке, как призрачное виденье, оставив волшебную память о себе на устах скальдов, меж тем как реальное ее существование сохранено в большой книге Адама Бременского, историографа гамбургских архиепископов, подвигнутого нести веру Христову в гиперборейские земли. узнанные или ждущие узнаванья, где слово Евангелий еще не звучало. И очень важно, чтоб прозвучало там слово божье, ибо есть люди, многие люди, не ведающие о том, что Некто умер за них, и другие люди, подобные им в этом, как известно по слухам, которые садятся в повозки, везомые собаками, чтоб ехать в Страну Вечной Ночи... Я спрашиваю Боцмана Якоба, как зовутся эти существа, предающиеся, наверно, идолопоклонству, у которых хватило храбрости вытеснить из их владений белокурых гигантов здешних мест. «Не ведаю, каким словом они обозначают самих себя,— отвечает мне мореход.— А на языке их открывателей их кличут skraelings — скрелинги, что означает — как бы лучше сказать?..— что-то вроде нескладные, кособокие, криволапые. Да. Именно: криволапые. Ясно, ведь *норманны* — крепкие и очень видной стати. И эти людишки, низенькие, курносые, с короткими ногами, им показались нескладными. Скрелинги. Так-то: криволапые...»— «Я б их прозвал иначе: уродцы».—«Вот, вот!— подхватил Боцман Якоб.— *Уродцы*. Очень подходящее слово...» Было уже поздно, когда я ушел в свою каморку на складах торгового дома Спинолы и Ди Негро, которые на дальней этой земле от стольких наваленных бревен, от стольких бочек, что покупают здесь для хранения напитка, называемого biorr, пахнут смолами Кастилии. Но я не могу уснуть. Я думаю об этих мореплавателях, заблудившихся средь льда и мрака, с их призрачными кораблями, предводимыми головою дракона,— как всплывают пред ними зеленые горы в расплывчатости неясных горизонтов, и как натыкаются они на плавучие стволы, и вдыхают ветра, груженные новыми ароматами, и ловят в воде листья неведомых доселе форм, корни мандрагоры, формою напоминающие человека, уплывшие из бухт, никогда не виданных; я вижу этих людей тумана, почти уж не людей в растушевке тумана, и как они вопрошают вкус течений, и пробуют, сколь солона пена морская, и гадают язык волн, следя полет нежданных птиц, или проплыв косяка рыбы, иль расстиланье водорослей по воде. Все, чему научился в течение моих путешествий, весь мой Образ Мира — Imago Mundi, Speculum Mundi — рушится предо мной... Значит, если плыть на Запад, открывается огромная Твердая Земля, населенная уродцами этими, которая тянется к Югу так далеко, словно нет у нее конца? И, думаю, возможно, что она доходит до земель жарких, на широте гвинейского побережья — Малагетты, поскольку *норманны* эти самые нашли лосось и нашли виноградники. А лосось — кроме Пиренеев, да и там это большая редкость, как редкость и все, что растет на басконских

землях,— кончается там, где начинается виноград. А виноград опускается до земель Андалусии, до греческих островов, которые мне знакомы, до островов Мадейра и даже, кажется, родится в земле мавров, но там из него не готовят вина, ибо такое запрещено заповедями Корана. Но, по моим знаниям, где кончается виноград, там начинаются финики. И, возможно, попадается финиковая пальма также и в тех краях, к Югу, дальше к Югу, чем виноград... В таком случае... В голове у меня тасуются, мешаются, перевертываются, зачеркиваются и перечеркиваются все доселе известные карты. Лучше забыть эти карты, ибо вдруг они стали мне противны своей наглой самоуверенностью, своей хвастливой претензией охватить все. Лучше уж мне обратиться к поэтам, которые иногда в благозвучных стихах излагали настоящие пророчества. Я открываю книгу «Трагедий» Сенеки, с которой не расстаюсь в этом путешествии. Останавливаюсь на трагедии «Медея», что так мне нравится из-за того, что там столько говорится про Понт и про Скифию, и о курсе кораблей, солнцах и звездах, о Созвездии Оленской Козы и даже о Медведицах, которые купались в заповедных морях, и я останавливаюсь на последней строфе дивного хора, воспевающего подвиги Язона:

...Venient annis
saecula seris quibus Oceanus
uincula rerum laxet et ingens
pateat tellus Tethysque nouos
detegat orbes nec sit terris
ultima Thule.

И я беру перо и перевожу, согласно моему пониманию, на испанский, каким владею еще несколько неуклюже, эти стихи, которые много еще раз придется мне приводить в будущем: «*Придут поздние годы мира некие времена в какие Море-Океан ослабит связи вещей и откроется большая земля и новый мореход как тот кто был пилотом Язона и назывался Тифис откроет новые миры и тогда не будет остров Фула конечною из земель*». В эту ночь дрожат у меня в мозгу струны арфы далеких скальдов, воспевших старые подвиги, как дрожали некогда на ветру струны той, вышней арфы, какою был корабль аргонавтов.

Я живу будто заговоренный, с тех пор как наслушался рассказов Боцмана Якоба. Возвращаются и ворочаются у меня в мозгу мельчайшие эпизоды этого поразительного открытия, сделанного Людьми Севера, чье поведание пришло к нам через саги — ибо *сагами* называют они свои романсы, которые, как те, что об Инфантах де Лара или о Моем Сиде, сохраняют для нас великие дела с истинною правдою за выспренней искусственностью слога хугляров или цветистой риторикой клерикальной поэзии. И задумываюсь я больше всего над этим вопросом расстояний. Длинным должен был показаться мореходам путь туда, как длинной кажется нам всегда неизвестная дорога, какою не знаем сколько времени придется следовать; но, по правде, не должна отстоять так уж далеко от Земли Льда (Icelandia, Исландия, будет на их языке, которая есть Тиле или Фула древних) эта другая земля, где водится лосось и растет виноград, откуда они были вытеснены — поверить не могу, что в них оказалось так мало отваги! — кучкой уродцев, у которых не было ни копий, ни мечей. Ибо кроме прочего повествуют также романсы их острова, что как-то раз *Лейф Счастливый* отправился из Нидароса в Винланд, не останавливаясь нигде; другой путешественник приплыл из Винланда в Исландию, идя прямым курсом, на одном порыве ветра. И корабли его — несомненно, превосходной выделки, легкие, стройные, хорошей длины по килю и очень ходкие. Но правда и то, что

они слишком узки и малой вместимости. И если б пришлось идти в долгое плаванье, то у команды скоро недостало бы припасов, необходимых, чтоб прокормиться. Так что близко, достаточно близко должна лежать эта Земля Вина, и просто чудо, что другие не достигли ее вслед за Людьми Севера. И если доселе оставалось неизвестным, что я теперь знаю, то потому, верно, что весьма немногие мореходы из Генуи, Лиссабона или Севильи, отправившиеся в Исландию, не только действительно считали ее оконечностью Земли, но и не знали языка, похожего на чиханье в глубь себя — словно рык и хрип вместе,— которым так ловко владеет Боцман Якоб, и не имели счастливого случая, как я, послушать его рассказы, ибо, говоря по правде, Боцман не очень-то любит распивать вино с портовым сбродом, скандальным и грубым, что обычно набивается к нам на корабли, а что до нашей недолгой, но сердечной дружбы, ею мы обязаны братству тех — как бы сказать? — кто рожден мужчиной по всем статьям... И вот сейчас минувшие года проходят у меня перед глазами, стремительно и в беспорядке. Я знаю с достоверностью, что существует большая заселенная и богатая земля на Западе; знаю, что, плывя к Западу, я буду на верном пути. Но если прослышат о моей уверенности в том, что, плывя к Западу, я наверняка попаду, согласно полученным сведениям, на Землю Льда, окажется весьма невелика заслуга моего предприятия. Хуже еще: обязательно отыщется какой-нибудь родич, фаворит, наперсник, прославленный капитан при дворе какого-нибудь правителя, что добьется вместо меня кораблей и перехватит у меня славу Открывателя, которую я ценю превыше любой другой чести. Моя амбиция должна оставаться в секрете. Отсюда следует, что нужно скрывать правду. А из-за необходимости ее скрывать я запутываюсь в такой сети уловок, что распутать ее может только полная моя исповедь, когда я открою изумленному францисканцу, который должен будет выслушать меня, что, будоража свой ум все одними и теми же мыслями; что, видя себя осаждаемым денно и нощно одною идеей; что, не умея уже раскрыть книгу, не попытавшись отыскать в ней между строк какой-нибудь стих, указующий мне мою миссию; что, ища предзнаменований и примеряя науку онейромантику к моим собственным снам, даже обращаясь для этого к текстам лже-Иосифа и лже-Даниила и конечно же к трактату Артемидора из Эфеса; что, живя в беспокойстве и лихорадке, вынашивая замыслы более или менее фантастичные, я постепенно превращаюсь в великого и бесстрашного обманщика — вот оно, верное слово. Я скажу, да, скажу, что, глядясь в себя самого в последний этот час, нахожу я, что другие, меньше, гораздо меньше меня обманщики, были уведены докрасна калить бледные свои обманы на главном помосте Инквизиции. Но так мало весомы обманы тех, кто надувает влюбленного юнца, продав ему любовный напиток, учит хитростям мелкого колдовства, чтоб благоприятствовать мелким бесчестьям, прописывает мази из медвежьего жира, змеиного яда, ежового мяса, порошки из пепла покойников, настои из коры желтой акации, из красных листьев и золотарника,— мало весомы интриги сводниц и мошенничества тех, кто вызывает Князя Тьмы, слишком занятого более важными делами, чтоб уделять время подобным дурачествам, мало весомы, очень мало весомы, думаю, рядом с интригами и обманами, какими в течение долгих лет пытался я завоевать благоволение Князей Земли, скрывая истинную правду за притворными правдами, подтверждая сказанное мною цитатами, ловко найденными меж страниц Писания, не забывая никогда привести, трепетно останавливаясь на каждом слове, пророческие стихи Сенеки:

...Venient annis
saecula seris quibus Oceanus
uincula rerum laxet...

...Промчатся года,
и чрез много веков
Океан разрешит оковы вещей...[1]

И так переходил я от одного королевского двора к другому, нимало не заботясь, для кого предприму свое плаванье. Мне нужны были корабли, кто б мне их ни предоставил. Прочные корабли, большой вместимости, с кормчими цепкой хватки и матросами крепкой силы — пусть они хоть беглые каторжники, мне в данном случае все равно. Священника не возьму. Достаточно, если я доплыву *туда* — это будет уже подвиг! — не связывая себя обязанностью наставлять в вере и разводить разную теологию и не интересуясь, есть ли у тех уродцев какая-нибудь варварская религия, каковую трудно искоренить и каковая потребовала бы деяний мужей ученых, понаторевших в проповеданье язычникам и обращении идолопоклонников. Первое — это пересечь Море-Океан, а потом уж явятся Евангелия, ибо они бродят сами по себе. Что же касается славы, завоеванной моим подвигом, то мне все едино, увенчается ли ею пред всем светом одно или другое королевство, только б проистекли из того должные мне почести и участие в обретенных выгодах. По той же причине я обзавелся шатром чудес, какие были в ходу у певцов-голиардов на ярмарках Италии. Я ставил мои подмостки перед герцогами и наследными принцами, богатеями, монахами и испанскими грандами, клириками и банкирами, знатью отсюда, знатью оттуда, я навешивал занавес слов и тотчас выводил на сцену в ослепительном шествии карнавальные фигуры: Золото, Бриллиант, Жемчуг и в особенности образы Пряностей. Донья Корица, Дон Мускат, Дон Перец и Дон Кардамон выходили об руку с Доном Сапфиром, Доном Топазом, Доном Изумрудом и Доньей Чисто-Серебро, а за ними следовали Дон Имбирь и Донья Гвоздика дель Бутон под звуки торжественного марша в тоне шафрана и ароматов Магабарского берега, в котором звенели, с певучей своей гармонией, имена Сипанго, Катая, Золотой Колхиды и всех Индий, которых, как известно, несколько — Индий изобильных, плодотворящих, пряностных и приправных, неисследованных, но глядящих в нашу сторону, желающих протянуть к нам руки, укрыться под наши законы, Индий близких — более близких, чем мы думаем, хоть еще представляются нам далекими,— которых мы сможем теперь достичь по просторному пути, плывя по левую руку всех карт, презрев опасную дорогу по Правую Руку, кишащую до сих пор магометанскими пиратами, корсарами-одиночками, плавающими под тростниковым парусом, и это если не идти по суше, подвергаясь чудовищным поборам, ограниченьям перевозок, праву печати мер и весов, установленных на территориях под владычеством Великого Турка... Рука Левая, Рука Правая. Я вскидывал их, показывал, двигал ими с искусством хугляра, с изяществом ювелира или, впав в торжественность, вздевал их, глася словом Исаии, взывая словом Псалмов, зажигая огни иерусалимские, я возвеличивал их предплечья разлетом рукавов, указуя на невидимое, тыча в неведомое, вороша огромные богатства, взвешивая сокровища, обильные подобно воображаемым жемчугам, какие, казалось, уже струятся у меня меж пальцев, упадая на землю и расцвечивая восточными блестками ее амарантовый ковер. Знатные и ученые люди рукоплескали мне, восторгались моими космогоническими откровениями, увлекались на миг посулами мечтателя-ювелира, алхимика без реторт, но под конец оставляли меня ждать у моря — вернее было бы сказать: у моря погоды — без кораблей и без надежд... И так носило меня туда-сюда долгие годы, с моим карнавальным шатром, и не вершилось, чтоб слово Сенеки стало плотью, во пло-

[1] Люций Анней Сенека. Трагедии. Медея. Перевод Сергея Соловьева. Academia, 1932. *(Здесь и далее цитируется по этому изданию.)*

ти явленное тем, кто простерт здесь сейчас, в поту и в ознобе, ослабелый телом, ожидая францисканца-исповедника, чтоб сказать все... все...

...И я скажу ему, что, пока я ждал, когда же исполнится моя мечта и я смогу осуществить самое сказочное предприятие — самое пагубное предприятие для меня, как оказалось,— о каком когда-либо слышал свет, я, находясь в Лиссабоне, подумал, подобно поэту, что «мир трудится для двух вещей»: первая — «чтоб плоть свою питать» и вторая — «чтоб с женщиной приятною водиться». Я встретил Фелипу и стал ухаживать за нею как истый кабальеро. Хотя молода лицом и стройна телом, была она вдова с малыми средствами и дочерью на руках. Но я не придал значения этому обстоятельству, памятуя, что была она из хорошего рода, и я повел ее к алтарю в ту же церковь, где увидел впервые усердно молящейся, принимая в расчет, что, будучи к тому ж «женщиной приятною», состояла она в родстве с известной фамилией Браганса, и это родство было открытою дверью — много дверей открыла передо мною эта моя женитьба,— чтоб попасть к португальскому двору и раскинуть там мой волшебный шатер. Но тут начались трудные годы ожидания, ибо все оборачивалось ожиданием в годы, последовавшие затем: во-первых, на острове Порто-Санто, куда я с моей Фелипой переехал на житье и где, несмотря на любезное присутствие той, что была — снова приведу слова поэта — «в любови нравной, на ложе радостной, утешной и забавной», я сгорал от нетерпения пред множественностью Примет, которые заставляли меня слишком часто думать о том, что скрыто за ежедневно созерцаемым горизонтом. К берегам острова приставали гигантские стволы, неизвестные в Землях Европы; растения странных очертаний, с тройчатыми листьями, словно упавшие с какой-то звезды. Однажды мне рассказали о куске дерева, что выбросила волна, выделанном неведомым способом, словно людьми, которые, не зная наших орудий, использовали огонь, чтоб добиться того, для чего у нас есть пила и струг; говорили также как о важном событии о находке, сделанной несколько лет назад: двух трупах людей «с очень широкими лицами» и необычным сложением — хотя последнее мне показалось неправдоподобным, ибо трудно представить, что эти тела приплыли так издалека, не обращенные в скелеты многими рыбами, прожорливыми и голодными, какие живут в Океане, где если неисчислимы твари известные, то несчетны неизвестные и чудные — есть такие, что с головой единорога, есть такие, что извергают струи воды из пасти,— такие чудные, как эта гигантская водяная змея, дочь чудовища Левиафана, по морю приплывшая от азиатской Галатии до берегов реки Родан, обвиваясь вкруг всех кораблей, какие встречала на пути, с такою силой, что проламывала их ребра и потопляла их вместе с командой и грузом... Я не стану входить в подробности относительно отдельных моих дел и плаваний меньшей важности, какие я предпринял в те годы, когда у меня родился сынок, которому я дал имя Диего. Но как только я овдовел — и стал, значит, свободным от пут, несколько сдерживавших мое нетерпение,— огонь моего честолюбия вспыхнул снова, и я решил искать помощи где угодно; и пора уже было, ибо португальские мореплаватели становились все дерзновенней в своих открытиях, и не был напрасным страх при мысли, что раз уж столько глядели они на Юг и Восток, придет им как-нибудь в голову поглядеть на Запад, чьи пути считал я законной своею вотчиной, с тех пор как Боцман Якоб разжег во мне страсть к приключениям. Любое доходившее до меня известие о плаваниях португальцев будоражило мне душу. Ночью ли, днем ли жил я в страхе, что у меня похитят море — мое море,— подобно тому как дрожал перед воображае-

мыми ворами скупой из римской сатиры. Этот Океан, на который взирал я с крутых берегов Порто-Санто, был моею собственностью, и каждая промелькнувшая неделя увеличивала опасность, что его у меня похитят. И я угрызал себе душу, и грыз ногти, и скреб в ярости борта кораблей Чентурионе и Ди Негро — теперь объединившихся,— которые держали меня на торговле каким-то сахаром, на обыденных мелких перевозках, когда я плавал от острова Мадейра до Золотого Берега, от острова Флорес до Генуи, и снова к Азорским островам, и снова в сторону Генуи, закупая, увозя, привозя, продавая и перепродавая товары, в то время как ощущал в себе силы подарить миру новый образ того, чем он был сейчас,— истинный образ мира, Imago Mundi! Speculum Mundi! Один я, безвестный моряк, выросший средь сыров и вин портовой таверны, знал подлинную меру этих слов. Потому-то пришел час поспешать. Карты, тексты ничего нового уж не могли поведать мне. И поскольку нуждался я в помощи королей, чтоб подступить к моему замыслу, я решился искать ее упорно, всюду, где только возможно. Не очень было мне важно в конечном счете, какая нация обретет чрез эту помощь мне величайшую славу и бесчисленные богатства. Я не был ни португальцем, ни испанцем, ни англичанином, ни французом. Я был генуэзец, а мы, генуэзцы,— народ отовсюду. Мне надлежало побывать при всех, каких только возможно, королевских дворах, не заботясь о том, кого возвеличит мой успех и будет ли покровительственная корона враждебна другой или третьей. Поэтому я снова собрал мой Театр Чудес и отправился с ним в новое странствие по Континенту. Сначала я показал его в Португалии, где нашел короля, слишком пресыщенного космографиями, теологиями, лоциями, слишком доверившегося своим мореходам, что уж брюшко отрастили, и который в конце концов передал меня под полномочие докторов, географов, канонистов и глупца епископа Сеуты — словно Сеута это древняя Антиохия! — и еще магистров Родригеса и Жозефа, тупых и невежественных, как были в утробе матери, которые принялись утверждать, что мои речи — сплошная путаница и неразбериха, старая песня на новый лад, петая и перепетая Марко Поло — великий венецианец, я читал его книгу с восхищением, но вовсе не намеревался идти по его следам, ибо целью моею было как раз добиться того, чтоб, плывя по солнцу, достичь областей, каких достиг он, идя против солнца. Если его след прочертил одно полукружие на Земле, мне предназначено было прочертить второе. Но я знал — и знал твердо,— что недостающий кусок, чтоб замкнуть окружность, был тот, что принадлежал Нации Уродцев... Так что я сложил свой шатер и, разочаровавшись в Португалии, снова раскинул его в Кордове, где Их Католические Величества отнеслись к моему спектаклю весьма сдержанно. Арагонец показался мне придурком, рохлей и бесхарактерным, под началом жены, которая во время данной мне аудиенции слушала мои слова со снисходительной рассеянностью, словно думая о другом. И я вынес оттуда лишь тощее обещание, что здешние ученые — вечно одна и та же история! — рассмотрят мое предложение, ибо в настоящее время важные государственные дела и большие военные расходы, которые... и прочая, и прочая — пустые отговорки властительницы, весьма довольной собою, старающейся показать себя начитанной, которая, по ее утверждению, «чувствовала себя глупой», бедняжка, «когда приходилось состязаться с толедскими теологами»,— фальшивое смирение людей, притворно признающих, что знают не все, а про себя думающих, что знают все. Я вышел оттуда в бешенстве, не только от досады на подобный прием, но и потому, что пуще всего не любил иметь дело с женщинами иначе как в постели, и было совершенно очевидно, что при этом дворе кто начальствовал в действительности — была женщина... Но поскольку без женщины — хоть и для другого — не может существо-

вать мужчина, то как раз в то время стал я жить с пригожей бискайской девушкой, которая подарила мне второго сына. О женитьбе мы не говорили, ни я этого не хотел, поскольку та, что спала теперь со мною, не находилась в родстве ни со знаменитыми Браганса, ни со столь же знаменитыми Мединасели, причем приходится признать, что, когда я увел ее к реке в первый раз и думал я, она невинна, легко было убедиться, что до меня она была жена другого. Что мне не помешало, честно говоря, мчаться по лучшей в мире дороге, и на кобылке из перламутра, забыв про узду и стремя, покуда мой брат Бартоломе готовился раскинуть мой шатер в Англии, пред троном первого Тюдора, носившего это имя. Но вскоре он убедился, что и там не будет блестящего приема, ибо дерьмовые эти англичане ничего не смыслят в морском деле — до сих пор не способны добыть себе горсть корицы или мешочек перцу ни в каком другом месте, кроме лавки торговца пряностями. Я стал думать тогда о короле Франции, таком богатее, каких еще матери не рожали, с тех пор как заполучил через выгодную женитьбу герцогство Бретань. Но для бретонцев герцогини Анны киты и сельди, спермацет и рассол были ценностями более прочными, чем Золото Индий, и там я тоже не добился порядочного приема... Но, несмотря на провалы и разочарования, учился я придавать себе весу. Понимая, что выслушивают как должно лишь того, кто идет напролом, надменен с привратниками, нетерпелив в приемных, сыплет званьями и почестями, каких достиг, я обзавелся своей мифологией, призванной заставить всех забыть про таверну в Савоне — во славу моих отца с матерью! — с хозяином-ткачом и сыроваром, прилипшим к своим винным бочкам и каждодневно вступающим в стычки с пьянчугами-неплательщиками. Внезапно я извлек из кармана дядю-адмирала; присвоил себе степень бакалавра университета Павии, на чей порог ни разу не ступил за всю мою распрекрасную жизнь; я заделался другом — в глаза его не видев — короля Рене Анжуйского и любимым кормчим прославленного Колонны Младшего. Я становился большим человеком и в качестве такового вел теперь мою интригу с большей фортуною, чем раньше: посредством сплетен, распускания слухов, фраз, брошенных вскользь, секретничанья, остроумничанья, признаний с требованием клятвенного обещанья, что это не пойдет дальше писем, читаемых с умолчаниями, фальшивых намеков на скорый отъезд по срочному призыву других королевских дворов, я дал понять обиняком арагонцу и кастильянке — с помощью одного медика и астролога, большего проныры, чем сам Вельзевул, и которого мне посчастливилось убедить, что из-за глупого недоверия одних и глупой слепоты других для их королевства сейчас под угрозой провала сказочное предприятие, гигантские доходы от которого уже провидят другие суверены, лучше там, у себя, ориентированные... И отсюда проистекло, что по королевскому распоряжению меня неожиданно одарили гнедым мулом, в красивой упряжи, чтобы я рысцой, рысцой, не особенно запылив единственное приличное платье, какое у меня было, отправился в огромный лагерь Санта-Фе, большой военный караван-сарай, превращенный в город и королевский двор присутствием Их Высочеств, откуда среди палаток из пышных ковров и палаток из латаных одеял, огней бивуаков, повозок под навесом, уставленных кувшинами, бурдюков с густо-красным вином на спинах осликов, постаныванья гитар и пляски гетер на танцевальном помосте, зова труб и стрекота кастаньет будут уходить войска, которые, нарушив рубежи долгой осады, возьмут завершающим приступом последний оплот Магомета на этой земле, где — повторю слишком известную истину — хватало ренегатов всех сортов (агарянки, от матерей до дочерей, совокуплялись с христианами), слабых известно на что, как был король Альфонсо Шестой, кто, прежде чем блудить со своей сестрою доньей Урракой — что за семьи,

господи! — имел наложницей, и долгое время, знаменитую Заиду, севильскую мавританку из тех, чьи бедра щедро круты, груди высоки и тело пахнет толедским марципаном, какой продают в форме Райского Змия, клубком в круглой коробочке, в сплошь золотой чешуе, с зелеными леденцовыми глазами и красным пряничным языком.

Шел месяц июль. Мне исполнилось недавно сорок лет. Не полагая себя красавцем, я знал, что статно сложен, что черты мои благородны, что у меня открытый взгляд, что речь моя смела и осанка мужественна, что на лице моем, с орлиным носом и кожей, дубленой от морских ветров и солнца Африки, нет морщин, хоть голова моя уже седа — что придавало мне некоторое величие, наводя на мысль об опыте и разумном взгляде на вещи, что связывают, хоть порою ошибочно, со всеми знаками, налагаемыми на нас временем. Стояла жара, когда я прибыл в Санта-Фе

Ей тоже исполнилось недавно сорок лет. И, прося извинить отсутствие мужа, преданного занятиям большей важности — а на деле преданного охоте, доброму вину и девочкам,— она приняла меня одна, в личном своем покое с мавританской мебелью, инкрустированной перламутром, оставшейся ей при отходе неверных к стенам Гранады. Прошло пять лет с тех пор, как я видел ее, во время неудачной аудиенции, когда из-за своей рассеянности и малого внимания к моим словам она показалась мне только что не противной. Но в тот раз голова ее убрана была богатым током, и вуаль, скрывавшая волосы, не дала мне разглядеть, что это была женщина белокурая, очень светлая, как бывают иногда венецианки; ее прекрасные сине-зеленые глаза сияли на лице гладком и розовом, как у девственницы, какому придавало особую прелесть выражение насмешливого лукавства, рожденное, быть может, многими победами, когда помог ей острый ум, в дни политических неурядиц и в часы важных решений. Она не была уже — это многие знали — королевой, влюбленной в того, кто, недостойный подобного чувства, изменял ей, открыто и на виду у своих слуг, с любой дамой из благородных, с любой придворной фрейлиной, смазливой камеристкой или задорной судомойкой, какая только попадется на пути, если не давал опутывать себя ласками какой-нибудь обращенной мавританки, еврейки из знойных или продажной девки, когда не было лучшего мяса, каким полакомиться. Теперь женщина, с которой я говорил о моем грандиозном проекте, была — и это уж все знали — тою, кто здесь действительно правил. Та, что в Сеговии в день своего коронования вошла в собор вслед за канцлером, вздевшим шпагу, как некий орган мужского тела, и держа ее за острие, что являло символ власти и правосудия — как потом смеялись над ним за этот показ своей самости! — была и тою, что в эти годы с решимостью управляла всеми государственными делами. Арагонец не распоряжался ничем — кроме своей своры, разумеется,— не испросив ее согласия. Ей должен он был давать на досмотр свои решения и декреты и ей же свои частные письма, читаемые так авторитарно, что, если какое ей не нравилось, она немедля повелевала его порвать в присутствии мужа, чьим приказам — это было широко известно — не придавалось особого значения, даже в Арагоне и в Кастилии, тогда как все дрожали пред приказами той, кто считалась во всем королевстве сильнее волей, живее умом, благороднее сердцем и богаче мудростью... В это первое мое свидание с тою, что (и слишком много будет потом у меня причин любить самое имя этого городка) родилась в Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес, говорил я о том, о чем говорил всегда пред знатными и могущественными; я развернул в который раз мой Театр Чудес, мой ярмарочный листок ошеломляющих географий, но, ведя

роль провозвестника ожидаемых чудес, я развил новую идею, созревшую за недавними чтениями, которая, кажется, очень понравилась моей слушательнице. Основываясь на мыслях о всемирной истории, высказанных христианским историком Павлом Орозием, излагал я свое убеждение, что, подобно тому как движение неба и светил идет с Востока на Запад, так и правление миром перешло от ассириян к мидийцам, от мидийцев к персам, а потом к македонцам, а потом к римлянам, а потом к галлам и германцам и под конец к готам, основателям этих королевств. Было б справедливо, следовательно, что после того, как вытесним мавров из Гранады—что случится весьма скоро,— мы обратили взгляд к Западу, продолжая традиционное расширение королевства, направляемое движением светил, достигая подлинно великих империй Азии, ибо то, что смутно увидели португальцы во время своих плаваний, взяв курс на Восход, были какие-то жалкие крохи. Конечно же, я привел пророчество Сенеки, и так удачно, что моя державная слушательница была так мила, что прервала меня, чтоб привести, на память, два стиха из трагедии:

Haec cum femineo constitit in choro,
unius facies praenitet omnibus.

Преклонив пред нею колена, я повторил эти стихи, уверяя, что это, казалось, о ней думал великий поэт, говорящий, что «если встанет она в хоре коринфских жен»—нет, всех женщин на свете,— «затмевая других, блещет ее лицо». Когда я смолк, ресницы ее дрогнули как-то нежно, она подняла меня и усадила рядом с собою, и по кускам мы принялись воссоздавать, припоминая, чудесную трагедию... И в тот день, движимый смелостью, на какую не считал себя способным, я сказал слова, будто произносимые кем-то другим,— слова, которых я не повторю в моей исповеди,— позволившие мне выйти из королевских покоев, уже когда начали бить зорю в воинских станах. И начиная с этой ночи счастья, одна-единственная женщина существовала для меня на земле, еще ожидавшей *меня,* чтоб окончательно стать круглой.

И земля торопилась стать круглой. И еще больше торопился я, снова запутавшись в интригах, полемиках, словопрениях, размышлениях, уловках, рассуждениях — сплошная галиматья! — космографов, географов, теологов, которых я пытался убедить, что предприятие мое верное и сулит огромные выгоды, хоть делал это как всегда, как всегда, как всегда, не решаясь раскрыть мой Великий Секрет — тот, что раскрыл мне Боцман Якоб там, в дневные ночи Ледяной Земли. Проговорись я — а сколько раз в порыве досады я был близок к этому...— я б смутил моих силлогизирующих оппонентов. Но тогда домогатель звания Гиганта Атласа опустился бы до уровня любого моряка, стал бы скорее кабатчиком, чем студентом из Павии, скорее сыроваром, чем кормчим Колонны Младшего, и неизвестно еще, не поручили ль бы в результате другому командование флотилией, какую я желал для себя! Прошло немало месяцев, Гранада наконец пала, евреи были изгнаны из Испании — «*Иудеи, вы пожитки собирайте!*» — и все оборачивалось славою для двойной короны, а я не двигался с места... В ночи, проведенные близ нее, *Колумба* — так звал я ее, когда мы оставались наедине...— обещала мне три каравеллы, десять каравелл, пятьдесят каравелл, сто каравелл, столько каравелл, сколько захочу; но едва забрезжит заря, каравеллы таяли в воздухе, и я оставался один, бредя в предутренней мгле по дороге к дому и глядя, как никнут мачты и паруса, так победно высившиеся в моих честолюбивых видениях и вернувшиеся, при дневном свете, к зыбкой обманности снов, никогда не удерживающих осязаемых образов... И я начинал спрашивать себя, не окажется ли в конце концов мой жребий подобным жребию стольких влюбленных в свою государыню, таких, как дон Мартин Васкес де Арсе, юный Рыцарь из Сигу-

энсы, прекрасный лицом, что погиб в жаркой схватке с маврами, затем что усердствовал в подвигах храбрости пред своею Дамой — вдохновительницей его стремлений, направительницей его усилий. (И как ревновал я порой к этому юному воину-поэту, кому я в моих сердечных муках приписывал, быть может, большую удачу, чем достигнута была в действительности Тем, кто избегал и упоминанья о *ней*, затем, верно, что было оно для него так сладостно, так дивно сладостно, и он боялся, как бы не прочел я в его глазах имя его избранницы!) Великие страданья испытывает тот, кто, будучи сделан из хрупкого стекла, коснется острия алмаза!..

Я видел уже, как взвились королевские знамена над башнями Альгамбры; я присутствовал при унижении мавританского короля, выходящего из ворот побежденного города, чтоб целовать руку у моих монархов. И уже назревали более обширные планы: уже говорилось о том, чтоб вести войну до Африки. Но в отношении меня все было на уровне «увидим», «рассмотрим», «обсудим», «лучше бы еще подождать, ибо ничто так не спасительно, как день за днем», и «терпение есть великая добродетель», и, как гласит испанская пословица, «лучше знаемое худо, чем незнаемое чудо»... Я достал уже миллион мараведи с помощью генуэзцев из Севильи и банкира Берарди. Но мне нужен был еще миллион, чтоб пуститься в плаванье. И этот второй миллионишко был тот самый, который Колумба обещала мне на каждом закате, чтоб отнять его у меня на каждом рассвете — словно так и надо — в своем прощальном «теперь уходи». Но однажды ночью я сорвался. Внезапно впав во гнев, я с высоты своего величия возгласил, что, хотя учтив и смиренен по отношению к ней, памятуя, что пурпур, будь он невидим, всегда одевает тело королевы, я тоже, думаю, не меньше значу, чем любой монарх, и пусть нет на мне тиары в драгоценных каменьях, но я увенчан нимбом моей Великой Идеи, подобно тому как они оба — коронами Кастилии и Арагона. «Шут! — закричала она на меня.— Шут ты и больше никто!» — «Да, я шут! — закричал я в свою очередь.— И никто не может это знать лучше, чем ты, ибо тебе известно, кем я был и кем стал подле тебя!» И, не умея долее скрывать секрет, какой столь долгие годы таил про себя, я открыл ей то, что узнал там, на Ледяной Земле, про плаванья Эйрика Рыжего, его сына Лейфа и про открытие, сделанное ими, Зеленой Земли, и Лесной Земли, и Земли Винограда; я развернул пред нею волшебный пейзаж елей, диких пшеничных полей над потоками, серебряными от лососиных спин; я расписал ей уродцев, украсив их ожерельями из золота, браслетами из золота, нагрудниками из золота, касками из золота, и сказал ей, что они еще и поклоняются идолам из золота и что золото для тамошних рек — такая же обычная вещь, как щебень для кастильского нагорья... И пред онемевшей от изумления Колумбой я выкрикнул, что ухожу, чтоб никогда не вернуться, и что теперь предложу великое мое предприятие королю Франции, готовому хоть сейчас оплатить его, потому что у него и верно умная жена, увлеченная морем, как истая бретонка, достойная потомица Елены из Арморики, дочери короля Хлора, жены Константина Старшего, избранной Господом, чтоб отрыть Крест, который покоился на двадцать пядей под землей на горе Голгофе в Иерусалиме. Таким вот людям и правда можно верить, и я ухожу с моим Театром Чудес в другое место!.. Сказанное мною привело, казалось, Колумбу в ярость: «Шут! Поганый шут! Ты продал бы Христа за тридцать сребреников!» — крикнула она мне вслед, когда я выходил из покоя, хлопнув дверью. Внизу, привязанный под деревьями, ожидал меня мой друг—гнедой мул. Взбешенный, как не упомню, был ли когда еще,— и зачем я к тому ж выдал Великий Секрет, о каком бы должен молчать! — я проехал добрых две мили и спрыгнул на землю у придорожной венты с намерением выпить столько вина, сколько в меня поместится. Апрель вступал в свои права. Зелень полей ярче

выявлялась под бледно-оранжевым светом, неповторимым в своем оттенке светом над цветущей гранадской долиной. Звонко пели щеглы. Все полнилось радостью в этом приюте, полном уже, несмотря на ранний час, празднично одетых землепашцев. Колокола ближней церкви сзывали к обедне. Но я был мрачен, каждый стакан вина, вместо того чтоб облегчить мне душу, погружал меня в отчаяние совершившего непоправимую ошибку. Я потерял все. Все. Королевскую милость и надежду, которая хоть и никак не сбывалась, но совсем недавно еще не была напрасной. И я уже опорожнил целый кувшин вина, как вдруг увидал входящего альгвасила, который, судя по его потному и пропыленному виду, мчался до самого поселка во весь опор. Увидев меня, он направился прямо ко мне: Ее Величество посылала за мною, умоляя меня немедля вернуться назад... И после полудня, наскоро освежив лицо и платье, я уже стоял пред моей державной повелительницей. «Миллион мараведи у тебя в кармане»,— сказала она мне. Она попросила его у банкира Сантанхеля с той властной настойчивостью, какую я хорошо знал. Она дала ему в залог свои драгоценности, которые по-настоящему стоили много меньше. «Я их выкуплю, когда мне вздумается,— сказала она,— и не возвращая этого миллиона». Она взглянула на меня значительно: «Мы изгнали евреев. Для Сантанхеля, право, стоит лишиться миллиона, чтоб получить счастливую возможность остаться в этих королевствах, где у него такие выгодные дела. А теперь собирай свои пожитки ты! Удачи тебе. И добудь все золото, какое сможешь, чтоб мы могли дойти войною до Африки».— «И даже отвоевать город Иерусалим, как отвоевали Гранадское королевство»,— сказал я. «Быть может»,— отозвалась она... «Но ты никому не должна раскрывать мой Великий Секрет»,— сказал я, внезапно встревоженный мыслью, что Сантанхель мог быть осведомлен о том, что... «Я не так глупа! — сказала она.— В этом секрете кроется слава для нас обоих».— «Святой Дух тебя вдохновляет»,— сказал я, целуя ей руки. «Быть может, так сказано будет в будущих книгах,— сказала она.— В книгах, которые напишут, разумеется, только если ты что-либо откроешь».— «Ты сомневаешься в этом?» — «Жребий брошен, Alea jacta est...». Снаружи слышался выклик мавра-водоноса, который в шапчонке с кисточкой, цветастой куртке и штанах в обтяжку выхвалял прохладную влагу бурдюков, висящих у него на шее, столь углубленный в свое занятие по переноске студеных ключей, что продолжал его с таким видом, словно Гранадское королевство не поменяло хозяев.

...Мы вышли в море сего августа 3 дня из устья Сальтоса поутру, в восемь часов. Мы шли при сильном ветре до заката в направлении к Югу и прошли шестьдесят миль, что составляет пятнадцать лиг; потом к Юго-Востоку и к Югу четвертным румбом Юго-Восток, что есть путь к Канарским островам... Поскольку каких-либо важных событий тогда не последовало, плавание наше было малоинтересным до шестого дня сентября, когда мы отплывали от острова Гомера. Теперь вот начиналось великое наше предприятие. Но я должен признаться, что, хоть я, по наказу самому себе, являл пред всеми веселое лицо, каждую минуту выказывая великое довольство, в часы ночи, когда я пытался уснуть, покой бежал от меня. И часы рассвета захватывали меня обдумывающим трудности, какие придется теперь преодолевать в опасном плаванье к далекому Винланду — или к его полуденному распростиранию,— каковые земли я представил моей повелительнице как область, ближе ко мне обращенную, владений, управляемых Великим Ханом или кем-нибудь другим из Князей Индий, к каковым мне даны были письма, и на случай, если мое предположение окажется верным, я вез на борту такого Луиса де Торреса, который раньше был евреем (это выражение «раньше был евреем» употреблялось часто в те дни...) и, по слухам, умел говорить не только на своем языке, но и на халдейском и немного на арабском.

Но команда у меня была дрянная. Больше христиан недавнего крещения, мошенников, бежавших от суда, обрезанцев под угрозой изгнания, плутов и авантюристов, чем людей, привычных к парусу и ветру, людей морского дела, отправилось со мною на моих кораблях. Плохо осуществлялись маневры, плохо понимались команды. И я слишком предчувствовал, что если плавание продлится много долее предвиденного — что вполне могло произойти,— люди, чувствуя себя с каждым днем дальше от оставленного позади континента, не различая вдалеке никакой земли (и все жаждали открыть ее, эту землю, ибо корона обещала ренту в десять тысяч мараведи тому, кто завидит ее первый...), станут легкой добычей уныния, разочарования и жажды вернуться назад. Слишком живы были еще во многих умах образы Океана Мрака, морей без предела, течений, неудержимо влекущих корабли туда, где волны смыкаются с небом, что веками связывались с водами, которые мы теперь бороздили, чтобы к концу долгого-долгого ожидания не воскресли они с новою силой, подавляя волю людей и подстрекая их к неповиновению. Потому-то я решил прибегнуть ко лжи, к обману, к постоянному обману в каком отныне предстояло мне жить (и это я обязательно скажу францисканцу-исповеднику, которого жду сейчас) начиная с воскресенья 9 сентября, когда я решил считать на каждый день меньше лиг, чем мы прошли, чтоб, если путешествие затянется, мои люди не перепугались и не опустили рук. И уже в понедельник, когда мы прошли шестьдесят лиг, я сказал, что мы продвинулись только на сорок восемь. И так же во вторник — день почти полного штиля — я сосчитал двадцать, а всем сказал, что шестнадцать. Поначалу я снимал три-четыре в день. Но пока длился этот месяц, я стал словно замечать на лицах какое-то нетерпение и отнимал теперь большее число от настоящего числа лиг, какие мы проплыли. И уже 18-го пятьдесят пять превратились у меня в сорок восемь... А когда настало первое октября, мой настоящий счет был семьсот двадцать лиг, а им я назвал другую, совсем уж выдуманную цифру, которая составляла всего пятьсот восемьдесят четыре... Правда, волны несли навстречу нам, словно сорванные с островов, лежащих где-то впереди, редкостные растения, похожие на веточки сосен; и другие, желтовато-зеленого оттенка, словно плывущие гроздья винограда, но странного винограда, походящего скорее на плоды мастичного дерева. Пролетали также над нашими головами птицы, по виду словно с суши, и были они подобны пеликанам и еще коноплянкам, а другие белы, словно чайки, и другие из семейства фрегатов, при виде которых я выказывал особенно бурную радость. Но многие говорили, что это ничего не значит; что над Средиземным морем появлялись, год от году, прилетевшие из германских земель аисты, которые, чтоб не страдать от снегов и вьюг, искали зимою солнечных бликов на мавританских минаретах. Кроме того, существовали птицы, умеющие спать, качаясь на волнах, и даже известно было, что зимородок имеет обычай вить гнездо и выводить птенцов прямо в воде. И все было зломыслие и ропот. С течением дней недоверие росло, от каравеллы к каравелле. Коварные пересуды, родившись на одном корабле, переметывались на другой, переносились с этого борта на тот борт, словно силою обмана чувств; и я не сомневаюсь, что те, кто сплетал эти слухи, были самыми сведущими из всех, кого я взял с собою, ибо грустно сознавать, что злобная хула, низкий оговор и заведомая ложь растут как сорная трава там, где люди, из-за того что кое-что читали и думают, что знают что-то, выказывают особое удовольствие точа свои языки о хребет ближнего, и в особенности если не они командуют, а ими командуют. Я подозреваю, что Родриго де Херес, кичащийся своей ученостью, недавний выкрест Луис де Торрес, уверявший, что говорит на халдейском и арабском, и даже велеречивый андалусец Мартин Алонсо, к кому я отнесся с таким доверием, но кто мне с каж-

дым днем нравился все меньше, были теми, кто стал распространять слух, будто я не умею правильно пользоваться астролябией — что, возможно, была правда, теперь могу признаться в этом, поскольку когда-то давно допустил грубую ошибку, когда старался определить, на какой широте находится королевство Мина в Африке. (Но это случилось, повторяю, очень давно...) Рассказывали также, собираясь в кружок, чтоб позлобствовать, что карта Тосканелли, которую я держал у себя в каюте, ничем мне не помогала, была лишь предметом роскоши, ибо я не способен был разобраться в сложной математике своего излюбленного учителя — что, быть может, была правда, но я давно уж утешился на этот счет, имея в виду, что Тосканелли, очень гордый своею наукою, считал несостоятельной математику Николая Кузанского, друга папы Пия II, чью «Историю вещей» — «Historia rerum»— я числил среди моих настольных книг. Что касается меня — и этого не могли понять испанцы-недоучки, которые меня сопровождали, не знающие другой науки, кроме смоленья и конопаченья, другого искусства, кроме ловли и солки тунцов,— то я думал, что, если Николай Кузанский был мало сведущ в математике, как утверждал этот ученый педант Тосканелли, он был зато защитником «ученого незнания» — docta ignorantia,— какое исповедую я: «ученое незнание», открывающее ворота, ведущие в бесконечное и противостоящее схоластической логике с ферулой и в магистерском берете, у которой наготове кляп в рот, повязка на глаза и затычки в уши для всех неустрашимых, всех ясновидящих, всех Носителей Идеи, подлинных cefalóforos — «буравщиков мозгов», стремящихся взорвать границы неизведанного... Но, не довольствуясь тем, что развратили мне всю команду своими досужими сплетнями, намекали эти мошенники на то, что я в моих измерениях путал арабские мили Альфрагана с общеупотребительными итальянскими. Но в последнем случае хоть я и впадал в раздражение, но начинал тайно признавать, что они правы, к большому моему стыду, ибо, оставив в стороне мою намеренную подделку в измерении нашего пути, я говорил себе, что если я перепутал мили, как намекали эти поганые испанцы, то сильно умалял пространство вселенной, ввиду чего это путешествие должно продлиться гораздо дольше предполагаемого срока, к вящему испугу и смятению моих команд.

В ночь на 9 октября мне стало известно, что зреет заговор на борту моих кораблей. На следующий день ко мне пришли моряки, чтоб сказать мне — сначала в умоляющем тоне, потом все резче, резче и резче, потом уж просто грубо,— что не могут больше выдерживать такое долгое плаванье, что много неудобств и лишений, что сухари и солонина червивеют, что на судах многие больны, что в душах уныние и нет охоты плыть дальше и что уже время отказаться от этого предприятия, которому не видно конца и которое ни к чему хорошему не приведет. Употребив всю свою энергию и не меньшее красноречие, чем то, с каким убеждал я королей, теологов и ученых мужей, и даже слегка пригрозив виселицей — без особого нажима, обиняком, метафорически — самым непочтительным и непокорным, я развернул пред ними такую картину богатства и изобилия, уже готовую показаться на горизонте, прося всего еще три-четыре дня, чтоб показать ее, что мне удалось усмирить бурю голосов, обрушивавшуюся на меня, под лукавым взглядом Мартина Алонсо — он что-то мне все больше и больше не нравился,— который говорил мне: «Повесь их... повесь их...» — заведомо зная, что, если я решусь приказать, чтоб одного из них повесили, никто мне не повинуется — и меньше всего проклятые галисийцы и бискайцы, которых я, на свою беду, взял с собою, так что я в одну секунду потерял весь свой авторитет, власть да и стыд (и этого, возможно, как раз и хотел Мартин Алонсо)... Я знал тем не менее, что теперь дни моего плаванья сочтены. Если что-нибудь необыкновенное не случится за-

втра, послезавтра или еще через день, придется возвращаться в Кастилию под грузом столь жалко погибших надежд, что я не смел и подумать, с каким лицом встретит меня, и вполне заслуженно, та, родом из Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес, которая, когда приходила в ярость, умела выразить ее самовластным словарем погонщика мулов, подражая маврам в искусстве пятнать и позорить до пятого колена предков виновного по матери... Однако необыкновенное случилось в четверг, 11-го, когда мои люди выловили кусочек дерева, затейливо как-то выделанный человеческими руками. Матросы с «Ниньи» тоже в свою очередь нашли на волнах палочку, покрытую рачками, во множестве виденными на прибрежных скалах. Все мы были — ожидание, тревога, надежда. Некоторые говорили, что ветер пахнет землею. В десять вечера мне показалось, что вижу вдалеке какой-то свет. И чтоб убедиться окончательно, я позвал казначея Родриго Санчеса и королевского контролера, которым доверял... И в два часа пополуночи в пятницу бросил Родриго де Триана свой клич, что *«Земля! Земля!»*, который для всех нас прозвучал как музыка Тедеума... Мы сразу же зарифили все паруса, оставшись с одним триселем, и легли в дрейф, ожидая рассвета. Но теперь к нашей радости, поскольку мы не знали, что именно найдем, прибавилось любопытство. Остров? Твердая Земля? Мы достигли и правда Индий? Кроме того, каждый моряк знает, что Индий числом три: те, где Катай и Сипанго, потом еще большая — Золотой Херсонес древних? — со многими меньшими землями, откуда вот и привозятся специи. (Я, честно говоря, думал также и об опасности, какую таят свирепство и напор уродцев Винланда...). Никто не мог уснуть, думая, что теперь, когда мы дошли, столько же счастливых удач, сколько роковых напастей ждет нас, быть может, там, где на берегу все еще виделся отблеск каких-то костров. За подобными мыслями застал меня Родриго де Триана с требованием выдать ему шелковый камзол, обещанный в виде награды тому, кто первый завидит землю. Я сразу же его дал ему, с большой готовностью, но матрос не уходил, ожидая, видимо, чего-то еще. Мы помолчали, а потом он напомнил мне о ренте в десять тысяч мараведи, назначенной королями, не считая камзола. «Это уж когда мы возвратимся»,— сказал я. «Дело в том, как...»—«Как что?..»—«Не могли б вы, Ваша Милость сеньор Адмирал, дать мне вперед немножко, в счет того?» — «Зачем тебе?» — «Чтоб пойти по девкам, не прогневайтесь... Я уж пятьдесят суток, как не...» — «А кто тебе сказал, что есть девки в этих землях?» — «Куда пристанут матросы, там всегда девки найдутся».—«Здесь наши монеты не в ходу, поскольку в этих землях, как стало мне понятно по рассказам венецианца Марко Поло, за все платят клочками бумаги размером в ладонь, где отпечатано изображение Великого Хана...». Родриго ушел грустный, со своим камзолом, наброшенным на одно плечо... Что же касается его ренты в десять тысяч мараведи (и это я обязательно должен сказать исповеднику), то он ее может на льду написать и пускай не особенно требует и не шумит больше, чем надо, а то я знаю за ним такие вещи, которые невыгодно ему, чтоб разглашались! Ибо этой рентой я уже завладел в пользу моей Беатрис, притожей бискайки, от которой имею сына, хоть не водил ее к алтарю, и которая давно уж слезами обливается оттого, что я забыл ее и охладел к ней — а я забыл и охладел благодаря Королевской милости, излившей на меня, как из мифического рога изобилия, счастье в виде трех кораблей, готовых сняться с якоря, и растерянности моих врагов, и опьянения новыми горизонтами, и отрады быть здесь этой ночью, ожидая восхода солнца, что все медлит, медлит — и как медлит, черт! — показаться, и, быть может, бессмертия, в памяти людей, Того, вышедшего откуда я один знаю, кто мог уже претендовать на титул Расширителя Мира... Нет, Родриго! Ты оплошал! Я присвою твои десять тысяч ренты!.. Я тоже мог закричать: «*Земля!*» —

когда увидел огоньки, да не стал. Успел бы закричать раньше тебя, да не стал. А не стал потому, что, когда различил я вдали землю, положив предел томлениям моим, не подобало голосу моему звучать как у простого матроса на марсе, алчущего заработать вознаграждение, слишком мизерное для внезапного моего величья. Мал, видно, будет камзол, что ты носишь, Родриго, тому, кто мгновенье назад возвысился до роста Гиганта Атласа; мала будет рента в десять тысяч мараведи, которые теперь, презренные моею молодою фортуною, попадут в руки *кого я пожелал,* а значит, женщины раздобревшей, брюхатой и с отпрыском от Того, кто только что достиг меры Предвестника, Провидца, Открывателя. Вот кто теперь я, как Полководец моих Битв, и начиная с этой минуты придется говорить мне «*Дон*», ибо начиная с этой минуты — пусть все узнают и запомнят...— я Главный Адмирал Моря-Океана, и Вице-король, и Навечный Правитель Всех Островов и Твердой Земли, какие я открою и какие, отныне и впредь, под моею командой открыты и обретены будут на Море-Океане.

Часы тревоги, часы растерянности... И все нет для меня конца этой ночи, которая вскоре тем не менее должна повстречаться с зарею, для моего смятенного духа на удивленье медлительной. Я облекся в самое нарядное свое платье, и так же поступают сейчас все испанцы на борту моих кораблей. Из большого ларя я извлек королевское знамя и прикрепил его к древку и так же поступил в отношении двух знамен с Зеленым Крестом, которые должны поднять два моих капитана — страшные сукины сыны, как выяснилось под конец! — и на которых гордо блистали, под соответственными коронами, вышитыми шелком по атласу, инициалы *Ф* и рядом *И* — этот последний особенно радовал мои взоры, поскольку, приставив его к другим семи буквам, дополняющим имя, я вызывал в душе образ, почти явственный, той, кому обязан я моим выдвижением и полномощием. Но теперь вдруг началась суматоха среди испанцев на палубе: катилась со скрипом бронза, громко лязгало железо. Дело в том, что я приказал держать наготове бомбарды и мушкетоны, на всякий случай. Кроме того, мы все сойдем на землю вооруженными, ибо теперь, в конце долгого нашего ожидания, любая предосторожность нелишня. На небольшом расстоянии — люди, ибо где нет людей, нет и костров. Но невозможно мне даже и представить, какова природа этих людей... Я не только со всем вниманием прочел Марко Поло, чьи рассказы о путешествиях собственноручно записал для себя, но многое также читал у Джованни де Монте Корвино — никогда, однако, не упоминая о нем, по несподручности, в моих докладах,— кто, тоже родом из Венеции, достиг огромного города Камбалука, столицы Великого Хана, где не только построил христианскую церковь о трех колокольнях, но и произвел не менее шести тысяч обрядов крещения, перевел «Псалмы» на татарский язык и даже открыл певческую школу для мальчиков, избранных, чтоб возносить нежными своими голосами хвалы Господу. Там его и застал Одерико из Порденоне — с ним я тоже подробно ознакомился — уже полным архиепископом, с церковью, превратившейся в собор, со служками и викариями и жаждущим, чтоб к нему направили миссионеров в большом количестве, ибо он встретил в стране — и весьма торжествовал по этому поводу —великолепную веротерпимость в людях, которые допускали любую религию, не затрагивающую интересов Государства, веротерпимость, которая, по правде сказать, способствовала досадному распространению несторианской ереси, чьи отвратительные заблуждения изобличил уже в свое время Достославный Доктор из Севильи в своих «Этимологиях»... Не было б невероятным, таким образом, если б законоучение Джованни де Монте Корвино распространилось и досюда — через францисканцев, ходоков, истоптавших столько дорог!..

В таком случае, Кристобаль, Кристобалильо, ты, что выдумал во время пути имя Christo-phoros, несущий Христа, везущий Христа, святой Христофор, сунувшись с головою в самые несравненные и неоспоримые тексты Святой Веры, назначив себе миссию Избранника, Человека Единственного и Насущного — священная миссия! — ты, что предложил свое предприятие лучшему оценщику и кончил тем, что продался за миллион мараведи; в таком случае ты, обманутый обманщик, не найдешь другого выхода, чем снова поднять паруса и — пропади все пропадом! — отчалить назад со своими «Ниньей», «Пинтой», «Святой Марией» и прочим, чтоб умереть со стыда у ног твоей владычицы из Альтас Торрес. В этот роковой час — молитвенный час — помысли, моряк, без звезд, ибо сам компас отклонился у тебя от Звезды Севера, что худшее, что может теперь с тобой случиться, это если Евангелия выйдут тебе навстречу. Правда, волею твоей владычицы тебе был пожалован второпях низший францисканский сан, и ты правомочен носить монашеское одеяние, как у нищенствующих орденов. Однако... что сможешь ты, бедный придверник, незадачливый чтец для новообращенных, заклинатель злого духа и свеченосец, еще не испытанный пред каким-либо дьяконом или тем более епископом, который, вздев руку, скажет тебе: «Возвращайся откуда пришел, ибо ты здесь лишний». Сейчас, ожидая высадки, я мечтаю, да, мечтаю, чтоб Евангелия путешествовали не так быстро, как мои каравеллы. Это спор Слова против Слова. Слово, путешествующее по Востоку, которое я должен обогнать, идя к Западу. Нелепое состязание, которое может убить меня и мое дело. Неравная битва, ибо я не везу с собой на борту ни Евангелий, ни даже капеллана, который по крайней мере мог бы их пересказать. Я б приказал палить из бомбард и мушкетонов по этим Евангелиям, мне противостоящим, если б такое было для меня возможно!.. Но нет: под своим покровом из золота, изукрашенным драгоценными каменьями, они б посмеялись над подобным залпом. Если уж Рим с его Цезарями не смог их одолеть, то где уж какому-то жалкому моряку, который пред жадно ожидаемой зарею страшится часа, когда свет небес откроет ему, было ли бесцельно его предприятие или подымет оно его к славе на века. Если Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн ждут меня на ближнем берегу, я пропал. Я перестаю быть для потомков Несущим Христа, чтоб вернуться к таверне в Савоне. Хотя б найти мне здесь побольше пряностей! Устроить зажигательный пляс Доньи Корицы с Доном Кардамоном и Доньи Гвоздики дель Бутон с Доном Мускатом. Но я ведь говорил уже: здесь царствует Великий Хан. И его люди, уже развращенные нашей торговлей, не отдают даром ни пряностей, ни благовоний, а напротив, требуют за них хорошую цену, и тут не годятся безделушки, купленные в последний момент, которые я везу для обмена на этих кораблях. Что же касается золота и жемчугов, то они здесь меньше ценятся, чем имбирь, так хорошо описанный Джованни де Монте Корвино, сравнившим его с корнем шпажника... Мои испанцы читают нараспев «Salve», объятые нетерпением и вместе беспокойством — хоть и по другим мотивам, чем я,— ибо сейчас кончаются приключения на море и начинаются приключения на суше... И вдруг вот она, заря — заря, внезапно упавшая на нас, такая стремительная в разливе своего сиянья, что подобного волшебства света не видал я ни в одном из многих владений, знакомых мне до сих пор. Я пристально вглядываюсь. Нет на виду никаких построек, домов, замков, башен или зубчатых стен. Ни один крест не возвышается над кронами деревьев. И вообще, кажется, нет церквей. Нет церквей. Я не услышу, пока еще, со страхом ожидаемого звона колокола, отлитого из хорошей бронзы... А лишь отрадный шум наших весел, режущих воду, на диво спокойную, где на песчаном дне я замечаю присутствие больших раковин неизвестных форм. Теперь мое нетерпение преобразилось в радость. И вот мы уже на земле, где

растут деревья, очертаний нам незнакомых, кроме некоторых пальм, напоминающих африканские. Мы сразу же приступаем к формальностям Ввода во владение, и составлению, и засвидетельствованию соответствующего акта, который так и не смог закончить наш писец и нотариус Родригес де Эскобедо, внезапно опешив, когда из зарослей раздались голоса, ветки раздвинулись, и мы неожиданно оказались окруженными людьми. Оправившись от первого испуга, многие из наших принялись смеяться, ибо те, кто приближался к нам, были совсем нагие, и всего-то и было на них одежды, что какой-то белый платочек, чтоб прикрыть стыд. А мы-то облачились в латы, кольчуги и шлемы на случай возможного нападения грозных воинов, потрясающих грозным оружием!.. Эти же, что касается оружия, имели при себе только короткие копья, похожие на палки погонщиков волов, и я предчувствую, что они окажутся жалкими существами, ужасно жалкими, ибо все ходят голые — или почти голые — как мать родила, даже девушка, чьи груди торчат так впечатляюще, что мои мужчины смотрят на них, словно хотят пощупать, с жадностью, вызывающей во мне гнев, заставляя меня разразиться криками, малоподходящими к торжественному виду, какой подобает хранить тому, кто поднял знамя Их Королевских Высочеств. Некоторые из пришельцев несли зеленых попугаев, которые не говорили, видно от испуга, и хлопковую нить в мотках — хуже, однако, чем добытая в других Индиях. И все это они меняли на стеклянные бусы, бубенчики — в особенности на бубенчики, которые подносили к ушам, чтоб лучше звенели,— медные кольца, мелочи, не стоящие ломаного гроша, которые мы вытащили на берег на случай возможного обмена, не забыв и о множестве ярких беретов, которые я закупил на базаре в Севилье, припомнив накануне отплытия, что уродцам Земли Вина необыкновенно нравились яркие ткани и одежды. И в обмен на этот хлам они нам дали своих попугаев и хлопок, и мне подумалось, что это люди кроткие, беззащитные, способные быть подданными смиренными и послушными; ни черны, ни белы, а скорей всего цвет словно у канарцев, волосы не курчавые, но гладкие и толстые, как в конской гриве. В тот день мы не совершили более ничего, захваченные открытием, взятием во владенье острова и желанием отдохнуть после бессонной ночи. «Куда это мы пристали, сеньор Адмирал?» — спросил меня Мартин Алонсо, пряча ядовитую иронию в веселой улыбке. «Главное, что пристали»,— отвечал я ему. И, уже возвращаясь на борт флагманского корабля, смотрел я сверху вниз, с высоты моей законной гордости, на смутьянов, которые два дня назад подняли голос — и даже кулаки — на меня, готовые взбунтоваться, и не столько говорливые андалусцы, почти все конопатчики, плотники, бочары, что пустились со мною в плаванье; не столько евреи, которые, присоединившись ко мне, спаслись от изгнания; не столько новообращенные христиане, что на закате с такой тоской глядели в сторону Мекки, но проклятые баски, упрямые, строптивые, грубые, которые составили клику Хуана де ла Косы, чуть не лопавшегося от своих картографических познаний, вечно выставляющего напоказ *свою науку* (я знал это через другого интригана, Висенте Яньеса, такого же мошенника, но лучшего морехода...), чтоб утверждать, что я моряк из одного честолюбия и бахвальства, путешественник по дворцовым покоям, путальщик широт, перевиратель морских миль, не способный привести к счастливому концу предприятие, подобное этому.

...Сейчас звенят колокольчики, тихонько, под легким дождиком, что мочит крыши города, где укрылась моя тень, главный персонаж моего собственного заката. По улице проходит с блеянием стадо. А исповедника все не видать. И этот осенний свет, хотя стоит май, отвлекает меня от моих воспоминаний о Сияющих Островах, где —

возможно оттого, что я не вез священника на своих кораблях, возможно оттого, что никогда не собирался наставлять или обращать кого бы то ни было,— меня ожидал Демон, чтоб помочь мне попасться во все сети, какие он мне расставил. И свидетельство о том, как я в них попадал, находится здесь, в этих черновиках рассказа о моих путешествиях, которые лежат у меня под подушкой и которые я достаю сейчас оттуда дрожащей рукой — словно боясь самого себя,— чтоб перечесть то, что в эти последние минуты кажется мне обширным Реестром Обманов, и я так и скажу моему исповеднику, который так медлит явиться ко мне. Реестр Обманов, открывающийся 13 октября словом ЗОЛОТО. Ибо в ту субботу вернулся я на только что открытый остров с намерением разглядеть, что можно из него извлечь, кроме попугаев,— а мы уж не знали, куда деваться от стольких моточков хлопка и стольких попугаев, которые нам все палубы загадили белым таким, дрянномолочным,— как вдруг я заметил, к крайнему моему изумлению, что некоторые индейцы (мы будем называть их *индейцами*, поскольку находимся, по всей вероятности, у первого природного форпоста каких-то Западных Индий) носили кусочки золота в носу, наподобие подвесок. Я сказал себе: ЗОЛОТО. Увидев такое чудо, я почувствовал словно толчок изнутри. Алчность, никогда мною не испытанная, зарождалась где-то у меня внутри. Руки мои дрожали. Взбудораженный, весь в поту, как с цепи сорвавшись, я безудержно жестикулировал, наступая на этих людей с немыми вопросами, пытаясь выведать, откуда это золото, как они его достают, где оно залегает, как его добывают, как выделывают, поскольку у них, как видно, нет ни орудий, ни тигеля. И я трогал металл, взвешивал на руке, пробовал на зуб и обтирал платком слюну, чтоб подставить солнцу, рассмотреть в свете солнца, заставить блестеть в свете солнца, тянул к себе, придерживая ладонью, разглядывал еще и еще, чтоб убедиться, что это золото, золото самородное, золото настоящее — золото чистое. И они, его обладатели, пораженные, схваченные за свои украшения, как вол — за кольцо в носу, толкаемые и теребимые, показали под моим натиском, что дальше к Югу есть другой остров, где есть Великий Царь, а у него — огромные сосуды, полные золота. И что у этого народа есть не только золото, но и драгоценные камни. Это, по описаниям, походило скорее на Сипанго, чем на Винланд. И поэтому, движимый Злым Духом, который внезапно поселился у меня в душе, и перейдя к насилию, я велел взять в плен семерых из этих людей, которых мы ударами бича загнали в трюмы, не обращая внимания на их вопли, и жалобы, и на сопротивление тех из них, кому я стал угрожать мечом,— а они знали, раз потрогав один из наших мечей, что мечи секут сильно и открывают на теле кровавые борозды... Мы снова вышли в море, в Воскресенье, День Господень, не разжалобясь слезами пленников, которых мы привязали на носу корабля, чтоб они указывали нам путь. И начиная с этого дня слово ЗОЛОТО будет повторяться особенно часто, как бесовское наваждение, в моих Докладах, Дневниках и Письмах. Только мало золота оказалось на островках, какие мы теперь открывали, всегда населенных мужчинами нагишом и женщинами, единственной одеждой которых были — как я отписал Их Королевским Высочествам — «кусочки ткани, что скудно укрывали самую их натуру», натуру, на которую, к слову сказать, частенько у меня глаза разгорались, как, впрочем, и у моих испанцев, у них-то уж так разгорались, что пришлось мне пригрозить им карой, в случае если в том выпукло заметном возбуждении, в каком они находились, они дадут увлечь себя какому-нибудь порыву похоти. Я удерживаюсь, так пусть и они удерживаются! Мы сюда прибыли не девок валить, а искать золото, то золото, что уже выказывалось, что уже представало взору на каждом острове; золото, что станет впредь нашим рулевым, главным компасом наших хождений. И чтоб нас охот-

нее направили верным курсом золота, мы продолжали щедро раздавать красные береты, бубенчики соколиной охоты и прочую дрянь — как гордо хвастал я позднее перед своими Королями неравным этим обменом!— которая медяка не стоила, хоть мы и получили за нее много кусочков боготворимого металла, что так и сверкал, так и сверкал... Но я не довольствовался более золотом, висящим в носу и в ушах, потому что теперь мне рассказали об обширной земле, называемой то ли Кобла, как песенка-копла, то ли Куба, где вот, кажется, и правда есть золото и даже пряности; и к ней мы направились, как пришло Воскресенье, Господень День.

Я был искрен, когда писал, что эта земля показалась мне самой прекрасной из всех, какие видел глаз человечий. Она была крепка, высока, надежна, разнообразна, словно изваяна из глубин, более зеленым-зелена, более пространна, с пальмами, уходящими более вверх, с ручьями более полноводными, с вершинами более вышними, с теснинами более тесными, чем все виденное доселе на островах, что были для меня, признаюсь, словно сумасшедшие острова, странствующие, лунатические, чуждые картам и понятиям, на которых я вскормлен. Надобно было описать новую эту землю. Но, приступив к этому, я оказался охвачен растерянностью человека, вынужденного именовать вещи, совершенно отличные от всех известных, — вещи, какие должны иметь имя, ибо ничто безымянное не может быть представлено людьми, но имена эти были мною незнаемы, и не был я новым Адамом, избранным своим Создателем, чтоб давать имена вещам. Я мог бы выдумать слова, конечно; но слово само *не показывает вещь,* если вещь эта неизвестна была заранее. Чтоб увидеть стол, когда кто-то скажет *стол,* необходимо, чтоб была в слушающем *идея — стол,* со своими соответствующими атрибутами *столовства.* Но здесь, пред великолепным пейзажем, который расстилался предо мною, только лишь слово *пальма* имело силу изображения, ибо пальмы есть в Африке, пальмы — хоть и не такие, как тут, — есть во многих местах, и потому слово *пальма* сопутствуемо зримым образом — и особенно для тех, кто знает по своей религии, что означает Воскресенье Ветвей, Вербное Воскресенье, названное по пальмовым или вербным ветвям, какими народ встречал Христа. В воскресный день прибыли мы сюда, и мое описательное перо замерло при попытке сдвинуться с места после шести букв *пальмы.* Быть может, ритор, владеющий кастильским свободнее, чем я, поэт, быть может, употребляющий сравнения и метафоры, пошли бы дальше, сумев описать то, что я описать не мог,— все эти деревья с перепутанной листвой, чьи очертанья были мне неизвестны; вот это, чьи листья с изнанки серые, с лица зеленые, а когда падают и сохнут, скрючиваются круто, как рука, ищущая, за что ухватиться; а вот другое, красноватое, чей ствол сбрасывает прозрачные чешуйки, как змеи, меняющие кожу; а вон там еще одно, одинокое и огромное, посреди небольшой равнины, со своими ветвями, что тянутся от него горизонтально во все стороны, словно капителью, вверху толстого ствола, ощетиненного шипами, являющее вид важный, как ростральная колонна... И плоды: вот этот с бурой кожурой и алой мякотью, чье семя словно выточено из красного дерева; и другой, с фиолетовой пульпой, чьи косточки заключены в студенистые облатки; тот крупнее, этот мельче, ни один не похож на соседа, с плотью белой, душистой, кисловатой и сладковатой, всегда свежие и сочные в нестерпимом зное полудня... Все ново, странно, влекуще, несмотря на свою странность; но ничего особенно полезного до сего дня. Ни Дон Мускат, ни Дон Перец, ни Донья Корица, ни Дон Кардамон что-то ниоткуда не показывались. Что же касается золота, то ведь говорили, его здесь много. И мне казалось, что уж пора объявиться божественному металлу, ибо теперь, когда доказано было его присутствие на этих островах, новая проблема обрушилась на меня: три мои каравеллы означали долг в

два миллиона. Не очень тревожил меня миллион банкира Сантанхеля, поскольку короли платят свои долги как могут и когда могут, а что касается драгоценностей Колумбы, то это были драгоценности, извлеченные со дна ларца, и очень хитро поступила она, умевшая, когда захочет, быть смелее любого мужчины, не выкупая их до сих пор, а тем более в дни, когда евреи собирали свои пожитки. Но оставался второй миллион: тот, что дали генуэзцы из Севильи, которые меня со свету сживут, если я вернусь отсюда с пустыми руками... Поэтому дадим время самому времени: «*Сия земля есть самая прекрасная из всех, какие видел глаз человечий...*»— и так станем продолжать, настроясь на стиль эпиталамы. Что ж касается пейзажа, то я зря ломаю себе голову: скажу, что голубые горы, что видятся вдалеке,— совсем как горы Сицилии, хотя они ни капельки не похожи на горы Сицилии; что травы столь же высоки, как травы Андалусии в апреле и мае, хотя здесь ничто не похоже на что-либо андалусское. Скажу, что поют соловьи там, где посвистывают какие-то серые птички, с клювом длинным и черным, скорей уж похожие на воробьев. Буду говорить о полях Кастилии здесь, где ничто, ну, просто ничто не напоминает поля Кастилии. Я не видел растений, дающих пряности, но предскажу, что здесь обязательно обнаружатся пряности. Буду говорить о *золотых месторождениях* там, где не слыхал ни об одном. Буду говорить о жемчужинах, о множестве жемчужин, потому лишь, что видел несколько съедобных ракушек, «указующих на их присутствие». Одно только я сказал как есть: что здесь собаки, сдается, не лают. Но собаками, которые даже не умеют лаять, я не смогу выплатить миллион, который должен проклятым генуэзцам из Севильи, способным родную мать сослать на галеры за долг в какие-нибудь пятьдесят мараведи. И самое плохое, что я не имею ни малейшего представления, где мы находимся; эта земля по имени Кобла, или Куба, одинаково может оказаться как южной оконечностью Винланда, так и западным побережьем Сипанго — не забудем к тому же, что Индий три. Я считаю, что это континент, твердая земля бескрайной протяженности. Хуан де ла Коса всегда другого мнения, ибо достаточно мне что-нибудь сказать, как он уже против, уверяет, что это остров. Не знаю, что и думать. Но я говорю, что это континент — и довольно. Я — Адмирал и знаю, что говорю. Другой советует измерить его округлость, и я говорю, что раз нет острова, нет и округлостей. И к дьяволу... Хватит!.. Я снова беру перо и продолжаю составлять мой Реестр Добрых Новостей, мой Каталог Блистательных Предвидений. Я ручаюсь — самому себе ручаюсь,— что очень скоро предстанет мне Великий Хан своей собственной персоной (эти слова *Великий Хан* звучат, как звон золота, золота в порошке, золота в слитках, золота в сундуках, золота в бочках — сладкая музыка золота чеканного, падающего подпрыгивая на стол банкира, небесная музыка...).

Вскоре я убедился, что не на этой земле Кубы предстанет мне своей собственной бесстрастной и величественной персоной Великий Хан. Я отправил двух умелых гонцов разузнать, не высятся ли поблизости стены какого-либо города или крупной крепости (то были Луис де Торрес, который, как я уже сообщал, говорит по-еврейски, по-арабски и по-халдейски, и Родриго де Херес, который знает несколько африканских диалектов), и оба возвратились с вестью, что наткнулись лишь на одно селеньице из нескольких хижин, где индейцы во всем схожи с теми, которых мы видели до сих пор. Они не нашли примет того, чтоб здесь было золото. Показали этим людям горсточки гвоздики и корицы, что я дал для образца, но никто, казалось, не знал подобных пряностей. Так что ускользало от меня и на сей раз златозарное царство Сипанго. Но я не хотел поддаваться

страху пред перспективой продолжать плавание вслепую по неизведанным путям, укрепляя свой дух мыслью, что позади остались два острова, мною окрещенные, мною вписанные в географию мира, раз уж вышли из темноты, где держали их варварские языки, чьими словами обозначили их туземные жители, получив величественное имя Санта-Мария-де-ла-Консепсьон и другое имя, отрадное, отраднейшее для меня,— Изабелла. И надеясь невольно, что летопись моего путешествия будет прочтена когда-нибудь моей владычицей, я усердствовал, описывая — как никогда потом не поступал ни с одной местностью — великолепие пышных рощ и ярко-зеленых растений, напоминавшее мне (...кто надо, поймет) о блаженстве апрельских дней в Андалусии, с их усладительным ароматом, с благоуханием их плодов, и (...кто надо, поймет опять-таки) «*пенье пти́чек*», такое чарующее, что «*никогда б отсюда не удалялся*»... Но теперь, исследовав немного берега этой Кубы, я должен был идти дальше в поисках Золота. Из семи индейцев, захваченных нами на первом острове, двое у нас убежали. А тех, кто нам оставался, я обманывал (продолжались обманы), отрицая, что у меня есть намерение увезти их в Испанию, чтоб показать при дворе, и напротив, уверяя, что они будут доставлены мною на свою Землю, как только я найду побольше золота. Так как наша пища вызывала у них отвращение — ни вяленого мяса, ни сыра, ни сухарей они не хотели и пробовать, принимая только лишь рыбу, вытащенную из моря у них на глазах, да и ту не желали есть жаренной на нашем масле, достаточно прогорклом, но исключительно печеной на угольях,— то я их научил пить красное вино, которое мы везли с собой в таком изобилии, что наши провиантщики удивлялись, когда я велел таскать в трюмы все эти бесчисленные бочки. С недоверием вначале, ибо, кажется, думали, что это кровь, пленники, однако, пристрастились к напитку, едва лишь познали его действие, и теперь каждую минуту протягивали нам большой кувшин, который мы им дали, прося еще и еще. Правда в том, что они были у меня всегда пьяны, и днем, и ночью, потому что так переставали стонать и жаловаться, уверяя меня, когда вино развязывало им язык, что мы находимся очень близко от золота, что скоро мы наткнемся на золото, не только на золото в пластинах, но и на полумаски, украшенные золотом, нагрудники с золотым узором, короны, статуи — на залежь, большую залежь, великую залежь, где можно найти столько золота, что мне не хватит трех кораблей, чтоб погрузить его. Хуан де ла Коса, который снова окружил себя кликой басков, чей язык я не понимал, и галисийцев, замкнутых и ропотливых, уверял на своих ночных сборах — всегда находился, кто мне о том расскажет,— что индейцы эти меня обманывали, что они рисовали мне золотые миражи, чтоб усыпить мои подозрения и, отвлекши меня от надзора за ними, найти случай сбежать, как те двое. Но мы следовали вперед, все вперед, огибая теперь большую и прекрасную землю Аити́, или Гаити, которой я за испанскую красоту дал имя Испаньола, вернее, *Эспаньола* — я себя понимаю,— думая, что, если доведется заложить здесь город, я назову его *Изабелла*. Но во второй раз постигло меня там огромное разочарованье, ибо ничто увиденное в новообретенной земле не указывало на то, что мы приближаемся к Сипанго или провинции, управляемой хотя бы князем-данником Великого Хана. Ибо теперь я действительно встречал царей — или царьков,— которых здесь называли *касики*. Но ходили эти цари нагишом (кто может вообразить подобную вещь!), а при них царицы с голыми титьками, и чтоб прикрыть то, что усердней всего скрывает женщина,— тряпица величиною с кружевной платочек, из тех, что любят карлицы, каких в Кастилии держат в замках для забавы и присмотра за инфантами и девочками знатных родов. (Монаршие дворы, где монархи — в чем мать родила! Непостижная вещь для того, пред чьим взором слово «двор» немедля рисует укрепленные зам-

ки, герольдов, митры и бархаты с пурпурами, напоминающими римские: *Нерон со скалы Тарпейской... смотрит, как Рим пылает...*— как сказано в испанском народном романсе.) И перед этими монархами, если только можно назвать монархом того, кто ходит, едва прикрыв стыд, производил я мои обычные церемонии: подымал знамя моих христианских королей, срезал несколько ветвей и листьев моим мечом, возглашал три раза подряд, что беру во владенье эту землю именем Их Королевских Высочеств, будучи готов — добавлял я — ответить своею сталью тому, кто меня на то вызовет, и все это свидетельствовал и удостоверял письменно Родригес де Эскобедо; но самое ужасное, в сущности, было в том, что после моих коленопреклонений, возглашений и высокомерных вызовов противникам, которые никогда и ниоткуда не появлялись, все оставалось равно как было. Ведь для того, чтоб взять во владение любую территорию на свете, надобно победить какого-то врага, подчинить какого-то суверена, покорить какой-то народ, получить ключи от какого-то города, принять от кого-то клятву в повиновении. Но здесь ничего подобного не происходило. Ничто не менялось. Никто не сражался. Никто, кажется, не замечал особенно наших церемоний, актов и возглашений. Казалось, они говорили друг другу — и порою с досадным смехом: *«Ну да, ну да, мы не против. По нас так пусть... продолжают!»* Дарили нам попугаев — и нам уж тошно было от стольких попугаев, зеленых, маленьких, с хитрыми глазками, которые никогда не выучат хоть слова на нашем языке! — столько клубков пряжи, что мы не знали уже, где их держать, иногда какой-нибудь кувшинчик весьма грубой выработки, а потом надевали наши красные береты, встряхивали колокольчиками и бубенчиками и, сильно всем этим забавляясь, разражались хохотом, хлопая себя по животам. И я вступал во владение их землями без того, чтоб они об этом хоть как-то догадались, и в особенности без того, чтоб это *вступление во владение* от имени...— и так далее, и так далее, и так далее (всегдашняя история!..) — принесло мне особые блага. (И я возвращался на свой корабль в лодке, медленно проплывавшей над коралловыми мелями, которые под изменчивым солнцем представали мне потонувшим миражем, где все казалось другим, и можно было подумать, глядя на подобную игру цветов, что в ней волшебно сочетали свои отблески изумруд и адамант, астерикс и хризопраз Индий, селенит Персии и даже линкурий, который, как известно, родится из мочи рыси — lynx по-латыни,— и драконит, который извлекают из мозга дракона... Но только «можно было подумать», ибо если погрузишь руку и ухватишь что-нибудь, то раскровянишь пальцы без всякой пользы, вытащив что-то, что, подсохнув, обернется чем-то похожим на кусочек гнилой ветки... И то, что считалось великолепной хризоколлой из азиатских земель, где муравьи сами извлекают золото из почвы, выходило тебе, к вящей твоей досаде, «кривоколом»— и пусть мне простят неудачную шутку.)

Пять, шесть, семь *царей* этого острова явились воздать мне почести (по крайней мере я истолковал это так, хотя проклятые баски Хуана де ла Косы сказали, что они пришли только поглазеть на меня...) — цари из обычных здесь, цари, которые, вместо того чтоб блистать имперским пурпуром, имели на себе как единственное украшение жалкую тряпицу — стыд прикрыть. И эта процессия голых «величеств» заставляла меня предположить, что очень мы еще далеко от сказочного Сипанго из итальянских хроник. Ибо там на всех дворцах — крыши из золота, и в собраниях, где все сияет золотом и драгоценными каменьями, христианские послы принимаемы Властителями, закованными в латы из золота, окруженными советниками и министрами в золотых туниках, и во время пиршеств, где яства расставлены на золотых скатертях, появляются павлины, чтоб танцевать павану под мелодические звуки инструментов, и прирученные львы —

вроде того, что собачонкой ходил за святым Иеронимом,— которые так церемонно кланяются, и обезьяны-акробатки, и сладкоголосые птицы, заливающиеся трелью по приказу хозяина, в то время как — чудо, описанное Марко Поло и Одерико из Порденоне,— чаши с вином перелетают, словно голуби, из рук Главного Дворецкого на пиршественный стол, без того чтоб пролилась хоть одна капля напитка; и те чаши — из золота, разумеется. Из золота, ибо все из золота в той стране чудес, которую я искал со щемящим чувством, что я удаляюсь от нее с каждым днем пути. Быть может, если б от Кубы я плыл более к Югу или, возможно, более к Северу от Изабеллы... А теперь еще эти мошенники-индейцы, которые лишь сбивают меня с толку: те, что с Эспаньолы, возможно, чтоб отдалить меня от залежей золота, мне говорили все, что вон туда, что дальше, что далёко, но не так далёко, что «горячо, горячо, горячо», как в игре в «пряталки»...— почти уж я у цели, подстрекая меня продолжать плавание; индейцы, которых мы держим в плену, напротив, вероятно, из страха удалиться слишком от своих островков, говорили мне, что, следуя таким советам, я прибуду в земли каннибалов, у которых всего один глаз на собачьей голове — чудища, питающиеся человечьим мясом и кровью. Но со всем тем я так ничего и не узнал о бесценном сокровище, какого искал. Ибо, хотя на этой Эспаньоле было, казалось, гораздо больше золота, чем на Кубе, судя по украшениям здешних касиков и по тем кусочкам, что нам дарили, но жила, Матерая Жила, залежь, Большая Залежь — залежь, столь часто поминаемая и припоминаемая венецианскими путешественниками,— не обнаруживалась нигде. И эта залежь, Большая Залежь, Великая Залежь, сделалась для меня словно дьявольским наваждением... И теперь, когда смерть уже кружит возле в ожидании исповедника, который слишком медлит прийти, я просматриваю желтые, еще пахнущие далекими селитрами страницы черновика Повествования о моем Первом Плавании и чувствую досаду, раскаяние, стыд, видя слово ЗОЛОТО, столько раз повторенное здесь. И особенно теперь, когда в ожидании смерти я облекся в одеяние низшего сана францисканцев, бедных из приятия бедности, из долга быть бедными, обрученных, как святой Франциск Ассизский, с *Донной Бедностью* — Donna Povertà... Словно какая порча, испарение ада запачкали этот манускрипт, где скорее, кажется, описаны поиски Земли Золотого Тельца, чем поиски Земли Обетованной для искупления миллионов душ, поверженных в смрадный мрак идолопоклонства. Я начинаю возмущаться самим собою, видя, к примеру, что в день 24 декабря, когда мне как францисканцу надлежало размышлять о Божественном Грядении Рождества Христова, я ставлю пять раз слово ЗОЛОТО в десяти строках, которые словно взяты из черной книги алхимика. Два дня спустя в день Стефана Первомученика вместо того, чтоб думать о его святоподвижнической смерти — под градом дорожных камней, более драгоценных, чем любое золото,— первого мученика религии, крест которой красуется на наших парусах, я пишу двенадцать раз слово ЗОЛОТО в том месте рассказа, где упоминается всего один раз имя Господа — и то чтоб не изменить привычному обороту речи. Ибо упоминание только четырнадцать раз имени Всевышнего становится лишь привычным оборотом речи в обширном повествовании, где ЗОЛОТО упоминается более двухсот раз. И даже так, «Господь» употребляется почти — я теперь с ужасом признаю это — как формула вежливости, вроде «господин», сопровождающая имена Их Королевских Высочеств в льстивых речах, или как умилостивительный заговор — «благодаренье Богу», «по милости Божьей»...— и это когда не говорю с фальшивой набожностью, отдающей запахом серы и дьяволова копыта, что «*Господь укажет мне, где родится ЗОЛОТО*». И таким вот образом один только раз — в одно 12 декабря — я начертал как должно в своем тексте имя Иисуса Христа.

Кроме этого дня, когда я весьма редко вспоминаю, что я христианин, то призываю *Бога* и *Господа* в такой манере, которая обнажает подлинное нутро человека, чей дух воспитан скорее на Ветхом Завете, чем на Евангелиях, и более привержен порывам гнева и милости полководца, Господина Сражений, чем самарянским притчам, в этом путешествии, где, по правде говоря, ни Матфея, ни Марка, ни Луки, ни Иоанна с нами нету. Оставленные в Испании святые книги не пересекли моря-океана, не пристали к новым берегам, где и не было сделано попытки ни окрестить кого-либо, ни спасти души, печально обреченные по неведению умереть, не узнав значения Креста, что сделан из двух деревяшек, обструганных и скрепленных плотниками, и установлен испанцами в разных местах новооткрытых земель. Евангелия, повторяю, остались дома, так и не будучи брошены войском священных стихов против религий, здесь бытующих,— хоть я и поостерегся говорить о последних,— чье присутствие замечаю в грубых скульптурах человечьего образа, которые, поскольку просто вырублены из камня, я оставил где стояли, не задавая лишних вопросов... Здесь, в этих моих бумагах, я говорил только лишь, не считая одного раза, о *Господе,* который вполне мог быть богом Авраама или Иакова, тем, что призывал Моисея голосом горящего тернового куста,— о *Господе,* предшествующем его собственному Воплощению, с полным забвением Святого Духа, отсутствующего в моих записках еще решительней, чем Магомет... Осознавая это теперь, в час, когда слабый шум дождя приглушает поступь мулов, вереницей проходящих по улице с грузом оливкового масла и кислого вина, я вздрагиваю от ужаса... Переворачиваю страницы моего черновика, отыскивая, отыскивая, отыскивая... Но нет, нет, нет. Не все было забвеньем Воплощения на этих страницах, ибо, назвав первый остров, открытый мною 15 октября, «остров Санта-Мария-де-ла-Консепсьон» в память о непорочном зачатии, отпраздновав выстрелами из бомбард — 18 декабря — день другой святой, как-то в день 14 февраля, уже на обратном пути, я доказал, что признаю Божественную Власть Пречистой, почитаемой всеми без исключения матросами-христианами. Страшно даже вспомнить ту ночь, когда усилился ветер и волны поднялись чудовищные, наталкиваясь одна на другую, *«которые захлестывали и задерживали корабль, так что он не мог ни продвинуться вперед, ни выйти из их плена».* В разгар бури у нас потерялась каравелла Мартина Алонсо, что само по себе — в этом я исповедуюсь, да, обязательно должен исповедаться — не особенно тогда меня огорчило, ибо давно уж этот чванливый капитан не покорствовал, не повинуясь моим приказам с таким оскорбительным самоволием, что несколько раньше, когда мы плыли вдоль берега Эспаньолы, он у меня пропал на несколько дней, ища золото самостоятельно, в сообществе с другими смутьянами из его непокорной и ропотливой банды, всегда науськиваемой на меня Хуаном де ла Косой и другим зловредным трутнем — Висенте Яньесом... (Ах, испанцы, испанцы, испанцы... вы у меня уже вот где сидите с этой своей склонностью откалываться, разделяться, образовывать группы вечно несогласных!..) Так что тою ночью были мы во власти такой ужасной бури, что, думая, что корабли будут поглощены пучиною, приписал я подобное бедствие — и здесь это говорю — *«моей слабой вере и умалению надежды на Промысл Божий».* И вот тогда — только тогда! — прибег я к верховному заступничеству Пречистой, в чьих недрах, как сказал Августин, «Бог стал Сыном в образе Человека». Выбрав по жребию тех, кто должен совершить паломничество, мы дали обет Гваделупской Божьей Матери принести к ней на алтарь пятифунтовую восковую свечу; такой же обет был дан Лоретской Божьей Матери, которая находится в Анконской марке, близко от Папы; а Святой Кларе из Могера дан был обет бдеть всю ночь напролет и заказать молебен. И еще мы все как один дали обет, что,

пристав к первому же берегу, пойдем в рубище процессией молиться в любую церковь, посвященную Матери Божьей... Свершив это, я написал кратчайшее сообщение о моем путешествии, предназначенное Их Королевским Высочествам, закупорил в бочонок и велел бросить в море на случай, если корабли затонут. И к вящей досаде и боли моей, во время этой ужасной бури нашлись смутьяны, говорившие, что если мы пойдем ко дну, то потому лишь, что с малым моим опытом в морских делах я позабыл нагрузить балластом корабли, как положено, не подумав о том, что теперь возвращаются пустыми бочки, в начале плавания груженные вяленым мясом, солониной, мукой, винами — всем, что давно уж съедено и выпито. И поскольку последнее было печальной истиной, я принял унижение как кару, налагаемую на меня за малую веру мою, но был злорадно доволен и ничего не мог с собой поделать, что негодяй Мартин Алонсо заблудился в этой страшной ночи и не сможет свидетельствовать против меня, если мы все-таки спасемся из когтей разбушевавшейся стихии... (Мартина Алонсо, унесенного ветром, прибило к берегам Галисии, откуда он написал Королям письмо, полное низостей; но угодно было Провидению, чтоб он испустил дух, когда направлялся ко двору, чтоб погребсти меня под тяжестью своих клевет. Пусть сгорит в адском пламени душа подобного мерзавца!..) Что же касается меня — и это новое бремя на совести моей в часы последнего испытания,— то не припомню, нет, не припомню — но это, быть может, от угасания слабеющей моей памяти,— чтоб я выполнил обет, данный Гваделупской Божьей Матери, ибо многие занятия, задачи и внезапности отвели мои шаги, отвлекли мой дух, как только я вернулся... И я думаю теперь, что непростительному этому проступку обязан я многими муками, какие предстояло мне принять в будущем.

Благодареньями и восторгами, знаменами и колоколами, приветствиями с крыш и возгласами с балконов, звуками органов, трубами герольдов, шумом Крестного Хода, визгом флейт, цевниц и свирелей встретила меня несравненная Севилья как державного победителя по окончании долгой войны, во всем великолепии своего апрельского света. И после празднеств и развлечений, пиров и танцев дошла до меня лучшая из наград — письмо Их Королевских Высочеств, приглашающее меня ко двору, который в ту пору находился в Барселоне, и, что было для меня еще важнее, торопящее меня начать приготовления, прямо с этой минуты, к новой экспедиции в земли, открытые мною. Даже Цезарь, въезжающий в Рим на своей триумфальной колеснице, не мог бы чувствовать себя более гордо, чем я сейчас! За всем этим, читая между строк, я угадывал удовлетворение и похвалу Кого-то, кто, увидя меня героем новой эпической поэмы, считал мой успех в какой-то мере залогом любви, завоеванным в битвах рыцарем без страха и упрека, чтоб положить к ногам своей Дамы... В нетерпении увидеть ее вновь я поспешил пуститься в дорогу, с ящиками, полными трофеев, с попугаями, сколько их пока выжило — немножко охриплыми и облезлыми после долгого путешествия, приходится признать...— и, самое важное, с моей стайкой индейцев. Но должен сказать, что последние, с укором, застывшим в глазах, были единственной тучей — мрачной тучей,— наводящей темную тень на широкое небо, сызнова распахнувшееся предо мною, и теперь уже, верно, к Закату. Ибо из десятерых, доставленных мною пленными, трое были близки к смерти, причем у здешних врачевателей не нашлось средств помочь людям, которые от малейшей простуды, какую мы лечим настоями, клистирами, банками и примочками, сваливались почти замертво, прощаясь с жизнью в агонии жара и лихорадки. Было очевидно, что и для моей троицы после часа аптекаря уже близился зловещий Час Плотника. Что же касается остальных, то они, видно, вступили на тот же путь, хотя лица их и оживлялись еще

чуточку, когда я подносил им добрый кувшин вина, о чем я заботился с утра до ночи. И пусть не говорят мне, что я их поил часто, чтоб они были всегда пьяны — а вообще-то они так лучше переносили неизбежные страданья людей, оторванных от своего корня,— но дело в том, что их содержание становилось трудной задачей. Начнем с того, что козье и коровье молоко представлялось им питьем самым тошнотворным, какое может попробовать человек, и они изумлялись, как это мы глотаем этот сок животных, годный лишь, чтоб выкармливать животных же, которые, кроме того, внушали им брезгливое чувство, и даже, я бы сказал, они испытывали страх перед этими созданиями с рогами и выменем, никогда не виденными ранее, поскольку не паслось никакого скота на их островах. Отказывались они и от вяленого мяса, и от соленой рыбы. Испытывали отвращение к нашим фруктам. Выплевывали, как несъедобные, капусту и репу и отворачивались от самого сочного рагу с овощами. Нравился им только горох, потому что был похож, хоть и мало,— говорил мне Диегито, единственный из всех них, кто сумел заучить несколько наших слов — на тот *маис* из их земель, какого я мог привезти полные мешки, но каким всегда пренебрегал, считая, что эта пища не пригодна для цивилизованных людей и хороша разве что для кормления свиней и ослов. Вот потому-то и думал я, что вино, поскольку они уж так к нему пристрастились, могло выручить их в этом упорном посту, придав им сил для нового путешествия, какое их теперь ожидало. Но неясно обстояло с одеждой, в какой должны они были предстать пред Суверенами. Не мог я показать их почти безо всего, как существовали они среди своей народности, из почтения к Их Величествам. Но если я одену их на наш манер, то они не слишком-то будут отличаться от некоторых андалусцев со смуглой кожей или христиан в помеси с маврами, каких немало сейчас в королевствах Испании. Случайно повстречался мне в таком затруднении один еврейский портной, с которым я познакомился когда-то у ворот еврейского квартала в Лиссабоне, где у него была мастерская, и который теперь, превратившись из обрезанца в генуэзца — как столько других! — находился в городе. Он посоветовал, чтоб я нарядил их в красные штаны, расшитые золотой нитью («Вот... Вот...» — сказал я), широкие рубахи, слегка распахнутые на груди, которая была у них гладкой и безволосой, и чтоб головы их венчали подобия тиар, тоже расшитые золотом («Вот... Вот...— сказал я.— Пускай блестит золото») и украшенные яркими перьями — неважно, если от птиц, что не водятся на тех островах,— которые красиво спадали бы, словно растут на затылке, на их черные гривы, порядочно отросшие за время путешествия, и которые, честно говоря, неплохо бы помыть и почистить скребницей, как лошадям, чтоб они стали шелковыми в день представления ко двору.

И вот пришел этот день. День праздника по всей Барселоне. Как фокусник, въезжающий в замок, чтоб поразить увлекательным зрелищем, вошел я во дворец, где меня ждали, со своей обширной труппой Театра Чудес из далеких Индий, чтоб дать спектакль — первый спектакль такого рода, представленный на большой сцене мира,— с труппой, что осталась в приемном зале, выстроенная в строгом порядке несколько дней назад мною, проводившим репетиции и распределявшим роли. Со свитой герольдов и привратников вошел я в королевский покой, где пребывали Их Величества, медленно, торжественно, шагом победителя, не теряя спокойствия и не очаровываясь пышностью убранства и аплодисментами, приветствовавшими меня,— среди каких особенно приятно звучали для меня приветствия стольких раскаявшихся сейчас, что прежде были моими врагами. Моим компасом и маяком в этом проходе по алому ковру, ведущему прямо к королевскому трону, было лицо моей повелительницы, освещенное в этот миг самой обаятельной улыбкой. После того как я

поцеловал царственные руки, она меня усадила — меня, чудака-генуэзца, генуэзца темных корней и родословной, что мне одному лишь ведома...— между Кастилией и Арагоном, и тут снова распахнулись настежь главные двери входа, и, несомые над головами людей, появились Трофеи. На широких серебряных подносах — очень широких, чтоб образцы казались более многочисленны,— ЗОЛОТО: золото в неочищенных кусках, величиною почти с ладонь; золото в тоненьких полумасках; золото в фигурках, служивших, безусловно, какому-нибудь идолопоклонству, о чем я пока благоразумно умалчивал; золото в бусинках, золото в зернах, золото в мелких пластинках — не столько золота, по правде, как мне бы хотелось; золото, которого мне казалось мало, вдруг показалось очень мало рядом с украшениями, гербами и шитьем, какие меня окружали, рядом с золотистыми тканями, жезлами жезлоносцев, золотым узором балдахина,— мало золота, в общем. Первые крупицы золота, по которым можно предугадать, что за этим первым золотом будет еще золото, еще золото, еще золото... Но теперь входили индейцы — когда я издал посвист не то львиного сторожа, не то галерного пристава, посредством которого заставлял их сделать то или это...— неся в руках, на плечах и предплечьях всех попугаев, какие у меня выжили, а их было больше двадцати, страшно беспокойных на сей раз из-за движенья и голосов в толпе присутствующих и еще более потому, что перед выходом моего кортежа Заокеанских Чудес я дал им много мякиша, намоченного в красном вине, из-за чего они пришли в такое возбуждение, что я испугался, как бы они вдруг не заговорили и не стали повторять скверные слова, каких наверняка наслышались на борту моих кораблей и в последние дни нашего пребывания в Севилье. И когда индейцы опустились на колени перед Их Величествами, плачущие и стенящие, испуганные и дрожащие (прося, чтоб их освободили от рабства, в какое я их поверг, и чтоб их вернули в их земли, хоть я объяснил, что они взволнованы и дрожат от счастья быть простерты у трона Испании...), вошли несколько моих моряков, неся змеиные и ящерные кожи невиданной здесь величины, не считая ветвей, сухих листьев, увядших цветов, какие я показал как образцы драгоценных пряностей, хоть никто не взглянул на них, так заняты все были простертыми индейцами — которые всё плакали и стонали — и зелеными их попугаями, которые уже начали вырыгать на алую королевскую дорожку все вино, какое проглотили. Видя, что спектакль мой грозит провалиться, я велел вывести индейцев с их птицами и матросов с их растениями и, встав лицом к Их Величествам и вполоборота к блистательному сборищу, наполнявшему залу,— где стояла, кстати сказать, удушающая жара, отягченная запахом пота от пропотелых шелков, бархатов и атласов,— начал говорить. Медленно приступил я к рассказу о превратностях нашего путешествия, о прибытии в Индии, о встрече с их обитателями. Я припомнил, чтоб описать новые области, наиболее прославленные красоты областей Испании, прелесть — я знаю почему — полей Кордовы, хоть я, конечно, переборщил, когда уподобил горы Эспаньолы высотам вулкана Тейде на Канарских островах. Я рассказал, как видел трех сирен, однажды 9 января в месте, где очень много черепах,— уродливых сирен, по совести сказать, с мужеподобными лицами, не таких грациозных, сладкопевных и шаловливых, как те, что наблюдал я близко, подобно Одиссею (чудовищная ложь!) у берегов Малагетты, в Гвинее. И поскольку важно начать говорить, а дальше само говорится, то мало-помалу, все шире поводя рукою, отступая на шаг, чтоб придать полноту звучания моим словам, я все более воодушевлялся, и, слушая собственную зажигательную речь словно со стороны, я стал сыпать лучезарными именами самих лучезарных областей истории и легенды. Все, что могло сиять, сверкать, пылать, искриться, блистать, подняться до фантастических видений пророка, приходило мне на язык, словно

толкаемое изнутри дьявольскою силой. Внезапно остров Эспаньола, преображенный мелодией моего духа, перестал походить на Кастилию и Андалусию, вырос, расширился, поднялся до легендарных высот Тарса, Офира и Офара, проложив границу, наконец найденную— да, найденную...— волшебного царства Сипанго. И там, именно там, была изобильная залежь, известная Марко Поло, и об этом явился я принести Весть этому королевскому и всему христианскому миру. Мы достигли Золотой Колхиды, но не в языческой мифологии на сей раз, а в ощутимой реальности. И ЗОЛОТО было благородное, и ЗОЛОТО было доброе: *генуэзцы, венецианцы и все люди, у кого есть жемчуга, драгоценные каменья и прочие дорогие вещи, все везут их туда, на край света, чтоб обменять, превратить в золото; золото превыше всего; из золота создается сокровище, а имеющий его может с его помощью совершать все что ему угодно на свете и даже искупать души чистилища, чтоб ввести их в рай...* И через это мое плаванье, незабываемое мое плаванье, стало реальностью пророчество Сенеки: пришли поздние годы...

Venient annis
saecula seris quibus Oceanus
uincula rerum laxet...

Здесь я прервал стих, ибо, к досаде своей, мне показалось — быть может, я ошибся,— что Колумба, незаметно взмахнув ресницами, взглянула на меня, словно говоря: *Quousque tandem, Christoforo?..— До каких пор наконец, Христофор?...* Поэтому, проглотив свой пафос, я перешел к основному разбору. И стал я по милости Их Величеств Открывателем и Придверником новых Неожиданных Горизонтов, так что теперь округлился, приняв форму груши или женской груди сосцом кверху — я быстро поймал взгляд моей повелительницы,— тот мир, что Пьер д'Альи, знаменитый канцлер из Сорбонны и собора Парижской богоматери, увидел *почти* круглым, *почти* сферическим, проложив мост между Аристотелем и мною. Со мною пришло подтверждение писаному в Книге пророка Исаии: стала уже реальностью земля, наполненная серебром, и золотом, и сокровищами без числа, на берегах широких рек, где ходят дивные весельные суда и большие корабли. И пришел час большого Раздела Добычи в стране, где народам, живущим там, будут отпущены согрешения. Так говорил Исаия. И чрез чьи уста раздавался сейчас голос Исаии?..

Когда я закончил, я преклонил колена с благородством движений, тщательно подготовленным накануне, и преклонили колена монархи, и преклонили колена все присутствующие, задыхаясь от рыданий, в то время как кантор, и певчие, и хор мальчиков королевской капеллы разливались в самом торжественном Тедеуме, какой звучал когда-либо под этим небом. И когда небесные голоса вернулись на землю, последовал приказ, чтоб мои семеро индейцев просвещены были в христианской вере, дабы приступить, как только обретут они достаточные познанья, к их крещению. «Чтоб их не почитали за рабов,— сказала королева.— И да будут они возвращены в их землю с первым кораблем, который к ней отплывать станет...». И в эту ночь я еще раз увидел мою повелительницу в частном ее покое, где мы познали блаженство новой встречи после моего долгого и полного превратностей отсутствия,— и будь я проклят, если за долгие часы хоть раз вспомнил о каравеллах и об Индиях. Но перед рассветом, в час, когда усталые любовники, с глазами, открытыми в ночь, начинающую бледнеть, мешают слова с молчаньем, мне показалось, что Колумба, вернувшаяся к трезвому чувству реальности, какое я за ней хорошо знал, и обдумывая вновь события, не была так захвачена словами моей вчерашней речи, как я полагал. Она похвалила мой риторический стиль, кстати приведенные цитаты, изобретательность в

употреблении образов, но как-то ускользала, уклонялась, недоговаривала, когда предстояло высказать прямо и открыто суждение о важности моего предприятия. «Но в основном... что мы скажем про вчерашнее?»— спросил я, чтоб разговорить ее немного. «Если откровенно, то скажем... то скажем... что для того, чтоб привезти семерых человечков, хворых, плаксивых и с гноящимися глазками, да листья и ветки, годные разве что для окуриванья прокаженных, и столько золота, что и на дупло в зубе не хватит, не стоило тратить два миллиона мараведи».— «А престиж вашей Короны?» — вскричал я. «Престижу мы довольно имели от изгнанья евреев и отвоеванья Гранадского королевства. Высокий и законный престиж — в том, что видно, что потрогать можно, в том, что достигается законами, славными до самого Рима, и победами в битвах, остающимися в Великой Истории... Но твое, если и придаст престижу, то нескоро. До сих пор оно есть ничто как происшедшее в землях, какие мы еще и представить не можем, где ни одной битвы не выиграно, ни одного заметного триумфа не одержано, in hoc signo vinces...— *по этому знаку победишь*... так что все покуда остается мотивом для песен слепцов, небылицей, которая распухает применительно ко вкусу слушателей, как случилось с подвигами этого Карла Великого, про кого рассказывается, что он победоносно вошел в Сарагосу, унизив царя Вавилонии, когда на самом деле было так, что после вялой осады вернулся он побежденным во Францию, оставя свой тыл под командой рыцаря Рольдана, как его в наших романсах зовут, который... да ладно!.. ты сам знаешь, как это все кончилось...» — «Но я привез золото! — возопил я.— Все это видели. Там есть залежь, огромная залежь...» — «Если залежь так велика, то твои люди должны были тащить слитки, а не эти крохи, которые, как мне сказали мои ювелиры, и сотни мараведи не стоят...». Я говорил ей о невозможности в столь короткое время, что я провел *там*, предпринять настоящую работу по добыче золота; о необходимости вернуться как можно скорее, чтоб дать отчет о моем Открытии... «Я показывала привезенные растения специалисту по пряностям: там нет ни корицы, ни мускатного ореха, ни перца, ни гвоздики; значит, ты не доплыл до Индий,— сказала она.— Обманщик, как всегда».— «А куда я в таком случае доплыл?» — «В какое-то место, вовсе непохожее на область Индий».— «В этом предприятии я рисковал жизнью и поставил на карту свою честь».— «Не слишком. Не слишком. Если б ты не повстречался с этим Боцманом Якобом на Ледяном Острове, ты не отправился бы наверняка. Ты знал, что *так или иначе*, что бы ни случилось, у тебя впереди какая-то земля».— «Земля волшебных сокровищ!» — «По показанному этого не скажешь».— «Так какого дьявола вы мне тогда писали, торопя, чтоб я готовил второе плаванье?» — «Чтоб насолить Португалии,— сказала она, мирно откусывая кусочек толедского марципана.— Если мы теперь крепко там не сядем, нас опередят другие — те самые, кому ты дважды, не слишком-то заботясь о коронах Кастилии и Арагона, чуть было не продал свое предприятие. Они уже шлют послания Папе, с тем чтоб потребовать в собственность земли, которые их мореплаватели даже издали не видали».— «Так что, мое путешествие было ни к чему?» — «Я этого не говорю. Но черт возьми... как ты осложняешь нам жизнь! Теперь придется фрахтовать корабли, доставать деньги, отложить войну в Африке, чтоб водрузить наше знамя — другого выхода нет — на землях, которые, по мне, так и не Офир, и не Офар, и вовсе не Сипанго... Постарайся привезти больше золота, чем привез теперь, и жемчугов, и драгоценных каменьев, и пряностей. Тогда я поверю во многое, что пока еще пахнет обманом в твоем вкусе...» Я вышел довольно раздосадованный, сознаюсь, из королевских палат. Некоторые ее слова больно укололи меня. Но огорчение мое было уже не тем, что прежде, когда ничто не способствовало моим намерениям. Океан снова расстилался предо мною. Через короткие меся-

цы я снова познаю радость плыть под раздутыми парусами, придерживаясь к ветру, курсом, более точным и верным, чем раньше... И теперь у меня будет достаточно кораблей; теперь уже нет бунтаря Мартина Алонсо, теперь я буду командовать настоящими матросами — с моим титулом Адмирала, с моим назначением Вице-королем и с обращением «Дон» перед моим именем... Я возвратился в подвал, где индейцев била дрожь под шерстяными одеялами, а попугаи, изрыгнув остатки вина, с глазами, мутными, как у гниющей рыбы, печально лежали лапками вверх, растопырив перья, словно их метлой выколачивали. Вскорости они умерли. Подобно тому, как умерли, через несколько дней после крещения — кто от простуды, кто от кори, кто от поноса — шестеро из семерых индейцев, представленных мною пред королевский трон. От Диегито, единственного, кто мне оставался, узнал я, что эти люди нас не любили и не уважали. Они нас считали коварными, лживыми, буйными, запальчивыми, жестокими, грязными и вонючими, удивлялись, что мы никогда не моемся, тогда как они по нескольку раз в день освежали свое тело в ручейках, ключах и каскадах своей земли. Говорили, что от наших жилищ несет прогорклым салом; дерьмом — от наших узких улиц; пóтом — от наших самых блестящих рыцарей, и что если наши дамы надевают столько нарядов, корсажей, уборов и украшений, то затем, верно, что хотят скрыть уродства и язвы, делающие их мерзкими, или, может, стыдятся своих грудей, таких толстых, что так и кажется, будто они сейчас выпрыгнут из выреза платья. Наши благовония и ароматы — включая ладан — заставляли их чихать; они задыхались в наших тесных комнатах, и наши церкви казались им местом ужаса и возмездия из-за стольких параличных, увечных, нищих, стольких карликов и уродов, что сталпливались у входа. Не понимали они и того, почему столько людей, не принадлежащих войску, ходили вооруженными и почему столько богато одетых сеньоров могли наблюдать, не устыдясь, с высоты своих расшитых седел на выхоленных конях, непрекращающееся и стонущее шествие язв, нарывов, культяпок и лохмотьев. Кроме всего, попытки вдолбить им что-нибудь из нашего вероучения до того, как свершится над ними святое таинство, провалились. Я не скажу, чтоб они не делали усилий понять,— скажу просто, что они не понимали. Если Бог, сотворив небо, и землю, и растения, и существа, какие ее населили, думал, что это хорошо, то они не видели, почему Адам и Ева, люди, созданные по образу божию, совершили такой уж грех, поев плодов с хорошего дерева. Не считали они, что полная нагота есть нечто неприличное: если мужчины *там* носили набедренные повязки, то затем лишь, чтоб защитить хрупкую, чувствительную и слегка мешающую при ходьбе часть тела от колючих кустарников, режущих трав, от когтей, жал и клювов животных; что же касается женщин, то лучше для них прикрывать свое естество клочком ткани, какой я у них видел, чтобы во время месячного нездоровья им не пришлось выставлять напоказ неприглядную нечистоту. Не понимали они и картин на мотивы Ветхого Завета, какие я им показывал: они не видели, почему Зло должно быть представлено Змеем, поскольку змеи на их островах не наносили вреда. Кроме того, вид змеи с яблоком во рту вызывал у них взрывы хохота, потому что — как мне объяснил Диегито — «змея фруктов не ест»... Скоро я снова подниму якоря и снова поплыву к берегам Сипанго, открытым мною,— и пусть Колумба, невыносимая в эти дни, потому что у нее, возможно, крови кончаются, говорит хоть сто раз, что это вовсе не Сипанго. Но что касается наставления индейцев в истинной вере, то пусть этим займутся мужи, более меня достойные подобной миссии! Завоевывать души — не моя задача. И нельзя требовать призванья апостола от того, кто обладает хваткой банкира. И то, что теперь от меня требуется — притом срочно,— это найти золото, много золота, как можно больше золота, ибо и здесь

тоже на небесах написано — и это благодаря мне — призрачное видение Колхиды и Херсонесов.

Острова, острова, острова... Одни большие, другие крохотные; те неприступные, те приветные; лысый остров, клокастый остров, остров с серым песком и мертвыми лишаями; остров, чьи камешки катит, вздымает, бросает в своем ритме каждая волна; остров, изрезанный профилем гор, остров пузатый, как беременная женщина; остров островерхий, с уснувшим вулканом; остров, заключенный в радугу рыб-попугаев; остров за пустынной грядою, остров улиток на пористом камне, непроходимой мангровы, тысячью когтей вцепившейся в землю; остров, оправленный белою пеной, как инфанта, одетая пышными кружевами; остров из музыки кастаньет и остров в зверином рыке; остров, чтоб сесть на мель, остров, чтоб потерпеть крушенье; остров без имени и без истории; остров, где поет ветер в пустотах гигантских раковин; остров, кораллами взрезавший воду, остров дремлющего вулкана; Остров Зеленомшистый, Остров Сероглинный, Остров Белосоляной; острова в таком плотном и сияющем созвездии — я насчитал до ста четырех,— что, думая о ком думаю, я назвал их *Сад Королевы*... Острова, острова, острова. Более пяти тысяч островов окружают, судя по венецианским хроникам, великое царство Сипанго. Значит, я на подступах к этому великому царству... И тем не менее, по мере того как текут дни, я вижу, как удаляется цвет золота, ибо хотя драгоценный металл и мелькает еще кое-где в форме украшений, фигурок, бусинок, кусков — меньше ладони доброго генуэзца,— но все это лишь крохи, жалкие комочки, мельчайшие стружки большой жилы, которая все не показывается и которая, видно, так и не отыщется на Эспаньоле, как я сперва думал, очарованный богатством этого обширного острова. И вот в записках о моем втором плавании я уже начинаю искать мотивы для извинения. Я велю сообщить Их Королевским Высочествам, что рад был бы послать им много золота, но не могу сделать этого из-за постоянных болезней, какие одолевают моих людей. Уверяю, что переданное им должно рассматриваться только как *образцы*. Ибо есть больше золота, наверняка много больше... И я продолжаю поиски, с надеждой, с жадностью, со страстью и каждый раз все с большим разочарованием, совершенно не понимая, куда пропала Изначальная Копь, Золотое Русло, Великая Залежь, Высший Дар этих пряных земель без пряностей... Сейчас, в этой комнате, где кажется, что темнеет раньше времени, в ожидании исповедника, который должен бы уж быть здесь благодаря малому расстоянию от деревушки, куда пошли его искать, я продолжаю перелистывать черновики моих донесений и писем. И, наблюдая самого себя через написанное мною когда-то, я замечаю, оглядываясь назад, как происходит какая-то дьявольская перемена в моей душе. Сердясь на этих индейцев, которые не открывают мне своего секрета, которые прячут уже своих женщин, когда мы приближаемся к их поселкам, ибо считают нас людьми бесчестными и развратными,— пред этими недоверами и задирщиками, которые уже время от времени пускают в нас стрелы, хоть и не нанося нам большого вреда, если сказать правду, я перестал видеть в них те невинные, благодушные, беззащитные существа, столь же не способные причинить зло, сколь и считать наготу неприличной, какими идиллически обрисовал их моим повелителям по возвращении из первого путешествия. Теперь я все чаще называю их *каннибалами* — хоть и никогда не видал, чтоб они питались человечьим мясом. Индия Специй превращается для меня в *Индию Каннибалов*. Малоопасных каннибалов — подчеркиваю это,— но которых нельзя оставить в неведении нашей святой веры; каннибалов, чьи души должны быть спасены (вдруг я об этом забеспокоился!), как были спасены души миллионов

мужчин и женщин апостолами Господа Бога, распространявшими христианство среди язычников. Но поскольку совершенно очевидно, что никак не возможно распространить наше вероучение среди этих каннибалов здесь, из-за нашего незнания их языков, которые, как я вижу, становятся все более различны и многочисленны, то решить эту трудную задачу, которая не может не волновать церковь, нельзя иначе, чем переправив их в Испанию в качестве рабов. Я не оговорился: *рабов.* Да, теперь, когда я — на пороге смерти, это слово ужасает меня, но в моих записках, что я перечитываю, оно начертано ясно, крупным и круглым почерком. Я прошу разрешения на *торговлю рабами.* Я утверждаю, что каннибалы, живущие на этих островах, будут *лучше любых других рабов,* указывая, для начала, что они очень неприхотливы в пище и едят много меньше, чем негры, которых такое множество в Лиссабоне и Севилье. (Уж если мне не попадается золото, думаю я, то это золото может быть заменено невозмещаемой энергией человеческого мяса, рабочей силой, которая превышает свою собственную стоимость в том самом, что производит, принося в конечном счете большую выгоду, чем призрачный металл, который одной рукой ухватишь, а другой выронишь...). Кроме того, чтобы мое предложение выглядело посолидней, я посылаю на одном из кораблей нескольких каннибалов — самых здоровущих, каких смог выбрать,— в сопровождении *женщин, мальчиков и девочек,* чтоб можно было поглядеть, как в Испании станут они расти и множиться, так же как происходит с невольниками, привезенными из Гвинеи. И я заверяю, что каждый год могли бы прибывать к нам сюда, с монаршего соизволения, по нескольку каравелл, чтоб забрать немалый груз этих каннибалов, и что мы будем поставлять их незамедлительно, в каком угодно количестве, устраивая облавы на обитателей этих островов и собирая их в огороженном месте в ожидании посадки. И если мне возразят, что тем самым мы лишаемся нужных нам рабочих рук, я посоветую послать мне человек с тысячу и несколько сотен лошадей, чтоб приняться за обработку земли и начать выращивать в здешних условиях пшеницу и виноград и разводить скот. Людям этим надобно назначить жалованье, в ожидании, пока земля этих островов рождать станет, но, благодаря одной моей идее, остроумной выдумке, какою я имел тогда бесстыдство гордиться, таковое жалованье не должно быть им выдано деньгами — а чтоб королевской казною устроены были лавки для продажи материй плательных, рубах простых и курток-хубонов, полотна, распашных блуз, чулок, башмаков и туфель, не считая лекарств и снадобий с прочими аптечными принадлежностями, сушеных и вяленых продуктов, провизии, заготовленной впрок, *не входящей в обычный рацион,* и продуктов Кастилии, какие *наши люди здесь охотно будут приобретать с вычетом из жалованья.* (Лучше б прямо сказать, что платить людям за труд одними нашими товарами послужит к огромной выгоде нашей, ибо так они никогда ни гроша не получат и, поскольку здесь к тому же деньги им совсем не нужны, то они завязнут в этом долге до самой смерти, подписывая счета за купленное...) Принимая, однако, во внимание, что охота на людей, предпринимаемая мною, не может быть осуществлена без того, чтоб вызвать сопротивление со стороны каннибалов, я прошу — береженого и Бог бережет — прислать *двести кирас, а также сотню пушек и сотню арбалетов,* со всеми припасами и прочим... И я заканчиваю этот список постыдных предложений, составленный мною в городе Изабелла на тридцатый день января 1496 года, моля Бога даровать нам *крупную меру золота,*— как будто я в этот самый день не лишился навек милости Божьей, взяв на себя роль торговца рабами. (Вместо того чтоб молить о прощении и покаяться в своих грехах, ты, несчастный, просил у Бога *крупную меру золота,* как продажная девка в сумерках каждого дня, ввиду долгой и невер-

ной ночи, молит Провидение послать ей удачу в лице случайного гуляки, щедрого мота с тугим кошельком!..).

...Но когда писал я к Их Королевским Высочествам, я и на сей раз лгал, засыпая их предложеньями, которые, может, и созрели в моем мозгу (потому-то я и должен был выслать этот авангард из нескольких невольников с их женами и детьми...), то об основном я в действительности умалчивал до времени моего возвращения — когда я пойму, наступать мне или отступать, исходя из настроя моих повелителей, которые неизвестно еще как ко всему этому отнесутся. Но события опередили меня самым плачевным образом, доказав, что другие уже раньше подумали о том же, что я, сделав свершившимся фактом — кровавой действительностью — то, о чем размышлял я с холодным умом, ожидая королевского соизволения, чтоб предпринять действия, какие заставили бы позабыть о многих неудачах моего предприятия. И мое настырно спешащее перо тщетно пыталось удержать бурю, сгустившуюся надо мною здесь, на этих островах, и вполне могущую перелететь через океан, сбросив с пьедестала статую, какую я с таким трудом воздвиг — хоть она и не закончена и стоит непрочно,— на знаменитом Параде в Барселоне. Дело в том, что, возвратившись после открытия ближних островов, я нашел испанцев в беспокойстве, в полном забвении своего долга, увлеченных жестокой игрою, продиктованной жадностью. Они все были больны Золотом, отравлены Золотом. Но если болезнь их и походила на мою — ибо, ища золото исступленно, с остервенением, они всего лишь следовали моему примеру,— причины подобного помешательства были различны. Я не хотел золота для себя (по крайней мере, пока что...). Я нуждался в нем главным образом затем, чтоб поддержать свой престиж при Дворе и доказать, что высокие титулы были присвоены мне справедливо. Я не мог допустить, чтоб говорили, будто мое дорогостоящее предприятие не принесло королевскому трону большей прибыли, чем «золото, которого и на дупло в зубе не хватит». Моя болезнь была болезнью Великого Адмирала. А эти поганые испанцы заражены были жадностью воров, которым драгоценный металл нужен для себя — чтоб хранить его, накоплять его, прятать и покинуть эти земли как можно скорее с тугим карманом, чтоб *там,* в пороке и бесстыдстве, удовлетворить свои собственнические аппетиты. В мое отсутствие, позабыв о моих распоряжениях — не повинуясь моему брату Бартоломé, которого считали, как и меня, иностранцем,— они рассыпались в хищнической охоте за золотом по всей Эспаньоле, нападая на индейцев, сжигая их поселки, избивая, убивая, пытая, чтоб добиться от них, где же, где же, где же находится проклятая скрытая залежь, которую искал и я,— не говоря уж о сотнях женщин и девушек, обесчещенных во время каждого набега. И сопротивление туземцев крепло с такой опасной скоростью — если у них не было такого оружия, как наше, то они лучше знали местность,— что мне пришлось послать вооруженные отряды в глубь острова. В долине, которую мы уже называли Королевской Долиной, испанцы взяли в плен более пятисот человек, которых заперли в огороженном загоне, межевой тюрьме с бойницами, чтоб стрелять в мятежников, хоть я вовсе не знал, что мне с ними делать. Их нельзя было выпустить на свободу, ибо они понесут призыв к мятежу в другие племена. У нас не было достаточно довольствия, чтоб прокормить их. Истребить их всех до одного — и некоторые из наших этого-то и хотели — показалось мне слишком жестоким решением, какое, возможно, будет строго порицаемо Теми, кто одарил меня моими титулами,— а я слишком хорошо знал карающие взрывы, на какие способна Колумба. Но пред свершившимся фактом и необходимостью отделаться — другого выхода не было — от этих пятисот пленников,

которые в недобрый час оказались у меня на дороге, я решил, посовещавшись с братом, использовать непоправимое уже положение, попытавшись смягчить, приукрасить, оправдать нечто, означавшее не что иное, как установление здесь Рабства. Я стал доказывать многие преимущества подобных мер и под конец прибег к Евангелиям. И с Евангелиями вместо попутного ветра — хотя Короли еще не дали мне права на работорговлю — я погрузил индейцев на два корабля, с помощью пинков, бичей и палок, не найдя лучшего выхода из столкновенья, угрожавшего моему авторитету. Кроме того — еще один обман,— эти рабы были вовсе не рабы (как те, что прибывали из Африки), а мятежники, восставшие против Королевской короны, пленники, печальные и неизбежные жертвы *войны справедливой и насущной* (sic). Увезенные в Испанию, они уже не представляли опасности. И каждый из них был для нас теперь *душа* — душа, которую, по смыслу проповеданного не знаю в каком Евангелии, искупали из тьмы здешнего идолопоклонства, угодного дьяволу, как все подобные религии, о каких я все чаще заговаривал в моих посланиях и письмах, утверждая, что масочки, украшающие тиары касиков, какие я здесь видел, имеют опасное сходство с профилем Вельзевула. (И поскольку первый шаг всего труднее, то вскорости получил от меня Бартоломе распоряжение нагрузить еще три корабля этой живой добычей, которая заменит пока что Золото, все не желающее попадаться на глаза...)

И вот однажды на рассвете, в день моего второго возвращения, когда команда хлопотливо высаживалась на берег в предвкушении бурного веселья, крепких вин и девок на всех, а я наряжался в парадную форму Адмирала, я вдруг, к величайшей радости своей, увидел Боцмана Якоба, который, после того как мы обнялись, сказал, что он здесь проездом, чтоб получить большой груз андалусских вин, предназначенный для скоттов Святого Патрика — пьянчуг, каких мало (несмотря на древнюю проповедь этого апостола Ирландии). «Я знаю, что ты был в Винланде»,— сказал он мне, берясь за бурдюк вина, который я, чтоб поднять дух, уже наполовину опорожнил. «Винланд — хорошая земля,— сказал я, не отвечая прямо на его вопрос.— Но ниже есть еще лучше земли». И я снова обнял его, потому что очень радовался нашей встрече после стольких напастей, и неожиданное его присутствие здесь казалось мне добрым предзнаменованьем,— я очень радовался, повторяю, как вдруг мою радость словно в уксус окунули, когда я узнал, что вскоре за тем, как в Севилье была весьма выгодно продана партия моих индейцев, захваченных на Эспаньоле, последовал суровый, грозный королевский указ о запрещении процветающей коммерции, на которой я настаивал и которую я ввел. Кажется, Их Высочества, терзаемые сердечными угрызениями, собрали совет из теологов и канонистов, чтоб дознаться, дозволена ли подобная торговля, и те, кто всегда был моими врагами, высказались, как всегда, в ущерб моим интересам. Так что деньги, полученные за два коротких дня от продажи двух с лишним сотен рабов, были удержаны, конфискованы и возвращены. Кто уже увел своих индейцев с обещанием вскоре расплатиться, должны были теперь вернуть человеческий товар, чем освобождались от долга. И впредь мне строжайше запрещалось привозить на моих кораблях новых невольников для Испании, а значит, я должен был закрыть на островах лагеря, где их собирал, приостановив пленение мужчин и женщин — предприятие, так успешно начатое. Я плакал от досады и гнева на плече у Боцмана Якоба. Проваливалось единственное прибыльное дело, какое я выдумал, чтоб возместить отсутствие золота и пряностей! В это второе возвращение, которое в мечтах виделось мне покрытым славою, я оказался разоренным, развенчанным, опороченным и отвергнутым Их Коро-

левскими Высочествами, и даже народ, доныне меня прославлявший, кликал теперь *обманщиком* (sic)!.. А матросы-то — уже в ожидании, уже готовы сойти на берег триумфальным и ярким парадом!.. Какими жалкими, нелепыми и смешными кажутся мне вдруг мой парадный костюм тореро, мои шелковые чулки, мой берет золотистого сукна, мои адмиральские отличия!.. И тогда воскресает во мне, как столько раз бывало в критических случаях, тот самый бродячий жонглер, что прячется у меня внутри, со своей унылой, страдальческой маской, похожей на маску мученика из мистерий, какую надеваю я когда нужно. Я быстро сбрасываю парадное платье. И быстро накидываю строгое одеяние монаха нищенствующего ордена святого Франциска. И так, опоясанный веревкой, с босыми ногами, с всклокоченной головой, двигаюсь я с места. И так, со взором, затуманенным самой роскошной печалью, удрученный и почти плачущий, согнувшись в три погибели, с бессильно повисшими руками, встаю я впереди моих оторопевших матросов, чтоб сойти с корабля во всем великолепии скорби, словно кающийся на Страстной неделе. Kirie eleison...— *Господи помилуй*... Но тут в первом ряду тех, кто толпится у самой воды, чтобы встретить мое возвращение, я узнаю лицо, осуждающе сморщенное в ироническую гримасу, того самого Родриго де Трианы, у которого я отнял десять тысяч реалов королевского вознаграждения, чтоб отдать их моей Беатрис, моей отвергнутой любовнице. Я пытаюсь избежать взгляда, слишком для меня изобличительного, успев, однако, заметить, что моряк одет, словно в насмешку, в тот самый шелковый камзол, что дал я ему *тогда*, уже сильно потертый и залатанный, но все еще бросающийся в глаза своим красным цветом, цветом Дьявола. И я в ужасе спрашиваю себя, не является ли присутствие Родриго здесь в этот день знаком присутствия Того, кто, подстерегая меня, чтоб увлечь в свое Царство Мрака, уже сейчас начинает требовать от меня отчета. Уговора не было. Но есть уговоры, что не нуждаются в пергаментах и не скреплены кровью. Но начертанное в них остается навек неизгладимо и действенно, если кто-либо, путем лжи и обмана, внушенных Лукавым, наслаждается благами, в каких отказано простым смертным. Вопреки монашескому одеянию, в какое я сейчас облачен, плотью своею подобен я лже-Киприану, карфагенскому еретику, который заложил свою душу, чтоб выкупить потерянную молодость и бесчестно надругаться над чистотою юной девушки — девственной, как девственна и незнакома с Пороком Золота была земля, которую я отдал на поруганье разнузданной алчности пришельцев,— Kirie eleison...

...Еще путешествие и еще путешествие припомнились мне в часы, когда я собрался в путешествие, из какого не возвращаются, здесь, в этих печальных вальядолидских сумерках, что тускло освещают мне две свечи, принесенные служанкой с кошачьей поступью, которая удаляется, ничего у меня не спросив, увидев, что я погружен в тревожное чтение старых бумаг, разбросанных на простыне — уже похожей на саван — на этой постели, где мои локти лихорадочно трутся о грубую ткань одеянья моего ордена, в которое, быть может не по заслугам, пожелал я облачить истощенное мое тело... Еще путешествие и еще путешествие, и все не показывалась *крупная мера золота* — что за меняльничий, что за ростовщичий язык!..— кощунственно выпрашиваемая у Господа, пред кем я принял обет бедности, просто подчиняясь правилу — частенько, сказать по правде, в наш век нарушаемому,— в завершение церемониала, на какой я обрек себя по воле моей повелительницы. Ни тебе крупной меры золота, ни крупной меры жемчугов, ни крупной меры пряностей, ни даже крупной меры барыша на невольничьем рынке в Севилье... И так, поскольку я пытался Золото Индий заменить Человечьим Мясом Индий, то, уви-

дев, что ни золота не нахожу, ни человечьего мяса не могу продавать, начал я — ученик мага-кудесника — заменять золото и человечье мясо Словами. Весомыми, пышными, значимыми, звучными, яркими словами, выстроенными в блистательную процессию Мудрецов, Ученых, Пророков и Философов. Не найдя столь долго обещаемую и ожидаемую Залежь, я проделываю фокус, заставив исчезнуть из поля зрения сей предмет, и напоминаю Их Королевским Высочествам, что не все то золото, что блестит. Португальская корона истратила огромнейшие суммы на весьма важные плавания — без особой материальной выгоды,— которые возвысили ее славу пред целым светом. Я знаю, что мои путешествия много стоили и мало окупились. Но я напоминаю о миллионах — миллионах, быть может...— душ, какие благодаря им будут спасены, если пошлют *туда* хороших проповедников, как те, что помогали Джованни де Монте Корвино в его епархии в Камбалуке. И хоть привезенное золото «не было достаточно изобильно и для примеру», зато много трудов было положено (а это не менее важно) на *дело духовное и мирское.* А долг королей и монархов — поощрять подобные предприятия, не забывая о том, что царь Соломон отправил свои корабли в трехлетнее плаванье, только чтоб взглянуть на Сонную гору; что Александр послал эмиссаров на остров Тапробана, в других Индиях, чтоб иметь о них более обстоятельные сведения, и что император Нерон (и как мне пришло в голову упомянуть об этом мерзком гонителе христиан?) прилагал много усилий, чтоб узнать, где находятся истоки Нила. *«Властителям дано творить подобные дела».* И потом... ну что ж!.. Не нашел я Индии специй, а нашел Индию каннибалов; и однако...— черт возьми! — ведь я встретил там не что иное, как Рай Земной. Да! Пусть по всем приделам христианского Мира распространится Благая Весть!.. Земной Рай находится против острова, которому я дал имя Тринидад в честь святой Троицы, в проливе Бокас-дель-Драгон — Пасть Дракона, где пресные воды, пришедшие с Небес, противоборствуют соленым, вернее, горьким из-за многих нечистот земли. Я видел его таким, как он есть, вне тех приделов, где таскают его туда-сюда обманутые обманщики-картографы, видел с его Адамами и Евами, здесь оказавшимися — сюда переместившимися — с Деревом меж ними двумя, со Змеем-сводником, пространством без зубчатых стен, с целой домашней зоологией из зверей ласковых и прилизанных и со всем прочим, на любой вкус. Я видел все это. Я видел то, чего никто не видел: гору в форме женской груди, или, вернее, груши с черешком — о ты, о ком я подумал!..— посреди Сада Бытия, который находится *там,* а не в другом месте, принимая во внимание, что многие говорили нам о нем, так и не указав, где он помещается, ибо никогда не встречал я... *писаний латинских либо греческих, какие удостоверительно называли бы место во Вселенной Рая Земного, и не видал ни на каких картах земли, чтоб был он расположен согласно убедительным доводам. Иные полагали его там, где истоки Нила, в Эфиопии; но другие, посетившие все эти земли, не встретили тому подтверждения. Святой Исидор, и Беда Достопочтенный, и учитель схоластической истории, и святой Амвросий, и Скотт, и все разумные теологи согласны в том, что Земной Рай располагается на Востоке, и так далее...*— «располагается на Востоке», повторяю, не забывая про *и так далее,* ибо и *так далее* тоже что-нибудь означает. Помещают, таким образом, на Востоке, которому не оставалось ничего другого, как быть Востоком, пока считалось, что существует лишь один возможный Восток. Но поскольку я достиг Востока, плывя в сторону Запада, то и утверждаю, что сказавшие это столь веско заблуждались, рисуя фантастические карты, будучи обмануты выдумками и баснями, ибо в том, что могли созерцать глаза мои, нахожу подтверждение того, что напал я на единственный, неподдельный, настоящий Рай Земной, такой, каким может вообразить его человек по Священному Писанию: место, где

растет бесконечное разнообразие деревьев, приятных на вид, которых плоды хороши для пищи, откуда выходила огромная река, которой воды обтекают *землю ту, где золото* — и золото, повторяю и настаиваю, залегающее там в огромном изобилии, хоть и не посчастливилось мне наткнуться на столь ожидаемую *меру* — мерил через меру, да с недомерком остался... И после обращения к Исидору, Амвросию и Скотту, теологам истинным, чтоб насолить тупоголовым испанским теологам нашего времени, которые всегда мне с такой враждою возражали, я устремился к научным высотам Плиния, Аристотеля и снова к пророчествам Сенеки, чтоб опереться на непререкаемый авторитет древних, покровительствуемых самою Церковью... И когда я описывал мое четвертое путешествие, мое плаванье вдоль берега земли, уже не имеющей образа острова, но Твердой Земли — истинной тверди земной, с высокими горами, скрывающими тайны, недоступные воображению, предполагаемые города, неисчислимые сокровища,— я почувствовал, что во мне снова зажигается дух алчности, что я обретаю новые силы, и тотчас же пред открывшейся мне реальностью я признал, что до сих пор был слишком тороплив, чтоб не сказать лжив, со своими триумфальными сообщениями: *«Когда я открыл Индии, то сказал, что это самое богатое и величайшее владение, какое есть на свете. И про золото, жемчуга, каменья драгоценные и торговлю пряностями на ярмарках, и поскольку все это не появилось так быстро, как желали, я был весьма удручен. Но подобное огорчение только доказывает, что не надо раньше времени... ибо я видел на этой земле Верагуа больше признаков золота за первые два дня, чем на Эспаньоле за четыре года, и нигде, как в области сей, нет ни земель более прекрасных и более тщательно возделанных, ни людей, более робких и покорных... И Ваши Королевские Высочества суть столь же господа всему описанному здесь, как городам Хересу и Толедо; корабли ваши, что прибудут сюда, прибудут в свой дом...»*. А что же делать теперь с подобным богатством? Да просто утолить страстнейшее устремление человечества — то, что рушилось во всех восьми Крестовых походах. Чего не добились ни Петр Пустынник, ни Готфрид Бульонский, ни Святой Бернард, ни Фридрих Барбаросса, ни Ричард Львиное Сердце, ни Людовик Святой Французский, должно быть достигнуто благодаря упорству, всегда встречавшему сопротивление, этого вот сына трактирщика из Савоны. Кроме того, сказано: *«Иерусалим и гора Сион должны будут вновь построены руками христиан»*, и *«аббат Иоахим Калабрийский сказал, что, кто совершит сие, должен изъидти из Испании»*. Тот *должен изъидти из Испании* — пусть все слышат. Он не сказал, что тот должен быть испанцем. И, говоря обо мне, он мог бы сказать, как Моисей в земле Мадиамской: «Я стал пришельцем в чужой земле». Но такие пришельцы и суть те, кто находит Земли Обетованные. Поэтому Избранный, Поставленный Свыше был я. И тем не менее путь был долог и тягостен: *«Семь лет пребывал я при Королевском Дворе Вашем, и сколько ни говорил про это предприятие, все как один сочли его пустою забавою. А теперь даже портные мечтают об открывании новых земель»*. И поскольку как-то в день 7 июля месяца 1503 года, находясь в крайнем унынии и бедственности на острове Ямайка, подумал я, что постоянною моею похвальбою я слишком уж возвысил себя в собственной своей оценке, впадая в грех гордости, я смирил ее в конце одного послания моим Королям, сказавши: *«Я отправился в это путешествие не за имением и почетом; это правда, ибо не было уже от него никакой на то надежды. Я пришел к Вашим Королевским Высочествам с благим намерением и добрым рвением, и я не лгу...»*. Я говорю, что не лгу. Я думаю, что в тот день я не лгал. Но теперь, углубясь в чтение пожелтевших листов, что лежат в беспорядке на простыне, по грудь натянутой на мое тело...

...Когда я блуждаю по лабиринту моего прошлого в этот последний час, то чувствую удивление от моей природной склонности к ужимкам фигляра, краснобайству комедианта, штукам фокусника на манер виденных мною в Италии в те времена, когда, бродя с ярмарки на ярмарку, заходили к нам в Савону паяцы и потешники, со своими фарсами, пантомимами и маскарадными шествиями. Я был балаганным зазывалой, когда возил от одного трона к другому мой Театр Чудес. Я был главным действующим лицом sacra rerpresentazione — *священного представления,* когда представлял перед испанцами, прибывшими со мною, великолепный ауто Взятия во Владение Островов, которые и не знали, что их взяли. Я был блистательный распорядитель Большого Парада в Барселоне — первого большого спектакля Западных Индий, с настоящими людьми и зверьми, показанного публике Европы. Позднее — то было во время третьего моего путешествия,— увидев, что индейцы с одного из островов опасались приближаться к нам, я устроил зрелище на носу корабля, заставив нескольких испанцев плясать какой-то бурный танец под звуки тамбурина и кастаньет, чтоб было видно, что мы люди веселые и мирного нрава. (Но все вышло неудачно в тот раз, сказать по правде, поскольку каннибалы, немало не прельстившись нашими мореснами и чечетками, выпустили в нас все стрелы, какие нашлись в их индейских челнах...) И, сменив маскарадный костюм, я был Астрологом и Чудодеем на том песчаном берегу Ямайки, где мы оказались в таком жалком положении, без пищи, больные и окруженные в довершение всех бед туземцами, враждебно настроенными и каждую секунду готовыми на нас напасть. В добрый час пришло мне тогда в голову заглянуть в книгу заметок «Эфемериды» Авраама Закута, которую всюду возил с собой, я проверил знакомое место и, убедившись, что этой февральской ночью будет затмение луны, объявил тотчас нашим врагам, что если они подождут немного, то увидят великое и поразительное чудо. И едва подошло время, я выпрямился, словно на дыбе, и, махая руками, как крыльями ветряной мельницы, жестикулируя, как некромант, выкрикивая выдуманные заговоры, приказал луне затмиться... и луна затмилась. Тут я сразу сошел в свою каюту, и, подождав, пока песочные часы отсчитают время, какое должно длиться чудо — как то было указано в трактате,— я снова явился пред потрясенными каннибалами, приказав луне показаться, что она и сделала незамедлительно, повинуясь моему приказу. (Может, благодаря этому фокусу я и жив до сих пор...) И был я Великим Инквизитором, беспощадным и грозным — не хочется и вспоминать,— в тот день, когда на берегах Кубы велел я опрашивать моряков, таят ли они какую-либо неуверенность в том, что эта большая земля есть Твердая Земля, континентальная область, передняя область бескрайних Индий, которые я, как ожидалось, должен в дар — неплохой дар! — принести Испании. И я провозгласил через нашего писца-нотария, что всякий, кто поставит под сомнение ту истину, что эта земля Куба есть континент, заплатит штраф в десять тысяч мараведи, и, кроме того, ему отрежут язык. *Отрежут язык.* Не больше и не меньше. Но *Я-Инквизитор* добился чего хотел. Все испанцы — считая сюда и галисийцев с басками, у кого я всегда и во всем встречал отпор,— многажды поклялись мне в повиновении, полагая, что таким образом они сохранят то, что, по мнению Эзопа, есть самое лучшее и самое худшее из всего, что существует на свете. *Я нуждался в том, чтоб Куба была континентом, и сто голосов возгласили, что Куба есть континент...* Но скоро оказывается наказан человек, который использует хитрость, обман, угрозу или насилие, чтоб достичь какой-либо цели. И для меня наказания начались сразу и здесь, не ожидая никаких потом и там, ибо все было сплошное невезенье, бедствие, искупление всех вин во время последнего моего путешествия,— когда я видел, как мои корабли взносились на гигантскую волну, как на

гору, и падали в ревущую бездну, выплевываемые, глотаемые, исхлестанные, изломанные, покуда не были выброшены вновь в открытое море рекою Верагуа, которая внезапно вздулась от дождей, выталкивая нас прочь, словно отказываясь дать нам убежище. И эти дни непрерывных несчастий, после последних и отчаянных поисков золота на твердой земле, окончились горестным зрелищем кораблей, источенных червями, гнилостных язв, зловредных лихорадок, голода, отчаянья без края, там, где почти сквозь беспамятство услышал я голос сказавшего мне: *«О, глупец, мешкотный в вере и служении Богу твоему, Богу всех!»* — вырвав меня из беспросветной ночи моего уныния ободряющими словами, на которые я ответил обетом идти в Рим в одежде пилигрима, если только выйду живой из всех этих испытаний. (Однако невыполненным остался мой обет, как столько обещаний, какие я надавал...) И я вернулся к исходной точке своего пути, вышвырнутый, как говорится, из открытого мною мира, вспоминая как бредовые виденья *уродцев из Сипанго* — которых я поминаю в моем заповедании, составленном вчера,— которые в конечном счете так и не уразумели, что переходят на более высокую ступень, рассматривая мое появление на их берегах как чудовищное несчастье. Для них Христофорос — такой Христофорос, что ни единого стиха Евангелия не привел, составляя свои письма и реляции,— был в действительности Князь Безумия, Князь Крови, Князь Плача, Князь Мучения — всадник из Апокалипсиса. А что касается моей совести, образа, что высится сейчас надо мною, словно глядя из зеркала в ногах этой кровати, то я был Открыватель открытый — *открытый,* невольно, в моих реляциях и письмах перед моими владетельными господами; *открытый* в грехах перед Богом, когда задумывал постыдные дела, какие, попирая теологию, предложил Их Королевским Высочествам; *открытый* в самой сути перед моими людьми, которые с каждым днем теряли ко мне доверие, подвергнув меня высшему унижению, когда я был закован в кандалы своим поваром — это я, Дон, Адмирал и Вице-Король! — *открытый,* ибо мой путь в Индии, или полуденный Винланд, или Сипанго, или Китай, чья провинция Манзи вполне может оказаться той, что я узнал под именем Куба,— путь, проложенный мною слишком легко благодаря знакомству с сагой норманнов, в этот путь пустились теперь сотни авантюристов — даже портные, уверяю вас, поменявшие иглу и ножницы на весло! — рыцари без гроша, оруженосцы без господина, писцы без конторы, возницы без повозки, солдаты без службы, плуты с хваткой, свинари из Касареса, фанфароны в изодранных плащах, контрабандисты из Бадахоса, интриганы, втируши и угодники, бродяги всех сортов, христиане с именем, переименным у нотариуса, крещеные, что шли пешком к купели, сброд, что сделает все возможное, чтоб умерить мою высоту и вычеркнуть мое имя из хроник. Может, обо мне уж и не вспоминают, теперь-то, когда главное сделано, когда перейдены географические границы моего предприятия и даны имена городам — городами их кличут! — из десяти хижин под кровлей, загаженной птицами... Я был Открыватель открытый, ибо все тайны мои открыты; и еще я Завоеватель завоеванный, ибо начал существовать для себя самого и для других в день, когда прибыл *туда,* и с тех пор эти земли определяют меня, лепят мой облик, несут в воздухе, окружающем меня, жалуют меня предо мною самим эпическим величием, которое все уже во мне отрицают, и особенно теперь, когда умерла Колумба, связанная со мною в подвиге, достаточно населенном чудесами, чтоб его воспели в эпической поэме, но эпической поэме, зачеркнутой раньше, чем написана, новыми темами новых романсов, предлагаемых жадному любопытству публики. Уже говорят, что мое предприятие было гораздо менее рискованно, чем у Васко да Гамы, кто, не колеблясь, вступил на дорогу, на которой бесследно исчезло несколько армад; менее рискованно, чем для великого венецианца, о ком двад-

цать пять лет ничего не было слышно и кого считали мертвым... И это говорят испанцы, всегда видевшие в тебе чуженина. Дело в том, что у тебя никогда не было родины, моряк; потому-то отправился ты искать ее *там* — далеко к Закату,— где ничто так и не определилось для тебя в понятиях реальной страны, где день был день, когда здесь была ночь, где ночь была ночь, когда здесь был день, и ты висел, качаясь, как Авессалом, зацепившийся волосами за ветви, между сном и жизнью, так и не узнав, где начинается сон и где кончается жизнь. И теперь, когда уж близок для тебя Великий Сон, какому нет конца, в каком протрубят трубы невообразимые, думаешь ты, что единственная родина, возможная для тебя — что, быть может, поведет тебя в легенду, если только родится когда-нибудь твоя легенда...— есть *та, которая не имеет еще имени*, какая не была вложена в образ силою никакого слова. *То* пока еще не есть *Идея*; не сделалось понятием, не имеет определенных очертаний, ни содержания, ни содержащего. Но у любого из уродцев *оттуда* больше сознания того, *кто он есть* на земле узнанной и размежеванной, чем у тебя, моряк, со всем твоим вековым грузом науки и теологии. Преследуя виденье страны, так никогда и не найденной, расплывавшейся у тебя перед глазами, как очарованный замок, каждый раз, когда ты хвастался своими победами, ты был странником меж туманностей, видя вещи, еще не успевшие стать доступными пониманию и могущие быть объяснены лишь чрез сопоставления, выраженные языком Одиссеи или языком Книги Бытия. Ты странствовал по миру, какой готовился свернуть тебе голову, тогда как ты думал, что завоевал его, и какой в действительности вышвырнул тебя из своих пределов, оставив не *там* и не *здесь*. Пловец, заблудившийся меж двух вод, претерпевший кораблекрушение меж двух миров, ты умрешь сегодня, или в эту ночь, или завтра и станешь подобен герою вымыслов, Ионе, извергнутому китом, спящему из Эфеса, вечному жиду, капитану корабля-призрака... Но не будет тебе забыто, когда потребуется от тебя отчет в делах твоих там, где не слушают ни частных, ни кассационных жалоб, того, что ты с твоим оружием, превосходившим на тридцать столетий то, что могло тебе противостоять, с твоими дарами из болезней, неведомых там, куда ты прибыл, вез на твоих кораблях алчность и распутство, жажду обогащения, меч и факел, цепи, колодки и бич, чье щелканье должно было раздаваться в угрюмой ночи рудников, и это там, где ты был встречен как пришелец с небес — так ты и сказал своим Королям,— одетый скорее лазурью, чем золотисто-желтым, носитель, быть может, благоспасительной миссии. И вспомни, моряк, Исаию, к кому ты в течение стольких лет прибегал, ища слова-поручительства для твоих всегда невоздержных речей, для твоих всегда неисполненных обещаний: *горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!* И вспомни теперь Екклесиаста, страницы, которые ты пробегал столько раз; там говорится: *кто любит золото, несет на себе тяжесть своего греха, кто ищет богатства, станет жертвой богатства. Неизбежна гибель того, кто в плену золота.* И в громе, проносящемся сейчас над мокрыми крышами города, снова взывает к тебе из дальних глубин Исаия, заставив тебя содрогнуться от ужаса: *когда ты умножаешь моленья твои, Я не слышу: твои руки полны крови.*

Я слышу на лестнице шаги: то бакалавр Мируэнья и монах Гаспар возвращаются с исповедником. Я прячу мои бумаги под кровать и снова вытягиваюсь на простыне, туго завязав вервие моего одеянья, сложив руки, недвижный, как фигура на крышке королевской гробницы. Настал высший час откровения. Я буду говорить. Я буду говорить много. У меня есть еще силы говорить много. Я скажу все. Я выскажу все. Все.

...Но пред подступившей неизбежностью говорить, в час правды, теперь наставший, я надеваю маску того, кем хотел быть и не был: маску, что должна будет стать единою с той, какую наденет на меня смерть,— последнюю из тех бесчисленных, что носил я в течение жизни без начальной даты. Пришедший из таинства мистерии, я приближаюсь сейчас — после четырех действий, в которых был аргонавтом, и одного, в котором был бедняком...— к страшной минуте сдачи оружия, роскошеств и лохмотьев. И хотят, чтоб я говорил. Но слова теперь застревают у меня в горле. Чтоб сказать все, поведать все, я б должен сознавать себя в долгу — «давай — получай», как говорится на жаргоне опытных менял,— по отношению к людям такой веры и такого образа чувств, что их великодушие послужило бы мне прибежищем. А так не было, и я вполне мог бы отнести к себе,— я, кто из честолюбия отрекся от Закона своих,— суровые заветы, поставленные в канун его смерти тому Моисею, кто, подобно мне, без числа, обозначившего день его рождения, был, подобно мне, вестником о Землях Обетованных: «Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало; виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить; маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя». И еще сказал Яхве Созерцателю Далеких Царств: «Вот земля, я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь...». Есть еще время задержать мое слово. Пускай моя исповедь сведется к тому, что хочу я открыть. Говорит Язон — как в трагедии «Медея» — то, что подобает ему рассказать из своей истории, языком звонкого драматического поэта, языком брони и молитвы, и сказанное им — многие стоны во имя полного отпущения грехов, и ничего более... Заблудшим вижу я себя в лабиринте того, чем я был. Я хотел опоясать Землю, но Земля оказалась слишком велика для меня. Пред другими распахнутся самые важные загадки, что еще бережет для нас Земля, за подходом к одному мысу на берегу Кубы, который я назвал *Альфа-Омега,* чтоб выразить, что здесь, на мой взгляд, кончается одно владычество и начинается другое, заключается одна эпоха и зачинается другая, новая...

...И вот исповедник уже ищет мое лицо в глубинах подушек, пропитанных пóтом лихорадки, и глядится в мои глаза. Подымается занавес над развязкой. Час правды, он и час расплаты. Я скажу лишь то, что обо мне *может быть начертано на мраморе.* Из губ моих исходит голос другого, что так часто жил во мне. Он знает, что сказать... «*Да сжалится надо мною небо и да плачет обо мне земля*».

III

Тень

Что ж ты не спросишь,
какие духи здесь нашли приют?

Данте. Ад, песнь IV.

Невидимый — без тяжести, без измерения, без тени, странствующая прозрачность, для какой утратили свой смысл обычные понятия холода и тепла, дня и ночи, добра и зла,— уже много часов носился в отверстых объятьях четвертных колоннад Бернини, когда отворились наконец высокие двери собора Святого Петра. Кто плавал по стольким морям без карт, не мог смотреть иначе как с досадой на множество туристов, которые в то утро заглядывали в свои путеводители и бедекеры, прежде чем нырнуть в глубину базилики и выбрать верный путь к самым знаменитым диковинам этого Дворца

Чудес, который для него должен был стать Дворцом Правосудия. Отсутствующий подсудимый, далекая память, имя на бумаге, голос, перенесенный в уста других для его защиты или обличения, он оставался на расстоянии почти четырех веков от тех, кто будет теперь разбирать мельчайшие ходы и переходы его известной всем жизни, определяя, можно ли его рассматривать как великого героя — так видели его панегиристы — или как обычного человека, подверженного всем слабостям своего естества, как рисовали его некоторые историки рационалистского толка, неспособные, вероятно, уловить *поэзию поступков*, витающую за каменной оградой их документов, записей и картотек. Для него настала пора узнать, заслужит ли он в будущем статуй с восхвалениями на пьедесталах или нечто более важное и всеобъемлющее, чем фигура из бронзы, камня или мрамора, поставленная у всех на виду посередь площади. Удаляясь от Страшного Суда — на алтарной стене Сикстинской Капеллы,— еще не имевшего к нему касательства, он направился, по верному компасу, в закрытые для посещений публики залы Липсонотеки, реликвехранилища, где хранитель, ученый монах-болландист и поневоле, соприкасаясь с житиями мучеников, немного остеолог, одонтолог и отчасти анатом, был занят как обычно изучением, исследованием и классификацией предметов этих наук, а именно — бесчисленных костей, зубов, ногтей, волос и прочих останков святых, хранимых в ящиках и ларцах. Хотя вообще-то умерших не волнует судьба их собственных костей, Невидимый хотел взглянуть, не нашлось ли здесь, среди всех этих реликвий, местечка для тех немногих костей, что, после того как прах переносили с места на место, от него остались, на случай если... «Сдается, нам предстоит акт большой торжественности»,— сказал хранитель молодому семинаристу, своему ученику, которого упражнял в методах классификации Липсонотеки. «Так ведь сегодняшнее дело не является обычным делом»,— сказал ученик. «Ни одно дело о причислении к лику святых не является обычным делом»,— заметил хранитель своим всегдашним раздраженным тоном, не вызвавшим, правда, робости в его собеседнике. «Безусловно. Однако здесь речь идет о человеке, известном по всему земному шару. И ходатайство было внесено двумя Папами: сначала Пием IX, теперь Его Святейшеством Львом XIII».— «Пий IX умер раньше, чем протекли десять лет, требуемые Святой Конгрегацией Обрядов, чтоб приступить к рассмотрению документов и подтверждающих доказательств».— «Еще не было начато производством дело о Христофоре Колумбе, когда граф Розелли де Лорг просил об еще двух нимбах: один для Жанны д'Арк, другой — для Людовика XVI».— «Видишь ли, если беатификация Жанны д'Арк мне представляется вполне возможной, то к Людовику XVI она имеет такое же отношение, как к твоей потаскухе-бабушке».— «Спасибо».— «Кроме того, надо положить предел этому внесению ходатайств. У нас тут не фабрика святых образов». Постояла тишина, во время которой влетело несколько мух, в разведывательном полете словно ища что-то, чего в конце концов не нашли. «Как вы смотрите на дело Колумба?» — спросил семинарист. «Плохо. В путанице, царящей среди швейцарских алебардщиков из его почетной охраны, голоса в пользу Колумба были сегодня утром один против пяти».— «Жаль, если его отвергнут»,— сказал юноша. «Ты побился об заклад?» — «Нет. Просто у нас нет ни одного моряка-святого. Сколько я ни искал в «Золотой Легенде», и в «Актах Святых» — «Acta Sanctorum» Жана Болланда, и даже в «Книге венцов» Пруденция, не могу найти ни одного. У людей моря нет своего покровителя, какой был бы их рода занятий. У рыбаков много — начиная с тех, что с Тивериадского Озера. Но настоящего моряка, с соленых вод — ни одного».— «Верно,— сказал хранитель, просматривая мысленно свои реестры, каталоги и книги записей.— Ибо святой Христофор никогда не имел дела с парусами. Лодочником был Несу-

щий Христа, как мы знаем, и за то, что перенес, подняв на свои плечи, с одного берега реки на другой Того, кто не боялся быть унесен бурными водами, то посох его, когда он воткнул его в твердую землю, вырос и зазеленел, как финиковая пальма».— «Это покровитель всех путешественников, путешествуют ли они на корабле, верхом на осле, по железной дороге или на воздушном шаре...». Оба принялись перебирать карточки и бумаги. И Невидимый, глядя из-за их спин, увидел, как всплывают имена и еще имена — некоторые из коих были ему глубоко неизвестны — святых, к каким люди моря взывают во время своих бурь, бедствий и невзгод: святой Винцент, диакон и мученик, ибо однажды было так, что тело его чудесным образом держалось на поверхности бушующих волн, несмотря на то что тело его было нагружено огромным камнем. («Но ведь это он не по обету»,— заметил семинарист); святой Косме и святой Дамиан, мавританские святые — «Наша родина — Аравия»,— говорили они, которых проконсул Лизий бросил в море закованными в цепи; святой Климент, тоже брошенный в море, чей труп был найден на острове близ Херсонеса, привязанный к якорю («И они не были моряками»,— сказал юноша); святой Касторий, погибший в море, вступив в схватку с тайфуном на дырявой лодке («Не по своей воле сел он в эту лодку»); святой Лев, принявший свои мучения в руках пиратов («От этого он не стал мореплавателем»); святой Педро Гонсалес, более известный под именем святого Эльма («Обратил в христианство многих моряков и зажег прекрасные Огни святого Эльма, что пляшут ночью на верхушках мачт. Но он был человеком далекой суши, родом из города Асторга, чьи сдобные булочки известны по всей Испании, потому что...» — «Не будем отвлекаться,— сказал хранитель,— не будем отвлекаться»). И перечень продолжается: святой Кутберт, покровитель саксонских моряков («Тут пахнет северной сагой... Моряк из Кадикса или Марселя не станет связываться с викингом»); святой Рафаил Архангел («Ну, как мог архангел носить матросскую бескозырку, объясните мне, пожалуйста!»); Николай, епископ города Мир в Ликии, кто, невидимый, выпрямил мачты тонущего парусника и, взявшись за колесо руля, привел его в надежный порт («Как-то он больше видится правящим санями и раздающим игрушки, чем идущим по воде»). «Тогда мы сели в лужу,— сказал хранитель Ватиканской Липсонотеки.— Ибо ни святой Доминик Лорский, ни святой Валерий, ни святой Антоний Падуанский, ни святой Воскрешенный, ни святой Рамон, ни святой Будок (первый раз слышу!), каких чтят моряки, никогда не были моряками».— «Вывод: Пий IX был совершенно прав. Нам нужен святой Христофор Колумб».— «Надо подготовить ларец для хранения останков».— «Беда в том, что народ бродячий и плавающий по морям исчезает без следа».—«Не осталось ли от него какой бедерной кости, коленной чашечки, пясти руки, полпальца хотя бы?» — «А это еще помеха. Тут такая путаница, что вовек не разберешься, ибо не было в мире костей, какие столько бы перевозились, переносились, разбирались, рассматривались, оговаривались и оспаривались, как эти». И, резюмируя узнанное из недавних поисков, обоснованных внесением недавнего ходатайства, объяснил ученый-болландист своему ученику, что Колумб, поскольку умер в Вальядолиде, был погребен в монастыре святого Франциска, принадлежащем этому городу. Однако в 1513 году его останки помещены были в монастыре Лас Куэвас в Севилье, откуда были взяты тридцать три года спустя, чтоб быть доставленными в Санто-Доминго, где покоились до 1795 года. «Но вдруг, можешь себе представить, подымают бунт негры французской части острова, устраивают чудовищные пожары, сжигают поместья и убивают своих господ. Испанские власти, боясь, что пламя восстания распространится шире, отправляют бренные останки Великого Адмирала в Гавану, в чьем соборе должно им оставаться, ожидая возвращения в Санто-

Доминго, где намеревались воздвигнуть ему пантеон со скульптурами, аллегориями и всем прочим — нечто, достойное такого прославленного покойника... Но тем временем происходит театральный взрыв в стиле Рокамболя, сказал бы я, если только подобает упоминать о Рокамболе в этих ватиканских приделах».— «Не беспокойтесь, сеньор, здесь каждый третий читал похождения Рокамболя».— «В соборе Санто-Доминго Христофор Колумб был не один: его погребальная урна соседствовала с урнами его сына-первенца Диего и сына Диего — дона Луиса Колумба, первого герцога Верагуа, и дона Христофора Колумба II, брата дона Диего Колумба. И, можешь себе представить, вдруг, 10 сентября 1877 года, один архитектор, отвечающий за некоторые починки в соборе, находит металлический гроб, на котором стоит сокращенная надпись: *«От. Ам. Перв. Адм. Хр. К. А.»*— что было истолковано так: *Открыватель Америки. Первый Адмирал Христофор Колумб, Адмирал.* Следовательно, останки, перенесенные в Гавану, *не были* останками того, кого мы сейчас причтем к лику святых...» — «Если пройдет»,— промолвил семинарист. «Однако — и в этом вся трагедия — внутри металлического гроба можно было прочесть начертанное германским готическим письмом: *«Знаменитейший и Досточтимый Муж Дон Христофор Колумб»*, без всякого *«Адмирала»*. И тут начинают всегдашние сплетники да мутники болтать, что, мол, это останки не Колумба I, а Колумба II, а останки, мол, Колумба I по-прежнему на Кубе, и один венесуэльский горе-священник издает нашумевшую книжонку, окончательно запутавшую все дело, и тут начинается такое... В общем, так и не узналось, не являются ли кости Колумба I костями Колумба II, или, наоборот, кости Колумба II костями Колумба I, и пусть меня оставят в покое, пусть в этом разбирается Святая Конгрегация Обрядов, для того она и существует, а покуда пусть мне не приносят сюда ни одной ключицы, ни одной лучевой или локтевой кости, если не будет должным образом установлена их подлинность. У нас Липсонотека серьезная, и здесь не могут быть приняты позвонки, теменные, затылочные и прочие кости первого встречного, ибо во всем нужна субординация. А что касается меня, не могу ж я встать между двумя гробами и начать играть в считалку: «Чики-чики-чикалочки-один-едет-на-палочке-другой-на-тележке-щелкает-орешки».— «Сюда, после смерти, и за золото не проникнешь,— согласился семинарист.— А ведь Колумб говорил, по свидетельству Маркса, что, мол, *золото есть нечто чудодейственное. Кто владеет золотом, будет иметь все что пожелает. Через посредство золота могут даже открыться душам двери рая*».— «Это верно, Колумб так говорил, но не цитируй мне Колумба, ссылаясь на Маркса. Это имя не должно произноситься там, где у стен есть уши. Вспомни, что после опубликования «Силлабуса» некоторые книги здесь у нас весьма на плохом счету».— «Сдается, однако, что вы очень хорошо знаете Маркса, как, впрочем, и Рокамболя».— «Сын мой, по обязанности: я вхожу в комиссию по составлению «Индекса» книг, запрещенных церковью».— «Видать, не особенно соскучишься, составляя этот «Индекс»,— сказал семинарист с лукавым смешком.— Теперь я понял, почему «Мадемуазель Мопен» Теофиля Готье и «Нана» Эмиля Золя стоят в этом «Индексе».— «Вместо того, чтоб говорить непристойности, пошел бы ты взглянуть, как продвигается беатификация Великого Адмирала»,— сказал болландист в гневе и так топнул ногой, что туфля с пряжкой слетела с его ноги, едва не попав в цель. «Вот-вот! — подумал Невидимый.— Вот-вот!» И, внезапно опечаленный, направился торопливо, следуя по коридорам и подымаясь по лестницам, к зале, где по знаку прислужников начиналось представление торжественного Ауто Сакраменталь, которого он будет отсутствующим-присутствующим Героем.

...Через дверь справа и дверь слева начали входить напыщенные фигуры из испанской духовной драмы, ауто сакраменталь, рассаживаясь со строгим соблюдением иерархии санов и обязанностей за длинным-длинным столом под скатертью алого муара и обретая каждая по жестам и позам, как на старинных церемониях, черты средневекового эстампа с изображением Суда Инквизиции. Посредине сели Председательствующий и двое судей, составлявшие коллегиальный трибунал; на одном конце стола — Promotor Fidei [1], прокурор дела, Адвокат Дьявола, и на другом — Податель ходатайства, здесь это был не Розелли де Лорг, умерший несколько лет назад, но ученый генуэзский коммерсант Джузеппе Бальди, искусный алмазчик, весьма уважаемый и ценимый в ватиканских кругах за свою благотворительную деятельность. Гражданский Протонотарий Конгрегации Обрядов со своим служкой расположились на промежуточных местах. Явились фолианты и связки бумаг в папках и портфелях, и после моленья Святому Духу, чтоб вдохновил на справедливые суждения и благоразумные высказывания, процесс был объявлен открытым... Невидимый почувствовал, как его невидимые уши раскрылись и навострились, как уши волка, почуявшего опасность, и замер, весь внимание к тому, что будет сказано на этом трибунале, столь долго ожидаемом и собравшемся наконец, чтоб рассмотреть документы дела о причтении его к лику святых, которое с течением времени собрало голоса уже не только шестисот с лишним епископов, подписавших первое ходатайство, но и восьмисот шестидесяти, поставивших свою подпись под последним, третьим — и весьма возможно, что оно окажется решающим. Председатель призвал Ходатайствующего дать клятву воздерживаться от обмана во всех своих доводах, а также изложить мотивы, побудившие его стать Защитником Дела, опираясь на истины, искренне почитаемые им таковыми в глубине своей души и согласно своей совести. В размеренном ритме, с придыханиями на концах фраз, выделяя прилагательные, повышая голос на заключениях периодов, сделал Джузеппе Бальди высокопарный обзор того, что граф Розелли де Лорг изложил, с изобилием приложений и доказующих документов, в своей книге, заказанной Пием IX. Покуда лилась эта речь, все более панегирическая и призывная, Невидимый был наверху блаженства. Как пред подобной картиной совершенств, добродетелей, мужественного благочестия, великодушия и щедрости, внутреннего величия; как пред подобной картиной чудес, им свершенных, к тому ж с покорством и смирением нищенствующего монаха; как пред явным доказательством того, что он обладал сверхъестественным могуществом (о чем услыхал сейчас впервые), могли возникнуть у его судей хоть какие-то колебания, если, подобно тому как святой Климент смирял бури, святой Луис Бельтран, американец, апостолический ревизор Колумбии, Панамы и Антильских островов — *его* Антильских островов,— вырвал тысячи и тысячи индейцев из мрака идолопоклонства и как святой Патрик,— говорил Бальди,— «*апостол зеленеющей Ирландии, слышал крики зародышей, что из утробы матерей призывали его в Гиберию, как окрестили римляне эту страну, он, Христофор Колумб, в продолжение ужасных восемнадцати лет, потраченных на тщетные хлопоты, нес в душе своей громовный зов половины рода человеческого?..*». Процесс начинался как нельзя лучше. И так велик был энтузиазм Подателя Ходатайства, что Невидимый начинал восхищаться самим собою: он открывал теперь, что то, что он приписывал действенному влиянию чужой веры в его предприятии, было его собственным свершением, делом рук его, его избранной воли, его умения *просить* и

[1] Представитель конгрегации, полномочный вести обсуждение вопроса канонизации.

получать; и, что всего интереснее, по мнению некоего Леона Блуа [1], многажды упоминаемого Джузеппе Бальди в этом панегирике, чудеса его превосходят те — более обыденные и ограниченные, если посмотреть глубже,— что состоят в том, чтоб излечить больного, заставить двигаться паралитика, выпрямить спину горбатому или воскресить какого-то мертвеца. Нет. *«Я вспоминаю о Моисее,*— говорил Леон Блуа,— *вспоминаю о Моисее, ибо Колумб есть Открыватель Творения, он делит вселенную меж властителями земли, беседует с Богом во время Бури, и плоды его молитв составляют достояние всего рода человеческого».*— «Браво! — восклицает Адвокат Дьявола, хлопая в ладоши как подстрекатель у помоста, где пляшут фламенко.— Браво и браво!» Но возгласы его покрывает голос Ходатайствующего: *«Граф Розелли де Лорг не колебался поставить Великого Адмирала в последование за Ноем, Авраамом, Моисеем, Иоанном Крестителем и Святым Петром, жалуя его высшим титулом Посланника Божия».* (О великий, великий Христо-форос — несущий Христа! Ты выиграл эту трудную партию, твой ореол уже у порога, созовут Консисторию, будут у тебя алтари повсюду, и уподобишься ты гиганту Атласу, чьи могучие плечи подпирают землю, теперь уже на веки веков ту вселенную, какую ты сделал круглой, ибо благодаря тебе округлилась земля, что была ранее плоской, ограниченной, обкорнанной, с пределами, глядящими в неизмеримые бездны небосвода, который *тоже был внизу,* схожий и параллельный, и никто не знал с достоверностью, находится ли внизу то, что вверху, или вверху — то, что внизу!..) И достиг апогея восторг Невидимого, когда Джузеппе Бальди окончил свою речь, и словно сквозь туман, ибо невидимые слезы благодарности застилали его невидимые глаза, он увидел тени свидетелей, которых Ходатайствующий пригласил для дачи показаний, к чему они и приготовились под скептическую — отчего такую скептическую?..— улыбку Адвоката Дьявола, кто по сути своей и не мог изображать на своем лице никаких улыбок, кроме коварных. «А нет ли здесь Ординария или, за неимением такового, полномочного священника?» — стал он допытываться. Председательствующий сухо ответил: «Ненужный вопрос. Действительно, когда проходит *обыкновенный процесс беатификации,* проводить его может только Ординарий, то есть обыкновенный судья в духовных делах или служитель, уполномоченный юридической властью епископа местности, где тот, чье житие рассматривается, умер или творил свои чудеса...» — «Что зовется *Местный Епископ»,*— вставил Адвокат Дьявола. «Напрасно вы нас учите тому, что мы и так прекрасно знаем,— сказал сурово Председатель.— Однако по этому поводу мы можем, как мне кажется, еще раз сослаться на авторитет графа Розелли де Лорга: *«Ни Епископ Места Рождения,*— говорит он нам,— *ни Епископ Места Смерти Христофора Колумба не могут присутствовать здесь...»*—«Да, сдается, это им было бы несколько трудно...»—*«Знаменитый путешественник оставил Геную в возрасте четырнадцати лет,*— продолжал Председатель.— *И умер, оказавшись случайно в Вальядолиде, а останки его были перенесены в другое место. Его частная резиденция находилась в Кордове, куда он никогда не попадал. Его официальная резиденция — в Санто-Доминго, откуда он постоянно удалялся на долгое время. Так что никакой епископ не сумел бы сообщить нам хоть какие-то сведения».*— «Хорошо, всем известно, что никто не живет четыреста лет...» — «Мне кажется, что здесь оспаривается истинность Священного Писания,— сказал Протонотарий, будто бы внезапно проснувшись.— Ибо в пятой главе «Книги Бытия» говорится, что Сиф жил девятьсот двенадцать лет, что Енос жил восемьсот пятнадцать, что Каинан достиг девятисот десяти *«и он умер».*— «Черт возьми, пожалуй, уж пора было!» — воскликнул дьяво-

[1] Леон Блуа (1846—1917) — французский писатель, автор книги о Колумбе «Открыватель земного шара» (1884).

лов адвокат, вызвав с трудом задушенные смешки двух судейских помощников. «К порядку, к порядку,— сказал Председатель.— Все, чего я прошу для ускорения дела, это чтоб мы перешли к Потопу»,— сказал ученый школы Вельзевула. «Эту шутку выдумал до вас француз Расин».— «В комедии «Сутяги»,— заметил Протонотарий. «Вижу, вы недурно знаете ваших классиков»,— отозвался все с той же издевкой министр Велиара.— Однако вернемся к Колумбу: если он умер в Вальядолиде, как же тамошний епископ не оставил какого-либо письменного свидетельства, на которое мы могли бы опереться?» — «Епископ Вальядолида ничего и не знал о смерти бедного чужеземца, кто, усталый и больной, забрел в этот город, чтоб бросить последний якорь»,— сказал Бальди. «А нет ли свидетельства Местного Епископа оттуда, где он вершил чудеса?» — «Я устал повторять,— сказал Ходатайствующий,— что чудеса, свершенные Колумбом, были *иного порядка, чем все прочие чудеса. Скажем так: они не ограничены определенным пространством; они всемирны*».— «Теперь понятно, почему папский декрет вносился *особым путем*»,— сказал Адвокат Дьявола жестоким тоном. «Каиафа!»— сказал кто-то позади Невидимого, помянув первосвященника Каиафу, осудившего Христа. И, обернувшись, Невидимый увидал взъерошенного человека, с лицом, почти сокрытым под всклоченной путанью бороды, грязноватой по виду и запаху, который отчаянно вращал горящими глазами, хмуря кустистые брови и повторяя: «Каиафа! Каиафа!» Адвокат Дьявола нападал теперь на Джузеппе Бальди: «Ходатайствующий в своем панегирике опирался исключительно на книгу Розелли де Лорга, которая, насколько я понимаю, является трудом вполне, возможно, честным по намерениям автора, но слишком страстным и недостаточно строгим с точки зрения истории. И прямым доказательством является здесь только что объявленный конкурс с премией в 30 000 песет тому, кто создаст лучшую, основательно документированную, достоверную, отвечающую современным требованиям биографию Колумба, для всемирных торжеств, посвященных четырехсотлетию открытия Америки, каковые должны состояться в скором времени. А знаете ли вы, кто, презрев книгу Розелли де Лорга, установил эту премию? Не кто иной, как достославный Герцог Верагуа, Маркиз Ямайки, Управитель Индий, Сенатор Королевства и трижды Испанский Гранд, единственный прямой потомок Христофора Колумба».—«Негодяй!— взвыл взъерошенный человечек и, подталкиваемый своим негодованием, перепрыгнул через два ряда сидений, упав в кресло возле Невидимого.— Выкормщик быков для корриды, который продает их ради оживления цирковых зрелищ, отщепенец, у кого не хватает духу встать с мулетой тореро против собственных животных. Он предпочитает любоваться своими быками из-за барьера арены, ибо вскармливает свирепых гигантов, чтоб они убивали других».— «Премия в 30 000 песет...» — продолжает Адвокат Дьявола. «Это тридцать сребреников Иуды!» — кричит Леон Блуа, Вечный Возмутитель, сейчас только Невидимый узнал его. «Замолчите! — кричит Председательствующий.— Или я позову швейцарских алебардщиков».— «Пускай история пишется теперь как угодно,— продолжает Ходатайствующий,— ничто не сможет умалить величия и всем очевидной святости замечательного космографа, к которому Шиллер обращался так: *«Иди без страха вперед, Христофор! И если то, что ищешь, не создано еще, Бог воздвигнет его из мира небытия, чтоб оправдать твою смелость»*.— «Не такой уж он замечательный космограф,— возразил дьявольский адвокат.— А если не так, спросите у Виктора Гюго». И сразу показалось Невидимому, что Виктор Гюго подымается за барьером и говорит: *«Если бы Христофор Колумб был хорошим космографом, он никогда не открыл бы Новый Свет»*. («Но у меня было чутье моряка, которое стоило сотни космографий»,— прошептал Невидимый.) «И пусть Виктор Гюго, в жизни не плававший дальше

нормандского острова Гернсея, явится наставлять нас в морских делах!» — взревел тут Леон Блуа из леса своей бороды. А затем — это уж просто фарс! — к барьеру выходит Жюль Верн, с дерзкой и самоуверенной осанкой Робура Завоевателя. «Этого еще недоставало! — воскликнул тот, кому, волею судеб, приходилось протестовать.— Почему вы заодно его героев не позовете? Филеаса Фогга или детей капитана Гранта?» — «Достаточно, если будет присутствовать отец детей капитана Гранта,— с достоинством отозвался Жюль Верн. И продолжал: *«Истина в том, что в эпоху Колумба начал формироваться, на основе собранных фактов, ряд систем и доктрин. Настало время тому, чтоб один чей-то разум взялся усвоить их и обобщить. Все эти разрозненные идеи сосредоточились в конце концов в мозгу одного человека, обладавшего высшей степенью упорства и смелости».*— «А Провидение? — перебил Леон Блуа.— Где этот отверженный оставил Святое Провидение?» Но романист словно бы и не слышал: *«Колумб бывал в Исландии*[1]*... и, возможно, в Гренландии».* («В Исландии — да; но до Гренландии я не добрался»,— прошептал Невидимый.) *«В течение всего своего путешествия Адмирал старательно скрывал от своих сотоварищей подлинное расстояние, какое они каждый день проходили».*— «Если он счел полезным так поступать...» — промолвил Блуа. *«Покуда не раздался крик «Земля!». Но слава Колумба была не в том, что он доплыл, а в том, что он отплыл».*— «Идиот! Капитан Немо!» — взревел Блуа. Но с этого мгновения речь Жюля Верна становится сухой и точной, как у учителя математики: *«Через это путешествие старый свет принял на себя ответственность за моральное и политическое воспитание света нового. Однако был ли он на высоте подобной задачи, с теми узкими взглядами, какие исповедовал, со своими полуварварскими побуждениями, со своей религиозной рознью?.. Для начала Колумб взял в плен нескольких индейцев, с целью продать их в Испании».*— «Призываю Трибунал обратить особое внимание на то, что Колумб *установил* рабство в Новом Свете»,— воскликнул Адвокат Дьявола. (Невидимый почувствовал, как холодеет его невидимое тело...) *«Было сообщено, что эти индейцы были каннибалами. Однако ни в Баракоа, первом испанском поселении на Кубе, ни в другом каком-либо месте мореплаватель не встречал каннибалов».*— «Вот чего мы добились! — взвился, словно его укусила какая муха, посланец Вельзевула.— Я прошу разрешения Суда сделать, чтоб нам явился брат Бартоломе да Лас Касас как свидетель обвинения». («Пропал я,— стонет Невидимый.— Теперь я и впрямь пропал».) И вот уже входит доминиканец, лысый, аскетического вида, с нахмуренными бровями, всем обликом напоминая монаха на полотнах Сурбарана, и обводит Трибунал взглядом мрачным и суровым. «Меланхолик! Маньяк! Обманщик! — вопит Леон Блуа вне себя от гнева. И сразу же слышится поток оскорблений из уст каких-то существ, шумно входящих в залу: «Ипохондрик! Клеветник! Мешок с желчью! Змей в сандалиях!..» — *«Не дадим свидетельствовать всуе!»* — визжит один, голосом, похожим на звук трубы, под которую танцуют котильон. «Авессалом, восставший против отца! Уголино, пожравший трупы своих детей! Иуда Искариот, предавший Учителя! Куча отбросов!» — кричат остальные. «Кто они, эти дерзкие?» — спрашивает Председатель. «Это Ниспровергатели Черной Легенды об Испанском Завоевании, отцом которой называли защитника индейцев Брата Бартоломе,— разъясняет Протонотарий.— Их в последнее время развелось великое множество...» — «Тише! Или я прикажу удалить смутьянов из зала,— говорит Председатель. И убедившись, что спокойствие восстановлено: — Есть ли какая-либо правда в утверждении, что индейцы были каннибалами?»

[1] Что Колумб был в Исландии — факт, относящийся к тому «маловероятному», что, по мнению Менендеса Пидаля, мы о нем знаем. *(Прим. авт.)*

Брат Бартоломе берет слово: «*Для начала скажу, что индейцы принадлежат к расе самой высокой, по красоте своей и по духу своему и разуму... Они в достаточной мере удовлетворяют шести основным условиям, выдвинутым Аристотелем, чтоб образовать республику совершенную и самостоятельную*». («Теперь еще окажется, что они воздвигли Парфенон и подарили нам Римское право!» — восклицает Леон Блуа.) «Но все же едят они человечье мясо или не едят?» — вопрошает Председатель. «*Не всюду, хотя и верно, что в Мексике бывали отдельные случаи, но это скорее как следствие их религии, чем по другой какой-либо причине. В остальном же Геродот, и римский географ Помпониус Мела, и даже святой Иероним говорят нам, что антропофагия существовала также среди скифов, массагетов и скоттов*».— «Да здравствуют каннибалы! Да здравствуют каннибалы!» — кричат дружно Леон Блуа и Ниспровергатели Черной Легенды. «Если среди индейцев Америки были людоеды,— говорит невозмутимо Адвокат Дьявола,— у Колумба была двойная причина не везти индейцев в Испанию, ибо людоеды представляли бы постоянную опасность для детей, играющих в городских садах. И даже так могло случиться, что какой-нибудь из каннибалов прельстился бы сочными прелестями какой-нибудь красотки».— «Обращаю внимание Трибунала на бесстыдство этого Адвоката Дьявола»,— сказал Ходатайствующий. «Возьмите назад, синьор Прокурор, эти «сочные прелести красотки»,— сказал Председатель, мрачно хмуря брови. «Сочные прелести у красотки возьму, а косточки могу вам оставить...» — сказал Адвокат Сатаны. «Посмотрим теперь, может ли свидетель обвинения привести достаточно веские доказательства, что сей персонаж сознательно учредил рабство индейцев в Америке»,— сказал Председатель. «*Достаточно вспомнить, что славной памяти Королева Изабелла, узнав, что люди Колумба продают рабов из Америки на рынке Севильи, весьма была тем раздосадована и спросила: КАКОВОЮ МОЕЮ ВЛАСТЬЮ ОБЛЕЧЕН АДМИРАЛ, ЧТОБ ОТДАВАТЬ КОМУ-ЛИБО МОИХ ВАССАЛОВ? И сразу же повелела разгласить по Гранаде и Севилье, что всем, кто привез в Кастилию индейцев, полученных от Адмирала, приказано под страхом смерти возвратить их немедля в родные места на первых же кораблях, какие туда отбудут*». Слово теперь берет Бальди и начинает говорить сладким и умиротворяющим голосом: «Выдающийся французский философ Бонне...» — «Он был моим учителем...— промолвил Леон Блуа,— в своем трактате о страдании написал в конце главы XXIX слова, какие я привожу, чтоб вы над ними поразмыслили: «*Рабство было школою терпенья, кротости, отказа от себя. Одна лишь гордыня мешает Благодати проникнуть в душу, и только Смирение, устранив сию препону, открывает ей путь. Посему, в мудрости своей, человек древних времен находил в рабстве как бы необходимую школу терпенья и покорства, какая приближала его к Самоотречению, что есть добродетель души и конечная цель морали христианства*».— «Да здравствуют цепи!» — кричит Адвокат Дьявола. «Прошу разрешения Председателя трибунала напомнить присутствующим, что мы живем не во времена правления Фердинанда VII Испанского, но что данный процесс отправляет нас к эпохе Католических Королей»,— сказал тут Протонотарий, только что проснувшийся, чтоб вновь погрузиться после сказанного в глубокий сон. «Поскольку мы находимся в эпохе Католических Королей, то тем более обязаны вспомнить, что Королева Изабелла, в знаменитой приписке к духовному завещанию от 1504 года, *настоятельно просит своего мужа и своих детей не допускать, чтоб индейцы, живущие в Испании или в приделах своих Индий, терпели какой-либо урон лично или в именье своем, и поставить так, чтоб обходились с ними по добру и справедливости*». Джузеппе Бальди с живостью обращается к суду: «Одну минуту... Одну минуту... Интересно отметить, что Католическая Королева «*настоятельно просила*

своего мужа и своих детей», так что приказ ее не относился к Адмиралу, которому она никаких указаний по данному поводу не давала...» — «Остроумно! — восклицает Адвокат Дьявола.— Весьма остроумно! Почти как Колумбово Яйцо!» («И это вытащили»,— прошептал Невидимый.) Джузеппе Бальди вздевает руки в притворном отчаянии: «Глупости! Детская сказочка! Никогда в жизни Колумб со своим сверхчеловеческим достоинством не унизился бы до подобного шутовства! Сам Вольтер... («Увы, если они Вольтера припутают, мне крышка!» — стонет Невидимый)... сам Вольтер, еще раньше, чем Вашингтон Ирвинг, разъяснял, что это пресловутое Колумбово Яйцо было не чем иным, как Яйцом Брунеллески...» («Оказывается теперь, что их два!..»). «Этой шуткой, годной для веселого застолья, гениальный итальянский архитектор хотел объяснить, как он задумал построить купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре». («Хорошо, что только это!..») «И надо еще посмотреть, так ли...»—«Не стоит спорить о каком-то яйце,— сказал Председатель,— и вернемтесь, пожалуйста, к вопросу о рабстве». И снова пред Трибуналом поднялся брат Бартоломе: *«Я вполне убежден в том, что, не будучи остановлен противною судьбою, как случилось под конец его жизни, он в весьма краткое время истребил бы всех жителей этих островов, ибо порешил нагружать ими все корабли, приходившие из Кастилии и с Азорских островов, дабы продавать их в рабство повсюду, где будут они принимаемы»*. Теперь Леон Блуа обрушивается на Председателя: «Это процесс со злым умыслом... *Я убежден... Я убежден...* Какую цену могут иметь предположенья этого обманщика?» — «Колумб брошен на растерзанье диким зверям!» — вопиют Ниспровергатели. «Нерон! Нерон!» — атакует один из них Адвоката Дьявола, который со смехом сжимает кулак, указывая большим пальцем куда-то вниз. «Имеются ли доказательства того, что Колумб установил рабство вполне умышленно? — спрашивает Председатель.— Ибо есть сведения, что виновником посылки индейцев в Испанию являлся один из его братьев. Было ли то известно Великому Адмиралу?» — «Слишком хорошо! Настолько, что он написал этому доброму брату письмо, советуя *доверху нагрузить свои корабли рабами*, ведя *точный счет* доходам, получаемым от их продажи».— «Кто видел это письмо?» — вопрошает Бальди. И ответствует с твердостью непреклонный Епископ Чьяпаса: *«Я видел — и начертанное его рукою, и с проставленною его подписью»*.— «Негодяй! Лжесвидетель! Плут! Фарисей!» — кричит Леон Блуа, так отчаянно силясь быть услышанным, что у него сразу пресекся голос и он чуть не задохся. *«Кто крадет хлеб, политый чужим потом, уподобляется убийце ближнего своего»*,— взывает грозно брат Бартоломе де Лас Касас.— «Кто здесь цитирует Маркса?» — спрашивает Протонотарий, внезапно извлеченный из глубин сна. «Екклесиаст, глава 34»,— разъясняет епископ Чьяпаса... «Оставим все это и перейдем к вопросу о нравственности»,— говорит Председательствующий. «Прошу разрешения, чтоб явился пред судом поэт Альфонс Ламартин как свидетель обвинения»,— говорит Адвокат Дьявола. («Какого черта! Что может понимать автор «Озера» в морских делах?» — глухо рычит Леон Блуа.) Элегантно затянутый в свой трибунский сюртук, со спадающей на лоб прядью, Ламартин изливается в пространной речи, из которой Невидимый с тоскою понимает лишь то, что касается *«его дурных привычек и его незаконнорожденного сына»*. «Этого мне достаточно,— говорит Адвокат Дьявола.— Ибо мы вплотную подошли к проблеме, самой серьезной из всех, какие должны быть здесь рассмотрены: к незаконной связи Адмирала с некоей Беатрис, которая была — и это общеизвестно — чем-то вроде... чтоб не пятнать памяти женщины, я не назову ее наложницей, сожительницей, любовницей, но, употребляя деликатное слово, бывшее весьма в ходу у испанских классиков, «его подружницей». (Услыхав имя Беатрис, расчувствовался Невидимый и

поспешил приспособить к себе строфу, в которой Данте описывает свой трепет при виде своей Беатриче на брегах Леты: «*...лед, сердце мне сжимавший как тисками, стал влагой и дыханьем и, томясь, покинул грудь глазами и устами...*»). Джузеппе Бальди, Ходатайствующий, вскакивает с места, с театральной жестикуляцией прося слова: «Я в ужасе. Мы что ж, теперь будем марать грязью то, что было всего лишь очень земной, но чистой любовью... Да, синьор Адвокат Сатаны, прекратите-ка подавать нам своей наглой рукою знаки, достойные погонщика мулов, и послушайте лучше, что говорит нам об этой осенней идиллии великого человека граф Розелли де Лорг: «*Невзирая на его сорок с чем-то лет, его вдовство, его бедность, его чужеземный выговор, его седину, пожелала стать спутницей его молодая девица, обладающая редкою красотою и благородною душою. Она звалась Беатрис, и в ней обитали все добродетели и вся прелесть женщин из Кордовы... Но этот луч света, явившийся придать немного сил его исстрадавшемуся сердцу, ни на миг не отдалил великого человека от его миссии, предопределеннной свыше...*»—«А не принести ль сюда несколько скрипок для аккомпанемента столь чувствительному романсу?»— спрашивает заносчиво Адвокат Дьявола. «Соблюдайте приличия!» — восклицает Председательствующий. «Сия юная дева, образ добродетели, кого великий человек любил и почитал...» — «Так почитал, что сделал ей ребенка,— бросает, совсем уж грубо, люциферов законник.— И Колумб настолько чувствовал себя в ответе за скандал, что, верно, пытаясь помочь ей, одинокой и беззащитной вдове при живом муже и с маленьким уроженцем Кордовы на руках, из которого даже тореро не получился, в тот момент, когда Родриго де Триана издал свой знаменитый крик: «Земля! Земля!», когда б лучше ему закричать «Заваруха! Заваруха!»...» — «Оставим в покое Родриго де Триана и разговоры об этих 10 000 мараведи, ибо в руках молодой матери имели они лучшее употребление, чем в руках какого-то матроса, который проиграл бы их в первой таверне...» («Да, да, да... Пускай оставят в покое Родриго де Триана, ибо, если вслед за ним приплетут Пинсонов и моих слуг Сальседо и Арройаля, которые за моей спиной показывали мои секретные карты проклятому баску Хуану де ла Коса, то мое дело дрянь».) А теперь еще ядовитые слова Адвоката Дьявола, который с дьявольской улыбкой, по-дьявольщицки закрывает дебаты: «Мне кажется, что ребенок, плод любви — я хочу сказать, любви, обретшей плоть на брачном ложе, не освященном благословением,— становится обычно предметом особой нежности своих родителей. Поэтому Христофор Колумб всегда выказывал явное пристрастие к своему незаконнорожденному сыну, дону Фернандо... Но то обстоятельство, что отец особливо любит сына, зачатого вне брака, никак не делает его достойным ореола святости... Ибо, если бы так было, столько ореолов освещали бы землю, что на ней мы никогда б не увидели ночных теней».—«И это был бы великолепный способ городского освещения,— говорит Протонотарий, который во время этого процесса не раз проявлял себя как человек с положительно слабой психикой.— Это было б гораздо лучше, чем изобретение янки Эдисона, который, кстати, зажег свою первую электрическую лампочку в тот самый год, когда умер Его Святейшество Пий IX, успев подать первое ходатайство касательно Великого Адмирала» — «Fiat Lux!» — *Да будет свет!*» — сказал в заключение Председатель. Исчезли фигуры Бартоломе де Лас Касаса, Виктора Гюго, Ламартина, Жюля Верна. Испарились — без ненужного шума на сей раз — Ниспровергатели Черной Легенды об Испанском Завоевании. Рассеялся легкий туман, населенный фантасмагорическими образами, которые затягивали мглою зал пред взором Невидимого. И очертания членов Трибунала вырисовались снова, более четкие, словно фигуры алтаря, на фоне настенной картины маслом, изображающей святого Себастьяна, прон-

зенного стрелами его мученичества. И вот уже встает Председатель: «Из всего рассмотренного и услышанного... Вы записываете, Протонотарий? (Протонотарий отвечает утвердительно, любуясь бумажными петушками, которые, от большого до маленького, выстраиваются в ряд, заполняя зеленый лист его юрисдикции, то есть промокательной бумаги — крохотный лужок средь переливов красного муара на судейском столе. По едва заметному жесту служки все понимают, что этот действительно взял на заметку все что надо...) Из сказанного и услышанного здесь,— продолжает Председатель,— удерживаются в памяти два серьезных обвинения против Христофора Колумба: одно, весьма тяжкое,— в конкубинате, незаконном сожительстве, тем более непростительном, если вспомнить, что мореплаватель был вдовцом, когда познакомился с женщиной, которая должна была подарить ему сына; и другое, не менее тяжкое, что он установил и поощрял предосудительную торговлю рабами, продавая сотнями на городских рынках индейцев, захваченных им в Новом Свете... Рассмотрев названные преступления, сей трибунал должен будет высказать конкретное суждение о том, заслуживает ли вышеупомянутый Колумб, постулируемый как Блаженный, такой счастливой судьбы, открывающей ему, на сей раз без контроверзы, доступ к канонизации». Служка Протонотария обносит по кругу маленькую черную урну, куда каждый член трибунала бросает сложенную бумажку. Затем Председатель распечатывает урну и приступает к подсчету: «Только один голос за,— говорит он, закончив.— Следовательно, Ходатайство отклонено». Пытается еще протестовать Джузеппе Бальди, бесполезно приводя слова Розелли де Лорга: *«Колумб был святой, святой, ниспосланный волею Бога туда, где Сатана был царем»*.— «Не к чему больше драть горло,— замечает едко Promotor Fidei.— Дело кончено». Закрываются папки и фолианты, складываются делопроизводственные бумаги, собирает Протонотарий своих бумажных петушков, надвигает на лоб судейскую шапочку Председатель, ибо сквозной ветер вдруг пробежал по зале, и вмиг исчезает Адвокат Дьявола, подобно Мефистофелю, проваливающемуся в люк на представлении оперы Гуно. Кусая бороду от лютого гнева, направляется Леон Блуа к выходу, хрипя: *«Святая Конгрегация Обрядов не разнюхала даже величия Проекта. Что ей до миссии, ниспосланной свыше! С того момента, как Дело перестает быть ей представленным по обычной форме, с собранием документов, полным, сличенным, переписанным и подписанным, скрепленным епископской сургучной печатью, она в полном составе начинает возмущаться и суетиться с единственной целью — помешать, чтоб Дело продвинулось. Да и кроме того... кто такой для нее, черт возьми, этот Христофор Колумб? Какой-то моряк всего лишь... А разве Святую Конгрегацию Обрядов волновали хоть когда-нибудь морские дела?»* [1] — «Пропал я»,— шепчет Невидимый, покидая свое кресло, чтоб направиться к главной двери, что должна вывести его, после долгих странствий, по коридорам и галереям, наружу из гигантского города-зданья. Прежде чем покинуть помещение, он бросил последний взгляд на картину, изображающую мученичество святого Себастьяна: «Подобно тебе, я был пронзен стрелами... Но стрелы, пронзившие меня, были пущены в конечном счете индейцами Нового Света, которых я хотел заковать в цепи и продать в рабство».

Словно зачарованный внезапным совпадением образов, он замер, помедлив у этой картины, изображающей мучения пронзенного стрелами, и подумал о тех, иных стрелах — жестоких и сладостных стрелах,— которые с мифологических времен роковым образом ранят своих избранников, обрекая на муку неизъяснимую, на вечную агонию тех, кто брошен в «адский вихрь», в котором вечно будут мчать-

[1] Леон Блуа. Открыватель Земного шара, гл. X. *(Прим. авт.)*

ся Паоло и Франческа — вчерашние, сегодняшние и будущие. («Обвиняя меня во внебрачном сожительстве за то, что я не повел к алтарю мою Беатрис, которую так любил и оставил свое семя на ее плодоносной ниве, они не понимали, эти свирепые блюстители церковного устава, собравшиеся здесь, чтоб осудить меня, эти оледенелые клирики, эти ленивые ватиканцы при постах и на рентах, выставившиеся передо мною, словно были сидящими справа от Бога, дабы судить людей, они не понимали, что я, подобно благородным мужам из Странствующего Рыцарства — а кем же я был, как не Странствующим Рыцарем Моря?— имел своею Дамою ту, кого ни разу не предал в мыслях, хоть и оставался соединенным плотью с той, что продлила мой род на земле. И в то время как с высоты помоста, весьма подходящего для представлений какой-нибудь труппы судейских комедиантов, спорили о *моем деле* эти сановные — хмурые и придирчивые,— я понял, как никогда ранее, что есть у сердца резоны — кто сказал это?..— какие неведомы разуму. И внезапно припомнилась мне склоненная и скорбная фигура юного Рыцаря из Сигуэнсы, который тоже имел Даму, путеводную звезду своей судьбы, Высокую Владычицу из местности, именуемой Мадригал Высоких Башен... Превознося в душе своей — как Амадис Галльский несравненную Ориану — ту, кого видел впервые в военном стане Моклина, после взятия Ильоры, он полюбил ее любовью, вовсе не схожею с тем влечением, какое питал некоторое время к своей сигуэнской невесте! И с ее образом в мыслях, движимый тем же стремлением, какое воодушевляло его Даму на доблестное дело Реконкисты, быть может, чтоб возвыситься своею отвагою в Ее Глазах, он бросался в самые отчаянные схватки и пал в крестовом походе против мавров, чтоб успокоиться, в конце концов, в соборе Сигуэнсы, застыв в статуе из мрамора, обернутый своим походным плащом, с подрезанной на италийский манер копной волос,— и крест ордена Сантьяго, изображенный на его груди, алел словно капля крови, вечно сочащаяся из его душевной раны [1]. Как я завидую тебе, Юный Рыцарь, больший воитель, чем я, хотя на крышке твоей гробницы изображен ты с книгою в руках — с книгой, принадлежащей, быть может, перу Сенеки Старшего, в то время как я переводил, ища ясных откровений, заключенных в его «Медее», пророческие строфы другого Сенеки!... Ты и я — зачем отрицать, что я иногда ревновал? — любили одну и ту же женщину, хотя ты и не познал, подобно мне (или быть может? Как увериться полностью?.. Кто проникнет столь оберегаемую тайну?..), незабываемое наслаждение сжимать в объятьях королеву. Та, из Мадригала Высоких Башен, была нашей несравненной Орианой, хоть *эти*, что меня судили, пропыленные вершители справедливости, пресытившиеся каноническим правом, не поняли постоянства заботы, глубоко скрываемой, ибо надобно было, чтоб никто о ней не проведал, почему оба должны были молчать; а это, быть может, и побудило тебя жертвовать жизнью в прекрасных порывах мужества, тогда как я, верный чувству, ставшему с некоторого времени рулем и компасом во всех делах моих, так и не обвенчался с Беатрис, с моею, однако, любимою Беатрис. Ибо есть нормы рыцарской верности, каких никогда не понять этим недалеким казуистам, которые только что обвинили меня в незаконном сожительстве, разврате и не знаю, уж в чем еще... Если б не причастился я идеалу, что нес в душе, я стал бы сближаться с индеянками — уж очень были они порой аппетитны в своей райской наготе,— как поступали столькие из тех, кто сопровождал меня в моих открытиях... А вот этого уж никогда и никто не сможет обо мне сказать, сколько б ни рылись в старых бумагах, ни любопытствовали по архивам, ни прислушивались к пакостям, какие дружно распространяли обо мне Мартин Пинсон, Хуан де ла Коса, Родриго де

[1] «Самая прекрасная статуя в мире», — сказал Ортега-и-Гассет *(Прим. авт.)*

Триана и прочие мошенники, из кожи лезшие, чтоб запятнать мою память... Потому что было в моей жизни дивное мгновенье, когда взглянул я в высоту, в самую дальнюю высоту, отчего исчезло вожделенье моего тела, облагородился мой разум полным слиянием духа и плоти, и новый свет рассеял мглу моих бессонных исканий...».

И вот Невидимый снова, охвачен глубокой тоской, на площади Святого Петра... (Мимо него проходит, спешащий и хмурый, семинарист из Липсонотеки, бормоча: «Здесь нет ни минуты покоя. Только что завалили Колумба и уже приступают к беатификации Жанны Д'Арк, у которой тоже не осталось костей для ларца, поскольку пепел ее был развеян по ветру в Руане... А теперь еще надо убедить в этом Протонотария, который думает, что Жанна д'Арк была задушена в Лондонской Башне... Ну и занятие, Боже ты мой, ну и занятие!..») И вдруг новый Невидимый присоединяется к прежнему — видимый лишь для него,— с обнаженным торсом, с трезубцем в руках, подобно Посейдону, как изображен для потомства на знаменитейшем портрете работы Бронзино. Таким образом Великий Адмирал Изабеллы и Фердинанда сталкивается впервые со своим соотечественником и почти современником — год туда, год сюда не имеет значенья — Андреа Дориа, Великим Адмиралом Венеции и Генуи. Оба Адмирала и оба генуэзцы, они сердечно беседуют на своем особом диалекте. «Я скучал в моей гробнице в церкви святого Матфея и потому решил подышать воздухом на этой площади,— говорит Андреа.— По дороге достал ролю жевательного табаку. Хочешь попробовать? Нет?.. Странно, тем более что ты достаточно повинен в том, что столько народу в нашей стране чихает от нюхательного, курит трубку или затягивается гаванской сигарой. Без тебя мы б так и не узнали, что такое табак».— «Все равно узнали бы от Америго Веспуччи,— сказал Христофор горько.— А как ты добрался из Генуи?» — «На поезде. Вентимильским экспрессом».— «И тебя пустили в вагон вот так, почти голым, таким вот аллегорически-мифологическим Нептуном?» — «Не забывай, что мы с тобой принадлежим к категории Невидимых. Мы суть Прозрачные. И найдется еще много таких, как мы, что из-за славы своей, из-за того, что они всё еще говорят, не могут затеряться в бесконечном своей собственной прозрачности, удалясь от этого сволочного мира, где им воздвигают статуи, а историки нового образца из кожи лезут, чтоб выудить самые худшие превратности их личных жизней».— «Кому ты это говоришь!» — «Так что многим неведомо, что зачастую путешествуют они на поезде или на корабле в компании гречанки Аспазии, рыцаря Роланда, живописца Фра-Анджелико или поэта Маркиза де Сантильяны».—«Невидимым становится всякий, кто умер».— «Но если его поминают и если говорят о том, что он сделал и чем он был, Невидимый «обретает людское», если можно так сказать, и начинает беседовать с теми, кто произносит его имя. Но в этом, как и во всем, есть свой порядок, в зависимости от большего или меньшего спроса. Есть невидимые *класса А*, как, например, Карл Великий или Филипп II; *класса Б*, как принцесса Эболи или рыцарь Баярд; и есть случайные, гораздо реже требуемые, как этот неудачник — вестготский король Фавила, упомянутый в «Хронике» Альфонса III, о ком только и известно, что он правил два года и что его съел медведь, или, переходя к твоему миру, тот Бартоломе Корнехо, который в Сан-Хуане на острове Пуэрто-Рико открыл, и с согласия трех епископов, первый публичный дом континента в день 4 августа 1526 года — памятная дата, заключающая в себе уже нечто ото «Дня расы» [1], принимая во внимание, что

[1] «Днем расы» называют день 12 октября, празднуемый в Испании и в латиноамериканских странах в честь открытия Америки (12 октября 1492 г.).

там подвизались девушки, привезенные с Пиренейского полуострова, поскольку индеянки, в жизни не упражнявшиеся в подобном ремесле, не имели навыков, какие и тебе и мне хорошо известны... а, моряк?» — «В истории Америки — а ее я считаю своей, хоть и носит она имя другого...— были мужи более высоких заслуг, чем этот Бартоломе Корнехо,— сказал Невидимый-Открыватель, сердясь.— Ибо, в конце концов, миссионеры-хронисты, такие как Саагун, Мотолиниа, брат Педро де Ганте...» — «Кто ж в этом сомневается? И еще существовал Симон Боливар!» Невидимое лицо Невидимого Христофороса болезненно исказилось в своей невидимости: «Я предпочел бы, чтоб ты не поминал Симона Боливара».— «Извини,— сказал Дориа.— Я понимаю, что не особенно приятно тебе слышать это имя. Он сломал то, что ты сделал».— «Вот именно: в доме повешенного не говорят о веревке».— «Хотя, если хорошенько подумать: а что, как открытие Америки заинтересовало бы какого-нибудь короля Генриха Английского? Тогда Симон Боливар звался бы Смит или Браун... Равно как, если б Анна Бретонская приняла твое предложение, то там, где сегодня говорят по-испански, говорили бы на каком-нибудь варварском диалекте из Морбигана».— «Хочу напомнить тебе,— сказал Христо-форос, уязвленный,— что ты, прежде чем сражаться на стороне Карла V, служил спокойненько королю Франции Франсиску I, который был его противником. Мы, генуэзцы, хорошо знаем друг друга».— «Уж так, уж так, уж так хорошо, что все мы знаем, кто здесь Адмирал Битв, а кто Адмирал Прогулок. Где развернулись твои сраженья?» — «Там»,— сказал мореход Изабеллы Католической, указав на Запад. «А мои развернулись здесь, на Средиземном море. С тою разницей, что пока ты терроризировал своими бомбардами голых индейцев, не имевших иного оружия, кроме стрел, негодных даже, чтоб напугать наших волов в упряжке, я в течение ряда лет был грозою для кораблей Турка». Разговор принимал опасный оборот. Андреа Дориа сменил тему: «А как обстоят твои дела там, внутри?» (указав на главный портал базилики). «Меня провалили».— «Так и должно было случиться: моряк и генуэзец». И с пафосом продекламировал стихи из «Божественной комедии»: *«О, генуэзцы, вы, в чьем сердце минул/Последний стыд и все осквернено,/Зачем ваш род еще с земли не сгинул?»* — «Провалили меня,— повторил Христофорос печально.— Ты, Андреа, был Великим Адмиралом, и память твою возжелали чтить только как память Великого Адмирала... Я тоже был Великим Адмиралом, но из-за стремления сделать меня слишком великим унизили мое величие великого адмирала».— «Утешайся тем, что много статуй воздвигнуто будет в честь тебя в этом мире».— «И ни одна из них не будет на меня похожа, ибо я вышел из тайны и возвратился в тайну, не оставив, ни в карандаше, ни в красках, видимых следов моего человеческого облика. К тому ж, статуи — это еще не все. Как раз из-за лишних восторгов по моему адресу со стороны некоторых моих друзей меня сегодня и шибанули».— «Так и должно было случиться: моряк и генуэзец».— «Шибанули меня»,— послышалось снова, почти как рыданье. Андреа Дориа положил невидимую руку на невидимое плечо собеседника и, чтоб утешить его, сказал: «Какому идиоту пришло в голову, что моряк может быть когда-нибудь канонизирован? Хоть все жития святых просмотри — святого с моря там не сыщешь. Моряки не рождены для святости». Наступила долгая пауза. Обоим Невидимым больше уж нечего было сказать друг другу. «Чао, Коломбо».— «Чао, Дориа...». И остался Человек-осужденный-быть-человеком-как-все на том точно месте площади, где, если смотреть в сторону колоннад Бернини, каждая колонна внутреннего ряда так искусно скрывает три другие, что все четыре словно сливаются в одну. «Игра воображения,— подумал он.—

Игра воображения, как были для меня Западные Индии. Однажды, возле мыса на побережье Кубы, названного мною *Альфа-Омега*, я сказал, что здесь кончается мир и начинается другой: другое *Нечто*, другое качество, какое я сам не могу до конца разглядеть... Я прорвал завесу неведомого, чтоб углубиться в новую реальность, выходящую за пределы моего понимания, ибо есть открытия столь громадные — и тем не менее возможные,— которые, в силу самой своей огромности, сокрушают смертного, дерзнувшего на такое». И вспомнил Невидимый своего Сенеку, чья «Медея» была в течение долгого времени его настольной книгой, и уподобил себя Тифису, кормчему Аргонавтов, каким тот предстает в строфах, столь хорошо известных, звучащих для него теперь как предостереженье: «*Над ширью морскою Тифис дерзнул/Развернуть паруса и новый закон/Предписать ветрам... Теперь уступило нам море и всем/Подчинилось законам.../Пучина доступна любому челну,/Исчезли границы на новой земле,/Построили страны свои города,/Ничего не оставил на прежних местах/Кочующий мир...*». И в то время как первый перезвон колоколов оглашал полдень Рима, он продекламировал самому себе стихи, что, казалось, относились к собственной его судьбе: «*Первый Тифис, поработитель моря,/Руль невежде-кормчему предоставил,/Умер он вдали от родного царства./И, покрытый бедным холмом могильным,/Средь теней безвестных лежит доныне...*». И точно на том месте площади, откуда, если глядеть на полукружья колоннад, четыре колонны словно сливаются в одну, Невидимый растворился в воздухе, обнимающем и проникающем его, соединясь с прозрачностью эфира.

Колумба открывает Алехо Карпентьер

«Арфа и тень» — последний роман Алехо Карпентьера, увидевший свет за какие-то месяцы до кончины прославленного кубинского писателя-коммуниста. Мучимый тяжелой болезнью, но не покидавший своего поста, автор романа ценой поистине творческого подвига создавал это произведение, вскоре после выхода из печати единодушно признанное критикой одним из крупных явлений современной мировой литературы.

К созданию романа писатель подходил постепенно, на протяжении многих лет. Задуманное как-то по особому заботливо оберегал, не разглашая. Так же без огласки, однако напряженнейше, работал над рукописью, ставшею плодом огромного исследовательского труда, обогащая ее открытиями, находками, красками, ювелирно отделывая. Редко с кем, и то вполслова, касался нового творения, хотя, между прочим, о других произведениях (в том числе о «Весне священной», рождавшейся под его пером почти одновременно с романом «Арфа и тень») задолго до издания появлялись те или иные сообщения, интервью с автором; и отдельные главы порой публиковались в прессе.

Лишь однажды в давней беседе Алехо Карпентьер сказал мне, что ему хотелось бы увидеть, положим, образ Колумба освобожденным от заученных еще на школьной скамье стереотипных представлений, разобраться в его личности как продукте своего века, разглядеть в нем земного человека, не одномерного. Тогда, лет десять назад, в ходе нашего разговора в Гаване Карпентьер затрагивал интересовавшую его тему возникновения мифов в истории вообще. А мысль о мореплавателе, проложившем путь и к Кубе, очевидно, не покидала кубинского писателя — он вынашивал ее в себе до полного созревания, изучая документы, все, относящееся к далекой эпохе.

Воссоздавая портрет героя событий конца XV и начала XVI веков, его приближенный к реалистичности, индивидуализированный характер, переосмысливая его деяния в свете логики социальной среды и прежде всего с точки зрения нашего современника, Карпентьер писал этот роман — повторяем, роман, художественное произведение, а не академичную монографию. Желание писателя высказать свое мнение, вероятно, вызывалось и тем множеством публикаций, авторы которых по существу вновь и вновь повторяли, пусть в различных вариантах, вековечный «миф о Колумбе».

Колумб открыл Америку — положение издавна и почти всеми принятое. В печати напоминается, что всего двенадцать лет осталось до официальной юбилейной даты — пятисотлетия со дня открытия Америки Колумбом.

А что нам известно о Колумбе?

«Мы не знаем наверняка,— отмечалось авторитетными американскими историками А. Кэртисом Вилгусом и Раулем д'Эсой,— когда он родился, где родился, как протекала его молодость, какова была его внешность, умел ли он читать и писать, где именно в Америке он впервые высадился и где он похоронен». Другой американский ученый, Альфред Б. Томас, добавляет: «Как и когда у Колумба впервые возникла идея морского путешествия на Запад — неизвестно».

Среди всякого рода гипотез, имевших целью подыскать «ключ» к тайнам, окружающим личность «адмирала Моря-Океана», пожалуй, можно упомянуть любопытное «толкование» Лопе де Веги, данное спустя столетие после смерти Колумба,— в одной из комедий великого испанского драматурга Дьявол, обращаясь к Провидению, провозгласил: «Куда ж Колумба ты посылаешь? Ведь там давно мои владения, разве ты не знаешь?..» Алехо Карпентьер, кстати, неоднократно приводил это высказывание персонажа комедии Лопе де Веги (в 1947 году — в репортажах «Видение Америки» для венесуэльской газеты «Эль насьональ», через два года поставил эпиграфом к исторической повести «Царство земное»).

В конце двадцатых годов Карпентьеру пришлось покинуть родину — его преследовала господствовавшая на Кубе реакционная диктатура Мачадо. В Париже, куда он добрался с помощью поэта-сюрреалиста Робера Десноса, его было увлек модный тогда среди творческой интеллигенции сюрреализм, но вскоре писатель отошел от этого течения, по его словам, «убедившись в том, что нет смысла отдавать ему силы, и поняв, что лучше посвятить их нашим латиноамериканским делам. Загорелся желанием выразить в своих произведениях наш латиноамериканский мир. Захватило меня чтение всего, что мог найти, об Америке, начиная с «Писем» Христофора Колумба...»

Изучение прошлого помогло ему создать такие значительнейшие, известные и нашим читателям произведения, как «Царство земное», «Потерянные следы», «Век Просвещения», «Концерт барокко», «Превратности метода», «Весна священная», наконец, «Арфа и тень», уже не говоря о составивших сборник «Война времени» новеллах, в которых давно прошедшее врывается в настоящее, современность уходит в былое, исчезают границы между временными обозначениями.

Непосредственно к образу Колумба писатель обратился еще в 1937 году, приняв предложение парижского радио сделать композицию по оратории Поля Клоделя «Книга Христофора Колумба». В сотрудничестве с Клоделем, которого Карпентьер высоко ценил, назвав поэта «наследником величайших испанских и французских классиков», но не разделяя его тяги к католицизму, радиопостановка была осуществлена с участием Жана Луи Барро.

Позднее имя Колумба, отзвуки эпохи открытия так называемого Нового Света и конкисты проскальзывали в разных произведениях Карпентьера.

В романе «Век Просвещения», действие которого, напомним, происходит на рубеже XVIII и XIX столетий, в канун национально-освободительных войн в испанских колониях Америки, юный Эстебан, вернувшись на родную землю из Франции, объятой революционным пожаром, оказался там, где Колумб, судя по его письму от 1498 года испанским «католическим королям» Изабелле I и Фердинанду V, якобы обнаружил «земной рай». И герой романа невольно погрузился в размышления, почему же «открытие Америки стало приобретать религиозный смысл» (гл. XXXIV).

Клерикалы, реакционеры в сутанах и без сутан, в свое время прилагали немало усилий, чтобы увековечить гегемонию Ватикана и испанской короны над Латинской Америкой. Буллой от 4 мая 1493 года, то есть спустя месяцы после открытия Нового Света (12 октября 1492 года), папа Александр VI, он же уроженец Испании Родриго Борджиа, передал во владения испанских и португальских монархов открытые «неведомые материки и острова», объявил об «обращении в католическую веру варварских народов», превознося заслуги «нашего любезного сына Христофора Колумба». В последующие столетия Ватикан неизменно поддерживал колониальные власти, выступая против всего прогрессивного, демократического, против освободительной борьбы латиноамериканских народов. На стороне реакции и колониализма папский престол оставался и в дальнейшем, когда бывшие испанские колонии обрели независимость.

Мысль об укреплении пошатнувшихся связей — не только духовных, в большей степени даже политических — между Ватиканом и Латинской Америкой (разумеется, в интересах папства) в прошлом веке овладела каноником, в миру именовавшимся графом Джованни Мария Мастаи-Ферретти, ставшим — после поездки на юг латиноамериканского континента — папой Пием IX. Его осенила идея: канонизировать европейца, пользующегося высоким престижем в Новом и Старом Свете. Очередной папа, Лев XIII, вознамерился осуществить идею...

Повествуя о событиях, связанных с попытками канонизировать Колумба, Алехо Карпентьер отнюдь не собирался изложить более или менее анекдотический случай из забытого прошлого. Писатель затрагивает серьезную проблему, не потерявшую своей злободневности поныне. Не только для историков.

Открытие и завоевание Америки — «последний крестовый поход Испании», по выражению выдающегося перуанского мыслителя-марксиста Хосе Карлоса Мариатеги,— вызвало ее колонизацию, разграбление ее богатств, порабощение ее народов (в романе «Арфа и тень» писатель уделяет этому особое внимание). Время побоищ под знаком креста и меча миновало — в наши дни клерикальная реакция действует ухищреннее, отравляя сознание людей.

Алехо Карпентьер, писатель-интернационалист, в течение всей своей жизни активно выступал как против «культурной экспансии» империализма США, так и против «духовного порабощения», проводимого клерикальной реакцией. Признавая, вполне понятно, всемирное значение культурных ценностей Испании, писатель защищал национальную культуру, литературы народов Латинской Америки.

Двадцатитрехлетний Алехо в 1927 году со страниц гаванской газеты «Диарио де ла марина» с юношеской страстью оспаривал утверждения неоколониалистов из испанской «Гасета литерариа», объявлявших Мадрид «интеллектуальным меридианом Испаноамерики». В 1954 году в венесуэльской газете «Эль насьональ» он подверг резкой критике некоего испанского графа, возвестившего, что Латинская Америка — это лишь «Испания в третьем измерении».

На продолжающуюся в латиноамериканских странах пропаганду реакционной теории «испанидад», представляющей собой, по словам писателя, «затаенный расизм», Карпентьер указывал в докладе «Литература и политическое сознание в Латинской Америке», произнесенном на Первом съезде писателей и деятелей искусств социалистической Кубы в 1961 году. Начиная с «Писем» Колумба, говорил Карпентьер, существует тенденция создавать «мифы» вокруг Латинской Америки, ее прошлого и настоящего. Апологеты неоколониализма тщатся превозносить роль религиозных учреждений, «обеливать» конкистадоров, рассчитывая вычеркнуть из истории так называемую «черную легенду» (под «черной легендой» консерваторами подразумеваются гневные обличения зверств завоевателей, содержащиеся в сочинениях доминиканского монаха Бартоломе де Лас Касаса, сопровождавшего Колумба в одном из его плаваний, позднее — епископа Чьяпаса, в Мексике). Вспоминая Бартоломе де Лас Касаса и «черную легенду» на съезде писателей и деятелей искусств Кубы, Карпентьер, возможно, не предполагал, что через десяток с лишним лет выведет в романе «Арфа и тень» этого миссионера-гуманиста и вернется к полемике о «черной легенде».

Разбивая «прогнозы», пропагандируемые неоколониалистами, Алехо Карпентьер повторил на съезде слова Мариатеги: «Будущее Латинской Америки — социалистическое».

А в лекции «Латиноамериканский роман накануне нового века», прочтенной в Йельском университете (США) весной 1979 года, писатель подчеркнул значимость своеобразного формирования и развития национальных литератур Латинской Америки наряду с подъемом освободительного, антиимпериалистического движения в странах континента и Карибского региона.

В попытках канонизации Колумба, равно как и в некоторых иных акциях иерархов католицизма в недавнее время, Карпентьер видел стремление правых кругов клира удерживать и закреплять духовную зависимость латиноамериканских стран от папского престола, заставлять народы слепо повиноваться церковным догмам.

Немало произведений художественной литературы посвящалось «святой, в угоду божественному промыслу, миссии» Колумба, имя которого клерикалы хотели бы использовать в своих целях. Тот же Поль Клодель,— с кем Алехо Карпентьеру в годы молодости довелось сотрудничать,— в «Книге Христофора Колумба» (само название должно было вызывать в памяти ассоциации с библейскими заглавиями — «Книга Иова», «Книга Екклесиаста», «Книга Иисуса Навина»...) обрисовал мореплавателя как человека, наделенного неким пророческим даром, выполнявшим предназначение свыше. Роман «Арфа и тень» — ответ «мифотворцам», последователям выведенных в произведении Леона Блуа и Розелли де Лорга, прочих. Не исключено, что других авторов, не принадлежащих к завзятым — с благословения отцов церкви — панегиристам кандидата в святые, вводили в заблуждение завещание Колумба и его биография, составленная сыном и изданная внуком. Предполагается, что, опасаясь инквизиции, похоже подозревавшей в нем «иноверца», Колумб скрывал данные о своих родителях, дату своего рождения, предпочитал вместо действительных сведений о себе пускать в ход вымышленное (о своем, дескать, знатном происхождении, о родстве с двумя «итальянскими» адмиралами, один из которых, оказалось, был греком, другой — французом; об учебе в университете Павии, о своих тесных связях с учеными мужами и т. п.).

Относившийся к освещению исторических фактов с чувством большой ответственности, Алехо Карпентьер и в романе «Арфа и тень» не отходит от документальности, сочетая историческую правду с поэтической, скорее дополняя одну другой. Так раскрывается глубокая взаимозависимость определенного периода, среды и героя. Талант художника, энциклопедичность знаний исследователя позволили автору романа развернуть впечатляющую и убеждающую своей достоверностью картину.

Тщательно продумана писателем структура произведения, выдержанного в традициях «плутовского романа» эпохи Возрождения. Предварив книгу эпиграфом из «Золотой легенды» — жития святых, сотворенного генуэзским епископом в XIII веке, приводя в эпиграфах к частям произведения цитаты из Библии, Карпентьер построил роман в виде триптиха, имеющего культовое значение и в католической церкви. В триптихе — этапы разбора «дела» мореплавателя, включая его исповедь не перед исповедником, а перед своей совестью и перед... читателем. Ирония сменяется юмором, сквозь который проникают трагические нотки, и все выливается в гротеск.

В романе «Арфа и тень» исключительно ярко заявили о себе основные эстетические концепции Карпентьера, столь характерные для его более чем полувекового творчества: необычайно богаты по красочности и музыкальности своей изобразительные средства, самобытен метафоризм латиноамериканского барокко, действительность воспринимается как «волшебная явь» — прием, введенный в литературный обиход писателем. Полет творческого воображения Карпентьера зачастую не связан хронологическими датами, и потому в романе речь идет о викингах, которых Колумб не мог знать, да и сам Колумб вдруг припоминает строки... Гарсиа Лорки (не так ли в «Концерте барокко» Вивальди, Гендель и Скарлатти из XVIII века у могилы Игоря Стравинского, умершего в 1971 году, обсуждают творчество этого композитора!). Не следует забывать, что свои ранние новеллы выдающийся мастер «волшебной яви» назвал «Войной времени».

Много исторических персонажей действует в романе (из первостепенных лишь Боцман Якоб выдуман писателем, но и для создания типа многоопытного и многознающего морского волка автором использованы сохранившиеся данные о трех моряках — предшественнике и современниках Колумба). Оценивая Колумба как простого, но незаурядного человека, предприимчивого и волевого, пусть не очень великого, не очень героического, не очень правдивого и, естественно, чуждого какой-либо святости, Карпентьер прослеживает «комедию ошибок» морехода, высвечивает его «реестр обманов», развенчивает миф о нем. Оказавшись без масок, Колумб стал «человеком-осужденным-быть-человеком-как-все»... Как все? А тень адмирала Андреа Дориа в романе бросает примечательную реплику: Симон Боливар сломал то, что сделал Колумб. Иными словами, с Колумба началась колонизация, началось порабощение народов Латинской Америки — оковы испанского господства разбил Симон Боливар, подняв факел освободительной борьбы.

Выразительны образы и остальных персонажей романа. Рельефен портрет Пия IX, уже проявившего себя реакционером зиждителя догмата о непогрешимости папы, охваченного хитроумной идеей канонизировать Колумба. Свидетелями на тайном обсуждении в конгрегации — по воле Карпентьера — выступают французские писатели Виктор Гюго, Альфонс де Ламартин, Жюль Верн, не считая воинствующих клерикалов Блуа вкупе с Розелли де Лоргом, а также миссионер Бартоломе де Лас Касас. Небезынтересно отметить, что высказывания Колумба в большинстве случаев взяты из его личных записей либо выдержаны в стиле мореплавателя; высказывания возникших тоже из небытия писателей заимствованы из принадлежащих этим литераторам произведений. Без радужного сияния набожности предстает в романе «католическая королева», ханжа и интриганка Изабелла Кастильская, о которой Маркс в «Хронологических выписках» отзывался в весьма нелестной форме (Архив Маркса и Энгельса, т. VII, с. 82, 83, 101. Госполитиздат, 1940). В неприкрашенном обличье выглядит и ее венценосный супруг, коварный и лицемерный Фердинанд Арагонский, по утверждениям историков, послуживший для Макиавелли прототипом «Государя».

Так в романе «Арфа и тень» оживает история. «Для меня,— говорил писатель в одной из бесед,— вчерашняя история есть нечто живое, нечто настоящее, как и все, что окружает меня в этот момент...»

Вызвав из далекого прошлого тени, Алехо Карпентьер заставил их изречь беспощадную правду о том, как реакцией и обскурантизмом создаются мифы,— и сладкозвучным арфам нельзя не смолкнуть перед судом истории.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

◆

ЭНЦО РУССО

Логово горностаев

РОМАН

Перевод с итальянского А. БОГЕМСКОЙ и Л. ВЕРШИНИНА

22

Как только старуха вышла, Де Дженнаро с облегчением вздохнул и улыбнулся. Не слишком-то много он успел за эти полчаса — его чересчур отвлекали забавные монологи этой женщины — она зачем-то листала старые подшивки газеты «Темпо» и бормотала себе под нос яростные проклятия, адресованные, наверно, кому-то, кто к прессе никакого отношения не имел. А главное, закуток, отведенный для подшивок, был такой тесный, что и двое там могли задохнуться.

Только он хотел хорошенько потянуться, прежде чем взяться за свои записи, которых у него уже набрался целый блокнот, как вошел какой-то тип с густыми бровями и, не удостоив его взглядом, решительно набросился на последние номера «Темпо». Капитан как завороженный несколько секунд не сводил с него глаз. Вот еще один чудак — везет ему на них сегодня, интересно бы понаблюдать за такими посетителями в ожидании вновь пришедших. Но блокнот, лежащий перед ним на старом, исчерканном столе, исписанный его размашистым, несколько детским почерком, не позволял ни на минуту отвлечься.

Он заставил себя вернуться к одной записи. «...Я повезу его превосходительство на свадьбу молодого Федерико. Он шафер»,— прозвучал словно как-то случайно на последней катушке новый голос, обращаясь к «Б». А «Б» в ответ пробормотал что-то банальное насчет свадьбы — раздраженно, как человек, которому не отвертеться от приглашения. Значит, свадьба какая-то важная. Однако, поскольку катушки с магнитофонными лентами не датированы, установить, когда именно было дело, нелегко. Несколько вечеров подряд капитан ломал себе голову над каждой фразой, стараясь уловить малейший намек. Единственный, пожалуй, заслуживающий внимания исходил от «Б»: в разговоре все с тем же незнакомцем он сказал, что какое-то время (по-видимому, несколько дней) все должно оставаться без изменений. Во всяком случае, необходимо «...ждать, по крайней мере, до вторника, пока не станет что-нибудь известно».

Нервным движением карандаша капитан, кусая губы, подчеркнул слово «вторник». Он об этом думал сегодня с самого утра, когда еще брился. Временной период, тот промежуток, о котором говорилось, мог относиться к любому сезону. Люди, чьи голоса были записаны, наверно, не были служащими, их жизнь не подчинялась обычному рабочему графику с еженедельным выходным. Но в таком горо-

Окончание. Начало см. в. № 10.

де, как Рим, даже президент Республики должен считаться со свободными днями чиновников. Поэтому-то Де Дженнаро, когда у него мелькнула эта мысль, хотя он и старался не придавать ей большого значения, сразу бросился в редакцию «Темпо». Почему им надо ждать до вторника? Может, потому, что понедельник — пасхальный день? Капитан стал листать газеты в обратном порядке — с субботы, внимательно просматривая городскую хронику, но, несмотря на множество брачных объявлений — в одном из них сообщалось о свадьбе, на которой мог присутствовать весь высший свет,— ему нигде среди имен женихов не встретилось имя Федерико; во всяком случае, сообщение о таком событии, с участием стольких важных лиц, несомненно, попало бы в хронику и ему уделили бы немало места.

Однако ничего похожего не было, и, просмотрев «Темпо» до середины марта, он, раздосадованный, решил прекратить поиски. В этот момент сосед с густыми бровями закрыл газету, которую изучал, взял шляпу и, еле заметно поклонившись, направился к выходу.

Значит, имелся в виду не пасхальный понедельник, а как показывал его карманный календарик, в нынешнем году не было других праздников, которые захватывали бы этот день недели. Оставалось лишь перелистать всю подшивку за прошлый год — с января по декабрь — и надеяться, что магнитофонная запись была сделана год назад. Капитан немножко подумал, и такое предположение даже приободрило его: ведь пасхальный понедельник — всегда праздничный день, а никто на магнитофонной ленте ясно не сказал, что речь идет именно об этом годе.

Поиски казались бесконечными. От пыли, поднимавшейся с поспешно переворачиваемых страниц, щекотало в носу, но чихнуть никак не удавалось. Наконец капитан увидел, что пасха в прошлом году приходилась на двенадцатое апреля. Он начал просматривать газеты за апрель, быстро пробегая глазами заголовки и мелкие строчки хроники. Нужное ему сообщение оказалось таким большим и заметным, что он чуть его было не пропустил. Внимание его привлекла фотография. Подпись под ней гласила, что в церкви святой Сабины сочетались браком сын министра Вильяни — Федерико Вильяни, главный врач-ортопед Римской городской больницы, и синьорина Летиция Дзаниратти.

Церковь святой Сабины, самая красивая романская церковь в городе, была ему хорошо знакома. Не потому, что его слишком интересовала романская архитектура и ее последующая эволюция в средние века, а потому, что там венчался кое-кто из его приятелей. И главное, несколько лет назад у этой церкви ему назначала свидания одна потрясающая австриячка, если не могла принять его в своей роскошной квартире на Авентинском холме («Да благослови ее господь, где бы она сейчас ни была»,— подумал он, вороша приятные воспоминания). Так как любовница Де Дженнаро была пунктуально точна, то ей частенько приходилось ожидать его в храме, и он должен был разыскивать ее в проклятущей тьме среди колонн и реставрированных древностей: это было не так-то легко, потому что рослая блондинка любила к тому же прятаться. Однако в таких случаях достаточно было стать посреди церкви, начать громко чертыхаться и скрежетать зубами, и она немедленно выскакивала откуда-то из мрака и затыкала ему рот: «Что ты! Нельзя богохульствовать в церкви!»

Улыбка еще не сошла с его губ, когда он поставил машину на площади Кавальери ди Мальта. Как обычно, перед воротами Верховного военного Мальтийского ордена толпилась группа туристов. Они пытались увидеть в замочную скважину[1] купол собора святого Петра и

[1] Одна из туристических достопримечательностей Рима: сквозь замочную скважину в древних воротах виллы Мальтийского ордена открывается красивейший вид на собор св. Петра, находящийся вдалеке, на противоположном берегу Тибра.

словно состязались в том, кто издаст более идиотский возглас восхищения. Капитан медленно прошел расстояние, отделяющее маленькую площадь от церкви святой Сабины, краем глаза следя за двумя парнями на японском мотоцикле — похоже было, они собираются вырвать у впавших в экстаз туристок не радости любви и секса, а их сумочки. Однако наконец мотоцикл, прогрохотав, как ракета, исчез, и парни не нарушили никаких законов, кроме правил уличного движения.

— Извините, как пройти к цирку Массимо? — обратился к Де Дженнаро старичок-иностранец с великолепным итальянским выговором. Капитан указал на спуск.

— Прямо. Вы сразу увидите — он похож на стадион.

— Спасибо.

Де Дженнаро вошел в знакомый прохладный сумрак, и, как боль от удара под ложечку, его пронзили воспоминания. Австриячки не было, она не пряталась за источенной временем чашей для святой воды, и ее, увы, не найти, даже если зажечь пять-шесть свежих огарков. Не спеша он подошел к низенькому человечку, хлопотавшему вокруг целого строя свечей, насаженных на железные острия. Так как сторож не обернулся, капитан легонько тронул его за плечо.

— Извините.

— Чего вам?

— Священника случайно нет?

— Он здесь, но не велел его беспокоить. Священник занят, я не могу его отрывать от дел.

— Я из полиции.

— Что?

— Я капитан карабинеров, из следственного отдела,— повторил Де Дженнаро, но церковный сторож вновь занялся своими свечами с таким видом, будто ничего не слышал или ему наплевать на услышанное. Де Дженнаро размышлял, что же ему делать — подождать или громко повторить свои слова, но тут обнаружилось, что сторож просто тянет время. Он обернулся с изумленным и одновременно раздраженным видом.

— Подождите здесь.

— Хорошо,— сказал капитан, однако последовал за ним в глубину церкви, где царил полумрак. Как только капитан понял, куда идти (в то же мгновение до него донесся жизнерадостный и самодовольный голос, выговаривавший кому-то — правда, не слишком строго), он, ускорив шаг, легко обогнал сторожа.

Дверь поддалась.

— Разрешите?

Рядом сопел сторож, порываясь войти и доложить о посетителе. Капитан его мягко отстранил.

— Входите, входите,— пропел звучный сладкий тенор. Из другой двери выглянул мальчишка-служка, в руках у него были осколки разбитого бокала. Пока он продолжал собирать с пола стекло, Де Дженнаро переступил порог и вошел в комнату — нечто вроде небольшого кабинета. Навстречу ему спешил мужчина, на удивление гладкий и розовощекий.

— Входите, входите!

— Мое почтение, святой отец. У меня к вам один маленький вопрос.

— Разрешите, я попробую угадать. Вы насчет свадьбы?

— Вот именно.

— Входите, садитесь, я отвечу на все ваши вопросы.

— Спасибо. Меня интересуют главным образом свидетели со стороны жениха.

— А, понимаю,— сказал священник, с любопытством уставившись на него.— И что именно?

— У вас имеется книга, в которую вы записываете... нет, кажется, сами свидетели должны в ней расписаться перед церемонией... извините, но я не слишком сведущ в этих делах.

— Разумеется. Вижу, молодой человек, эта подробность вас очень волнует.

— Да, действительно. Могу я посмотреть книгу записей?— спросил капитан. Теперь в смеющихся глазах хозяина кабинета промелькнуло сомнение. Казалось, он уже достаточно позабавился и не знает, продолжать ли ему и дальше в таком шутливом тоне или поскорее закончить этот разговор.

— Вы что, намереваетесь столь же тщательно проверять и все остальные детали, касающиеся вашей свадьбы?

— Да нет, святой отец, дело идет вовсе не о моей свадьбе, а о венчании этого... ну, как его... погодите, я где-то записал фамилию... сейчас найду листок... вот, черт возьми... ах, извините!

— Ничего, ничего. Но прошу вас, больше не чертыхайтесь.

— Не беспокойтесь, святой отец,— с улыбкой успокоил его капитан. Этот был еще ничего. Во времена австриячки (да воздаст ей господь, куда бы теперь ее ни забросила судьба) здешний приходский священник был жуткий зануда, начисто лишенный чувства юмора. Когда капитан попадался ему на глаза, священник мерил его хмурым взглядом и спрашивал: «Вы что, юноша, опять пришли в нашу церковь богохульствовать?»

— Ах, вот: бракосочетание Вильяни и Дзаниратти.

Священник заговорщицки кивнул, подавшись вперед всем телом. Дыхание у него было горячее и чистое, оно свидетельствовало о том, что у него хорошее вино и здоровый желудок.

— Вы из полиции? Комиссар?

— Из следственного отдела.

— Какой именно полиции?

— Судебной. СП. Корпус карабинеров.

— Ах, вот что!

— Ну да. Показать удостоверение или...

— Нет-нет. Сейчас я принесу книгу записей.

Он исчез в каком-то закутке, словно в задней комнате лавки, наступив при этом на большой осколок разбитого служкой бокала. Стекло захрустело, и священник поддал осколок ногой, пробормотав нечто весьма похожее на проклятие. Почти мгновенно он возвратился с толстенной книгой под мышкой.

— Вот, пожалуйста,— швырнул он книжищу на стол. Капитан едва успел убрать со стола пальцы и изобразил на лице горячий интерес.

— Как, вы говорите, их фамилии?

— Вильяни и Дзаниратти,— повторил Де Дженнаро, не веря ни на секунду, что эта старая церковная лиса могла позабыть о столь пышной свадьбе.

— Мне кажется... да-да, припоминаю... возможно, это была... Ну, что поделаешь, пройдет всего лишь каких-то несколько месяцев — и уж никак не вспомнить... Наверно,— тем временем он энергично листал книгу,—наверно... да-да, довольно видные люди, если не ошибаюсь. Не могу сказать с полной уверенностью, но, кажется, в числе свидетелей... ведь вас интересовали свидетели, не так ли?

— Со стороны жениха.

— Ах, да-да. Вот, пожалуйста.

Жара на улице просто угнетала после получаса, проведенного в чудесной прохладе подлинного храма тринадцатого века. Перед входом уже толпилась другая группа туристов, их стало еще больше. За туристами маячили какие-то нагло ухмыляющиеся парни подозрительного вида, но без мотоциклов. Капитан не спеша направился к своей маши-

не. За стеной виллы Мальтийского ордена высились густые кипарисы и весело щебетали птицы. Мысль о том, что стоило бы задержаться здесь на четверть часика, а то и на целых два, насладиться непривычной тишиной, а может, и попытаться подцепить какую-нибудь крошку, была, возможно, и неплоха, но толстая книга священника дала точный и ясный ответ. Еще один след, и на этот раз, наверно, самый важный!

— Привет! — уже выжимая сцепление, проговорил он, высунувшись в окно машины.

Девушка хихикнула, подтолкнув локтем подругу. Ни одна, ни другая красотой не блистали; наконец, та, что пострашнее, решилась:

— Привет!

Это была игра, спорт, которые вот уже несколько лет шли в Риме на спад, вынужден был признать Де Дженнаро, спускаясь по улице Санта-Сабина. Он не мог объяснить почему. Может быть, все бóльшая свобода нравов лишала мужчин удовольствия от уличных знакомств, порой превращавшихся и в более близкие. Но это, конечно, не единственная причина. Однако сейчас не до того, чтобы забивать голову подобными размышлениями.

Он дотронулся до кармана и с удовольствием убедился, что записная книжка лежит там. Фамилия найдена, теперь достаточно узнать, кто сопровождал этого человека в церковь в день венчания — и тогда капитан наконец установит, кому принадлежит первый голос на этих замечательных магнитофонных лентах. С той минуты все будет делом техники, и его ожидает немало приятных минут. Эта мысль ободрила капитана. Поначалу он даже не мог подозревать (и надеяться), что дело примет такие масштабы. Да, это будет, черт побери, настоящая бомба!

Не обращая внимания на пассажиров машин, застывших рядом перед светофором, он засмеялся и долго еще радовался, представляя себе выражение лица Андреа Балестрини, когда он усядется против него за стол, начнет свой рассказ и примется вынимать из карманов фотографии, документы, магнитофонные ленты, словно старый, дьявольски ловкий фокусник.

23

— Ты понимаешь? — продолжала трещать Рената. Она то и дело повторяла этот вопрос, словно уже не могла остановиться. Вивиана еще раз устало кивнула. Ей хотелось потянуться и зевнуть, рассказать о последней выходке Витторио Де Леонибуса (букет алых роз без всякой записки; однако мальчишка-посыльный из цветочного магазина хорошо запоминал лица и был большой болтун), попросить Ренату приготовить ее такое вкусное питье — разведенный вишневый сок с ягодами и мелко колотым льдом, а к нему — соломинка и ложечка. Но решила повременить.

— Я тебе уже сказала: если ты действительно не желаешь следовать моему совету, поговори с Андреа. Он, может, человек и не совсем светский, но ведь и не дикарь. Вот посмотришь, он поможет тебе.

Она посмотрела на Ренату невидящими глазами, все еще завороженная звуком собственных слов. Интересно, как это воспримет Андреа? Вивиана попыталась себе его представить, с неудовольствием отметив, что этот увалень, эта дубина занимает ее мысли немножко больше, чем того заслуживает. Она улыбнулась, и настроение ее чуточку исправилось. Наверно, этот Андреа Мудрый выслушал бы жену со смешанным чувством глубокой боли и изумления. В памяти у него, беспорядочно теснясь, ожили бы смутные юношеские воспоминания и представления о женщинах. Постепенно они сложились бы в следующую истину: жена Цезаря должна быть не только чиста и непорочна, но и вне всяких подозрений. Или в какую-нибудь банальность такого же рода.

В конце концов, проведя много долгих вечеров в размышлениях перед телевизором или в ванне, где Андреа любил понежиться (Рената не раз с умилением распространялась об этих привычках мужа), помощник прокурора Балестрини, наверно, пришел бы к следующему решению: такой интеллигентный и порядочный человек, как он, должен и вести себя соответствующим образом. Он вполне искренне признался бы, что совершенно растерян, задавал бы дурацкие вопросы, изрекал бы пуританские избитые сентенции. И вот, проникновенно глядя в глаза Ренате и подкрепив свои слова подобающим жестом, он бы заявил: на основании статьи икс, параграфа игрек, учитывая, что обвиняемая ранее к уголовной ответственности не привлекалась, а также принимая во внимание ее общий моральный облик, я, как терпимый муж, именем итальянского народа и во имя семейного мира считаю возможным простить ее невинный проступок.

— Чему ты улыбаешься?

— Улыбаюсь?... Я подумала... подумала, что было бы хорошо, если бы ты приготовила свой напиток. Тебя это не затруднит? — произнесла Вивиана первое, что пришло на ум, и сразу почувствовала, что ее просьба прозвучала естественно: Рената кивнула и, виляя бедрами, побежала на кухню. Она с радостью была готова выполнить желание подруги.

А после оглашения такого судебного приговора «дело» для Андреа было бы закрыто. Причем самым лучшим образом и, возможно, окончательно. За Андреа оставалось право при первом удобном случае задать жене вопрос: как только она могла подать хотя бы малейшую надежду этому мерзавцу, который лишь ждет случая вновь обмануть ее и бросить?

— Положить лед? — громко спросила из кухни Рената, уже звеня стаканами.

— Да, и побольше!

— Тебе так хочется пить?

— Ужасно.

И все же это была бы самая неудачная стратегия, которую Андреа Балестрини только мог выбрать. Ему надо было бы наброситься на Ренату, нагнать на нее страху, отхлестать по щекам, конечно не очень сильно, но как можно звонче, запихнуть в машину (возможно, предварительно поручив девочку заботам Вивианы Якопетти), а затем отвезти жену куда-нибудь — в Чирчео, Гаргано или Амальфи, все равно куда, потому что с тех пор, как Андреа женился на Ренате, они никуда не ездили, разве только в летние отпуска. А после скандала, оплеух, Чирчео, Гаргано или Амальфи он должен был бы с холодной решимостью заняться с ней любовью, причем, возможно, продемонстрировать ей некоторые новые технические приемы, которых она ранее не знала или избегала. Главное — никогда больше к этому не возвращаться, лишь время от времени напускать на себя суровый вид и вообще не особенно с нею нежничать. И никогда, ласково заглядывая ей в глаза, не спрашивать: «Что с тобой? Ты чем-то недовольна? Ты себя хорошо чувствуешь?»

Все это, разумеется, не ново. Все это тысячи раз с переменным успехом проделывало множество мужчин. Все как в самом заурядном романе. Но для такого человека, как Андреа, подобное поведение было бы чем-то совершенно новым. Столь же новым и удивительным показалось бы оно и робкой Ренате. Со своими гладкими, загибающимися на концах вверх волосами, в платьице из УПИМа[1], украшенном длинными цветами в стиле «модерн» начала века, с керамическим подносом в руках, где стоят налитые до краев большие грубые стаканы, она как раз такая женщина, на которую дешевые методы способны произвести

[1] Фирма недорогих универсальных магазинов.

впечатление. Так же, как и тот болван с самодовольным видом (Рената показывала его старую фотографию и другую, совсем недавнюю: у него прибавились только усы, а в остальном он ничуть не изменился), сумевший покорить Ренату при помощи самых примитивных средств. А Андреа, который, проезжая каждый день мимо продавцов цветов на набережной, должен был хоть раз купить ей розы, растяпа Андреа дал затмить себя этому типу с его жалким грошовым букетиком подкрашенных маргариток! Соперник явился разодетый, с цветами и после пяти-шести комплиментов, выпаленных залпом, принялся поглаживать Ренате руки, в которых она судорожно сжимала сумочку, букетик и ключи от дома, а потом угостил ее мороженым в кафе на площади Делле Музе. Он предложил ей пересесть в свою машину («Вон тот «опель-рекорд», что стоит на углу») не столько из осмотрительности, сколько из наивного хвастовства.

С одинаковым удовольствием, в приятном молчании, обе женщины выпили холодный напиток и выловили со дна стаканов вишенки. Из глубины квартиры доносилось басовитое бормотание стиральной машины.

— Вивиана!

— Что?

— У меня в голове все спуталось, будто я... Иногда я вдруг перестаю вообще что-либо соображать. Я больше ничего не знаю, ни в чем не уверена. Понимаешь?

— Нет. Уж если ты сама не понимаешь...

— Я тысячу раз клялась себе... но не потому, что сердилась на Джино, понимаешь? Я была убеждена, что должна сдерживать себя... Я и сейчас в этом убеждена, только ведь... Ах, как жаль, что Андреа...

— Да, да, я знаю.

— Мне хотелось бы уйти из дома, но одной. Бросить все: девочку, Андреа, все! Я не могу разобраться, что со мной... я была так спокойна, тысячу раз клялась...

— Вот в этом-то твоя ошибка: клясться тысячу раз. Чего ты хочешь: только вместе спать или вместе жить?

— Ну что ты!— сразу же вскинулась Рената.— Разве в этом дело!.. Речь идет не о том, чтобы спать вместе или врозь. Важно совсем другое, я сама даже не знаю что... не могу тебе толком объяснить...

Вивиана, не глядя на нее, машинально кивнула. Слушать ее, говорить с ней, пытаться что-то советовать было пустым делом. Рената, наверно, инстинктивно отвергала даже мысль о близости с Джино. Отвергала, быть может, столь же решительно, как за пять минут до или через пять минут после того короткого, безрадостного приключения в машине, которое привело к рождению Джованнеллы. И все же физическое влечение, которое Рената, казалось, презирает — она выдвигала на первый план какие-то другие доводы,— наверняка служило единственным объяснением, почему ее тянет к этому пошлому, самодовольному, экзальтированному типу, похожему на провинциального актера.

— Ну, я побегу,— вдруг решила Вивиана, взглянув на часы. Разговор иссяк: все, о чем только можно спросить и что можно посоветовать глупого, пустого, бесполезного, было уже сто раз спрошено и посоветовано.

Как обычно, Рената проводила ее до парадной. Несколько секунд, пока они спускались в лифте, Рената с обеспокоенным видом рассматривала в зеркале свои морщинки, и они не обменялись ни словом.

— Сходим завтра вместе в «Ринашенте»?[1]

— Наверно, нет, но ты все-таки позвони,— ответила Вивиана, выходя на улицу. Она не могла удержаться и краешком глаза взглянула на полустертую надпись на стене.

[1] Большой универсальный магазин.

Рената несколько дней назад рассказала о ней подруге по телефону. Хулиганская выходка, казалось, весьма огорчила жену Балестрини. Рената наверняка стыдилась и соседей по дому, и прохожих, и привратника, который так старался соскоблить эти ужасные слова. Для нее увидеть такое, наверно, было все равно что прийти домой из магазина и вдруг обнаружить листок с похабным рисуночком, приколотый к пальто.

— Чао!

— Чао и, пожалуйста, успокойся.

Двадцать шестой автобус был почти пуст. Она уселась в первом ряду у окна рядом с капралом. Лицо у него было худое, изможденное. Давая ей пройти, он подчеркнуто отстранился, а потом напряженно застыл. Бежавшие за окном стены домов, испещренные разными лозунгами, напомнили ей о надписи на стене дома Андреа. Вивиана опять подумала, насколько все эти ночные художества бессмысленны, хотя иногда и довольно метки. Оскорбить и запугать—вот единственная их цель, и это на некоторых действует, если подумать, например, о Ренате.

Вспомнив о подруге, она, наверно, незаметно для себя чуть улыбнулась, и капрал тотчас метнул на нее быстрый взгляд, полный плохо скрытого любопытства. Вивиана пристально и очень серьезно взглянула прямо в его невыразительные глаза; он тотчас уставился перед собой и даже слегка покраснел. Но только она сошла с автобуса за остановку до дома — захотелось хорошенько рассмотреть сумку в витрине магазина кожаных изделий,— как обнаружила капрала у себя за спиной. Он плелся за ней следом, и губы его растягивала глупая улыбка.

24

С каким-то чуть ли не религиозным чувством Де Дженнаро подумал, что да, да, действительно, черт возьми, это верно: в конце концов, всякое деяние вознаграждается, каждый получает по заслугам. Нежданно-негаданно кто-то воздал ему по справедливости, даже щедро,— наверно, за то, что он почти всегда избегал соблазнять порядочных девушек и добродетельных, честных матерей. В соседней комнате ритмично поскрипывала кровать — это Надя добросовестно выполняла порученную ей задачу. Стараясь не шуметь, капитан поправил наушник.

Фраза «Как? Ты шофер господина...» прошла благополучно — в ответ раздалось хвастливое кукареканье старика, находившего восхищение Нади вполне естественным. И он, как павлин, распустивший хвост, начал бахвалиться — рассказывать, сколь давно и высоко господин депутат его ценит: вот уже одиннадцать с половиной лет — столько он у него служит — шеф носит его на руках. Затем последовал бесконечный поток дурацкой болтовни и ненужных подробностей, и Де Дженнаро воспользовался короткой передышкой, чтобы снять наушник, жмущий ухо. Кладовка, оказавшаяся еще меньше, чем представлялось капитану во время утреннего осмотра, не вызывала у него клаустрофобии, однако там было жарко, как в аду на раскаленной сковородке, а он не смел раздеться, чтобы не шуметь.

Капитан боялся вспугнуть старика, особенно в такой ответственный момент, когда Надя вдруг как бы невзначай вспомнила: «А знаешь, я все-таки однажды близко видела твоего депутата!» — но все прошло гладко. Надя была не Сара Бернар, но с таким клиентом, как старик шофер, в этом и не было нужды. По существу ее роль была уязвима только в одном: она чересчур уж восхищалась политическим деятелем, которого еще ни в одной телепередаче не удавалось показать не то чтобы красавчиком, а хотя бы чуточку симпатичным. В худшем случае ее восторги старик мог принять за подготовку почвы для вымогательства: вдруг она попросит подыскать для кого-нибудь

место или кого-то порекомендовать его шефу. Это тоже было бы нежелательно: шофер несомненно всполошился бы и замкнулся.

«Ну что ты делаешь?»— хохотнула Надя слишком близко от спрятанного в абажуре «жучка». Тот сразу зафонил, и треск заглушил слова старика.

Дальше все уже было просто. Ну где, где она могла видеть депутата вблизи? «В церкви святой Сабины! Знаешь такую? Он приехал туда на свадьбу»,— объясняла Надя. Она коварно не позволяла старому сластолюбцу заходить слишком далеко, чтобы тот не отвлекался. «Ах, да, свадьба Дзаниратти, помню-помню».— «А тебя разве там не было? Я видела, как господин депутат вышел из машины, а за рулем сидел мужчина... с каким-то таким лицом...»

Последовала пауза, настолько напряженная, что по спине у капитана пробежал тревожный холодок.

«С таким странным лицом... ну да, вроде бы знакомым. То ли это какой-то очень известный человек, то ли он только похож на знаменитость, может, какой актер или политикан. Ну кто же это был, черт бы его побрал?» — «Да откуда тебе-то знать? Его фамилия Саворньян. Он близкий друг господина депутата».

Де Дженнаро так обрадовался, что нечаянно выключил свет и несколько секунд сидел в кромешной темноте, любовно поглаживая работающий магнитофон, словно перед ним была пушистая спинка драгоценной шиншиллы. Он еще не знает, как выглядит этот Саворньян, но голос его уже записан, и депутат принадлежит к числу близких его приятелей. Пройдет всего несколько часов — и мы будем знать господина Саворньяна как облупленного.

Капитан терпеливо ждал завершения свидания, надеясь, что долго оно не протянется, учитывая почтенный возраст старого греховодника. В душе Де Дженнаро шевелилось некоторое сочувствие к несчастной женщине, вынужденной до конца, до последней реплики, разыгрывать подготовленный им сценарий. Надя без особого восторга согласилась служить приманкой для старика после того, как капитан торжественно, хотя и довольно расплывчато, пообещал подарочек на день рождения. Она отлично справилась со своей ролью. Задача, говорил ей Де Дженнаро, состоит в том, чтобы установить личность одного высокопоставленного спекулянта валютой, одного из тех господ вне всяких подозрений, разоблачить которых почти невозможно, разве только загнать в угол с помощью дьявольской хитрости и настойчивости. Одним словом, что-то в таком роде, но Надю (на самом деле ее звали Мария Кармела, она была родом из Апулии) не интересовали детали. Она нетерпеливо его прервала: «К черту подробности, я же знаю, где ты работаешь. Вот только не забудь насчет подарочка...»

Хотя Де Дженнаро все это уже порядком надоело, он не мог сдержать улыбку, прислушиваясь к словам старого ловеласа. Чего стоила одна его манера выражаться! Даже Надя, наверно, искренне забавлялась — она то и дело неизвестно почему разражалась громким, заливистым смехом.

Через полчаса капитан решил, что с него хватит. Проклятый потаскун просто вызывал у него отвращение. Все-таки в его возрасте... этим делом уже следовало заниматься лишь постольку-поскольку, разве что для здоровья. А может, Де Дженнаро чуточку досадовал и на Надю, которая, черт бы ее побрал, могла бы проявлять свои, несомненно незаурядные, способности все-таки с меньшим пылом, зная, что он сидит весь в поту у нее в чулане с четырехкилограммовым магнитофоном на коленях.

По счастью, дверь спальни была приотворена. Пока он, не попадая от волнения в рукава, поспешно натягивал пиджак, из-за нее доносились какие-то неясные шорохи. Он представил себе, что будет за картина, если в дверном проеме сейчас вдруг появится сверкающий наготой волосатый шофер господина депутата. Но если там, в комнате, все

пойдет по-прежнему, опасности никакой нет. Выходя на лестницу, капитан мысленно пожелал всего хорошего Марии Кармеле. На площадке не было ни души. Спускавшийся лифт пронесся мимо с негромким воспитанным жужжанием. Этажом ниже кто-то переговаривался с соседом через площадку. Неприятный, злобный голос — таким комментируют рост цен, аварию «боинга», поражение популярной футбольной команды со счетом три-ноль. Де Дженнаро прикрыл за собой дверь, но, как ни старался, замок все-таки негромко щелкнул.

Когда он садился в машину, капитану показалось, что мужчина, стоящий на противоположной стороне улицы, ему знаком: у него был такой вид, будто он пришел на свидание и твердо намерен во что бы то ни стало дождаться свою даму, на сколько бы она ни опоздала. Ощущение, что он узнает случайных прохожих, Де Дженнаро испытывал довольно часто и как хороший физиономист никогда не мешал работе памяти, предоставляя ей самой копаться в картотеке физиономий. Но на этот раз магнитофон был важнее всего, и через десяток секунд капитан совсем забыл о человеке, встреченном у Надиного дома. Его полностью захватила мысль о предстоящих неотложных делах. В этом расследовании исходной точкой были магнитофонные ленты с записанными на них голосами, поэтому оно приобретало совершенно конкретный и реальный характер. Это вам не тот случай, где все основано на бумажках, написанных полуграмотно, с ошибками в именах и датах, на списках свидетелей, которых надо допросить, на адресах, нуждающихся в проверке, на разных документах и размноженных фотографиях преступников. Его ожидало исключительно важное и сложное дело, а не очередное упражнение на развитие смекалки и выносливости.

— Тебя спрашивал полковник,— сухо сообщил лейтенант Стелла, тотчас вновь уткнувшись в бумаги. Они уже более года разговаривали друг с другом только по служебным делам.

Даже не поблагодарив, Де Дженнаро прошел в свой кабинет, опустил магнитофон на письменный стол и только тогда вспомнил про «жучка». Лихорадочно листая записную книжку, он нашел, а затем набрал номер. Раздалось шесть-семь гудков, прежде чем ему ответили.

— Надя?

— А... привет! Откуда это ты звонишь?

— Ты одна?

— Нет.

— Черт! Но хоть выслушать-то ты меня можешь? — спросил капитан, смеясь и поглядывая на часы.

Надя какой-то ничего не значащей фразой дала понять, чтобы он говорил. Старика не было слышно: если он еще не сдох, то уже наверняка лежал на другой половине постели в глубоком обмороке.

— Послушай, я говорю из твоей кладовки. Я тут велел установить телефон, чтобы скоротать долгие часы ожидания.

— Черт побери, как ты красиво выражаешься. Тебя прямо можно принять за офицера карабинеров.

— И у тебя еще хватает нахальства острить?

— А что такое? Почему бы и нет?

— Ты все еще с нашим приятелем?

— А ты что думал? Я ведь, знаешь, верная в любви.

— Знаю, знаю, я в этом имел случай убедиться, пока тут ждал... Ну ладно, слушай внимательно: мне необходимо сегодня же получить назад ту штучку, что спрятана в абажуре.

— Что? Ах да, поняла. Тогда вот что... Сегодня, после обеда, часиков в пять мне надо быть в твоих краях. Я тебе ее оставлю... Ну эту штучку... там, у тебя...

— Где, в проходной? Нет, лучше ты меня вызови и отдай лично в руки. Нет, погоди, может, меня не будет. Да-да, наверняка не будет.

Слушай, сделай пакетик, но такой, чтобы не понять, что там внутри. Хорошо завязанный пакетик, понимаешь?

— А вдруг подумают, что это бомба?

— Перестань говорить глупости. Во всяком случае, я предупрежу дежурного, что ко мне придет женщина, опишу ему и тебя и пакетик. Договорились? Хорошо?

Все хорошо, но у него было бы спокойней на душе, если бы к концу дня он смог вернуться на работу, повидать Надю и заодно спросить, что это ей взбрело в голову так долго возиться с этим мерзким стариком. «Ну хоть бы чуточку стыда,— подумал он, улыбаясь,— то есть нет... вернее сказать, хоть чуточку достоинства... Нет, опять не то. Ну скажем, хоть чуточку хорошего вкуса. Тоже не подходит. Ну хотя бы чуть больше заботы о соблюдении внешней формы...»

— Полковник у себя? — спросил он у дежурного, лицо которого было словно вырублено топором — такую физиономию, раз увидев, не забудешь.

— Так точно, господин полковник искал вас, господин капитан.

— Он свободен?

— Думаю, что да. Подождите, сейчас узнаю.

В следующее мгновение, когда он уже взялся за ручку двери, капитан совершенно отчетливо вспомнил: мужчина на противоположной стороне улицы, который показался ему знакомым, был тот самый человек, что вошел в архив редакции газеты «Темпо» сразу после ухода сумасшедшей старухи. Без всяких сомнений, это был он, хотя на этот раз лицо его скрывали большие темные очки.

— Зайдите, господин капитан.

Он вошел с чувством, что совершает нечто совершенно лишнее, чудовищно ненужное. Все, что ему предстояло делать, все, о чем ему нужно было сейчас думать, не имело решительно никакого отношения к этому слишком изысканному кабинету, где полковник Винья, восседая за письменным столом, пристально смотрел на него поверх сползших на кончик носа маленьких очков.

— Ах, это ты, Де Дженнаро? Входи, входи.

На этот раз, судя по его виду, полковник не собирался начинать разговор со своих обычных шуточек. Он протянул руку над загромождавшей стол грудой папок, указывая на стул:

— Присядь, присядь на минутку.

25

До сих пор публика в зале суда вела себя довольно тихо. Все словно не замечали, с каким трудом судебный заседатель разбирает почерк какого-нибудь полицейского старшины, зачитывая протоколы допроса свидетелей, написанные от руки. Только однажды в зале кто-то не выдержал: «Ну слава богу, наконец-то разродился!» Но в ответ раздалось громкое шиканье секретаря.

Председатель суда всякий раз, когда перед ним появлялся новый свидетель, требовал, чтобы оглашали наиболее важные места его показаний, и, как только находил предлог, перебивал заседателя, задавая дополнительные вопросы. Однако ответы на них он почти не слушал и все время косился на адвокатскую скамью, а особенно на двух адвокатов из «Красной помощи»[1]. Более авторитетный из них — Силипо, высоченный мужчина с великолепной трубкой, зажатой в зубах,— стоя следил по фотокопии за текстом, который, спотыкаясь на каждом слове, читал судебный заседатель. Казалось, тот запинается не столько из-за того, что едва разбирает почерк, а просто умеет читать только по складам.

[1] Организация, которая из «идейных» и «гуманных» соображений предоставляет юридическую помощь арестованным террористам из «красных бригад».

После очередной его оговорки в зале на несколько секунд воцарилась мертвая тишина, а потом публика разразилась безжалостным хохотом. Стоял такой шум, что не помогали ни призывы к порядку секретаря суда, ни удары молотка председательствующего.

Атмосфера в зале переменилась, и это оживление не предвещало ничего хорошего. Даже Буонафортуна, до того сидевший в своем углу с безразличным видом в окружении множества карабинеров, начал во все горло пререкаться со свидетелями, и пришлось вмешаться председательствующему.

Судебный заседатель между тем размахивал своими листками. Сквозь шум иногда удавалось различить отдельные слова, которые он выкрикивал нервным фальцетом.

— Да кастрируйте его, чтобы такие не размножались! — прогремел чей-то хриплый голос. Слова эти, однако, не долетели до судейского стола, а только вызвали прилив оживления и веселья у Буонафортуны.

Балестрини перестал вслушиваться в показания свидетелей. Эта вереница случайных прохожих, еще до сих пор, много месяцев спустя после убийства, не опомнившихся от страха, начала ему надоедать. Даже адвокаты обеих сторон уделяли им не слишком много внимания; только председатель суда возился с каждым дольше, чем требовалось; возможно, он хотел, чтобы публика соскучилась, тем больший эффект вызовет припасенный им «коронный номер».

— У меня вопросов нет,— сказал Балестрини председателю суда, решительно взмахнув рукой, и бросил взгляд на часы. Половина двенадцатого. Он вспомнил, что Де Дженнаро обещал заглянуть к нему во время судебного заседания. Но ожидать пунктуальности от Де Дженнаро не приходилось — она была не в характере капитана.

На минутку Балестрини отвлекся, подумав о загадочных словах Де Дженнаро, позвонившего ему вчера в прокуратуру. Капитан обожал пользоваться официальным лексиконом, даже когда в этом не было необходимости: выражения вроде «непредвиденное направление, которое приняло расследование», «запутанный, но интересный след» словно зачаровывали его. Балестрини улыбнулся про себя — скорее с симпатией, чем насмешливо. Над подобным ребячеством капитана на службе вечно подшучивали, и полковник Винья любил поразвлечь прокурора и его ответственных сотрудников рассказами о забавных похождениях Де Дженнаро в духе «агента 007», хотя полковник при этом и старался не слишком уронить честь мундира. «Следственный отдел без него бы осиротел»,— часто повторял Винья. Де Дженнаро в отместку называл полковника «бестолковник Винья», но, разумеется, не при прокуроре и его помощниках. Балестрини был уверен, что Де Дженнаро решается так шутить только в его присутствии, и не знал, радоваться ли доверию капитана.

Между тем публика, быть может по секрету предупрежденная о том, что скоро прикажут очистить зал, постепенно успокоилась и восприняла почти равнодушно появление свидетельницы Кларетты Таркуини — кассирши кинотеатра. Это она посадила Буонафортуну на скамью подсудимых своими показаниями, столь уверенными и определенными. Они произвели тем более сильное впечатление, что кассирша была похожа на испуганную курицу.

— Скажите: «Я клянусь»,— велел председатель.

— Я клянусь.

— Вы — Таркуини Кларетта?

— Да, синьор.

— Синьора, вечером пятнадцатого числа...

Балестрини только сейчас с изумлением заметил, насколько эта женщина похожа на Ренату. Очки, жидкие волосы, нищенский вид, платьишко с претензией на элегантность вроде бы отличали кассиршу от его жены. Да и лицо у Ренаты было нежнее, и она, как приезжая,

всякий раз говорила его мать, «постепенно учится одеваться». Но, как и у Ренаты, у кассирши была привычка крепко сжимать кулачки при каждом вопросе, втягивать голову в плечи, будто ее сейчас стукнут; и, кроме того, что-то в ее фигуре — может быть, рост или еле заметная грудь — очень напоминало Ренату, правда, скорее в прошлом — во времена его короткого жениховства и в первые годы брака. Позднее Рената хотя и не слишком изменилась, но у нее появилась уверенность в себе, она стала выглядеть ухоженной. Она научилась улыбаться, чуть склонив голову набок, с каким-то детским, невинным кокетством...

— И все же вы это ясно сказали во время первого допроса! — воскликнул адвокат Силипо, и Балестрини, вздрогнув от его голоса, прогнал посторонние мысли. Таркуини, повернувшись к скамье адвокатов, приготовилась отвечать.

— Смотрите на председателя суда, синьорина,— призвал ее Силипо, указывая вверх. Девушка, естественно, растерялась. Даже самые опытные свидетели не в силах понять существующую процедуру: сначала вопросы задают председатель суда и адвокаты, а потом снова председатель — будто говорят через переводчика, что только отнимает время и утомляет.

Балестрини с первых же слов понял, о чем идет речь. По собственной воле, впервые за время многочисленных допросов, девушка давала показания не в столь категоричной форме. Да, она видела Буонафортуну, когда он выходил из вестибюля, и смутно припомнила, что два часа назад продала ему билет. Потом она на секунду отвлеклась, подойдя к зазвонившему телефону, а мгновенье спустя за входной стеклянной дверью произошла трагедия.

— Лишь в том случае, если бы на месте синьора Буонафортуны возле выхода вдруг оказался кто-то другой, конечно, абсолютно похожий на него сзади, точно так же одетый и с такими же волосами, только тогда я могла бы ошибиться, господин судья. Потому что я на секунду потеряла его из виду. Всего на секунду, но когда я подняла глаза, он был за дверью, тот самый человек. Только успел открыть дверь и выйти на улицу.

Силипо ухватился за эту великодушную уступку, истолковав ее как некую слабость обвинения: широко разведя руками, он изобразил сомнение. Но слова кассирши никаких сомнений не вызывали, и Балестрини жестом привлек внимание председателя, который уже начал клевать носом.

— Господин председатель, хочу заметить, что смысл фразы, произнесенной синьориной Таркуини, не следует искажать. Она сформулировала ее в виде парадокса с целью усилить свою мысль... в том смысле, ну, не знаю, как бы лучше это выразить... В общем, так: единственная возможность ошибиться существовала бы лишь тогда, если бы за истекшую секунду на месте Буонафортуны оказался его двойник, причем подмены не заметил бы никто из прохожих. Понимаете, что я хочу сказать?

— Это так? — спросил председатель, с заинтересованным видом обращаясь к кассирше.

— Извините, я не очень хорошо поняла.

— В следующий раз лучше выучи свою роль! — выкрикнул из толпы чей-то женский голос.

На сей раз в зале не раздалось смеха. Атмосфера накалилась, сделалась злобной: ветер переменился — все ждали обличений, остроты и шутки были забыты. Председатель терпеливо повторил сказанное Балестрини, в то время как судебный заседатель, наверно радуясь тому, что не ему одному приходится попотеть, улыбался с довольным видом.

— Нет, господин председатель. Если я правильно поняла ваш вопрос, повторяю то, что уже говорила раньше: это был он. Это был...

Я хотела сказать, что только в случае, если бы... одним словом, только если бы произошло нечто такое...

— Короче говоря, прокурор прав.

— Как вы сказали?

— Хорошо, хорошо. В таком случае на мой вопрос ответьте так: подтверждаю все то, что заявляла раньше. Человек, увиденный мною за стеклянной дверью, не мог быть ни кем иным, кроме Буонафортуны.

Наступила такая зловещая тишина, что в ней явственно прозвучали слова, произнесенные шепотом одним из адвокатов обвинения, подошедшим вместе с Якопетти поздороваться с прокурором:

— Помнишь, как говорил старик Карнелутти? Когда в зал суда входит политика, правосудие в ужасе убегает.

— Политика всегда тут,— отозвался Якопетти, но с таким видом, будто говорит не всерьез.— Ну, так как дела, Андреа?

— Ничего нового. Сейчас обрабатывают бедняжку, единственную, кто представляет интерес. Но список свидетелей еще длинный.

— А какова атмосфера в целом?

— Накаленная. Я задыхаюсь от жары, или это мне только кажется?

— Еще бы! Посмотри, сколько народу. У вас сегодня аншлаг.

Они поболтали минут десять, не теряя из виду возвышения, с которого давали показания свидетели. Как только Таркуини отпустили, Андреа скинул прокурорскую мантию.

— Джиджи, ты меня не подменишь на четверть часика?

— Ладно, только давай побыстрее.

Балестрини постарался выйти из зала как можно незаметнее. Яростная перепалка между адвокатами из «Красной помощи» и их коллегами со стороны обвинения полностью поглотила внимание присутствующих.

— Мое почтение, доктор.

— Добрый день!

Полицейских было хоть отбавляй, многие в гражданском, и все наготове, будто ожидался государственный переворот. Преодолев лабиринт загородок, расставленных, как обычно в таких случаях, Балестрини вышел на улицу. Казалось невероятным, что там, в зале, даже не догадываются, как ярко сейчас светит солнце. После раскаленной духоты зала Балестрини, несмотря на жару, словно очутился в Доломитах [1].

Войдя в здание прокуратуры, он быстро направился к своему кабинету, на ходу доставая из кармана ключ. Телефонный разговор должен быть совсем коротким — надо уложиться, как он обещал, в четверть часа. Машинальным движением отодвинув в сторону кипу папок, Балестрини набрал номер и прислушался в надежде, что услышит сигналы «занято». Однако почти тотчас ответила прислуга.

— Анна, синьора дома?

— Нет, доктор, она только вышла.

— Ты не...

— Подождите, может, она еще дожидается лифта...

Он остался в одиночестве с трубкой в руке. Несколько секунд доносился дробный стук каблуков прислуги, потом ему показалось, что раздался звук открываемой входной двери, но голосов не было слышно.

— Доктор Балестрини! — донесся до него тонкий голос начальника канцелярии. Он звал помощника прокурора, заглядывая в приоткрытую дверь. Балестрини знаком попросил его подождать.

— Доктор,— сказала Анна в телефонной трубке. Она слегка задыхалась.

— Да?

---

[1] Доломитовые Альпы на северо-востоке Италии, где расположены курорты для любителей зимних видов спорта.

— Нет, доктор, синьора уже ушла. Я пробовала позвать ее, но, видно, лифт...

— Да, хорошо, хорошо.

— Она пошла в школу за девочкой.

— Хорошо, Анна. Скажи ей... скажи, что я, возможно, немного задержусь.

Он повесил трубку, не слушая многословные заверения прислуги в том, что она все передаст синьоре.

В дверях еще продолжала неподвижно торчать голова начальника канцелярии.

— Ну, почему вы не входите?

— Извините, я видел, вы разговаривали по телефону...

— Войдите.

— Произошло нечто ужасное, доктор Балестрини. Только что звонили из оперативной группы. Главному прокурору уже доложили, и он велел мне...

Балестрини решительным жестом его остановил и стал подталкивать к двери. Если уж он не застал дома Ренату, то хоть надо было уложиться в пятнадцать минут, любезно предоставленные ему Джиджи Якопетти.

— Можно узнать, в конце концов, что случилось?

— Убит капитан Де Дженнаро!

Балестрини проглотил слюну и спохватился, что все еще держит в руке ключ, нацеленный в пустоту, точно маленький револьвер. Он облизнул губы.

— Что-о-о?!

— Сегодня утром, у себя дома. Его нашли, когда взломали дверь — хотели выяснить, что случилось... В него стреляли в упор.

Балестрини вышел из кабинета, захлопнул дверь, запер ее поворотом ручки, оглянулся и увидел, что вокруг все как обычно: людской поток так же тек в обе стороны по большому центральному коридору, словно Де Дженнаро был еще жив. Дежурный, который наверняка уже знал о случившемся, приветствовал его всегдашней бодрой улыбкой.

— Добрый день, доктор Балестрини.

И не добавил ни слова.

Вторая часть

1

— Точно не знаю... полковник говорит, что ничего определенного установить не удалось. Он лежал на спине... ногами почти упираясь в дверь. Три выстрела — два в сердце, третий совсем близко. Смерть, наверно, наступила мгновенно. На нем был домашний халат. Судя по положению тела, выстрелили сразу, как только он открыл дверь, с порога. Потом они перевернули вверх дном всю квартиру... как всегда.

— Как всегда?

— Когда Де Дженнаро обнаружил труп Гуидо Паскуалетти, квартира у бывшего агента СИДа выглядела точно так же, как теперь у капитана... Да, конечно, на первый взгляд тут нет ничего общего. То есть я хочу сказать, что капитана вряд ли убили в связи с расследованием дела, в котором замешан Паскуалетти, а следовательно, те, кто отправил его на тот свет... Но вернемся к фактам. Больше всего поразили Винью деньги: почти полтора миллиона наличными в ящике стола... да, такая сумма меня тоже удивила. Однако денежки ос-

тались на месте и валялись как попало: искали, видно, совсем другое. Я задаю себе вопрос, что именно, но, честно говоря, не нахожу ответа.

— Дальше.

— Все, как я говорил, перерыто. Ни один самый мелкий предмет не может остаться незамеченным при таком обыске. Мебель перевернута — наверно, искали, не приклеено ли чего снизу и не засунуто ли в щели. Работали, видно, в полнейшей тишине — в квартире внизу почти ничего не было слышно. Когда мы еще раз допросили соседей, они сказали, что за дверью у капитана было лишь какое-то «сильное движение». На каждом этаже по три квартиры. В одной, расположенной рядом, никого нет, швейцар говорит, что жильцы уже с неделю как уехали на дачу. В другой живет один пенсионер... Я забыл еще сказать, что стреляли наверняка из пистолета с глушителем, иначе в таком доме три выстрела всех бы перебудили. Наверно, было чуть больше одиннадцати. Так о чем я говорил?

— О пенсионере.

— Ах, да. Этому человеку вполне можно верить, во всяком случае мне так показалось. Около половины десятого он перекинулся с Де Дженнаро несколькими словами со своего балкона. Они беседовали иногда лишь в лифте или переговаривались с балконов. Обычное дело... Де Дженнаро сказал, что только перекусил, а затем ушел в комнату. Свидетель утверждает, что слышал, как капитан еще некоторое время ходил по квартире, потом, примерно без четверти одиннадцать, пенсионер отправился спать. Спальня его в другой стороне от квартиры Де Дженнаро, и поэтому старик ничего больше не заметил. То же самое и жильцы с верхнего этажа. Да, вот еще важная подробность... ее также сообщил пенсионер. Он говорит, что Де Дженнаро был в одних трусах. В тех самых белых трусах, которые нашли на нем под халатом. Кроме того, капитан выглядел... ну так, будто никого к себе не ждал...

— По-домашнему?

— Был растрепан, зевал... Как я уже говорил, старик оказался свидетелем весьма наблюдательным и желает помочь расследованию. Я сам этого пенсионера не видел, но Винью поведение свидетеля просто поразило. Старика глубоко потрясло случившееся, и иногда даже казалось, что он вот-вот расплачется...

— Не отвлекайся.

— Да больше особенно и нечего сказать... Разве вот что: «альфетту» капитана также всю обшарили. После убийства они взяли ключи и преспокойно спустились в гараж осмотреть машину. Последнее могло бы означать, что поиски в квартире не дали результатов, однако это еще не доказательство. Кроме того, убийц, может быть, было двое, и пока один осматривал машину, другой шарил в доме. Одного не понимаю, как в такой час... Я вам ведь говорил? Было уже, должно быть, без четверти одиннадцать. И как Де Дженнаро мог без всяких предосторожностей, так поздно открыть дверь? Только накинул халат. Но... конечно, если он кого-то к себе ждал....

— Женщину?

— Может, и женщину. Правда, если вспомнить о том, что говорил все тот же сосед по балкону, это очень сомнительно: капитан был небрит, растрепан и так далее. Хотя, возможно, должна была прийти старая любовница. Поэтому он и не заботился о том, как выглядит... Но тогда к чему халат? Зачем одеваться? Де Дженнаро был не такой человек, чтобы беспокоиться о том, что кто-нибудь из соседей не дай бог увидит его голые ноги. Нет, по-моему, это исключено. И здесь мы можем сделать только два предположения, причем оба одинаково правдоподобные. Месть, дело, в котором замешаны женщины... так полагает коллега Мерони...

— Так расследование ведет он?

— Да. Однако я в эту гипотезу не верю. Другая — политическое преступление, то есть провокация, или, наконец,— убийство, связанное с расследованием, которое вел Де Дженнаро. Во всяком случае, следует проверить, с кем в последнее время встречался капитан — от его личных отношений до служебных контактов: имели ли место угрозы в его адрес; не заявила ли какая-нибудь террористическая группа о своей причастности к этому убийству и какая именно; откуда взялась сумма в полтора миллиона, которую капитан держал в столе, и на что она предназначалась; что искали у него в квартире... Вот тут-то, черт возьми, и зарыта собака!

— То есть?

— Легко сказать, как это делает Мерони: женщины, месть, «красные бригады» и так далее и тому подобное. А то, что перерыли всю квартиру, это чем объяснить? Мерони говорит: старались уничтожить улики, которые могли бы скомпрометировать убийцу. Например, письма женщины, единственный след, способный нас привести к ней. Но я считаю, что все это глупости, пустые выдумки!

Наверно, впервые за полчаса своего взволнованного рассказа, по-видимому не слишком утомившего больного, Балестрини приостановился. В наступившей тишине из квартиры сверху доносились веселые ноты «Турецкого марша». Вероятно, играло радио, так как вскоре постепенно затухающую музыку заглушил голос диктора. Глаза больного, глубоко утонувшие в орбитах, казавшихся пустыми из-за темноты в комнате, смотрели на помощника пристально и внимательно.

— Так чего же ты хочешь, Балестрини?

— Ничего особенного: этим делом хочу заняться я.

Немного спустя, на улице, Балестрини мысленно вернулся к этой фразе, внешне такой обычной. Прокурор жил на верхнем этаже старинного небольшого особняка на бульваре Реджина Маргерита. Неприступность стен этого дома вошла в поговорку, там царила атмосфера тишины и покоя, которая сразу охватывала нечастого гостя. При выходе оттуда шумное оживление проспекта казалось непривычным, оглушало и раздражало.

Балестрини вспомнил, как прокурор, наверно пораженный его столь необычной напористостью, пробормотал в ответ: «Ну... конечно, у тебя свои причины». Андреа улыбнулся, открывая дверцу автомобиля. Улица была забита всеми видами транспорта — пробку создала уборочная машина. Регулировщик строго посмотрел на Балестрини, словно призывая соблюдать осторожность.

Однако Андреа не понравилось, что старик прокурор пытался найти отговорки еще прежде, чем услышал его просьбу. Намекая на предстоящее официальное назначение Витторио Де Леонибуса заместителем главного прокурора, он ворчал себе под нос, что его будущий заместитель тоже может отчасти... по своему усмотрению... поручить расследование тому из помощников, кого сочтет более... ну, в общем, что у Де Леонибуса также может иметься на этот счет свое мнение...

У двери кабинета Витторио Де Леонибуса, где одиноким стражем стоял величественный двухметровый филодендрон, Андреа столкнулся с сильно накрашенной девчонкой. Закрывая за собой дверь, она уставилась на него так, словно узнала.

— Ах, доктор Балестрини...

Напрягая память, он взглянул на девицу внимательнее.

— Забыли меня? Я приходила к вам просить пропуск в «Реджина Чёли»,— улыбнулась она.

— А, да-да,— отозвался Балестрини.

Его раздражали наглый вид и чуть ироническая улыбка этой крошки, разгуливающей в платьице с таким декольте, которого не могла оправдать даже царившая в прокуратуре тропическая жара.

— Я была у заместителя прокурора...— начала было девица игривым тоном, и вдруг он вспомнил о некоторых слухах, ходивших насчет посетительниц Витторио Де Леонибуса. Кроме того, барышня была информирована лучше, чем ей следовало бы, уже назвав Витторио заместителем, хотя в эту должность он еще не вступил. Стараясь скрыть неприязнь, Балестрини попрощался с девицей кивком головы и взялся за ручку двери.

— Вот здорово, а я как раз сейчас тебе звонил,— встретил его Де Леонибус, широко раскрывая объятия, словно говоря: sinite parvulos[1]. Балестрини сразу понял, что Витторио, хотя еще и не получил официального назначения, чувствует себя уже в прокурорском кресле. Подобное с ним случалось и прежде — каждое лето, когда главный прокурор уходил в отпуск. Тому, кто не знал об отъезде начальства, достаточно было взглянуть на Де Леонибуса. Его сердечность и задушевность удваивались, мимика становилась еще более выразительной, жесты убыстрялись, слова лились неудержимым потоком, а голос срывался на фальцет. Иногда он был прямо смешон. Здороваясь, он уже не просто улыбался и говорил «Привет», а самое меньшее изрекал: «Приветствую тебя, Андреа, дорогой мой»—и эти слова разносились по коридорам, как громогласное напоминание о том, что он временно замещает шефа.

— Как раз ты-то мне и нужен,— начал Витторио.— Подумай только, даже Винья в некотором затруднении и просил меня, так как сегодня он... да, я забыл тебе сказать, что коллега Мерони... ну, как бы по инерции... продолжает вести расследование, поскольку убийство случилось именно во время его дежурства... понимаешь? Но он считает, то есть мы с ним считаем, что ты в этом деле разберешься лучше нас... да кроме того, мне только что позвонил наш главный...

— Я в курсе...

— Ты ведь знаешь старика, он мне...

— Говорю тебе, я в курсе дела.

— Во всяком случае, надеюсь, он скоро поправится, до того как...

— Да, да, конечно, но ты сказал, что я тебе нужен? — прервал Де Леонибуса Балестрини. Все это очень мило, но у него не было никакого желания слушать болтовню Витторио.

— Да, да... Знаешь... для начала надо раздобыть хоть какие-нибудь сведения о Де Дженнаро... я имею в виду самое существенное... Трудно поверить, но в следственном отделе известен только его домашний адрес, и ничего больше. Понимаешь? Конечно, теперь за дело возьмешься ты, начнешь расследование, но нужно сейчас же, не теряя ни минуты, пуститься по горячим следам, а не то будет поздно...

— Я все жду, что ты мне наконец объяснишь...

— Перестань, Андреа, ты же сам понимаешь. Ну хотя бы... например, с кем он встречался в последние дни? Потом... да, может быть, тебе известно, где живет эта его таинственная мать-миллиардерша? Говорят, на Лазурном берегу, но это только предположение...

— Извини, Витторио, а почему ты полагаешь, что мне должно быть все известно?

Де Леонибус изобразил на лице крайнее изумление, но не разразился обычным потоком слов. Он напустил на себя торжественно-почтительный вид, с каким вдове сообщают печальное известие.

— Я думал, учитывая ваши с ним отношения... такие близкие... что ты более, чем кто другой, можешь быть в курсе каких-нибудь подробностей. не скажу интимного, но все же личного характера, можешь знать о них больше его начальства. В общем, ты меня понял... Не так ли?

---

[1] «Пустите детей» *(лат.)* — слова Христа (Евангелие от Матфея, гл. XIX, с. 14; «...пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне»).

— Нет. Я ничего не знаю о Де Дженнаро. У нас не было с ним привычки откровенничать и каких-то особых отношений.

— Да нет, я не это имел в виду,— прервал его, смеясь, Витторио, но Балестрини понял, что приятель ему не верит, и с нескрываемым раздражением хлопнул дверью, выходя из его кабинета.

Балестрини всегда улавливал иронию, с которой коллеги относились к служебному рвению Де Дженнаро, а также к взаимной симпатии помощника прокурора и капитана. «Собака и хозяин»,— сказал как-то о них Джиджи Якопетти.

Но самое гнусное было то, что после смерти «собаки» недоброжелатели постарались скорее замаскировать свои насмешки—теперь все твердили, что капитана связывало с Балестрини тесное и искреннее сотрудничество и поэтому, мол, вполне естественно, он мог делиться с Андреа своими личными делами.

— Доктор Балестрини, вас тут спрашивал какой-то господин. Сказал, по очень важному делу,— на ходу доложил Винченти. Он тащил груду папок и даже не остановился, наверно опасаясь, что Балестрини потребует уточнений.— Он обещал зайти позднее.

— Спасибо.

Балестрини с облегчением переступил порог своего кабинета. Суета, царившая в коридоре, его раздражала. Но вид письменного стола, заваленного срочными бумагами, тоже не очень-то радовал.

Он уселся за стол, отодвинув подальше от себя гору наступавших на него документов.

— Это Балестрини? — раздался в телефонной трубке писклявый голос.

— Да, я.

— Привет, говорит Чентанни. Извини, если тебя оторвал.

— Нет-нет, слушаю,— пробормотал Балестрини.

— Еще раз прошу прощения, но я тут составляю график отпусков на этот год. Мне надо знать, когда ты хочешь отдохнуть. Осталось спросить только у тебя и Мерони. С Мерони я сейчас поговорил, и мы с ним все согласовали. Теперь...

— Ах да, отпуск,— удивился Балестрини. Обычно они с Ренатой начинали обсуждать этот вопрос еще в конце мая, и их любимым временем отдыха был август — начало сентября. Андреа больно кольнуло, что он совсем забыл о таком привычном и важном деле.

— Извини, Чентанни, но я еще не говорил с женой. Если можно, давай отложим... хотя бы до завтра... хорошо? Сегодня же вечером мы все обсудим и...

Хватит всей этой чепухи. Балестрини положил трубку и начал расчищать перед собой стол. Он отодвинул подальше телефон, запыленную пепельницу, всевозможные судебные дела, разные дурацкие жалобы, досье Буонафортуны — целые килограммы юридической макулатуры. Потом, даже не сняв очки, опустил голову на сцепленные руки. И начал размышлять об убийстве Де Дженнаро.

2

— Да это не тот ли легавый, что хотел меня арестовать? — прохрюкал Россетти, не отрываясь от тарелки с требухой в соусе. Но лицо на экране телевизора уже исчезло, его сменил общий план шести-семиэтажного дома.

— Ты о ком?

Розанна Паскуалетти никогда за обедом не смотрела телевизор. Удивленная вопросом неизвестно почему всполошившегося мужа, она не сразу поняла, о ком идет речь. Ведь легавые, приходившие в лавку, были совсем другие: из финансовой полиции — из отдела по борьбе с продажей недоброкачественных продуктов или, самое большее, из налогового управления и автоинспекции.

После обеда она попыталась во всем разобраться. Это оказалось долгим, изматывающим делом: радио, которое обычно без конца передавало один выпуск последних известий за другим — разные специальные, чрезвычайные и тому подобные, сегодня, как назло, вдруг словно заклинилось на идиотской торговой рекламе и на не менее дурацких песенках. В конце концов Розанна решила послать прислугу за газетой. Она злилась на себя за то, что переданное в телевизионных новостях известие так взволновало ее. Взмокшая от пота, измученная, Розанна Паскуалетти стояла у окна спальни и смотрела на улицу, кусая от нетерпения губы. Потом жадно набросилась на чуть измятый номер «Паэзе сера» и сразу нашла то, что ей требовалось. Можно было подумать, будто снова убили Калабрези[1]: на первой странице огромный заголовок красными буквами. Фамилию убитого, набранную более мелким шрифтом, она обнаружила в тексте. Но фотография — увеличенный снимок со служебного удостоверения — окончательно ее убедила. Значит, и его застрелили так же, как Гуидо, а потом тоже обшарили сверху донизу всю квартиру.

— Мария! — громко позвала Розанна Паскуалетти. Ответила ли ей прислуга, она не разобрала из-за жужжания посудомоечной машины.

Неужели этого карабинера отправил на тот свет убийца Гуидо? Оба преступления совпадали вплоть до мельчайших подробностей. Вдруг ей пришла в голову мысль об оружии, и она начала искать, не сказано ли что-нибудь об этом в газете. Ее ждало разочарование: полицейские высказали предположение, что преступник стрелял из пистолета калибра 7, 65. Гуидо же убили из П-38.

— Мария!

Значит, этот парень, вместо того чтобы поймать убийцу Гуидо, сам попался как кур во щи. Преступник же сидит в безопасности и потирает руки. А ее брат гниет на кладбище Верано.

— Мария! — позвала она, крикнув во все горло, и почти в ту же секунду в дверях выросла фигура женщины. Прислуга вытирала руки о передник.

— Вы меня звали, синьора? — спросила она, и хозяйка с неприязнью окинула ее взглядом. Скорее бы избавиться от этой идиотки — вот чего она хотела теперь больше всего.

— Да, трижды. Завари мне ромашку.

— Хорошо, синьора.

Полицейский был человек порядочный. Тут толстуха Паскуалетти ничего не могла сказать. Он вел игру по-честному, хотя сразу припер ее к стене; Розанне не хотелось отдавать ему магнитофонные катушки, к тому же без всякой гарантии получить их обратно. Она целый день ломала себе голову над тем, что ей делать, и вот как раз тогда, когда уже придумала выход, заявился этот тип. «Вы ничего не хотите мне показать, синьора?» Ей прекрасно удалось скрыть свое изумление, и она, постаравшись, чтобы это выглядело как можно искреннее, призналась ему в том, что да, у нее в самом деле хранятся какие-то круглые штуки, только они сейчас у одного верного человека, и получить их капитан может лишь при одном условии.

Де Дженнаро, конечно, ни на минуту не поверил в выдумку о «верном человеке»: он не сомневался — достаточно слегка пошарить в полированном комоде, обязательном украшении каждой спальни, и круглые штуки немедленно найдутся. Но капитан смиренно поднял руки вверх — он не настаивает, сдается; сестре Гуидо Паскуалетти и в голову не пришло, что в действительности он видит ее насквозь. Потом она предъявила ультиматум: пусть ей принесут на целый вечер магнитофон. Она хотела сначала прослушать пленки, узнать, кто убил Гуидо и правда ли, что он погиб из-за этих несчастных катушек.

[1] Луиджи Калабрези — комиссар политического отдела миланской полиции, убитый террористами.

Офицер с улыбкой выслушал условия странного соглашения. Толстуха требовала доставить ей магнитофон немедленно. Она обещала через несколько дней «взять обратно катушки», отданные на сохранение некоему таинственному лицу, и сразу передать их капитану. Но если, когда она будет слушать магнитофон, к ней в дом неожиданно ворвутся полицейские, то она, не задумываясь, бросит пленки в огонь. На сопровождавший эти слова театральный жест Де Дженнаро ответил насмешливой улыбкой.

Розанна, однако, приняла ее как знак восхищения ее ловкостью и предусмотрительностью. И сама вечером одарила мужа такой же улыбкой, когда он спросил, зачем опять приходил этот легавый и что ему еще надо, и колбасник не осмелился больше приставать с расспросами. Он всегда был под каблуком у жены, а теперь, после гибели Гуидо, чувствовал себя особенно виноватым. Ему хотелось бы поговорить с ней начистоту, объяснить, что он тут ни при чем, но ледяная холодность Розанны каждый раз его останавливала.

— Вот ромашка, синьора,— объявила служанка из коридора.

— Сахар положила?

— Две ложки.

Розанна Паскуалетти что-то пробормотала в ответ — это могло сойти и за благодарность, лишь бы скорей отделаться от служанки. Выпила настой, не замечая ни запаха, ни вкуса, чувствуя лишь, что он обжигающе горячий. Потом подошла к окну и, размышляя, принялась смотреть на улицу. В волнении она сжала кулаки и постукивала одним о другой. Никакой надежды отомстить за Гуидо больше не осталось. Этот безмозглый карабинер загнулся, так и не успев найти убийцу и даже не сумев сохранить магнитофонные ленты. Теперь все погрузится в туман, следствие вновь застопорится.

Да и действительно ли власти хотят пролить свет на обстоятельства смерти Гуидо? Ведь газеты писали о каких-то таинственных заговорах, о подозрительной биографии «этого Паскуалетти», который в один прекрасный день оставил — «возможно, не по собственному желанию» — службу в СИДе, решив работать самостоятельно, то есть занявшись деятельностью, которая состояла неизвестно в чем, но, несомненно, давала ему возможность жить на широкую ногу...

Она утерла рукавом навернувшуюся слезу. Если бы она знала хоть капельку больше о Гуидо и его делах, все было бы куда проще. Но ее нежелание лезть с расспросами постепенно превратилось в привычку. Она незаметно утратила остатки любопытства. Когда Гуидо передал эти деньги Россетти, она и не спросила его зачем. В те дни Гуидо выглядел очень довольным собой и как никогда загадочным. Россетти, радуясь, словно ребенок, начал строить проекты, фантазировать, заполняя какими-то подсчетами листки своего блокнота, куда записывал поступление товара. А под конец даже напился. Остается только он один, подумала Розанна Паскуалетти, кто может ей хоть что-то сообщить.

— Привет! — поздоровался с женой Алчиде Россетти и, не успев переступить порог, начал стягивать пропотевшую рубашку. Розанна Паскуалетти стояла у дверей спальни, выпрямившись во весь рост, и задумчиво наблюдала за мужем. Она подождала, пока он разденется, натянет пижамные брюки. Муж начал причесываться, стоя, голый по пояс, перед зеркалом. Его движения были быстрые, точные. Но он, должно быть, заметил что-то необычное, снимая с гребенки несколько застрявших волосков, и неожиданно обернулся.

— Ну что тебе? — спросил он, неуверенно глядя на жену.

Она вошла в спальню и опустилась на край постели, спиной к нему. Несколько секунд они оба сидели неподвижно.

— Ты должен мне сказать, что за дела были у вас с Гуидо. Я хочу знать, почему он дал тебе деньги, на которые ты купил новую

лавку,— произнесла Розанна Паскуалетти тихим голосом и, повернувшись к мужу, посмотрела ему прямо в глаза.

3

Полковник Винья уважением не пользовался. Прискорбное обстоятельство, которое его наверняка огорчило бы, если бы он отдавал в этом себе отчет. В самом деле, Винья был человеком, которого никто не называл «хорошим», все как один отзывались о нем: «ни то ни се». Разобраться в характере полковника и по-человечески понять его поступки можно было, лишь заглянув в его детство и отрочество. Они были одинаково тяжелыми: сначала — бесконечные болезни, потом — унылый колледж для неимущих учеников. В ту пору и сформировался нынешний Винья — ничем не примечательный, но и не такой уж скверный. Так или иначе, никто не ставил его ни в грош.

Жена Виньи горевала о том, что в свои шестьдесят лет поздно спохватилась: напрасно хранила она мужу верность, растратила на него жизнь и любовь, хотя наверняка заслуживала лучшей участи. Винья занимал весьма высокую должность шефа следственного отдела карабинеров Рима, но начальство считало его середнячком, слабо разбирающимся в политике и слишком преданным замшелым традициям — казарменный дух то и дело прорывался в манерах и образе мыслей полковника. Подчиненные, напротив, считали, что Винья чересчур руководствуется политической конъюнктурой, держит нос по ветру, а следовательно, ненадежен, двуличен, лишен собственных убеждений и, главное, чуткости к людям. В следственных и судебных органах, в Капитолийском дворце[1] единодушно полагали, что полковник — просто жалкий осел.

В анекдотах про карабинеров, ходивших в этих кругах, Винья обычно был главным действующим лицом, и если уж не он сам, то кто-нибудь из его ближайших подчиненных. Полковник об этом даже не догадывался и широкие улыбки на лицах судейских принимал за искреннее проявление симпатии.

Разговоры о том, что полковник Винья в глубине души радуется смерти Де Дженнаро — они настойчиво ходили среди офицеров следственного отдела,— не соответствовали истине. Винья за долгие годы совместной работы почти полюбил Де Дженнаро. Конечно, ему было в чем упрекнуть капитана. Прежде всего в его тесных связях и сотрудничестве с некоторыми судейскими и, наконец, в этом его проклятом обыкновении рассматривать факты сами по себе, без учета того, какое влияние они могут оказать на, казалось бы, незначительные, но важные в целом обстоятельства.

Вот уже двое суток большую часть рабочего дня полковник Винья посвящал тому, что газетчики называли самым громким политическим преступлением года. Первым делом следовало добиться — пусть эти лживые писаки выкинут из головы, что речь идет об убийстве политическом. Не желая дискредитировать беднягу капитана, Винья все же пустил слух о том, что Де Дженнаро слыл отчаянным бабником и в своей частной жизни сорил деньгами. Впрочем, это была сущая правда.

Одновременно заработала на полный ход в высшей степени эффективная машина следственного отдела — к обычному служебному рвению прибавлялось желание (вполне законное, кто может отрицать?) до конца выяснить обстоятельства гибели своего сослуживца, однако первые результаты расследования были пока скудными. И полковнику Винье приходилось с точностью ювелира взвешивать их, прежде чем направить полковнику Россани — чиновнику министерства внутренних дел, с которым он непосредственно имел дело.

---

[1] В Капитолийском дворце помещается муниципалитет Рима.

Кроме того, имелась еще одна загвоздка—этот олух Балестрини. Полковнику сразу не понравилось, что Де Дженнаро воспылал любовью к этому размазне, воображающему, будто он знает все наперед и судебной полиции остается лишь следовать его указаниям. Теперь этот педант, этот зануда, возможно, мучается угрызениями совести из-за того, что послал на гибель Де Дженнаро, тогда как сам направо и налево отпускал преступников на свободу; поэтому-то Балестрини и взялся за расследование обстоятельств гибели Де Дженнаро с таким невиданным пылом, которого не одобряет даже его приятель — заместитель главного прокурора. «Уж не знаю, до чего хочет докопаться Балестрини, тем более что он почти не знает, по какому следу шел бедный капитан. Он мне сам признался»,— сказал Де Леонибус, сидя в своем новом кабинете. Еще один неприятный тип, но у него хотя бы хватает ума не лезть в сложные, запутанные дела, предоставляя разбираться в них следственному отделу.

Значит, первое — не выпускать из поля зрения Балестрини, второе — восстановить общую картину дела, расследование которого Де Дженнаро вел в своем обычном стиле, то есть в одиночку, ни о чем не докладывая не только судебным властям — это в общем-то не так уж обязательно,— но и ему, своему прямому начальнику. Осуществить обе задачи было не так-то просто — о том, насколько широко разрастается дело, Винья смутно догадывался. Оставалось только надеяться, что результаты расследования, собранные воедино, не вызовут цепной реакции, проще говоря, не начнется такая кутерьма, когда дело полностью выходит из-под контроля и в конечном счете оборачивается всем во вред.

Был предобеденный час пик, и они застряли в уличной пробке. Сидя рядом с потным водителем и задыхаясь в раскаленной машине, полковник Винья сейчас размышлял о Де Дженнаро. Утром на совещании руководства в кабинете Де Леонибуса Балестрини заявил, что будет продолжать разрабатывать вполне определенный «след», о котором в их последнюю встречу ему докладывал капитан. Он имел в виду запись телефонных разговоров некоего Гуидо Паскуалетти — о нем долго распространялся Россани, когда вызывал их к себе в министерство. «В общем, я думаю, капитан начал именно с этих магнитофонных записей»,— заметил Балестрини. «Только будьте осторожны и не споткнитесь на том, на чем споткнулся Де Дженнаро»,— предостерег его Россани. Он хотел напомнить Балестрини о разнице между офицером карабинеров и следователем прокуратуры: они все равно что краснокожий и белый, оказавшиеся в пустыне. Один из них знает, как выжить, а другого ждет гибель в первый же день. Россани пытался дать понять помощнику прокурора, что держаться так, будто ты неуязвим,— просто глупо. Судейских ухлопали предостаточно, и большинство его коллег уже начало беспокоиться о своей шкуре. Но всегда находятся чудаки вроде Балестрини, которые думают, что судейский чиновник, как офицер «синих касок»[1], может спокойно разгуливать между враждующими сторонами и не бояться пуль. Даже плевок, полученный в рожу во время допроса, не заставил Балестрини призадуматься, и он как ни в чем не бывало заявляет, что пойдет дальше по тому следу, который стоил жизни Де Дженнаро.

«Я сумею позаботиться о своей безопасности»,— сухо сказал Балестрини на прощание. И полковник Винья лишь сдержанно кивнул ему, не скрывая, что эта ненужная бравада его раздражает. И главное, черт возьми, упрямый очкастый мальчишка относился к Де Дженнаро, в конце концов, всего лишь простому капитану, куда с большим уважением, чем к нему. Едва Балестрини ушел и они с

[1] Так называют военнослужащих международных сил ООН.

Де Леонибусом остались одни, тот попытался как-то загладить резкость коллеги. «Он не совсем в себе, потрясен, уверяю вас, ведь я-то хорошо его знаю. Тем более в последнее время у него не все в порядке со здоровьем... и...» Конечно, уж если один судейский чувствует необходимость оправдывать другого, то очевидно, что Балестрини ведет себя неправильно. Жаль только, что заместитель прокурора не может постоянно видеть и слышать, как этот зануда лично или по телефону треплет им нервы, требуя от полковника и от всего отдела неведомо чего.

Ясно одно — наверно, уже в пятый раз за сегодняшнее утро отметил полковник,— ясно одно: если расследование причин и обстоятельств гибели капитана и даст какие-нибудь результаты, будет необходимо (Винья сжал кулаки, повторив про себя слово «необходимо»), чтобы министерство решило, в какой мере их можно огласить, предоставить в распоряжение дьявольски лживых и абсолютно не поддающихся контролю журналистов. В этом Винья был сам глубоко убежден еще до того, как услышал мнение полковника Россани, который особо подчеркнул: господин министр и его канцелярия советуют проявлять сдержанность с представителями прессы. «...Главным образом из соображений общественного порядка»,— повторил Россани в конце встречи. Повторил дважды, подняв указательный палец вверх,— он всегда так делал, когда хотел подчеркнуть свои слова.

А «общественный порядок» старик Винья уважал так же свято, как уважают собственную мать.

4

— Извините, но девушка настаивает,— робко доложил Винченти. Он имел обыкновение наполовину просовываться в дверь, подавшись всем телом вперед, и Балестрини всегда казалось, что курьер вот-вот упадет, уткнувшись носом в пол,— поэтому так хотелось поскорее его выпроводить.

— Я же сказал, что занят,— пробурчал Андреа. Он так устал, что даже был не в состоянии повысить голос. Курьер решился попробовать доложить еще разок, прежде чем Балестрини вновь уйдет с головой в работу.

— Ну, что еще там?

— Она говорит... извините, доктор, но я подумал, что, может, стоит вас опять побеспокоить. Она говорит, это касается капитана Де Дженнаро.

Балестрини сразу же забыл о сопроводительной, которую сочинял, и вновь надел очки.

— Кто она такая?

— Не знаю, фамилии не разобрал. Вроде иностранка.

— Проводи ее ко мне.

— Меня зовут Грэйс Демпстер,— проговорила девушка еще с порога и решительно двинулась к Балестрини, протянув ему руку. Ободряюще улыбнувшись, следователь пригласил ее сесть. Стул скрывала от Балестрини кипа бумаг, но он наверняка должен был стоять справа от стола.

— Вы англичанка, синьорина?

— Нет, шотландка.

— А, понимаю,— кивнул Балестрини, хотя и не находил это различие столь существенным. Тем более что на вид девушка казалась типичной англичанкой. Среднего роста, блондинка, светлоглазая, чуточку полноватая, довольно славненькая, в готовом платьице на размер больше, чем следовало бы, на котором были изображены играющие кошки. Сказать по правде, две-три англичанки, которых он знавал, совсем не походили на Грэйс Демпстер (одна из них напоминала скорее уроженку Сицилии или Сардинии), но посетительница вполне

соответствовала представлению Балестрини о дочери Альбиона, живущей в Риме.

— Итак, синьорина Декстер...

— Демпстер,— вежливо поправила девушка.

— Итак, синьорина Демпстер, я вас слушаю. Вы знали капитана Де Дженнаро?

— Да, я его знала. Мы познакомились у Мартеллини, когда синьор Мартеллини был... был...

— Какой Мартеллини, строительный подрядчик?

— Был похищен! Когда его похитили. Я служу у них, и когда Аурелио, который вел расследование, пришел к ним...

— Простите, кто?

— Аурелио,— повторила девушка, и в ее глазах мелькнуло легкое удивление,— Аурелио, капитан Де Дженнаро.

Балестрини кивнул. Он был готов провалиться сквозь землю. Спокойно попросив ее продолжать, он подумал, что у него, наверно, чуть заметно покраснели уши. Теперь-то он вспомнил, что капитана действительно звали Аурелио: ему не раз приходилось читать его имя в докладных. Но для Балестрини он всегда был Де Дженнаро, он и в мыслях называл капитана по фамилии.

Между тем Грэйс Демпстер на очень правильном, даже изысканном итальянском языке, хотя иногда и спотыкаясь, подыскивая слова, уже заканчивала рассказ о том, как они познакомились, зачем он ей звонил и когда они впервые встретились вне дома. В особенно волнующих местах повествования она прикладывала к горящим щекам ладони. Описание того, каким Де Дженнаро умел быть милым и внимательным, заняло несколько минут и отличалось трогательной искренностью («...ежедневно цветы, уйма цветов, и за каждый цветок — поцелуй, говорил он, а за каждый букет — любовь...»). Балестрини не хотелось прерывать девушку, он был захвачен ее страстной исповедью — когда ей не удавалось найти нужного слова, она помогала себе оживленной мимикой.

— Я очень любила Аурелио,— закончила Грэйс, глядя Балестрини в лицо, и он, слегка смутившись, почувствовал, что еще мгновение — и из ее уже увлажнившихся глаз брызнут слезы.

— Итак, теперь постарайтесь спокойно рассказать мне все, что вам известно. Вы ведь пришли сюда, чтобы помочь мне в расследовании, не так ли? — спросил он, пытаясь говорить официальным тоном.

— Да, конечно... я хотела сообщить вам нечто важное.

— Я весь превратился в слух.

— Простите, как вы сказали?

— Я сказал, что внимательно вас слушаю.

— Ах, да. Так вот, в тот вечер, когда был убит Аурелио, когда его убили, он мне звонил.

— Вы говорили незадолго до того с ним по телефону?

— Да. Он сказал: «Нам пора попрощаться с тобой, Грэйс. Ко мне сейчас придет Пастрини».

— Пастрини?

— Да. Так мы с ним закончили разговор. Он обещал мне перезвонить. Но больше не позвонил. Тогда я сама набрала его номер, и к телефону никто не подошел.

— Понимаю,— пробормотал Балестрини, быстро записывая фамилию в блокнот. И добавил: «Искать среди обычных осведомителей и случайных знакомых Д. Д.»

— Вы не знаете, кто мог быть этот... Пастрини? — спросил следователь без всякой надежды.

Девушка отрицательно покачала головой, в ее прическе, обильно скрепленной лаком, не шелохнулся ни один волосок.

— Нет. За несколько дней до того — не помню точно сколько:

пять, шесть или семь — Аурелио сказал, что пойдет к этому Пастрини. Я думаю, их что-то связывало по работе...

— Вы не знаете, где они должны были встретиться?

— Больше я ничего не знаю. Ничего.

— Но это уже кое-что. И послушайте, синьорина...

— Да?

— Де Дженнаро случайно ничем не делился с вами? Не говорил вам об очень важном деле, которым занимался перед гибелью?

— Вы имеете в виду ленты?

— Какие ленты?

— Ну, эти... для магнитофона. В воскресенье мы с ним провели целый вечер, сравнивая записанные на пленку голоса...

Умело допрашивая девушку и не давая ей отвлекаться, Балестрини узнал, что Де Дженнаро работал над расшифровкой нескольких магнитофонных пленок, добытых им неизвестно где. Кроме того, наверно, некоторые записи он сделал сам и, не располагая другими слушателями, доверился ушкам своей шотландской поклонницы. Включая одновременно свой и ее магнитофоны, он давал ей прослушать обрывки разговора, а затем голоса, которые записал сам, и спрашивал, принадлежат ли они одним и тем же людям.

— Это были только мужские голоса,— сразу же уточнила Демпстер. Потом Балестрини задал ей несколько наводящих вопросов, и она попыталась припомнить хотя бы некоторые фразы, услышанные во время эксперимента, который, должно быть, казался ей тогда забавой.

«Вот послушай, этого человека я записал, когда он отдавал распоряжения шоферу,— говорил Де Дженнаро, целуя ее сначала в одно, потом в другое ушко,— и скажи мне, тот же ли это голос», — и включал первый магнитофон.

— Де Дженнаро не говорил вам, где достал катушки с пленкой?

— Нет.

И вдруг последовал неожиданный удар, чуть не пославший его в нокдаун.

Когда Грэйс, утвердительно кивнув, сказала капитану, что да, на обоих магнитофонах наверняка звучит один и тот же голос, Де Дженнаро вдруг расхохотался и обнял ее. «Вот увидишь, что за сюрприз будет для моего друга Балестрини узнать, кому принадлежит этот голос и с кем разговаривает его обладатель. Этот голос ему хорошо знаком!»

— Он выразился... то есть именно так и сказал? — пробормотал Балестрини, невольно подавшись вперед. Девушка обнаруживает более чем хорошую память, но насколько ей можно верить? Кроме того, как можно положиться на ее знание итальянского языка, всегда ли до нее точно доходит смысл услышанного?

Как бы то ни было, еще с добрых четверть часа Балестрини, не перебивая, внимательно слушал девушку, делая заметки в блокноте. Но в конечном итоге он больше ничего не узнал о содержании магнитофонных записей. Нужно будет тщательно проанализировать все сделанные им заметки и наверняка еще раз допросить молоденькую шотландку. Однако услышанного было достаточно, чтобы совершенно определенно установить один чрезвычайно важный факт: в квартире Де Дженнаро искали магнитофонные ленты, и цель была достигнута, поскольку полиция их там не обнаружила. Хотя нельзя также исключить и того, что...

— Он никогда не называл вам фамилии некоего Паскуалетти? — в упор задал девушке вопрос Балестрини, оторвавшись от своих размышлений.

— Па... скуалетти? — с трудом произнесла она и сразу же, хотя еще и стараясь припомнить, отрицательно покачала головой: — Нет, определенно нет.

Балестрини посмотрел в большое окно на простиравшийся внизу Рим. Отсюда город казался неузнаваемым: не было видно ни огромных куполов церквей, ни ленты реки, ни знаменитых развалин. Безликий большой город в обеденный час, с суматошным уличным движением, объятый августовским зноем.

— Это были важные магнитофонные записи? — робко осведомилась девушка, и Балестрини взглянул на нее с нескрываемой симпатией. То, что с первого взгляда показалось ему недостатками — неумение одеваться, чуть излишняя полнота, комичные манеры,— теперь он воспринимал как проявление своеобразной привлекательности и скромного изящества. А если приглядеться получше, то девушка на самом деле просто хорошенькая.

— Да,— сказал он.

На лице Грэйс отразилось огорчение, в искренности которого нельзя было усомниться.

— Sorry [1]. У меня осталось всего несколько фраз.

— Что?!

— Лишь та пленка, на которую Аурелио переписал голоса для сравнения. Это как раз то место, где они звучат одинаково.

Балестрини пришлось допрашивать ее еще несколько минут, прежде чем он выяснил до конца это важнейшее обстоятельство. У маленькой шотландки был не обычный магнитофон, а только проигрывающее устройство, и Де Дженнаро пришлось переписать на одну из своих катушек голоса, которые он хотел дать ей прослушать; потом они произвели сравнение, включив один аппарат сразу после другого.

— Икудаделасьвашалента? — выдохнул Балестрини так поспешно и взволнованно, что все слова слились в одно. Девушка вытаращила на него глаза, и ему пришлось повторить вопрос более медленно.

— Она у меня дома.

— Вы уверены?

— Конечно. Но это всего лишь несколько фраз, понимаете?

— Да, но и это уже немало. Сейчас вас отвезут домой на нашей машине, и вы передадите моим людям магнитофон вместе с... Нет, погодите, пожалуй, лучше я сам поеду с вами.

Балестрини набрал номер диспетчерской. Почти тотчас ответил чей-то раздраженный голос, который сразу смягчился, услышав, кто говорит. Но на месте, увы, не оказалось ни одной машины. Балестрини, кусая губы, повесил трубку. Ему не терпелось как можно скорее получить в руки эту чертову ленту.

— Если хотите, есть моя,— предложила мисс Демпстер.

— Что — ваша?

— Машина. Мы можем поехать на моей машине.

Мысль о том, что он сейчас сядет с этой «туристкой» в какую-то, наверно, разваливающуюся на ходу малолитражку и девушка повезет его к себе домой за важным вещественным доказательством, невольно заставила Балестрини улыбнуться. А потом, значит, ему придется с этим вещественным доказательством под мышкой бегать по улицам в поисках такси, поскольку общественный транспорт до четырех часов бастует. Но, хотя ситуация и казалась комичной, решение было принято.

— Я только позвоню, и мы можем ехать,— сказал Балестрини, вновь взявшись за трубку. После первого же гудка ответил голосок Джованнеллы. Узнав его, девочка тотчас оживилась.

— Сегодня я приглашена к Джинетте Маркини. У нее день рождения.

— Прекрасно. И к которому часу?

[1] *Жаль (англ.).*

— В пять надо уже быть там. Мы собираемся у нее на террасе. Ты меня подвезешь, папа?

— Нет, не смогу. Я, наверно, не приду домой обедать. Выходит, увидимся только вечером? — спросил он, и его обрадовало сожаление, прозвучавшее в голосе девочки. Ему понравилась также и улыбка Грэйс Демпстер, смотревшей на него через стол с видом опытной гувернантки и даже не подумавшей притворяться, будто она не слушает разговор.

В трубке раздались слова Джованнеллы: «Папа не придет обедать», а потом голос Ренаты:

— В чем дело, Андреа, что-нибудь случилось?

— Срочная работа. Если задержусь, то придется возвращаться прямо в прокуратуру. Мне все равно сегодня после обеда надо было тут быть, тем более что сейчас я еду за одной вещью...

— Но как же... ты не успеешь пообедать?

— Там видно будет. Может, пообедаю позже или, наоборот, поужинаю раньше.

— Да, кстати, мы пойдем вечером с Де Леонибусами в кино?

— Нет, Витторио не сможет. Я звонил тебе около двенадцати, но у нас все время было занято. Я как раз хотел тебе об этом сказать.

Не успел он закончить фразу, как сразу раскаялся, что завел этот глупый разговор, но свои слова нельзя уже было взять обратно. А пауза, хотя и короткая, между тем все затягивалась, и в трубке нарастало пугающее молчание.

— Странно... наверно, я плохо повесила трубку,— пролепетала Рената. В ее горестном смущении было даже что-то трогательное.

— Неважно. Ну, хорошо, до скорой встречи,— пробормотал Балестрини; положив трубку, он снял очки и принялся обеими руками массировать веки. Ему было горько, что Рената унижается до этой лжи, такой неумелой — просто больно слушать. Он по-прежнему не понимал, почему она не решится поскорее откровенно с ним поговорить, чего боится, почему соглашается вести эти бессмысленные телефонные беседы с Джино.

— Вы себя плохо чувствуете? — заботливо спросила девушка.

— Нет... немного устал,— сухо ответил Балестрини, вновь надевая очки и вставая.

— Вы уходите, доктор? — поинтересовался Винченти, проходивший мимо его кабинета и, поскольку уж с ними столкнулся, осмелившийся украдкой взглянуть на англичаночку.

— Да.

Балестрини начал спускаться по лестнице, приноравливаясь к коротким шажкам своей спутницы... «Ну вот, и я пошел по следам Де Дженнаро»,— подумал он, сам не зная почему; при этом, однако, у него мелькнуло смутное подозрение: а что, если он вот так суетится лишь из-за того, что боится думать о Ренате, которая почему-то не хочет поступить самым простым и естественным образом — раз и навсегда послать ко всем чертям этого навязчивого проходимца?..

Он давно уже решил, как и что скажет Ренате, если это будет необходимо. Он посмотрит ей прямо в глаза, и, надо надеяться, она не отведет взгляда. «Поверь мне, я глубоко огорчен... и сожалею, что вынужден поговорить с тобой, ты сама знаешь о чем». Это была бы блестящая обвинительная речь: настоящий прокурор остается прокурором даже дома.

— Машина вон там,— объявила Грэйс, указывая куда-то сумочкой, и вновь с тревогой взглянула на Балестрини.— Вы хорошо себя чувствуете? Вам правда не плохо?

— Да нет. С чего вы взяли?

— У вас очень блеклое лицо.

— Бледное,— поправил ее Балестрини и улыбнулся.

Первым прозвучал голос Де Дженнаро:

«Почему бы тебе пока не откупорить бутылочку пива? А, толстушка?»

Балестрини услышал приглушенный смешок и другие шумы. Грэйс ему улыбнулась, глаза у нее были полны слез. Они сидели друг против друга на креслицах, до смешного низеньких. Магнитофон стоял между ними на полу.

«...и пора понять, что кончилось времечко, когда было достаточно какого-нибудь взрыва и полдюжины убитых, чтобы свалить министра внутренних дел или начальника полиции»,— произнес бездушный голос. Он звучал отрывисто: так и представлялось, что каждое слово говорящий сопровождает решительным взмахом руки.

Затем вновь неясные звуки и голос капитана, почти заглушенный какими-то шумами. Может быть, они с Грэйс целовались. Между тем, когда голос, уже слышанный раньше, зазвучал вновь (это, несомненно, было окончание телефонного разговора), девушка поднялась и скрылась на кухне. Балестрини проводил ее взглядом, потом осмотрелся вокруг. Квартирка явно состояла из этой одной-единственной комнаты, залитой солнцем и беспорядочно заставленной дешевой мебелью и грошовыми безделушками. На первый взгляд комната выглядела скучной и безликой, но в действительности была милой и уютной. Как и сама Грэйс Демпстер.

Словно завороженный, не отрывая глаз от черного блестящего аппаратика, Балестрини слушал одну за другой фразы, которые переписал Де Дженнаро, отобрав из всех имевшихся у него записей. Балестрини определил три-четыре голоса, потом сбился со счета — так поразил его смысл услышанного. Иногда фрагмент разговора вдруг резко обрывался как раз в тот момент, когда Балестрини только начинал улавливать значение, казалось, бессвязных слов, и это было обидно чуть не до слез. Порой же отрывки почти не представляли интереса и годились лишь на то, чтобы сравнить записанные голоса.

Хозяйка дома вернулась с двумя пластмассовыми тарелочками и двумя стаканами пива. На каждой тарелочке аппетитно дымились тосты, но Балестрини вовремя не нашелся — не похвалил их и даже не поблагодарил девушку в ответ на тот донельзя естественный жест, с которым она протянула угощение. Он отхлебнул пива. Кто бы мог подумать, что этот глоток доставит ему такое удовольствие? Облизывая кончиком языка оставшуюся на губах пену, он увидел, что Грэйс улыбается.

Улыбка ее была чуть грустной. Глаза не выдавали недавних слез, лишь веки слегка покраснели. Балестрини попытался себе представить, с каким чувством Де Дженнаро пустился в эту авантюру. Последнее развлечение перед отпуском на берегу моря?

— Хотите еще тост?

— Нет, спасибо, мне вполне достаточно,— ответил Балестрини с набитым ртом и спохватился, что съел уже два.

— Они были замечательно вкусные.

— В самом деле? — отозвалась Грэйс, пожав плечами. Потом взглянула на магнитофон: — Что-нибудь пригодилось?

— Пока трудно сказать. Увидим. Вы не помните, про какой голос Де Дженнаро сказал, что он принадлежит человеку, которого я знаю?

Девушка сосредоточилась, пытаясь вспомнить. Она наморщила лобик, держа в руке надкусанный тост.

— Это, мне кажется, когда кто-то говорит, что надо назначить подходящую... подходящую дату.

— Окончательную дату?

— Да-да, вот именно.

Пришлось запустить магнитофонную ленту сначала и прослушать ее вновь почти целиком, пропуская только песенки и интермеццо, которыми дуэт Де Дженнаро — Демпстер то и дело прерывал записи. Наконец, голос проговорил:

«Пора назначить окончательную дату: споры ни к чему, необходимо установить сроки и выбрать для каждого...»

Вот и все. Балестрини заметил устремленный на него полный любопытства взгляд шотландки. Он с досадой пожал плечами. Казалось, раньше он никогда не слышал этого голоса. Он и лица-то запоминал плохо, где уж ему узнать, кому принадлежит эта правильная речь, этот голос, не отличающийся особенным тембром.

Размышляя, Балестрини вытянул ноги: странно, он чувствовал себя так непринужденно в этой квартирке, с этой девушкой. Он ей беспричинно улыбнулся. Еще трудно было сказать, насколько могут пригодиться эти данные. Но уже имелось имя, причем довольно редкое: попав в следственный отдел, оно в два счета обрастет всеми необходимыми точными данными. Пастрини — странная фамилия, не римская, и человека с такой фамилией будет найти нетрудно.

— Принести еще пива? — предложила девушка, убирая пустые стаканы.

— Нет, спасибо.

— Может, хотите еще чего-нибудь?

Балестрини, улыбаясь, покачал головой и вновь проводил ее взглядом, пока она не исчезла в кухне. Послышался шум сильно пущенной струи воды и стук открывшейся, а потом захлопнутой дверцы шкафа.

Почему Де Дженнаро действовал абсолютно один? То, что его шеф Винья был совершенно не в курсе дела, Андреа Балестрини вовсе не удивило, вопреки ожиданиям полковника. Де Дженнаро и Винья не слишком-то жаловали друг друга, их отношения ограничивались лишь самыми необходимыми контактами. Но почему капитан не поговорил с ним, Балестрини? Хотя бы намек, одна фамилия, какая-нибудь ниточка — и расследование убийства Де Дженнаро было бы закончено в двадцать четыре часа.

— Синьорина,— позвал Балестрини, поднимаясь с кресла и собирая пленки.

Грэйс Демпстер тотчас появилась, вытирая руки о цветастый передничек.

— Я пойду. Если разрешите, я захвачу записи и магнитофон.

— Да, пожалуйста.

— Магнитофон я беру у вас взаймы... Постараюсь его поскорее возвратить — сразу же, как только перепишем пленки.

— Да, хорошо.

— Спасибо за пиво и тосты,— сказал Балестрини, протягивая ей руку, и шотландка неловко ответила на его рукопожатие.

— Почти наверняка мне придется с вами еще разок встретиться. Куда к вам прийти — к Мартеллини или вы предпочи...

— Нет, прошу вас. Лучше сюда, ко мне.

— Договорились.

Он решил пройтись пешком. Квартирка Демпстер была на набережной Арнальдо да Брешия, и до прокуратуры было не более минут двадцати ходьбы. Но мимо проезжало пустое такси, и Балестрини не удержался от соблазна.

— В прокуратуру? А где это? — задал вопрос таксист не то пассажиру, не то самому себе, и Балестрини не мог сдержать улыбку — оказывается, правосудие и его органы вовсе не пользуются такой широкой известностью, как он предполагал.

— В судебный городок. Это в ту сторону.

— А, значит, площадь Клодио!

— Ну да.

Первым делом выписать ордер на арест Алчиде Россетти, торговца колбасными изделиями и тротилом. План оставить его на свободе и установить за ним слежку в надежде что-то выяснить провалился, как это честно признал сам предложивший его Де Дженнаро. Затем немедленная очная ставка с Джакомо Баллони, по прозвищу Алигьеро, который показал себя большим ловкачом на допросах. Старшина Фронтони из тюрьмы «Реджина Чёли» докладывал Балестрини, что у Баллони вроде как бы медовый месяц — он неделю-две назад женился и ведет себя словно примерная новобрачная. Чуточку попортить этому мерзавцу нервы будет истинным удовольствием.

Старику Винье придется как следует попотеть. Благодаря Демпстер появился прекрасный след, и его надо проверить. Однако, чтобы расследование пошло другими темпами, не так, как обычно, необходимо хорошенько поднажать. Теперь уже от первого впечатления — глубокого изумления, испытанного, когда его перевели служить из Павии в Рим, у Балестрини осталось одно воспоминание, но он так и не смог до сих пор от него отделаться. В Риме затухал всякий энтузиазм, ему на смену сразу приходила тоскливая неудовлетворенность — она заставляла спешить, суетиться, проявлять рвение, но вскоре уступала место обычной административной рутине, равнодушию, апатии. А иногда вообще пропадал всякий интерес к работе.

Конечно, только не у него, он-то никогда не поддавался этой вековечной атмосфере сонливости, послеобеденной дремоты. Но чтобы быстро добиться каких-то результатов, собственного труда и рвения недостаточно: надо заставлять работать и других, нажимать, давить на них... вот как, например, на этого таксиста, который, несмотря на зеленый свет, еле тащится и никак не желает нажать на акселератор.

— Здесь? — наконец спросил шофер, поворачиваясь к Балестрини, и тот сделал ему знак остановиться.

— Сколько с меня?

Таксист ответил не сразу — цифру на счетчике нужно было увеличить в соответствии с повысившимся тарифом, сверяясь с затертой табличкой. Довольно скромная сумма плюс надбавка и обычные чаевые составили неприятный расход, тем более что водитель даже не подумал отсчитать сдачу. В таких случаях у Балестрини не хватало духа протестовать. Он вылез из машины не попрощавшись, но шофер не обратил на это никакого внимания.

— А ты что тут забыл?— встретил его Витторио Де Леонибус, который выходил в ту минуту из своего кабинета с грудой папок в руках; на нем был чесучовый пиджачок с деревянными пуговицами, вызвавший у Балестрини улыбку.

— Я частенько сюда возвращаюсь после обеда. Лучше скажи, что делаешь тут ты?

— Иду на доклад к высокому начальству.

— К какому же?

— К новому генеральному прокурору. Все говорят о нем, но никто еще его в глаза не видел. Сегодня мне выпала эта честь. Боже мой, я о нем уже столько наслушался с тех пор, как он сменил Мариани-Таццоли... когда это было, месяц назад?

— Да нет, меньше.

— Вот-вот. О нем ходит столько слухов, что мне в самом деле не терпится на него взглянуть.

— Поэтому-то ты и надел курточку для первого причастия? И что это ты ему несешь — наши личные дела?

Де Леонибус слегка покраснел, крепче прижав к себе папки.

— Коллекцию порнографических открыток: он узнал, что я их

собираю, и просил дать ему посмотреть. Смешно? А ты вот это слышал? Какая любимая профессия анархиста?

— Анархиста?

— Анархитектура.

— Не слишком смешно.

— А любимый фильм? «Анархорд»[1]! Ха-ха-ха!

— Это уже получше.

— А какой он пьет аперитив?

— Красное вино?

— Что ты, анархисты — трезвенники: они употребляют только безанархольные напитки!

— Вот это довольно мило.

— Всего лишь «мило»? Ты что, не в духе?

Балестрини попрощался с ним легким кивком и, входя в кабинет, посмотрел на часы. Четыре часа. Рената с Джованнеллой, наверно, уже отправились в гости. Он уселся работать. Лучи солнца уже не падали ему на стол, но в комнате было нестерпимо душно. Жара мгновенно напомнила об отпуске, о Чентанни, который ждет его ответа, а он все еще не поговорил с Ренатой.

Чуть стыдясь своих мыслей, он подумал, как славно было бы все бросить и куда-нибудь махнуть вдвоем с женой. Целый месяц вместе. В новой обстановке им было бы легче обо всем поговорить — ведь, наверно, нельзя больше тянуть, откладывать, тщетно надеясь, что неприятное объяснение отпадет само по себе «за истечением срока давности»...

Прошло минут пять, а он так и не взялся за работу — сидел, уставившись на магнитофон Грэйс Демпстер, и размышлял о том, что вовсе не относилось к делу. Когда зазвонил телефон, он снял трубку, уверенный, что звонит Рената.

— Я хотела бы поговорить с доктором Андреа Балестрини,— осторожно произнес незнакомый женский голос. На линии слышался треск далеких разрядов, какие-то помехи.

— Да, это я.

— Это вы? Послушайте, я прочла в газете, что вы занимаетесь расследованием обстоятельств гибели капитана Де Дженнаро. Это действительно так?

— Да, так,— ответил, улыбнувшись, Балестрини, его насмешило недоверие, с которым эта женщина относилась к печатному слову.— А вы кто?

— Меня зовут Розанна Россетти. Я сестра Гуидо Паскуалетти, помните?

6

Наконец, когда они уже вышли на перрон, председательша заметила: происходит что-то неладное. До отхода скорого оставалось десять — двенадцать минут; Рената шла рядом с нею и с тех пор, как они выехали из дома, не произнесла ни слова. Только однажды, когда Джованнелла споткнулась около билетных касс, она сказала девочке, что нужно смотреть под ноги. Впервые невестка, провожая свекровь на вокзал, не казалась обрадованной.

Андреа тоже был молчалив. Однако не больше, чем всегда. Научившись говорить только в три года, этот мальчик никогда не обещал стать словоохотливым.

— Это твой поезд, мама?

— Наверно.

Председательша смотрела, как сын поднимается на подножку с большой и тяжелой дорожной сумкой в правой руке. Она продол-

[1] Имеется в виду фильм Федерико Феллини «Амаркорд».

жала глядеть ему вслед и тогда, когда он уже скрылся в вагоне. Молчаливый, как обычно, однако, как никогда прежде, грустный. У Андреа за долгие годы жизни в Риме испортился характер, и это вполне естественно. Его профессия, среда, жена — причин более чем достаточно. Но в нынешний приезд мать прочитала в его глазах что-то пугающее.

Она пристально взглянула на Ренату и отметила, что невестка еле заметно кокетливо улыбается. Погладила по головке Джованнеллу.

— Рената, наша малышка все больше худеет.

— Она тянется вверх. И из-за своего роста производит впечатление...

— Какое там впечатление, пощупай ее плечики... Бедная моя звездочка,— резко оборвала председательша невестку и посмотрела, не возвращается ли Андреа.

Что за дура, как это она сразу не заметила. Хлопоты из-за пенсии, назначение которой все оттягивалось, совсем заморочили ей голову, за целый день, проведенный у детей, она так и не успела как следует разобраться, что у них происходит. В прежние времена она отложила бы отъезд на столько, сколько бы ей понадобилось. Но последние годдва, приезжая к ним, она всякий раз начинала тосковать по дому, по своим вещам, и это сулило мало хорошего. С каждым днем ей все больше становилось не по себе, ей все более не терпелось поскорее очутиться в своей берлоге.

— Все в порядке, мама,— объявил Андреа, возвращаясь на перрон. Но что за жалкая, вымученная улыбка, как неохотно он берет ее под руку!

— Когда прибывает ваш поезд? — спросила Рената без тени интереса.

— Наверно, в полдевятого.

— А ты не боишься, бабушка — вдруг он сойдет с рельс? — проговорила Джованнелла, и председательша посмотрела на девочку с изумлением. Бабушка? Внезапно она ощутила, что есть нечто более важное, чем капризное желание засунуть ноги в старые добрые домашние шлепанцы. Председательша кашлянула и воскликнула с притворной досадой:

— Я забыла купить «Коррьере»! Ты сбегаешь в киоск, Андреа?

— Лучше схожу я,— оживленно предложила Рената.

— Мама, а мне мы купим газетку? — обрадовалась девочка.

— Сходишь? — неуверенно переспросил Андреа. Председательша замерла в растерянности, а Рената поспешно удалилась вместе с Джованнеллой — девочка еле поспевала за матерью, догоняя ее вприпрыжку. Председательша строго посмотрела на сына.

— Что происходит? — решительно спросила она, и сердце ее наполнилось нежностью, когда она увидела, как смутился Андреа.

— Ты о чем?

— Почему у тебя такое лицо, Андреа? Что творится с Ренатой? Почему у вас обоих такое настроение?

— Да ничего, мама. Я. право, не знаю...

— Андреа, прошу тебя, у нас всего три-четыре минуты, и полминуты уже потеряно,— перебила она сына, но на его лице, вопреки ожиданиям матери, не появилось улыбки. Председательша ждала ответа.

— Ничего особенного, мама. В последние дни у меня много хлопот по работе. Из-за гибели капитана Де Дженнаро. Ты ведь слыхала?

— Да, читала... и понимаю тебя. Но я спрашиваю о Ренате. Что-нибудь стряслось?

— Не знаю,— не ответил, а скорее выдохнул Андреа.

Мать увидела, как он нервно облизнул губы. Так же, как перед

трудными экзаменами, когда она поправляла ему галстук и провожала до дверей.

— Андреа...

Ей показалось странным (и жестоким), что в набитом купе осталось одно свободное место — как раз напротив нее. Но мужа уже давно нет на свете. Иначе он, водя ладонью по лысине, чтобы пригладить воображаемые волосы, наверняка бы спросил: «Ну, что ты обо всем этом скажешь?»

Так же и после свадьбы Андреа он тяжело, с молчаливой гримасой боли опустился на свое место и задал ей этот вопрос, сопровождая его доброй улыбкой, которая придала его усталому, осунувшемуся лицу какое-то жалкое выражение. Он молча слушал слова жены, поглаживая плюшевую обивку сиденья. В тот раз никого чужого в купе не было. «Они ведь любят друг друга. Разве этого мало?»—«Андреа-то ее любит, а вот любит ли его Рената — не знаю»,— ответила она жестко, и у нее сжалось сердце при виде того, как удивился и огорчился муж. Они больше не говорили об этом до самой Флоренции.

А сейчас на Андреа просто не было лица. Когда невестка вернулась, председательшу ужаснула показная веселая непринужденность сына. Что делать? Она устремила сосредоточенный взгляд на первую полосу «Коррьере», потом зачем-то похлопала по щечке Джованнеллу: «Дай-ка посмотреть... ах, у тебя «Тополино»? Ты потом дашь мне почитать?» Нет, у бедного мальчика дела совсем плохи. Она далеко не была уверена, что он рассказал ей все, если вообще эти несколько сбивчивых фраз, выдохнутых шепотом, можно назвать «рассказом».

Напротив уселся какой-то уже немолодой блондин и немедленно вытащил такую же светлую, как его шевелюра, сигару.

— Я не помешаю, если закурю?

К сожалению, это было купе для курящих. Она удостоила соседа легким кивком, таким, что он даже его не заметил, и ей пришлось кивнуть еще раз, чтобы он, наконец, отвязался и убрал у нее из-под носа эту растерянно застывшую вонючую палочку.

Мысли ее от Андреа перешли к Ренате. Она размышляла о невестке холодно, отчужденно. «На это надо тоже иметь талант»,— подумала председательша, улыбнувшись. Нужно же ухитриться, чтобы муж, который приходит домой всегда в одно и то же время, застукал тебя у телефона. Такое могло случиться только с Ренатой; быть может, она даже уверена, что Андреа ничего не услышал. А что от нее вообще ждать, когда она прошла такую школу — жених сделал ей ребенка и сбежал; отец Ренаты убил бы ее мать не то что за тайные телефонные разговоры, а за куда менее тяжкий проступок. Эта пустышка, эта дурочка в нежном поцелуе мужа видит лишь одно: свидетельство того, что в нем еще не пробудились подозрения.

«Наверно, они встретились после обеда... виделись всего минут десять»,— закончил свой рассказ Андреа, не глядя в лицо матери, когда Рената с Джованнеллой уже появились в конце перрона. Действительно так или сын хотел ее просто успокоить? Она знала, что Андреа не способен лгать, но когда речь идет об этой бабенке, особенно если он хочет ее защитить...

Да, он именно ее защищает, пытается выгородить. Хотя надо признать, без особого пыла, не слишком уж убежденно, но это только потому, что он боится вызвать раздражение матери. Она совершенно уверена. Ей хотелось бы изо всех сил прижать к груди несчастного мальчика. Дурачок, Рената наставляет ему рога; когда он прилег отдохнуть после обеда, она побежала якобы за газетой. Это в три-то часа дня, в Риме, в июньскую жару! Ее не было десять минут? Хотя, может, и в самом деле так, тем более что, по словам Андреа, она вернулась смущенной и взволнованной. Смущенная, взволнованная... а покраснела ли она хотя бы от стыда? «Шлюха!» — подумала предсе-

дательша и изо всех сил сжала кулаки. Сидящий напротив блондин взглянул на нее с нескрываемым любопытством.

Председательша была не такой женщиной, чтобы скрывать свое душевное состояние и притворяться — к примеру, поднеся руку к лицу и закатив глаза к небу, изображать, что у нее разболелись зубы. Не намерена она была и терпеть любопытные взгляды, делая вид, будто любуется проплывающими в окне печальными пейзажами римской Кампаньи. Она в свою очередь уставилась на блондина, вытаращив глаза и наморщив лоб так, что он поспешил спрятаться за свежим номером «Эспрессо» и до самой Флоренции больше ни разу на нее не взглянул.

7

С добрых полминуты Балестрини стоял, открыв от изумления рот, и смотрел на шкаф. Он никак не мог поверить своим глазам, хотя все стало совершенно ясно, лишь только он взялся за почти оторванную ручку с болтающимися шурупами.

Справа, на голубой папке, содержавшей результаты проделанной им работы, а также расследования капитана Де Дженнаро по делу «Баллони-Россетти-Паскуалетти — неизвестные лица», лежал пакет с двумя магнитофонными лентами, записанными Де Дженнаро и касавшимися покойного Гуидо Паскуалетти. Чтобы унести эту папку, сначала надо было снять с нее катушки — их тоже сунули, видимо, по рассеянности в карман.

Хотя теперь это было просто смешно, Балестрини, в последний раз окинув взглядом зияющую пустоту, тщательно запер шкаф на ключ. В него обычно он складывал «похороненные» дела. Вот, наверно, обрадовался бы Бауэр, узнай он такой секрет! Но лежащие тут материалы были погребены не окончательно. Вчера, например, начался один судебный процесс: по нему проходило тридцать семь человек — «Взаимное нанесение побоев и оскорблений полицейскими и демонстрантами во время уличной манифестации». Если бы это дело разбиралось вовремя, когда раны еще не зажили, оно наверняка доставило бы немало хлопот. Однако четыре года спустя добрая треть полицейских уже не состояла на службе (некоторые погибли), а мальчишки-демонстранты успели окончить университет, обзавестись семьями и утратить всякий интерес к политике или же уехать за границу. Один из бывших демонстрантов даже поступил работать в полицию, и хотя публики на судебном заседании почти не было, это обстоятельство вызвало веселое оживление в зале, к которому с достоинством присоединились и члены суда.

Таковы были «временно похороненные» дела, хранившиеся во взломанном шкафу. Их было немного — без труда нашлось место, чтобы засунуть туда исчезнувшие папку и кассеты.

— Канцелярия прокурора,— ответил усталый голос.

— Говорит Балестрини. Соедините меня, пожалуйста, с доктором Де Леонибусом.

В ответ послышалось лишь легкое постукивание, потом в трубке громко щелкнуло.

— Привет, Андреино. Извини, я сейчас чертовски занят. Что-нибудь срочное?

— Да. Я жду тебя у себя в кабинете,— ответил Балестрини.

Он был сейчас совсем не в подходящем настроении, чтобы полностью насладиться последовавшей паузой — Де Леонибус удивленно молчал. Наконец, его бас вновь зарокотал, но теперь он сбавил тон:

— Что еще стряслось, черт возьми?

— Нечто очень серьезное. Но только убедившись собственными глазами, ты поймешь, насколько это серьезно.

Витторио явился почти тотчас же. Распахивая перед ним дверь, Балестрини подумал, что Де Леонибус и впрямь здорово растолстел

за эти несколько дней, что замещает начальство. «От власти у меня растет пузо»,— шутил сам Витторио, когда Якопетти или кто другой говорил ему, что он толстеет. Войдя, Де Леонибус подозрительно осмотрелся вокруг.

— Ну, в чем дело?

Достаточно было двух слов и одного жеста — сказать, что именно похитили, и указать на шкаф. Де Леонибус плюхнулся на единственный свободный стул и наморщил нос.

— Подумать только, еще и суток не прошло, как я заверил нового генерального прокурора, что у нас все в ажуре. Я сказал, что мы полностью контролируем положение и от наших глаз ничего не укроется.

— Теперь посоветуй, что мне делать.

— Все что угодно, только не поднимай шума. Ты ведь знаешь — нельзя допустить, чтобы об этом пронюхали газетчики.

— Витторио, тут речь идет не о том, чтобы не уронить честь мундира в глазах печати или широкой публики. Уж если грабят Банк Италии, то почему не могут обчистить и мой фанерный шкафчик?

— Пока поручим расследование судебной полиции. А как ты думаешь, когда это могло...

— Еще вчера утром шкаф был целехонек.

— Так. Значит, прошло чуть больше суток...

Балестрини не мешал Витторио строить гипотезы и выслушивал его заверения, с нетерпением ожидая, когда же он наконец уйдет. Но если бы не постучали в дверь, Витторио проторчал бы у Балестрини еще неизвестно сколько, хотя только что утверждал, будто сильно занят.

Может, лучше было обратиться в судебную полицию, а не в следственный отдел карабинеров? С этим вопросом Балестрини проснулся сегодня утром. Сомнение преследовало его неотвязно, целый день отравляло существование. А что, собственно говоря, он имеет против карабинеров? Эту мысль, мучившую его, он наконец прогнал, но осталось неприятное предчувствие, что от лейтенанта Стеллы, увы, не так-то легко отделаться и придется еще не раз видеть его волосатую рожу.

— Я не рано?

— Заходите,— пригласил Балестрини лейтенанта, указывая на стул.

Де Дженнаро высказывался о Джованни Стелле не слишком-то лестно. И Балестрини, в общем, был разочарован тем, что полковник Винья, помянув громкими словами офицера, павшего при исполнении служебного долга, и торжественно заверив, что их отдел, сплотившись, как один человек, сделает все возможное и невозможное для торжества правосудия, в конце концов прислал этого зеленого лейтенантика. Слушая Балестрини, Стелла всегда согласно кивал, даже когда потом из его слов явствовало, что он придерживается совсем другого мнения.

— Прежде всего я поручаю вам это маленькое расследование и, само собой разумеется, прошу держать его в строгом секрете,— сказал ему Балестрини, рассказав о взломе шкафа. Его удивило, что Стелла не стал расспрашивать, хотя бы коротко, об обстоятельствах происшедшего: кто приходил, кто дежурил, в какое время и тому подобное. Но со своей стороны Балестрини не стал сообщать ему никаких сведений — раз лейтенант, видимо, собирается разузнать все сам, пусть так и поступает.

— Меньше чем через час мне надо быть в «Реджина Чёли», чтобы допросить в числе прочих «клиентов» одного типа, который проходит по этому делу. Это колбасник, шурин того самого Гуидо Паскуалетти... но если бы вы поехали со мной, то мы смогли бы поговорить в машине.

— Конечно.

— А сейчас я ожидаю сестру Паскуалетти, которая изъявила желание меня увидеть. Ей уже пора бы быть здесь... сколько на ваших?

— Десять минут одиннадцатого.

— Выпьем пока кофе?

У кофеварки почти никого не было, но потом подошел человек, которого Балестрини меньше всего хотел видеть. С мягким упреком во взоре к нему, улыбаясь, приближался Чентанни.

— Привет!

— А, здравствуй. Слушай, мне в самом деле неудобно... — начал Балестрини, ожидая, что тот придет ему на помощь. Но Чентанни молчал, продолжая улыбаться.

— Обещаю, что сегодня же поговорю с женой и завтра утром сам зайду к тебе...

— У меня судебное заседание.

— Значит, приду в зал суда,— пообещал Балестрини, и соглашение вроде бы было достигнуто. Лейтенант же во время этого короткого разговора церемонно улыбался, своим видом показывая, что все это его совершенно не касается.

— Мы еще не решили, когда мне брать отпуск,— поспешно объяснил Балестрини, бросая в урну пустой бумажный стаканчик.— Кстати, лейтенант, не знаю, достаточно ли близко вы были знакомы с Де Дженнаро и в курсе ли того... я хотел спросить полковника, но у меня совсем вылетело из головы...

— Слушаю вас.

— Был ли кто-нибудь у Де Дженнаро? Я хочу сказать, какие-нибудь родственники. Я слышал, осталась мать...

Стелла кивнул, но ему помешала ответить проходившая мимо группа адвокатов. Один из них, давний знакомый Балестрини, хлопнув его по плечу, спросил:

— Ну, как идет процесс Буонафортуны?

— Завтра произношу обвинительную речь.

— Ах, уже? Не забудь передать привет жене.

— Чао!

— Мы ей, естественно, уже сообщили,— произнес лейтенант, продолжая прерванный разговор.

— Да, конечно... А где... где она живет?

— В Остии.

Балестрини с трудом сдержал улыбку. В Остии? Вот тебе и Лазурный берег! Вот тебе и фантастические слухи о богатстве семьи Де Дженнаро!

— Послушайте, мне бы хотелось поговорить с этой синьорой. Вы потом дайте мне номер ее телефона...

— У нее нет телефона.

— Ну, тогда адрес.

— Обязательно.

Внезапно Балестрини подумал, что глупо вот так терять время в коридоре, когда только от него самого зависит пораньше начать допросы в «Реджина Чёли». Если не будет никаких непредвиденных задержек, тогда он успеет домой к обеду почти вовремя.

— Винченти!— громко позвал Балестрини, и дежурный курьер, скреплявший листочки бумаги, делая из них подобие блокнота, встал из-за стола и подошел к нему.

— Винченти, если меня будет спрашивать женщина, передай ей, что я ждал ее и буду у себя во второй половине дня... Ну, скажем, в четыре — полпятого. Если же она не может прийти, пусть позвонит.

— Слушаюсь, доктор.

Балестрини, улыбаясь, с любопытством уставился на курьера. На

изрезанной глубокими морщинами физиономии виднелись — хотя это и было маловероятно — следы слез.

— В чем дело?

Винченти извлек платок и изобразил на лице комическое смирение.

— Аллергия. Почти ничего не вижу.

— А отчего она у тебя?

— От безденежья, доктор Балестрини. Это самый худший из всех видов аллергии.

Едва с губ судьи, дожидавшегося лифта, сошла улыбка, как стук женских каблучков заставил его с надеждой обернуться. Но приближавшаяся изящная женщина никак не могла быть Розанной Паскуалетти. Ему показалось, что это та самая девица, которая просила разрешить встречу в тюрьме с парнем, сделавшим ей ребенка. Балестрини прищурился, пытаясь разглядеть, не вырос ли у нее живот, но тут с мягким шорохом перед ним раскрылись двери лифта.

— После вас, доктор,— сказал лейтенант Стелла.

И в тот самый миг, когда створка автоматической двери уже скрывала от него приятное зрелище — стройный стан девушки без малейших следов беременности, Балестрини вдруг осенило. Он неожиданно нашел ответ на вопрос, который неотступно преследовал его с самого утра. Он взглянул на лейтенанта так, что тот, наверно, испугался.

— В чем дело? — донесся до Балестрини словно издалека вопрос лейтенанта Стеллы.

Судья не ответил. Неужели все настолько просто? Он понимал: надо притворяться, нельзя подавать виду, что он догадался. Балестрини был уверен: теперь он знает, почему из его архива украли эти чертовы магнитофонные ленты. Да потому, что среди записанных голосов был именно тот, который имел в виду Де Дженнаро, когда говорил Грэйс Демпстер, что помощник прокурора «знает этот голос»! И голос этот не мог принадлежать никому другому, кроме того, кого называли «лейтенантом» — единственного телефонного собеседника, заслуживающего внимания Гуидо Паскуалетти.

— Прошу вас, доктор,— пробормотал Джованни Стелла — они уже несколько секунд стояли перед раскрытыми створками лифта; Балестрини, вздрогнув, очнулся от своих мыслей.

Но если эти люди уже уничтожили магнитофонные записи, сделанные самим Де Дженнаро, зачем надо было захватывать и другие катушки — те, что хранились в шкафчике? Они ведь не содержали ничего важного: телефонная болтовня Гуидо Паскуалетти с «лейтенантом» и другими собеседниками. Только сопоставление двух серий записей могло навести на след — поэтому они убили Де Дженнаро и завладели его лентами. Но зачем же тогда было похищать другие катушки?

Однако на этот вопрос был ответ: маленькая светловолосая шотландка Грэйс Демпстер. Она со своим магнитофоном и пленками, на которых записаны на первый взгляд бесполезные, ненужные фрагменты и отдельные фразы, предоставила данные для сопоставления. И благодаря им лежавшие в фанерном шкафчике катушки вновь стали опасными!

В то время как машина мчалась вниз по бульвару Мадзини, на удивление свободному от транспорта, Балестрини вновь изумился, насколько все оказывалось просто. Сравнение «А» и «Б» могло многое прояснить. Они уничтожили «А» (записи Де Дженнаро). Но появляется «В». Значит, надо уничтожить «Б» (записи с голосом Паскуалетти).

Безумное предположение: но разве эти люди, не остановившиеся перед убийством капитана карабинеров, могут сохранить жизнь какой-то туристке и оставить у нее столь опасную для них улику —

магнитофонные ленты? Балестрини посмотрел на молча сидящего рядом Джованни Стеллу, словно ожидая ответа. Тот только искоса взглянул на него растерянно и даже, как показалось Балестрини, несколько подозрительно.

Пусть это только предположение, однако в высшей степени тревожное. Достаточно им было узнать о Грэйс Демпстер и ее магнитофонной ленте «после» встречи Балестрини с девушкой у нее дома, и они почуяли бы опасность: значит, у Андреа Балестрини очутились в руках данные, необходимые для сравнения. Чтобы их нейтрализовать, остается похитить пленки. И они взломали шкаф.

— Вы хотели рассказать мне об одном из... — начал было лейтенант, но осекся. Не слушая его, охваченный каким-то мрачным возбуждением, Балестрини уставился на оранжевую громаду переполненного автобуса и продолжал смотреть ему вслед, даже когда он свернул на боковую улицу.

Но как им удалось узнать, что эти улики попали в руки некоего судейского чиновника? Уж конечно, не потому, что они проследили, как он направлялся к шотландке. Если бы они только подозревали, что девушка держит дома такую штуку, они бы, не колеблясь ни минуты, захватили ленты, заткнув ей навсегда рот, как они уже дважды сделали раньше — сначала с бывшим агентом СИДа, потом с беднягой Де Дженнаро. В таком случае как же, черт возьми, они сумели узнать? Чтобы прояснить все возможные гипотезы, потребовались бы долгие часы работы. Надо было подслушивать, выслеживать, подключаться к телефонам или действовать посредством агентуры, внедрения своих людей... Но это, в сущности, было не так уж важно. Прежде всего необходимо немедленно дать ответ на главный вопрос: кто? А для этого одного напряжения нервных клеток, одной интуиции, увы, явно недостаточно.

В ту минуту, когда впереди уже вырисовывались очертания тюрьмы, Балестрини подумал, что необходимо тотчас же уточнить первоочередные и важные элементы, на которых основывается его версия. Грэйс Демпстер сейчас уже вряд ли грозит опасность: ведь она сказала все, что знала, и отдала все, что у нее было. Однако опасности подвергалось нечто большее — под угрозой было само государство, на которое покушались заговорщики.

Когда машина остановилась на тюремном дворе, Балестрини взял лейтенанта Стеллу за руку.

— Не выходите, я должен дать вам срочное задание. Вчера я передал на хранение старшине Чаттони магнитофонную ленту. Разыщите старшину и возьмите ленту. С той минуты, как он вам ее передаст, за нее отвечаете вы. Эти записи, возможно, в дальнейшем смогут составить решающую улику.

Балестрини улыбнулся, удивленный собственным красноречием; к тому же его чуточку забавлял ошарашенный вид лейтенанта. Стеллу, должно быть, больше поразила неожиданность приказа, чем его содержание. Балестрини отпустил неподвижную руку лейтенанта и дружески слегка похлопал по ней ладонью.

— Я полагаюсь на вас.

— Будьте спокойны, доктор,— услышал он, выходя из автомобиля, ободряющий ответ. Но, идя по двору к тюрьме, Балестрини без всякой видимой причины почему-то представил себе, что Стелла провожает его насмешливым (а может, ненавидящим или презрительным) взглядом, и предпочел не оборачиваться, опасаясь, что его предположение оправдается.

8

— Нет, я не поеду,— еле слышно ответила Рената, и Балестрини посмотрел на нее в полном смятении. Он надевал пижамные брюки да

так и остался стоять на одной ноге, пока Рената не заперлась в ванной, чтобы смыть тушь с ресниц.

Немного спустя послышался сильный шум воды, пожалуй слишком сильный.

Из ничего вдруг вырос новый ядовитый гриб ссоры. Собственно, он спросил о поездке не для того даже, чтобы все подробно обсудить, а скорее чтобы успокоить Чентанни, уже составившего график отпусков. Идея была такая — спуститься на машине вниз до Сицилии, не торопясь, делая по дороге остановки. Потом из Палермо махнуть пароходом-паромом в Сардинию. Три недели отдыха там обойдутся не слишком дорого, ну а затем назад, через Чивитавеккью в Специю, к «председательше», но ненадолго — денька на два. И напоследок заскочить в Милан — тут он вспомнил о своем старинном друге Бауэре и улыбнулся,— потом сразу же домой.

Сидя на кровати и даже через подушку чувствуя ее твердую деревянную спинку, Балестрини неотрывно глядел на дверь. Облизал пересохшие губы, но большого облегчения не испытал. Шум воды утих, и наступила тишина. Когда отворилась дверь, Балестрини удивился — он ждал совсем иного. Не обращая на него внимания, Рената подошла к комоду, вынула ночную рубашку, приподняла простыню и легла рядом.

— Можешь объяснить, что все это значит? — спросил Балестрини. Сам тон вопроса, уверенный, невозмутимый, показался ему удачным, и все же он смутно почувствовал, что перестарался. Достаточно ей презрительно засмеяться, и он будет загнан в угол. Рената не засмеялась.

— Я не поеду, Андреа. Нет, я так больше не могу.

— Прости, как именно?

Прежде чем ответить, Рената бросила на него быстрый взгляд.

— Ты знаешь, что Джино вернулся?

— Знаю.

— По мне заметно?

Он кивнул. Не принеси ему Де Дженнаро прямо в кабинет магнитофонную пленку, он ничего бы не заподозрил. Но сейчас он предпочел не разубеждать Ренату в своей редкой догадливости.

— Наверно, я люблю его, Андреа,— прошептала Рената, и Балестрини с болью подумал, что его личная трагедия завершится очень и очень скоро. Он криво усмехнулся, чтобы Рената не заметила, как дрожат губы.

— Вот как!

Рената выжидательно посмотрела на него.

— Ну, договаривай же! — Ее взгляд оставался спокойным — мрачным, но спокойным. И голос звучал ровно, не срывался на визгливый фальцет.

Балестрини стало не по себе: неужели она и дальше будет продолжать в том же духе?

— Я рад, что ты так невозмутима,— произнес он, отведя глаза в сторону,— хотя не знаю, отдаешь ли ты себе отчет в серьезности своих слов.

— Вечные твои фразочки — не знаю, отдаешь ли ты себе отчет, не знаю, правильно ли ты поняла, не знаю, точно ли я объяснил. Ну, конечно, ты ведь считаешь меня дурой... Может, я и в самом деле такая. Но думала я только об одном. Я уже давно ни о чем другом думать не могу, кроме как о постели. А в этом даже дура рано или поздно разберется...

— Перестань!

— Не перестану! — вдруг крикнула Рената. Балестрини мгновенно повернулся и с испугом взглянул на нее. Когда супруги Конти за стенкой предавались любви, до Андреа доносились словечки мужа.

Глубокой ночью, если только по улице не ехала машина, слышен был даже шелест газеты.

— Испугался? — засмеялась Рената, показав пальцем на стену.— А что? Они совокупляются, а мы всего только ссоримся. По-моему, нам стыдиться нечего.

Глядя на ее безумные глаза, на внезапно покрасневшее лицо, Балестрини понял, что она не станет грызть ногти и вообще больше не ударится в истерику. А главное, за шесть лет совместной жизни она ни разу не произнесла этого вульгарного «совокупляются». Нет, она явно вне себя от ярости.

— Ты что, снова пила?

— Да, а что тут такого? Знаешь ли, причин напиться у меня достаточно. Но не волнуйся, я не пьяна. Всего два бокала мартини, синьора Конти! — еще громче сказала она, вплотную прижавшись лицом к стене.

— Рената!

— Ну, Рената, а дальше что?

— Перестань же, перестань! С чего ты разбушевалась. Я только спросил, где ты хочешь в этом году провести отпуск. Если уж на то пошло, это я должен был...

— Обидеться? Оскорбиться? Выйти из себя?

Балестрини подумал, что раньше она совсем не отличалась многословием. Прежде она никогда не сказала бы: «Задетый», «Рассерженный», «Потрясенный». Обычно она выражалась просто и односложно. И вообще говорила мало.

— Почему тебя это вдруг задело? Такое случается, и довольно часто. Могло произойти с тобой, а произошло со мной. Видишь, я казалась мертвой, а выходит, что живая. Может, скажешь, у меня нет на это права?

— На что?

— Знаю, о чем ты думаешь, отлично знаю! Ведь ты тысячу раз давал мне это понять. Я тебе всем обязана, правда? И должна быть женой верной, покорной, заботливой. Знаешь, почему я это поняла? Ты ни разу мне не сказал: «Спасибо тебе за твое терпение, хотя я — Андреа, и довольно занудный тип». Или же: «Спасибо тебе за твою верность, хотя мы предаемся любви, только когда этого хочу я, если я не устал или если еще не слишком поздно».

— Ты говоришь так, словно я вел себя...

— Знаю, знаю. Мне тебя не в чем упрекнуть, не в чем. Уходя из дому, ты всегда прощаешься и, приходя, здороваешься. Не бьешь меня, не плюешь на пол, не завел другой семьи... не знаю, правда, почему — то ли тебе это претит, то ли ты боишься упасть в глазах наших соседей Конти...

— Рената!

— Ну хорошо, будем считать, что ты не такой. А тебе не трудно сохранять мне верность? Ведь стоит тебе захотеть, и та же Вивиана не заставит себя долго упрашивать. И не только она. Ты об этом знаешь?

— Не говори чепухи!

— Видишь! Ты даже ничего не заметил. Приходишь со своей проклятой службы домой, ужинаешь и плюхаешься в кресло с газетой. Хорошо еще, если ты после работы соизволишь сходить со мной в «Ринашенте» или в гости к Якопетти. А вечером, да стоит ли продолжать? Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду.

Совершенно подавленный, Балестрини не нашел в себе сил пробормотать, что нет, он вовсе не знает и очень хотел бы это услышать, ему просто необходимо это услышать. Но Рената не унималась. Она все говорила и говорила бессвязно и отрывисто, и перед ним постепенно возникал незнакомец, весьма смутно напоминавший его самого. Самодовольный, пресыщенный, а главное, нудный — самая настоящая

инструкция к новому тостеру. Человек этот каждый божий день читал газеты, вечером смотрел по телевизору последние известия и, водрузив на полку транзисторный приемник, бесконечно долго принимал горячую ванну.

Когда Рената умолкла, он взглянул на нее, но так и не понял, отчего блестели ее глаза — от волнения или от едва сдерживаемых слез.

— ...Но все шло хорошо, да, для меня — все,— продолжала она.— Понимаешь, Андреа, ты имел на это право, а я должна была молча повиноваться. И что же заявила твоя мамочка, госпожа председательша? Когда я пошла за «Коррьере», ты ей на меня нажаловался, молчи, я точно знаю. И потом она смотрела на меня с таким осуждением... впрочем, как всегда. Но тогда на вокзале она прямо так и сказала: «Как, после всего этого...» — и Балестрини на миг закрыл глаза — Рената мастерски подражала суровому голосу «председательши», напоминая ему о дьявольском таланте подражания Джакомо Баллони: «Как, после всего этого она еще смеет! Да она должна тебе руки целовать, да, да целовать».— Разве не так, Андреа?

Рената засмеялась, но без особой злости.

— Учти, я не имею привычки подслушивать. Просто твоя мать не способна говорить тихо, это не в ее стиле. Помнишь? Мы были у нее в Специи на рождество. Даже Джованнелла поняла и потом спросила: «Почему бабушка сказала, что ты должна целовать папе руки?»

— Прошу тебя, говори потише,— попросил жену Балестрини и почувствовал, как краснеет до самых корней волос. Он ничего не ответил Ренате, но хорошо помнил тот разговор. Мать выражалась резко, слишком резко, ведь его ссора с Ренатой, о которой он имел глупость рассказать, была пустяковой. Но он и не подозревал, что за дверью Рената и девочка невольно все слышали.

— Ты лучше своей матери, Андреа. Но, увы, не такой, как твой отец. Ты больше взял от той, что командовала в доме.

— Рената, хватит!

— А я вот больше взяла от той, которая вовсе не командовала в нашем доме. От моей бедной старой мамы!.. — Она зарыдала, прижав руку к груди, и откинулась на спинку кровати.

— Простите нас, господа Конти, если вы дома.

— Перестань.

— Андреа,— сказала Рената, наклонившись к нему,— не думай, что я тебя не... что я лгала все эти годы. Я по-настоящему была рада, когда мы поженились. И я сделала это не потому, что отец чуть не изувечил меня своими кулачищами. И не потому, что Джино не решился... понимаешь. Я была счастлива, радовалась, как ребенок. Вот только не понимала, почему ты пошел на это.

Балестрини стойко выдержал ее взгляд.

— Почему ты на это пошел, Андреа?

— Потому что был в тебя влюблен.

— Как сказать? Знаешь, вот я была влюблена в Джино и творила всякие глупости. Поверь, я вовсе не собиралась остаться с ним в тот вечер. Прежде я не была ни с кем, не хотела и не испытывала даже любопытства. Помню, я боялась этого, да и после мне было противно.

— Рената...

— Что я такого сказала? — тихо проговорила Рената и улыбнулась.— Вивиана права, ты — пуританин.

— Может, и так.

— Я тоже была пуританкой, это уж точно. Отдаться Джино было сущим безумием, но я и не на такое пошла бы. На все... Я совершенно потеряла рассудок... Знаешь, это... это даже описать невозможно. Я думала... вернее, потом подумала — так случилось потому, что мне было семнадцать лет. Я и сейчас-то клуша, а уж тогда... Но стоило мне снова его увидеть... вернее, только услышать по телефону. Все! Я поняла, что способна еще и не на такие безумства, хотя теперь у меня

есть ты, Джованнелла и с той поры прошло столько лет. В первую нашу встречу он принес мне цветы...

Она умолкла, погрузившись в какие-то свои мысли, а Балестрини до боли сцепил пальцы. Спросить, изменяла ли она ему с Джино, у него просто не хватило сил. Когда Рената снова заговорила, он закрыл глаза.

— Ты был прав, когда слушал свою мать и обращался со мной как с дурочкой. У меня всего только среднее образование, и это заметно. Я всегда боялась чем-то подорвать твою репутацию и особенно... что узнают о Джованнелле. Однажды я спросила, может ли это хоть както повредить твоей карьере. Ты ответил — нет, но я поняла, что хорошего будет мало.

— Не помню.

— Это было много лет назад. Тогда мы еще иногда беседовали дружески, молчи! Разве я спорила с тобой? Да, ты был прав, когда так со мной обращался, тем более что постепенно я к этому притерпелась. Знаешь, что говорит Вивиана? Что я тихо скончалась, утешенная священником и окруженная родными и близкими...

Ее снова охватил гнев; Балестрини это чувствовал, но не знал, что же ему теперь делать. Молча слушал ее, с отчаянием выжидая момент, когда удастся успокоить ее лаской или нежным словом. Словно зачарованный смотрел, как она взмахивала своими маленькими руками, так, точно ставила один за другим восклицательные знаки. Ему даже показалось (а может, это наваждение?!), будто там, за стеной, кто-то осторожно зашевелился.

— Я сама не верила, что так случится,— сказала Рената, внезапно заговорив о другом.— Правда, изредка я думала об этом. Еще два-три года назад я думала об этом часто. Но со страхом и даже с досадой. Новая встреча с Джино пугала меня. Потом я поняла почему — это заставило бы меня почувствовать себя кругом виноватой перед тобой и твоей матерью... и особенно перед Джованнеллой. А между тем знаешь что?

— Что же?

— Я вдруг обнаружила, что ничем тебе не обязана, что не люблю тебя, что, конечно, ты по-своему был хорошим мужем, но и я по-своему была хорошей женой. Цена мне была грош, и ты меня ни в грош не ставил. Разве мы не квиты?

— Да, квиты,— прошептал Балестрини и обхватил голову руками. Нет, это не было театральным жестом отчаянья. Вот только глаза, почему так нестерпимо жжет глаза?! Он судорожно глотнул воздух. Теперь он почти ее не слушал и встрепенулся, лишь когда она назвала его по имени. Посмотрел на нее.

— Да?

— Андреа, одно я тебе все-таки должна сказать.

Ему показалось, что в голосе ее вдруг прозвучали нотки нежности.

— Что именно? — спросил он.

— Джованнелла к тебе очень привязана. Ты был для нее все эти годы... надежной опорой. Пожалуй, без тебя ей пришлось бы нелегко.

— Это потому, что она ничего не знает.

— Знает.

— Что?!

— Я все ей рассказала.

Он поглядел на нее в полной растерянности. Нет, не похоже, что она шутит. Рената кивнула и вымученно улыбнулась.

— Рассказала сегодня утром.

Рената приподнялась, встала с постели. У Балестрини вдруг онемели руки, и он молча смотрел, как она идет в ванную. Когда за Ренатой закрылась дверь, он в каком-то отупении все продолжал неотрыв-

но смотреть ей вслед. Полилась вода, но не очень сильно. За стеной супруги Конти включили радио. Вдруг зазвонил телефон, он рывком повернулся и взглянул на аппарат так, словно кто-то окликнул его. Руки все еще оставались ватными.

Собравшись с духом, он снял трубку и в тот же миг услышал, что Джованнелла из своей комнаты зовет мать.

— Слушаю.

— Доктор Балестрини?

Голос был незнакомым, и ему внезапно стало страшно. В ту же минуту из ванной вышла Рената, и Джованнелла снова ее позвала.

— Иду, иду, радость моя.

— Доктор Балестрини? — повторил незнакомец громче, чем в первый раз.

— Да, я. Кто говорит?

— Лейтенант Стелла.

Он испытал такое облегчение, что невольно глупо рассмеялся и почувствовал, как этому удивился, хоть и промолчал, вежливый Стелла.

— Слушаю вас, лейтенант.

— Я вас не разбудил? Вы обещали в четыре быть в прокуратуре...

— Не беспокойтесь, я еще не спал.

— Вот... я взял пленку. Но экспертизу провести пока не успел.

— Неважно. Экспертизы голосов совершенно бесполезны,— ответил Балестрини таким спокойным и уверенным тоном, что сам поразился. Даже мать, услышав его по телефону, ничего бы не заподозрила.

— Есть и другая новость.

— Говорите.

— Дорожное происшествие. Машина сбила жену заключенного, которую вы допрашивали утром. Кажется, ее звали...

— Паскуалетти? — взволнованно спросил Балестрини.

— Да, доктор.

— Она умерла?

— Да.

— А дорожный пират удрал? — спросил он и почувствовал, что своим вопросом поверг собеседника в изумление.

9

Он почти потерял надежду, что Балестрини заметит его, и когда тот равнодушным взглядом обвел ряды публики, резко поднял руку, чтобы привлечь его внимание. Это ему удалось — Андреа, который из-за своей близорукости не сразу его увидел, наконец ему улыбнулся и слегка приподнялся; председатель суда прервал речь и уставился на бесцеремонного возмутителя спокойствия, а двое карабинеров впились в него тревожным взглядом.

— Бауэр!

— Чао, Андреино. О, да тут у вас пахнет порохом. Стоит одному сунуть руку в карман за носовым платком, как все готовы броситься на пол.

— Давай выйдем, еще немного — и я освобожусь на все утро,— сказал Балестрини и потащил Бауэра в коридор.

Бауэр наконец-то смог вынуть трубку и закурить.

— Когда ты приехал?

— Утром и как раз успел на твою речь. Прослушав ее, торжественно заявляю, что счастлив быть твоим другом, а не врагом,— с самым серьезным видом произнес он, и лишь тень улыбки мелькнула на его лице.— Долго еще будете заседать? — спросил он.

— Подожди меня здесь минутку...

— Долго не задерживайся,— попросил Бауэр, не питая, впрочем, на этот счет особых иллюзий. Однако у Андреа сохранилась чисто ломбардская, скрупулезная точность, подумал он, когда Балестрини вскоре вернулся в своей развевающейся коротковатой мантии.

— Кончили?

— Суд удалился на совещание. Ты, конечно, приехал узнать приговор?

— Да, наша римская редакция работает слишком мало и вяло, и ей нужна поддержка. К примеру, свежие впечатления человека, не связанного с судебными кругами.

— Да, да, понимаю.

— Каков, по-твоему, будет приговор?

— Ему дадут тот срок, которого я требовал. Максимальный.

— Я тоже боюсь, что так и будет.

— Боишься? Почему?

Бауэр молча взглянул на него и неторопливо закрыл коробочку с табаком. Ему показалось, что Андреа ничего вокруг себя не замечает. Ни лица Буонафортуны, столь непохожего на искаженные ненавистью лица автономистов[1], месяц назад бесчинствовавших на улицах Милана, ни того, что улики против Буонафортуны хотя и серьезны, но не бесспорны, ведь неопровержимых доказательств, будто найденные в комнате Буонафортуны «грязные» деньги принадлежат ему, нет — скорее всего они были подброшены. Не замечает он и атмосферы *суда Линча*, царящей в городе, особенно в судебном городке, который охраняют так, точно это склад боеприпасов.

— Выйдем? — предложил Бауэр.

— Да, но чуть позже. Мне надо кое-что захватить в кабинете. Зайдешь со мной?

— Хорошо, а потом пообедаем вместе, согласен?

Бауэр никогда раньше не бывал в служебном кабинете своего друга. Он представлял его себе полутемным и, конечно же, аккуратным, как сам хозяин. Между тем комнату заливали лучи солнца, и повсюду в ужасающем беспорядке валялись бумаги.

— Э, да тебе надо обратиться в бюро бытовых услуг! — воскликнул он, показывая на единственный свободный от папок стул.

Балестрини пожал плечами, с досадой скинул мантию и сел за письменный стол.

— Наводить порядок, увы, разрешается только мне, а у меня нет охоты этим заниматься.

— Знаешь, тут веет запустением и...

— Это правосудие рушится под тяжестью собственных ошибок,— пошутил Балестрини, не глядя на друга, и Бауэр уловил в его голосе фальшивую ноту. Вообще, разговор следовало бы начать лишь после долгого молчания, так, словно сама эта мысль пришла ему, Бауэру, на ум невзначай. Но он боялся, что Андреа воспользуется паузой и станет расспрашивать о сплетнях в издательских и журналистских кругах и о его любовных связях.

— Как дела, старина? Хоть ты и чисто выбрит, вид у тебя измученный. Обвинительная речь доконала?

— Просто добила.

— Знаешь, никогда бы не подумал, что ты можешь быть таким жестоким, желчным и язвительным. Твоя ирония была разящей, точно рапира фехтовальщика. Тобой владела пламенная ярость, как сказал бы Гофман.

— Чудесный образ!

— Правда ведь? Человек чувствует себя куда значительнее, когда

[1] Движение ультралевых, нередко прибегавших к террористическим актам.

о нем говорят словами классиков. Как поживает Рената? Джованнелла?

— Рената ушла и забрала девочку.

Бауэр пристально взглянул на него, сумев скрыть свое изумление. И увидел, что Андреа жаждет выговориться, услышать совет, и смутно почувствовал, как сильно друг в этом нуждается.

— Значит, она тебя оставила? — осторожно спросил Бауэр. И подумал, что взял, пожалуй, неверный тон. Этого девяностокилограммового простофилю нельзя жалеть или пытаться понять. Его надо ласково хлестать, поджаривать на раскаленных углях дружеского сарказма. Но сделать это он был сейчас не в состоянии. Он молча выслушал короткий, поразительный рассказ Андреа. Вот тебе и простушка Рената!

— Что ты на меня уставился?

— Кстати, мне пришли на ум слова Белы Хааса, так удивившие нас тогда в университете. Не собираюсь тебя, Андреа, утешать, но помнишь: «У меня нет ни жены, ни детей, ни настоящего друга... не потому ли жизнь приносит мне одни радости?»

— Да, помню.

— Что теперь будешь делать?

— Не знаю,—коротко ответил Балестрини, и у Бауэра снова появилось неприятное ощущение, будто друг избегает его взгляда. Добрый силач по своему характеру был не способен на истерику. Он переживал тихо, без вспышек ярости. И рубашка на нем безукоризненно чистая, отметил Бауэр. Сколько еще таких рубашек вытащит он из комода, прежде чем ему придется пойти в прачечную, нанять приходящую служанку, обедать в ближней траттории?

— И девочку? Этот тип захотел забрать и девочку? — спросил Бауэр и невольно пожалел о грубости своего вопроса. Но исправить оплошность не успел. Балестрини, похоже утративший спокойствие старой, умудренной опытом черепахи, ответил неподдельно просто:

— Но ведь это его дочь.

— Я бы сказал — твоя дочь,— возразил Бауэр и снова пожалел о вырвавшихся у него словах. Но на этот раз Балестрини промолчал. Бауэр воспользовался этим, чтобы переменить тему разговора:

— Скажи, меры предосторожности хотя бы приняты? Ну... охраняет ли тебя полицейская «газель» или же тебе позволяют ездить в обычном автобусе?

— Да, об охране позаботилась судебная полиция. Но ты-то откуда узнал?

— Андреа,— негромко, с мягкой улыбкой сказал Бауэр.— Эх, Андреа...

— А что?

— Ты отдаешь себе отчет?.. Знаешь хоть, почему меня сюда послали? Понимаешь ли, что произойдет в Риме, если будет вынесен суровый приговор?

— Не смеши меня, Бауэр. Вы все вбили себе в голову, будто человек, если он выполнил свой долг и помог осудить одного из преступников, уже...

— Подожди, подожди. Не считай меня полным болваном. Волнения начнутся вовсе не из-за Буонафортуны. Этот мальчишка послужит лишь поводом. Любой человек может стать поводом для всех тех, кто сражается по разные стороны баррикад. Думаешь, до сих пор судей и прокуроров убивали только потому, что они вели какое-то следствие или вынесли обвиняемому суровый приговор? Я знаю судей, которые не любят своего дела либо умышленно выполняют его плохо. А есть здесь, Андреа, и такие, и тебе понятно, о ком я говорю, кто охотно прислушивается к якобы убедительным доводам всяких темных личностей... И я знаю таких жрецов правосудия, которые выполняют

тайные приказы даже и не судебных властей. А ведь по закону они и этим властям не подвластны, совершенно независимы.

— Знаю, на что ты намекаешь, но разве в этом дело?

— Такие случаи, Андреа, общеизвестны. Но лжеблюстители закона живут себе преспокойно и умрут только от старости. Для убийц важен предлог, а не сам человек. Ты — неподкупный представитель государства с большой буквы. А Буонафортуна представляет всех остальных: от наркоманов до юнцов, которые верят, что ведут справедливую борьбу! Всех, кто в Италии причисляет себя к «левым». За исключением, разумеется, коммунистической партии.

Он усмехнулся, стряхнул пепел в пустую пепельницу. Но заметил, что его нарочито злая усмешка не подействовала на Балестрини — нет, тот явно думал о чем-то своем.

— Во всяком случае, теперь всему пришел конец,— сказал Балестрини, и Бауэр поспешил его отвлечь, боясь, как бы другом не завладела совсем уж бессмысленная и безысходная тоска.

— Не думай сейчас об этой истории. Может, все еще и уладится.

— Уладится? — Балестрини улыбнулся почти весело.— Я не о Ренате говорю, с ней ничего уже не уладится, и ты сам отлично знаешь. Я говорю об этом проклятом процессе. Кстати, по мере возможности я слежу также и за ходом следствия по делу о смерти того капитана...

— Де Дженнаро?

— Да, Де Дженнаро. И стоит мне копнуть поглубже, как из шкафа вываливается очередной труп. За всем этим кроется что-то серьезное. Практически у меня нет никаких доказательств, но именно поэтому я убежден, что... они сумели замести следы, вплоть до самых ничтожных. Умудрились даже взломать мой шкаф. Я почти уверен, что и Розанну Паскуалетти, попросившую встречи со мной, убили они...

Он и на телефонный звонок научился реагировать мгновенно, с удивлением отметил Бауэр. Кто бы мог предположить такую быструю реакцию у столь сдержанного человека, как Андреа!

— Полковник, я вас два дня разыскиваю!.. — Бауэр весь подался вперед, не пытаясь скрыть живейший интерес. Из трубки допотопного аппарата голос полковника разносился по всей комнате. «А может, дело не в аппарате, а в громком, звучном голосе полковника?» — подумал Бауэр.

— Я давно уже не имею никаких сведений от лейтенанта Стеллы,— объяснил Балестрини, и Бауэр заметил, как при этих словах гневно сверкнули глаза друга.

— Заболел? А как же дело... то расследование, что я ему поручил?.. Погодите, полковник, погодите... может, вы не совсем ясно себе все представляете? Когда синьора Россетти позвонила мне, я еще не отдал распоряжения об аресте ее мужа, и ее телефон прослушивался. Между тем она позвонила не из дома, а из кабины телефона-автомата, где подслушивать не могли. Я приказал лейтенанту Стелле проверить, не доходят ли до чужих любопытных ушей разговоры по одной или нескольким линиям прокуратуры, я уж не говорю о собственном телефоне.

До Бауэра донесся громкий протестующий голос полковника.

— Может быть, но проверить было необходимо. А теперь я блуждаю в потемках. Стелла мог письменно попросить вас, позвольте мне договорить... чтобы кто-то его заменил.

Бауэр с живейшим интересом прислушивался к спору, принимавшему характер поединка гладиаторов. Сам он не вполне понимал, какие служебные отношения существуют между помощником прокурора и офицером следственного отдела карабинеров или судебной полиции, что, наверно, одно и то же, но Андреа-то безусловно это знал.

Ему понравилось, как Андреа возмущенно крикнул, что «пора дать кое-кому по мозгам», и улыбнулся великолепному «у меня это ваше «еще потерпеть» вот где сидит». Но, увы, на том разговор по существу и закончился.

— Хорошо, полковник. Из чувства уважения к следственному отделу я подумал: раз бедняга Де Дженнаро тоже оттуда... совершенно верно, но теперь вижу, что ошибся. Поручу расследование судебной полиции, а если понадобится, сам буду вести слежку и производить обыски.

— Браво,— захлопал в ладоши Бауэр,— я бы для начала произвел обыск здесь, в окрестностях, поискал бы хороший ресторанчик. Уже час дня, старина.

— Как? Ты проголодался?!

— Ты-то — нет, я знаю. Но уже стало традицией, что мы с тобой при встрече обедаем вместе. И потом, часам к четырем я должен написать статью, и если мы хорошенько все обсудим... кстати, сколько, по-твоему, заседатели просовещаются?

— Кто знает. Но думаю, приговор не вынесут до позднего вечера.

— Прекрасно. Разделим обязанности, старина. Ты угощаешь аперитивом, я тебя — обедом.

— Подожди, остался еще один телефонный звонок. Не волнуйся, я буду краток.

Стекла кабинета были довольно грязные, но Бауэр все равно с удовольствием разглядывал улицу и по привычке набивал табаком трубку.

— Майора Армани, пожалуйста... Да, это я, Балестрини.

— Снова намерен поругаться? — спросил Бауэр.

— Нет, тут ссорой не пахнет. Армани — начальник отдела судебной полиции, человек... очень сообразительный. А... понятно, и сегодня больше не вернется? Да, понял... До свидания.

Он с яростью бросил трубку и так резко отодвинул стул, что тот ударился о стену. Улыбаясь про себя, Бауэр наконец набил трубку. У этих маленьких удобных трубок один недостаток — табак выгорает как раз тогда, когда только входишь во вкус.

— Ну, двинулись?! — спросил Андреа.

— Куда же ты меня поведешь?

— Куда пожелаешь. Если хочешь, можем полакомиться спагетти у меня дома. Или же...

Бауэр представил себе пустую, унылую квартиру, атмосферу запустенья, сплошные возгласы отчаянья («Ох, куда же девался майонез? Подожди, наверно, за баночкой с...»). Он пожал плечами, притворяясь, будто ему все равно, где обедать.

— Мне хотелось бы отведать пельменей по-римски... знаешь, я дал обет съедать в день по тарелке пельменей по-римски,— прошептал он с мечтательным выражением лица. Но его уловка оказалась излишней — Балестрини и так сразу согласился.

В коридоре их внимание привлек спор между пожилым господином, похожим на адвоката, и наглого вида крашеной блондинкой (ей сильно за сорок, подумал Бауэр), которая в чем-то его упрекала. Бауэр собрался было зло пошутить на их счет, когда какой-то молодой человек, словно только что вышедший из парикмахерской, остановил их.

— Поздравляю тебя, Андреа,— сказал он с улыбкой,— защитники, бедняги, рыдали. По-моему, ты их просто изничтожил.

— Я лишь сказал то, что думал.

— Доктор Балестрини,— вмешался в разговор пожилой курьер, с трудом приподнявшись из-за стола у входа.

— А, Винченти, выздоровели?

— Где там,— ответил Винченти, безнадежно махнув рукой.

— Когда вы были в суде, вас здесь спрашивала одна женщина... синьора Анна.

— Я такую не знаю.

— Говорила, будто должна убирать у вас завтра ут...

— Ах да, в воскресенье!

— Она сказала, что завтра прийти не сможет и позвонит вам в обед или вечером.

— Понял,— ответил Балестрини и пошел дальше по коридору. Бауэр взял его под руку.

— Тут еще оставили для вас пакет,— догнал их курьер.— Я, когда заболел, хотел передать его Фрушоне да потом забыл...

— Что в нем?

— Не знаю. Его принесла та женщина... фамилия сверху написана. Когда я ответил, что вас нет, она сказала: «Я, пожалуй, зайду попозже. Но пакет лучше оставлю». И попросила передать вам.

Бауэр с любопытством смотрел, как Балестрини разорвал большой желтый конверт и обрывки бумаги посыпались на плитки пола. Из конверта выпала пленка на необычной металлической катушке.

— Что это? — спросил Бауэр, указывая на катушку, и его поразило возбуждение, вдруг охватившее Андреа. Он смотрел на него, Бауэра, невидящими глазами.

— Что? Быть может, черт побери, первый подарок фортуны.

— То есть?

Курьер тоже разинул от удивления рот. Лишь пожилой господин и крашеная блондинка, равнодушные ко всему вокруг, продолжали громко пререкаться.

— Винченти, побыстрее раздобудьте магнитофон.

— Прямо сейчас? — с ужасом воскликнул Бауэр.

— Ах да, ты же умираешь с голоду, бедняга,— спохватился Балестрини и засмеялся.

10

— Это я, Балестрини,— сказал он, ничего больше не добавив.

— Только что вынесли приговор,— поспешно ответил судебный чиновник.— Двадцать четыре года тюрьмы.

— Спасибо.

Он посмотрел на телефон с мрачным удовлетворением и вспомнил, что почти то же чувство испытал при совсем других обстоятельствах. Стойкий запах ладана, телеграммы, бессонная ночь, десятки лиц в нелепых траурных костюмах. Потом все эти голоса и ощущения слились в одно кошмарное, предельно четкое видение, и когда в конце всей фантасмагории черный сверкающий гроб «председателя» с претенциозными бронзовыми украшениями опустился в могилу, он подумал: «Слава богу, теперь все уже позади».

Балестрини с трудом оторвался от навязчивых воспоминаний и снова точно навис над письменным столом, который начинал все больше походить на его стол в прокуратуре. Правда, здесь было меньше бумаг и папок, но они лежали в еще большем беспорядке, а огромный магнитофон, одолженный ему Вивианой Якопетти, занимал добрую четверть стола.

Потом он дважды прослушал пленку. Первый раз, чтобы хорошенько оценить значение всех записанных разговоров, а второй — чтобы снять с нее копию, запечатать и передать на хранение судебной полиции. Копия эта предусмотрена бюрократическими правилами, ему самому она не нужна. Самые важные отрывки разговоров он и так выучил наизусть. Он склонился над своими заметками — белым листом бумаги с судорожно корчащимися фигурками на полях.

— Пункт первый,— тихо сказал он.— Что намечалось на седьмое

июля, которое упоминается несколько раз?.. «Необходимо перенести все на срок после седьмого...» «Сколько времени еще осталось до седьмого июля?»... Сказано это было весело и встречено тоже радостно. А потом уже шли намеки: «...тот момент, когда мы сможем наконец действовать всерьез» — и далее... «Еще два месяца придется потерпеть». И больше ничего. Участники этих телефонных разговоров, судя по тону, уверенные в себе, самодовольные, остерегались, однако, входить в подробности.

У Балестрини с первого же прослушанного разговора сложилось твердое впечатление — сдержанность собеседников объясняется только тем, что бессмысленно вновь обсуждать план действий, уже согласованных в малейших деталях, вплоть до традиционных рукопожатий и тостов.

Ему не удалось определить личности всех подозреваемых, которые часто называли себя лишь по именам. Но и то немногое, что он узнал, ошеломило его. Три фамилии он установил точно. Другие — лишь предположительно. Так, например, «Эрсилио» по некоторым особенностям голоса — возможно, генерал Мартальяти, назначенный около года назад командующим корпусом карабинеров. Но как это проверить? Как проверить, не принадлежит ли жирный, вкрадчивый голос, коротко подтвердивший свое участие в вечерней встрече у Сантоночито (депутат парламента?), человеку, чьи передачи он не раз слышал по радио и телевидению? А не попросить ли на РАИ [1] ленты с записями этих передач и не сравнить ли оба голоса? Но тогда не избежать широкой огласки, которая может повредить делу.

Упоминался в разговорах и Паскуалетти: кто-то вскользь заметил — «этот кретин Паскуалетти». Фамилия и сама оценка человека не оставляли никаких сомнений — речь шла о бывшем агенте СИДа, убитом в собственной квартире. Звонкий, запоминающийся голос явно показался Балестрини знакомым. А может, это лишь мой домысел, подумал он. И наконец, страшные слова, произнесенные человеком, чье имя ему никак не удавалось определить — не было ни малейшей зацепки. «Значит, мы избавимся от него так же, как избавились от Мариани-Таццоли... этого ходячего мертвеца». Мариани-Таццоли — генеральный прокурор, ушедший в отставку месяц назад. Очень живой, маленький человечек, любитель хороших вин, отнюдь не впавший в физический и профессиональный маразм, свойственный многим его столь же высокопоставленным коллегам. Назвать Мариани-Таццоли ходячим мертвецом — сущая глупость, если только за этим не кроется двойной смысл. И вот пока он снова и снова думал об услышанном, его вдруг осенило.

— Черт побери! — воскликнул он, стукнув кулаком по столу. Так вот кто упомянул о «кретине Паскуалетти»! Это не кто иной, как «лейтенант», частый собеседник бедняги Гуидо Паскуалетти, и именно его голос сам Де Дженнаро записал на две пленки, украденные потом из шкафчика.

Сплошные пленки, все более воодушевляясь подумал Балестрини, и встал со стула. Пленки Паскуалетти, пленки с телефонными разговорами Ренаты и ее любовника, пленки Де Дженнаро, частично переписанные Грэйс Демпстер на кассету. И наконец, пленка, которую Розанна Россетти хранила у себя с недоверчивым упорством истинной чочарки [2]. Наверно, именно эта пленка и стоила ей жизни.

Он пошел в кухню выпить минеральной воды, потом в нервном возбуждении вернулся в кабинет, заглянул в спальню. На миг ему снова стало не по себе. А ведь он, казалось, почти забыл о своем горе. Он представил себе: Рената спит в объятиях Джино после того, как они предавались любви. «Не болезненное ли это любопытство?» — поду-

[1] «РАИ-ТВ» — итальянская радио- и телекомпания.

[2] Уроженка области Чочария.

мал Балестрини. Интересно, как Джованнелла привыкает к новой жизни без «папы», который не был ее «настоящим папой»? Что это? Сентиментальность? Они никогда больше не увидятся, разве что случайно. Может быть, подумал он, и на смену щемящей тоске пришло удивление. Он представил себе, как Рената подходит к любовнику и, став к нему вполоборота, говорит словами дешевого комикса: «О, Джино, я никогда тебя не забывала!» А Джино восклицает: «Рената!» У дверей комнатки Джованнеллы Андреа остановился в нерешительности. Дверь была приоткрыта. Он осторожно ее распахнул и встал на пороге, ожидая, пока глаза привыкнут к полутьме. Скоро темная масса на кровати зашевелилась.

— Ну что?

— Уже проснулся? — удивился Балестрини.

— Я сплю чутко, а ты поднял адский шум,— пробурчал Бауэр.

Падавший из-под абажура слабый свет — самый яркий луч словно увяз в светлой бороде Бауэра — вырвал из тьмы его одежду, разбросанную по крохотной комнатке.

— Перестань, Андреа, бередить душу! Ты ведешь себя как персонаж Эдгара По. Но только это не огромный дом эпохи Тюдоров, полный гулкого эха, и твоя жена не умерла через пять дней после свадьбы.

Балестрини засмеялся, глядя, как он неловко пытается подняться.

— Едва проснулся и уже остришь, старик!.. Ну, давай же, раз уж ты сел, постарайся теперь встать с постели.

— Андреа, спагетти с чесноком и оливковым маслом?

— Если хочешь — конечно.

— Хорошо, старик. Окроплю себя благоухающим одеколоном, и делай со мной что хочешь...

— А шелковый розовый халат тебе не подать?

— Спасибо, один у меня уже есть,— игривым тоном ответил Бауэр и, зевнув, показал на свой чемодан.

Балестрини заметался по кухне в поисках соли и кастрюли. Поставил на слабый огонь воду, вынул спагетти, сливочное масло, нашел кусочек залежалого пармезана. Потом пошел в ванную.

Вчера Бауэр не стал повсюду его сопровождать — Андреа не терпел жалости. Они провели вместе лишь послеобеденные часы — сидели, болтали о том о сем, а вечером поужинали, довольно-таки скверно, в Монтеверде. Там Бауэр молча выслушал рассказ Андреа о Де Дженнаро, о Джакомо Баллони, искусно подражавшем чужим голосам, и, наконец, они поехали домой. И вот, когда Андреа шутливо повествовал о привычках прокурора, Бауэр снял пропотевшую, несвежую рубашку и спросил: «Где у тебя ванная?»

Балестрини на секунду даже позабавила та легкость, с какой Бауэр сочинил свою статью в сто строк из целого набора служебных тайн, которые воспринял с деланной невозмутимостью и скрытым профессиональным интересом.

— А этого Пастрини вы разыскали? Человек с такой необычной, редкой фамилией сам как бы расписался в совершенном преступлении.

— Был бы Де Дженнаро, он давно бы уже надел на него наручники,— с горечью ответил Балестрини. Но Бауэр, не без умысла задавший этот вопрос, не почувствовал в словах друга досады на нерасторопность судебной полиции.

Между тем такую досаду Балестрини испытывал. Похоже, что ни одна из существующих в Италии полицейских служб, начиная от военной разведки и кончая отделом охраны животных — зоополицией, как ее ядовито называл полковник Винья, не знала о человеке по фамилии Пастрини. Не было ее и в справочнике по Риму. А ведь редкая фамилия порой значит куда больше, чем словесный портрет. И никто не

смог дать сведений о Пастрини. «Фамилия вымышленная!» — хором восклицали все, с кем он ни обсуждал этот вопрос. Чепуха. Мисс Демпстер четко объяснила, как обстояло дело: Де Дженнаро ждал этого Пастрини, судя по всему, хорошо его знал, прежде несколько раз о нем упоминал. Если бы речь шла о важном осведомителе (в этом случае вымышленная фамилия была бы обязательной), Де Дженнаро ни за что не стал бы встречаться с ним у себя дома.

Тут заклокотала уже кипевшая вода, Балестрини бросил в нее спагетти, весело присвистнув.

— Триста граммов макарон хватит? — крикнул Андреа.

— Сам решай,— ответил Бауэр.

Голос доносился из кабинета. Балестрини удивился: он подождал, пока последняя макаронина не утонула в воде, поднес сковородку с маслом к огню, чтобы оно растопилось, и лишь затем пошел в кабинет. Только там он наконец понял, что за странный, приглушенный шум доносился из кабинета.

— Садись,— тихо сказал ему Бауэр.

На столе негромко потрескивал магнитофон. Балестрини в растерянности сел в маленькое угловое кресло, не зная, как ему поступить. Потом решил просто сидеть и слушать беседу, которую Паскуалетти записал в своих личных целях. У Андреа было такое чувство, будто он слышит все эти голоса впервые. Абсолютная неподвижность Бауэра, выглядевшего несколько комично в цветастом шелковом халате, его прямо-таки гипнотизировала. Балестрини знал, что друг в любой момент мог отвлечься и едко над ним подшутить, но сейчас он был напряжен и предельно сосредоточен. Немного погодя Балестрини все-таки пришлось вернуться на кухню — иначе спагетти превратились бы в липкий клубок.

Если Бауэр ждет спагетти с чесноком и оливковым маслом, его постигнет разочарование. Но зато сливочное масло пропитало спагетти насквозь и обволокло желтой пленочкой мелко натертый пармезан.

— Готово! — крикнул Андреа, однако ответа не дождался.

И тогда он здраво решил, что пиршество можно устроить и в кабинете. Поставил на сервировочный столик тарелки со спагетти, бокалы, непочатую бутылку «рислинга», которая осталась от последнего семейного ужина, и положил бумажные салфетки.

— Готово! — повторил он, вкатив столик в кабинет. Бауэр неожиданно встретил его улыбкой. Не обращая внимания на дымящиеся спагетти, он до конца прослушал последнюю запись одной стороны пленки и только потом мизинцем выключил магнитофон.

— Ну, что ты об этом скажешь? — спросил Балестрини деланно небрежным тоном.

— Ты знаешь имена этих типов?

— Одних знаю, других — предполагаю.

— А я уверен, что знаю их всех.

— Всех? — изумился Балестрини, пристально на него поглядев, и перестал нанизывать спагетти на вилку.

11

— Но... Андреа, ты с ума сошел! — свистящим шепотом выдохнул Витторио Де Леонибус, облокотившись о край стола и всем телом подавшись к Балестрини.

Андреа увидел, как в него подозрительно впились узенькие свинячьи глазки, и на миг вспомнил о недобрых слухах, ходивших об этом «христианско-демократическом слоне» в прокуратуре.

— Ты хоть отдаешь себе отчет? — еще тише спросил Де Леонибус.

— Разве я похож на человека, способного на необдуманные поступки?

— Пожалуй, нет. Но ведь придется вызывать на допрос политических деятелей, да еще крупных—генерала корпуса карабинеров, промышленников, того же Мариани-Таццоли... разразится страшный скандал!

Неужели они сотни раз ужинали вместе? Дружески болтали и шутили? Балестрини с трудом в это верил. Слушая Де Леонибуса, он снял очки и стал массировать веки. Как ни странно, спокойствие давалось ему сейчас с трудом. Ему хотелось в ответ на этот сообщнический шепот закричать и грохнуть кулаком по столу.

— Значит,— прервал он Витторио,— доказательства, которые я принес, тебя не убедили или же хотя и убедили, но...

— Какие доказательства, Андреа? У нас есть записанные голоса, уйма пленок, в которых способен разобраться ты один. По собственному произволу ты продолжил то, что начал Де Дженнаро. Иными словами, подслушивал множество телефонных разговоров, чтобы потом сравнить голоса...

— Де Дженнаро погиб,— сухо напомнил Балестрини.

— Да, но факт остается фактом — ты посадил на подслушивание нескольких полицейских, словно речь шла о хулиганах, нарушителях ночного спокойствия или неплательщиках налогов. Вообрази, что начнется, когда узнают, что мы подслушиваем телефонные разговоры кое-кого из...

— Очень даже представляю! — Балестрини невольно повысил голос.— Витторио, я намерен вызвать их, допросить, заставить прослушать эти пленки, а тебя испугало, что кто-то, видите ли, узнает...

Пытаясь сдержаться, он вдруг заметил, что Витторио смотрит на него с враждебной настороженностью.

— Андреа...— голос был вкрадчиво-сладким,— Андреа, в Италии судебные власти предъявляли политическому деятелю обвинения только в том случае, если имелись целые горы компрометирующих документов и неопровержимые показания свидетелей.

— Да, но я, черт побери, не собираюсь предъявлять им обвинения! Хочу всего-навсего выслушать их. Могут они на час покинуть свои кресла и доказать мне, что, скажем, эта пленка—фальшивка? Хотя бы для этого!— крикнул Балестрини и поразился, с какой злобой воспринял его слова Де Леонибус и с каким испугом он посмотрел на закрытую дверь.— Послушай, Витторио, ты хотя бы сознаешь, что кроется за этой историей? Оставим пока Паскуалетти, его сестру и беднягу Де Дженнаро, погибших вовсе не случайно. Займемся только тем, что выяснилось после прослушивания пленки...

Но Де Леонибус, словно его это не касалось, продолжал старательно распрямлять и выравнивать металлическую скрепку.

— Витторио, тебе известно, кто на самом деле такой Эрманно Саворньян, граф, во время войны помощник командира МАС [1], а ныне член административных советов десятка промышленных компаний и мэр своего родного городка в Венето?

Де Леонибус отрицательно покачал головой.

— Вот и я этого не знал и до сих пор с ним незнаком. Его голос записал Де Дженнаро, когда подслушивал телефон Гуидо Паскуалетти. Потом Де Дженнаро снова услышал этот голос на пленках, которые у него затем похитили. Он сумел записать на улице беседу Саворньяна с шофером, чтобы затем сравнить эту запись с пленкой. Наконец, голос все того же Саворньяна я услышал на четвертой пленке, ее принесла мне Розанна Паскуалетти незадолго перед смертью. Я в свою очередь сравнил эту запись с прежними и с той, которую мне передали сегодня утром. Никто не отговорит меня се-

[1] Дечима МАС — морской противолодочный отряд, которым во время второй мировой войны командовал ярый фашист князь Боргезе.

годня же вызвать к себе этого Эрманно Саворньяна... И он будет первым из многих.

— Никто тебя и не собирается разубеждать... К тому же... раз он знал Паскуалетти, было бы, как мне кажется, полезно послушать, что ему известно.

— Витторио, я же тебе сказал: Саворньян будет лишь первым. Я хочу послушать и других, по крайней мере тех, о ком знаю точно. Видишь ли, я рассказываю все это только из уважения к тебе... и учреждению, которое ты представляешь. Можно было бы выслушать и самого прокурора...

— В разговоре с ним час назад я уже упомянул о том, какой оборот приняло расследование...

— Прости, но что, собственно, ты знал?

— Андреа,— нерешительно сказал Де Леонибус, однако Балестрини понял, что его замешательство деланное.— Так или иначе, но до нас доходят... Конечно, твое требование вызвать этих людей — для меня неожиданность. Но даже если бы я и предположил что-либо подобное, то не стал бы говорить об этом со стариком, рискуя вызвать у него сердечный приступ. Однако и... полковник Виньи, к примеру?..

— Уже несколько дней не имею с ним прямой связи,— процедил сквозь зубы Балестрини.— Все очень просто: достаточно тебе, Витторио, приказать старшине карабинеров начать прослушивание, и через каких-нибудь полчаса круг замкнется. От старшины до лейтенанта или капитана, а затем и до полковника Виньи, тебя и даже больного, прикованного к постели прокурора — все будут знать больше, чем я.

— Во всяком случае...

— Во всяком случае, шеф не одобряет... и ты, понятно, тоже. Нет, ты, конечно, не одобряешь не потому, что не одобряет он. Просто мнения ваши совпали, так сказать, по тем же самым причинам.

— Каким именно?

«Э, бесполезно ему объяснять»,— подумал Балестрини. И даже не обратил внимания на жест тучного Витторио, который, судя по выражению его лица, явно о чем-то догадался и уже громче повторил свой вопрос. Балестрини почти раскаивался в том, что решил поговорить с «другом Де Леонибусом». Он это сделал не по долгу службы, а так, по давней привычке. Согласно правилам судебной этики, следователь прокуратуры обязан держать в курсе дел своего начальника — прокурора. Это означает также, что следователь должен не только проинформировать прокурора, но и выслушать его суждения. Но что, если их мнения не совпадут в самом главном?

— Ну, так каким же? — нетерпеливо повторил свой вопрос Де Леонибус.

Впрочем, для Витторио эти правила не имеют силы. Его шеф сидит не на третьем этаже и не в генеральной прокуратуре, а выше. Он восседает во дворце куда более величественном, чем голубое здание прокуратуры с узорчатыми каменными полами. Именно его Де Леонибус сейчас и прикрывает. Голос «того прокурора» не встречался на единственной пленке, которая досталась Балестрини, но «лейтенант» Эрманно Саворньян не раз о нем упоминал.

Внезапно Балестрини понял, что Де Леонибус обращается к нему, и постарался сосредоточиться.

— Нужно все хорошенько обдумать, хо-ро-шень-ко, Андреа, прежде чем ты вызовешь самое настоящее землетрясение, которое, как сам понимаешь, нарушит общественный правопорядок. Это все равно что изрыть целый участок земли в поисках одной золотой монеты.

— Весьма удачный пример из области сельского хозяйства, Витторио. Но хотелось бы знать, согласен ли ты хоть с одним — нужно... вежливо сообщить этим лицам, что прокурор не прочь был бы коротко побеседовать с ними в удобное для них время. И еще вот что — кажет-

ся, есть такой пункт: старшие государственные чиновники могут давать показания у себя по месту службы, не будучи обязаны лично являться в прокуратуру...

Де Леонибус не воспользовался нарочито долгой паузой, он по-прежнему сидел хмурый, угрюмый. Балестрини кивнул.

— Все ясно, ты и с этим не согласен?

— Я бы воздержался. По крайней мере, в свете...

— О господи, да перестань же! — крикнул Балестрини, вскочив со стула.— Говоришь как на пресс-конференции, черт возьми! «В свете», «обдумать целесообразность», «по мере того как». Давай посмотрим друг на друга повнимательнее, Витторио. Узнаешь меня? Я Андреа, перед тобой Андреа, Витторио!

— Узнаю, но с трудом,— попытался сострить Витторио, однако Балестрини не принял, не мог принять протянутую ему оливковую ветвь.

— В таком случае с меня довольно! Де Дженнаро умер, и незачем повторять то, что мы говорили, нет, вы, вы говорили, когда он еще был жив и потом когда его не стало: «Что ж, он ведь был офицером карабинеров». Он погиб на служебном посту, Витторио! Его пристрелили, а я до сих пор не знаю кто и так и не узнаю, если буду ждать, пока один из множества осведомителей нашей судебной полиции или карабинеров полковника Виньи шепнет мне по телефону имя убийцы. Они убрали с дороги Паскуалетти потому, что у него были эти проклятые пленки, которыми он, похоже, собирался кого-то шантажировать, и по тем же причинам прикончили его сестру.

— Лично я не уверен.

— Мы с тобой, Витторио, не в суде, черт побери! Доказать это я не в состоянии, но наверняка все было именно так. В сущности, она стала лишь третьей жертвой. А вот по пленкам... хотя бы по той, что у меня, достаточно ясно, почему кто-то жаждал ими завладеть. Ну, а то, что эти записанные на пленку разговоры могут кое-кому сильно повредить, доказывают как раз приведенные мною факты. Да, да — могут, и, пожалуйста, не кривись. Между тем суть дела проста — стремясь завладеть пленками, они убивают. Все это совершенно очевидно, а ты прячешься за служебный рутинный порядок.

— Андреа...

Чувствуя, что задыхается, Балестрини замолчал. Только теперь он заметил, что расхаживает взад и вперед по кабинету. Он подошел к столу и оперся о его край.

— Андреа, ты вне себя. Конечно, я понимаю... печальная... да, печальная история с Ренатой...

— Что?

— Прости, но я...

— Рената? При чем здесь Рената? Тогда уж пристегни сюда и нервное истощение, которым я страдал в университете. Видишь, я опять вышел из себя.

— Я хочу сказать, что ты принимаешь это чертово расследование...

— Да, да, близко к сердцу, как и следует его принимать. Ведь я, как тебе известно, еще и помощник прокурора. И если я решил дать ход делу, то только потому, что имею на это все основания. Других мотивов у меня нет, и я не позволю, чтобы мне их навязывали...

Де Леонибус, побагровев, внезапно вскочил со стула, так что Балестрини даже на миг растерялся.

— Не смей намекать, будто я, как ты изволил выразиться, руководствуюсь другими мотивами! Нет у меня иных мотивов, кроме интересов правосудия, и оставь, пожалуйста, этот обличительный тон грошового моралиста.

— Я вовсе не собираюсь читать кому-либо мораль, Витторио. Хочу лишь честно выполнить свою работу. И потому предпочел бы обойтись без твоих нелепых возражений. Ведь ты должен был бы мне, напротив, помочь...

— В твоих необдуманных действиях? Если хочешь знать, Андреа, мое мнение: было бы разумным передать дело в высшую инстанцию или же поручить его более уравновешенному человеку, скажем Джиджи Якопетти...

Де Леонибус осекся, увидев, как вдруг побледнел Балестрини. Несколько секунд в кабинете слышно было только тяжелое, прерывистое дыхание этих двух недавних друзей.

— Что ты задумал? — прорычал Балестрини, сжимая кулаки.— Что?

— Послушай, Андреа, тебе не кажется...

— Надеешься, что я подчинюсь подобному решению, зная его истинную цель?

— Какую цель? — крикнул Де Леонибус.

Секретарь приотворил было дверь, но тут же прикрыл, поняв, что его вовсе не вызывали. Балестрини решительно направился к выходу, не глядя больше на Де Леонибуса, который так и остался стоять у письменного стола, багровый от бешенства.

— Надеюсь, потом ты все же поймешь...— начал было Де Леонибус, но Балестрини не дал ему договорить.

— Убирайся ко всем чертям! — в ярости выкрикнул он, с грохотом захлопнул дверь и прошел мимо застывших в немом изумлении служащих, среди которых был и секретарь Де Леонибуса.

Спускаясь по лестнице и перешагивая сразу через две ступеньки, он едва не сбил с ног майора Бонору, начальника следственного отдела финансовой полиции. У Боноры была скверная привычка хвататься за собеседника или виснуть на нем. Вот и теперь он шутливо остановил Балестрини, обняв его за плечи.

— Стоп, доктор Балестрини.

— А, это вы, майор,— пробормотал Балестрини и смущенно улыбнулся, заметив, что майор смотрит на него с удивлением.

— Все в порядке, доктор?

Он ответил не сразу. А ведь эта случайная встреча может оказаться полезной! Теперь он сам схватил майора Бонору за руку.

— Идемте ко мне, майор.

И молча повел его в свой кабинет, не обращая внимания на Винченти, пораженного столь необычным для его начальника фамильярным жестом. Балестрини открыл дверь кабинета, вошел, показал майору на свободный стул, а сам поспешил к письменному столу.

— Майор, необходимы молниеносные действия. Я вызову на допрос некоего Эрманно Саворньяна, а вам выдам ордер на обыск, который вы произведете лично либо прикажете произвести своим подчиненным. Я ищу документы, письма и еще записные книжки с заметками или адресами. Вам все ясно?

Офицер кивнул. Он понял странное поведение Балестрини: тому крайне важно как можно быстрее заполучить этого типа и его бумаги.

— Не беспокойтесь.

— Надеюсь, вы все-таки займетесь этим лично,— добавил Балестрини, продолжая писать.

— Разумеется. Когда мы встретились, я уже собрался уходить. Я говорил с доктором Феррони о деле...

Но Балестрини его не слушал. Подписал и протянул ему документ.

— Это вызов на допрос. Теперь, если вы наберетесь немного терпения...

12

— Есть у тебя какие-нибудь вести от Ренаты?— вдруг спросила Вивиана, и Балестрини отметил про себя, как удачно она выбрала момент.

Вивиана терпеливо дождалась, пока он замолчал, задумавшись, хо-

тя и могла воспользоваться минутной паузой, когда официант менял тарелки.

— Никаких. Ни о ней, ни о девочке.

Он взглянул на нее с улыбкой и даже с некоторым любопытством. Ему странно было, что она сидит напротив, за столиком в траттории, где он вот уже несколько дней регулярно обедал. «Сегодня я обедаю одна, Андреа. Не упусти свой шанс»,— подзадорила она его по телефону. Потом заехала за ним в прокуратуру, такая красивая и элегантная, что ему даже неловко было вести ее в эту дешевую тратторию, где все откровенно и нагло пялили на нее глаза.

Он даже не сразу заметил, что она роется в сумочке. Ничего толком не понимая, он взял протянутую ему открытку.

— Я получила ее сегодня утром.

«Привет,— писала Рената из Сан-Ремо (проспект Императриче, фотоателье Сангалли).— Сегодня я почти счастлива».

Он вернул Вивиане открытку, чувствуя, что не в состоянии даже притронуться к фруктовому ассорти с орехами.

— Что ты собираешься делать? — спросила Вивиана.

— Не знаю.

— Вот именно. Говорят, ты стал злой, как пес. Укусишь и бежишь дальше. Но может, ты так переменился из-за неприятностей на работе?

— Тебе Витторио пожаловался?

Вивиана улыбнулась.

— Витторио потрясен, совершенно потрясен, если, конечно, это не предлог поплакаться мне. Но мы с тобой говорили о другом. Итак, на мой вопрос ты ответил: «Что теперь делать, не знаю. Не имею ни малейшего представления». Верно?

— В общем, да,— сказал Балестрини, и улыбка на лице Вивианы тут же угасла.

— Надеешься, она вернется?

Балестрини промолчал.

— Все еще влюблен в нее,— прошептала Вивиана. Это был не вопрос, но и не утверждение. Скорее уж, подумал Балестрини, проявление крайнего удивления. Он смотрел на Вивиану, но толком не видел ее лица; ни слегка улыбающихся губ, ни глаз, в которых словно плясали искорки смеха.

Вивиана хорошо знала Ренату, была ее подругой и сейчас сидела перед ним, готовая внимательно его слушать.

— Почему Рената так поступила?

Вивиана посмотрела на него с преувеличенным вниманием, даже с недоверием. Потом выражение ее лица изменилось. Он не понимал, чему она улыбается, и молча глядел на нее, чуть смущенный этим ее насмешливым и в то же время материнским взглядом.

— Вставай, Андреа, пошли.

Балестрини поспешно, на ходу, оплатил счет и догнал Вивиану уже на улице. Минуту спустя они шли под руку по аллее.

— Ничего не скажешь, мы прекрасная пара,— вздохнула она, следя за тенями, плывущими рядом, и засмеялась. Балестрини ничего не ответил.— Хочешь знать, Андреа, почему тебя бросила Рената? Так вот — она ушла от тебя, и это не парадокс, потому что ты способен задавать подобные вопросы.

Вивиана пристально посмотрела на него, словно проверяя, понял ли он. Балестрини покачал головой. Взгляд ее потеплел, она крепче к нему прижалась.

— Андреа, не пойму даже, почему ты такой. Твоего отца я не знала, а мать видела всего один раз. Не думаю, что твой характер сложился под ее влиянием. Она женщина властная, эгоистичная, с непомерными претензиями, но ты совсем не маменькин сынок, каким мог бы стать.

— Прости, но я...

— Прошу, не перебивай меня. Ты живешь в иллюзорном мире. Любишь Ренату, но я ни разу не видела, чтобы ты ее приласкал. Ты думаешь, это признак хорошего тона или сдержанности? У тебя нет других друзей, кроме моего мужа, с которым ты говоришь лишь о работе, и Витторио Де Леонибуса, который интересен, пожалуй, одними анекдотами... Но тебе ведь хочется говорить только о Ренате. И я хочу задать тебе вопрос.

Балестрини испытующе взглянул на нее.

— Знаешь, что ожидала такая вот Рената от человека, который женился на матери-одиночке, удочерил ее ребенка и растил его, как родного? Ты был для нее, Андреа, богом только в день свадьбы. А она верила, что ты будешь им всегда.

— Это она тебе сказала?

— Она этого и сама не сознавала. А вот я понимала, как, впрочем, мог бы понять и ты. Рената была похожа на пустой мешок, покорно позволяющий наполнять себя чем угодно. Она во всем зависела от тебя. И не только в деньгах, которые, насколько мне известно, ты давал ей не слишком щедро... не только! Андреа, не спрашивай, говорила ли мне это Рената. Я и так все видела. И потом, разве ты родом не из Брианцы? Ты одинаково суров и в суде и в семье. Много лет назад у меня был друг, и вот когда разговор зашел об уроженцах Брианцы, он сказал: это самые трудолюбивые, способные и прижимистые люди на всем нашем полуострове.

Они шли по набережной Тибра, и Балестрини бросил на нее быстрый взгляд, пытаясь понять, как могла Вивиана, держа его под руку, словно старого, доброго друга, шептать ему эти беспощадные слова.

— Андреа, обо всем этом можно долго спорить, но стоит ли? Посмотри на меня — я могу понять круги под глазами, унылую физиономию: тебе недостает жены. Но почему грязная рубашка? Этот тяжелый не по сезону костюм? И даже невыбритый пучок волос под подбородком? Все это означает, что тебе недостает служанки. Нет, не почасовой, я знаю, что она приходит по-прежнему. Служанки, на которой ты женился, вот кого! Рената однажды рассказывала мне о своей семье, особенно об отце. Если бы не ты, она наверняка очутилась бы на панели, в лучшем случае стала бы служанкой. Ты избавил ее лишь от первого. Помнишь, она как-то заикнулась было, что хочет найти работу? Да, об этом она сама мне рассказала. «И что же ты собираешься делать?» — спросил ты, не отрываясь от телевизора. Больше она, бедняжка, с тобой об этом не заговаривала.

— Но я вовсе не имел в виду, что она ни на что не способна. Просто, если дома маленький ребенок...

— Ты бы мог объяснить ей все это потактичнее. Может, даже стоило немного подумать — вдруг она права. Потом, если бы ты остался при своем мнении, мог бы и дальше смотреть свой телевизор.

— Послушай, Вивиана,— ее внимание, кажется, привлекли лодки, плывшие вниз по реке, и он смог без смущения разглядывать ее,— допустим... допустим, что ты во всем права. Но тот человек, тот, из-за которого Рената... сочла возможным...

— Ручаюсь, ты так же говорил и с ней. Прости, Андреа, но разве не проще сказать: «Тот, ради которого Рената меня бросила?»

— ...этот человек кажется ей лучше, чем я?

— Нет. И я не думаю, что Рената считает его справедливее, умнее... и даже красивее. Но он более веселый, более теплый даже в своей подлости, не такой пуританин.

Вивиана больше не улыбалась, он почувствовал, как она взяла его за руку, но продолжал смотреть не на нее, а куда-то в сторону.

— Однако не понимаю, как у тебя достало мужества, у тебя?! Жениться на женщине с ребенком, с девочкой от другого... Э, не смотри на меня так — об этом мне сказала Рената.

— Как я на тебя смотрю?

— Не будем об этом. Так вот, одного не могу понять, как ты мог это решился при твоем-то характере!

— Я был влюблен,— ответил Балестрини, стараясь глядеть ей прямо в глаза.

Вивиана кивнула.

— Знаю. Но только ли поэтому? Уж не решил ли ты, что совершаешь прекрасный, благородный поступок, женясь на этом зайчонке, который был для всех половой тряпкой? Слов нет, ты поступил прекрасно, но из неосознанного тщеславия. Любовь, по-моему,— верх эгоизма. Ты женился на Ренате из эгоизма, потому что хотел ее. Она этого не поняла тогда. Во всяком случае, поняла не сразу...

— Вивиана...

— Тебе больно это слышать?

— Знаешь... у меня в голове сплошная путаница. Да... Каша какая-то. Еще неделю назад мне казалось, что все идет нормально. А теперь... я даже часы потерял, представляешь. Знаю, тебе это кажется смешным. Но и такая ерунда, как часы...

— Прежде всего, Андреа, ты потерял голову — Джиджи мне сказал... Считай, однако, что я тебе ничего не говорила.

Вивиана ловко подпрыгнула и уселась на парапете моста. Она, улыбаясь, поглаживала лацкан его пиджака.

— Значит, молчок, Андреа?

— Разумеется.

— Джиджи сказал, что ты взбудоражил всю прокуратуру. Крупно поругался с Витторио, послал к черту полковника Винью и, нарушив все процедурные нормы, грубо вмешался в следствие по делу об убийстве Де Дженнаро.

— Вивиана, я верю в свою работу. Может, потому, что я лишен воображения, скучен... а может, из-за моего пуританства, раз уж об этом зашел разговор. Только теперь я начинаю видеть многое, чего за десять лет службы в органах правосудия не замечал. Будь что будет, но я не остановлюсь, даже если и рискую...

— А если дело передадут в более высокую инстанцию?

Балестрини растерялся — он понял, что в ее удивительно светлых, прекрасных глазах не найдет ответа: предположение это или предупреждение.

— Да, но я не вижу, почему вдруг, по каким причинам.

Жест Вивианы застал его врасплох. Она, не отрывая рук от лацканов его пиджака, вдруг шутливо привлекла Андреа к себе и принялась трясти.

— Андреа, отступись.

— Почему, зачем?

— У тебя ведь остается твоя работа, а это немало. Да, ты потерял Ренату... Но у тебя есть я.

Они шли по мосту Маттеотти.

Балестрини снова и снова в смятении спрашивал себя, как это могло случиться. И он досадовал на себя, на свою беспомощность и тупость. Но сильнее досады было изумление. После поцелуя он увидел в ее глазах ту же нежность, которую заметил у Ренаты, когда признался ей «из желания быть предельно честным», что фактически, на деле, словом... с ним это случилось впервые. Но с Ренатой, этим нежным, любимым зверьком, все было много проще.

— Милый мой котеночек,— промяукала Вивиана, ущипнув его за щеки, и спрыгнула с парапета. Она смеялась — быть может, чтобы скрыть свое разочарование. Разочарование не из-за его неопытности, а оттого, что он остался холоден.

На площади Арджентина Балестрини наконец понял, куда так мчатся машины и полицейские джипы с угрюмыми блюстителями порядка. Улицу запрудили юнцы. Их было не так-то много — всего чело-

век триста-четыреста. Быть может, отряд юнцов с улицы Национале, который возвращался назад, или же подкрепление, которому не удалось туда прорваться?

С десяток пешеходов стояли на тротуаре и с волнением наблюдали за событиями. Машина Балестрини слегка накренилась под тяжестью могучего бедра весьма упитанной дамы — нервно покусывая ногти, она не отрывала взгляда от лиц демонстрантов.

— Сво-бо-ду Буо-на-фор-ту-не! — гремел кортеж. Один средних лет мужчина с хозяйственной сумкой, не обращаясь ни к кому конкретно, спросил, кто этот Буонафортуна.

— Хороший паренек, которого упекли в тюрьму, чтобы он не мешал хозяевам,— пробурчала могучая дама. Балестрини изумленно взглянул на нее. Судя по ее виду, над ее изголовьем в спальне должна была бы висеть фотография папы Иоанна.

Впрочем, лозунги демонстрантов относились не только к бригадисту Буонафортуне. Среди многих внимание Балестрини привлек рифмованный плакат политико-экологического содержания. В нем многие химические элементы получили необычное назначение. «Хлор бросай в собор, пропан — в демохристиан, свинец — и неофашистам конец». Матрона, отчаянно «болевшая» за юнцов, громко хохотала.

Едва образовался просвет, Балестрини включил мотор, подождал, пока толстуха отойдет, и медленно поехал вдоль рядов автономистов. Одна группа, десять—двенадцать юношей и две девушки, принялась внимательно его разглядывать, и Балестрини подумал, что кто-нибудь из них может его узнать. Вдруг неприятно засосало под ложечкой. Но опасность вскоре миновала, и нервозность дала о себе знать лишь тем, как резко он сбавил ход, влетев на недозволенной скорости на площадь Арачёли.

Эпизод с матроной-экстремисткой напомнил ему о Вивиане. Он не ожидал подобной бурной реакции от женщины, навалившейся на его машину, так же как не ожидал признания Вивианы, столь откровенного, что он даже растерялся. А уж внезапный уход Ренаты и вовсе застал его врасплох. «Прекрасное знание женской психологии»,— мрачно подумал он. Ну а потом родилась мысль, беспощадно точная: «Вивиана хочет со мной переспать». Возбуждения он, однако, не ощутил. Погрузившись в раздумья, он и не заметил, как подъехал к парадной дома, где жила Грэйс Демпстер.

— Отъезжаете? — спросил он у юнца в шортах — тот неторопливо доставал ключи от своей машины, проржавевшей «симки», которую и запирать-то, пожалуй, не стоило. Юнец кивнул, внимательно его разглядывая. Затем спокойно сел в машину, вскоре к нему подошла девушка, довольно неряшливого вида, и едва он включил мотор, как они начали ссориться.

Когда Балестрини удалось, наконец, втиснуться на освободившееся место, за ним уже пристроилось несколько машин.

«Если придете в три часа дня, быть может, я вам скажу, кто такой миста Пастриньи»,— продиктовала Грэйс Демпстер секретарю, безуспешно пытаясь все утро поймать Балестрини по телефону. Он улыбнулся этому «миста», как переделал секретарь на свой лад ее звонкое шотландское «мистер». Пастриньи, конечно, не кто иной, как неуловимый Пастрини. Весьма приятная новость, и если бы не этот обед с Вивианой, он бы не выдержал и тут же позвонил Грэйс.

Он уже собрался нажать кнопку звонка, когда заметил рядом с табличкой записку «Открыто». Отворил дверь и улыбнулся — на столике рядом с этими адски неудобными низкими креслами стояли две вазочки (для мороженого?) с ложечками и салфетками. Сифон и два высоких цветных бокала обещали напиток со льдом.

— Мисс Демпстер,— позвал он, закрыв за собой дверь, но она что-то делала на кухне, и шум льющейся из крана воды, очевидно, заглушал его голос.

Он сразу почувствовал себя здесь так по-домашнему, что ему даже стало неловко. Повесив пиджак на спинку стула, он пошел на кухню.

— Мисс Демпстер,— снова позвал он, двигаясь на шум льющейся воды.

Почему Вивиана, несмотря на свою броскую красоту, его не волновала, он понял только теперь, хотя часто думал об этом и прежде. Он предпочитал женщин вроде малышки Демпстер с ее шлепанцами, не слишком стройными ногами, веселыми, простодушными глазами. И таких же естественных и гостеприимных, как Рената. Вот и сейчас, хотя она, наверно, умерла уже полчаса назад, Грэйс Демпстер очень походила на Ренату.

13

Для Эрманно Саворньяна отмена дворянских титулов была, очевидно, тяжким ударом. Во всяком случае, теперешний его вид и поведение говорили о невосполнимой утрате. Высокий, грузный, лет пятидесяти пяти, он был одет в легкий полосатый костюм — этакий сельский джентльмен. Лицо угрюмое, а под густыми, поседевшими бровями — неприятные карие глазки.

Его подозрительность была столь велика, что сразу же настораживала. Всякий раз, прежде чем ответить Балестрини, он поджимал свои тонкие губы и долго думал. Балестрини такой реакции ждал и с первого же вопроса озадачил противника. Адвокатом у Саворньяна был депутат парламента Педринис, энергичный старик со зловещим лицом. Оба они, часто переглядываясь, слушали сейчас пленку, на которой был записан голос Эрманно Саворньяна, беседовавшего со своими высокопоставленными друзьями. Пленку Розанны Паскуалетти. Зазвонил телефон. Едва Балестрини понял, кто говорит, он знаком показал служащему прокуратуры, что должен на минуту отлучиться, и поспешил в канцелярию. Несколько секунд спустя зазвонил телефон на столе у секретаря, тот взял трубку и протянул ее Балестрини.

— Балестрини слушает.

— Теперь вы можете говорить?

— Простите, что попросил вас перезвонить, но я вел у себя допрос.

— Понятно, понятно. Буду краток, чтобы не отнимать у вас драгоценное время.

— Отлично,— сказал Балестрини и услышал в трубке шелест бумаги.

— Итак, хорошая новость. Девушка с вероятностью до девяноста процентов застрелена из того же пистолета, что и Гуидо Паскуалетти. Потом, если понадобится, объясню, почему я так считаю.

— Продолжайте.

— Кроме того, детали убийства в обоих случаях совпадают. Один-единственный выстрел с близкого расстояния, примерно с метра, прямо в сердце. В случае же с Де Дженнаро убийца стрелял из пистолета более мелкого калибра — 7,65. Три выстрела, из них один смертельный, произведенные, по-моему, куда менее опытной рукой. Другие подробности...

Самой удивительной подробностью было то, что для убийства Де Дженнаро выбрали «куда менее опытную руку». А может, и в этом они руководствовались своей особой логикой, подумал Балестрини, возвращаясь в кабинет. Пленка уже кончалась.

— Итак, господин Саворньян? — сказал он, подперев подбородок рукой.

После бессонной ночи Балестрини чувствовал себя совершенно разбитым. И в то же время чересчур взбудораженным, давал себя знать выпитый кофе, под конец он уже перестал ощущать его аромат и вкус. Допрашиваемый уставился на него, подавшись немного вперед и сузив глазки-буравчики.

— Узнаете свой голос в прослушанных записях?

После короткого молчания граф Саворньян пожал плечами и пробормотал:

— Похоже, голос мой,— и снова умолк, словно обессилев от столь важного признания.— Или же... или же тут очень хорошее подражание.

— Я бы сказал — превосходное. Кроме двух-трех профессиональных телеактеров я знаю только одного человека, достигшего подобных высот, но он сидит под надежной охраной в «Реджина Чёли». Право же, вы можете установить истину и иным путем. Прослушав разговоры, вы, очевидно, узнали своих собеседников... или же кто-то имитировал и их голоса?

Формально это можно было и не считать вопросом, и Саворньян не счел себя обязанным отвечать. Балестрини окинул взглядом шкаф, все еще хранивший следы взлома.

— Вы знали некоего Гуидо Паскуалетти, жителя Рима, бывшего агента СИДа, убитого две недели назад?

— Нет,— сухо ответил Саворньян и продолжал отрицательно качать головой, когда в этом уже не было никакой нужды.

— Понятно. Жаль, что были украдены две другие пленки с записанными отрывками разговора между вами и Паскуалетти, поэтому не...

— Надеюсь, господин судья, что вы не вознамерились таким путем...— вмешался адвокат, он же депутат парламента, но Балестрини его остановил, резко вскинув руки.

— Упаси меня господь, господин адвокат. Я представляю следственную власть, а она действует на основе фактов, а не предположений. Но эти пленки я в свое время прослушал и уверен, что ваш подопечный отлично знал Паскуалетти и даже отдавал ему приказания. Сегодня я этого доказать не могу, но, поверьте, всеми силами постараюсь такие доказательства раздобыть.

Никакого ответа. Саворньян, правда, начал вдруг потеть, но это могло объясняться и тем, что в кабинете было жарко.

— А теперь перейдем к документам — бумагам и письмам, найденным у вас в квартире вчера во время обыска,— объявил Балестрини, выдвигая ящик стола.

Глазки адвоката и Саворньяна (впрочем, секретарь тоже внимательно следил за происходящим) буквально впились Балестрини в лицо, поэтому он извлекал свою добычу нарочито медленно.

— Начнем с этого... о, да тут перечень расходов, и я бы сказал — довольно основательный! Дата не проставлена...— Балестрини повертел перед собой лист бумаги, словно видел его впервые.—Надеюсь, вы сможете тут кое-что уточнить. Итак, Б. Бе.— миллион двести пятьдесят тысяч лир. Эс. Ри.— миллион. Г. Па.— четыре миллиона пятьсот тысяч лир... Кстати, кто этот Г. Па.?

Саворньян взял листок с преувеличенной осторожностью. Несколько секунд изучал его, а господин адвокат, вытягивая шею, пытался прочесть пометки своего клиента.

— Гм... пожалуй... похоже на мой почерк...

— Если только кто-то не подделал его и, надо сказать, на редкость удачно,— с откровенной издевкой заключил Балестрини.— Но я спрашивал вас не о том. Я спрашивал о человеке, обозначенном инициалами Г. Па. и получившем от вас четыре с половиной миллиона. Не тот ли это Гуидо Паскуалетти, о котором мы сейчас вспоминали?

Адвокат всем своим видом красноречиво дал понять, насколько нелепо задавать подобные вопросы... Балестрини даже не взглянул в его сторону, и адвокат решил, что его старания пропали даром. Тем временем граф Саворньян, наконец, пришел к выводу, что не помнит, к чему относится эта запись. Быть может, он ее и сделал несколько лет назад, а потом забыл этот листок среди других бумаг. Во всяком случае, Г. Па. может быть кем угодно, только не Гуидо Паскуалетти, с которым он вообще незнаком.

Час спустя, когда Балестрини, уходя, запирал кабинет, появился Джиджи Якопетти.

— Ты был на аудиенции? — с улыбкой спросил Балестрини и ощутил на себе настороженно-пытливый взгляд, которым окидывают человека, перенесшего тяжелую болезнь.

— Только-только оттуда. А ты чем занимался?

— Да вот закончил допрос одного аристократа, который хотел бы продолжить в тюрьме, если только смогу его туда упечь.

— Все в связи... с делом Де Дженнаро? — тихо спросил Якопетти.

— Конечно. А Витторио решил, что я уже утомился? — с усмешкой проговорил Балестрини, и ему показалось, что Якопетти колеблется, воспользоваться ли этой случайной встречей для откровенного разговора или же промолчать. Он понимал нерешительность приятеля и в какой-то мере ее оправдывал.

Кому еще, как не молодому, способному, многообещающему Джиджи Якопетти, мог прокурор передать расследование по делу Де Дженнаро, забрав его у неуравновешенного, упрямого, пребывающего в депрессии Андреа Балестрини? В том же, что прокурор именно так и посоветовал сделать Витторио Де Леонибусу, он не сомневался.

— Ну хорошо, Джиджи, привет! Если смогу, выберусь ненадолго за город и...

— Андреа.

— Да?

— Я узнал, что и та девушка, шотландка, которая была гувернанткой в доме Мартеллини, тоже убита.

— Да, кстати, как тебе нравится? Старика освободили как раз сегодня утром. Два с половиной миллиарда выкупа! Хотя кто знает точную сумму.

— Андреа, при чем тут сумма выкупа? Послушай... сколько человек уже погибло?

— Откуда мне знать. Тут со счета собьешься!

— Прошу тебя, перестань! Мне не до шуток. Сегодня утром мы с Вивианой говорили об этом новом убийстве. Она тоже очень встревожена.

Балестрини подумал, а догадывается ли Джиджи о свидании в траттории, об их разговоре. И о поцелуе. Теперь, когда он ближе узнал Вивиану, он в этом сильно сомневался. Он устало покачал головой.

— Знаешь, Джиджи, все они погибли из-за пленок. В конце концов этим людям удалось снова завладеть всеми пленками, кроме одной, оставшейся у меня. На всякий случай я заучил ее наизусть... Но передал судебной полиции, предупредив, что, если и она исчезнет, я немедленно предъявлю обвинение виновному или виновным по всей форме.

— Да, но эта шотландка, она-то какое отношение имела к пленкам?!

— О, теперь уже никакого! Но она разыскивала меня по телефону и сказала, что выяснила личность одного человека, которого наша славная когорта сыщиков никак не могла найти. Кто-то наверняка прослушивал ее телефон.

— Собственно, об этом я и хотел тебе сказать. Дело крайне опасное, даже и без чертовых пленок. А ты прямо-таки ринулся в атаку, забыв о всякой осторожности.

— Осторожности? — с улыбкой переспросил Балестрини.

Сейчас, по дороге в Остию, он вновь вспомнил о предупреждении Джиджи Якопетти.

Что делала мать Аурелио Де Дженнаро в Остии, он так и не мог понять. Но это не столь важно. Он нанесет ей всего лишь визит вежливости. И заодно спросит, не знает ли она чего-нибудь такого, что могло бы навести его на след убийцы. Вот и все. К тому же, это

неплохой предлог, чтобы не возвращаться домой сразу после обеда, признался он самому себе. После визита к синьоре Де Дженнаро он перекусит в первой попавшейся траттории и вернется в прокуратуру.

В конце бульвара Коломбо взгляду его открылось море, и он свернул направо. Хотя туристский сезон уже начался и кое-кто был в купальном костюме, он никак не мог себе представить Остию иной, чем тогда, зимой, в свой первый приезд. Широкая, метров в пятьдесят, набережная с заколоченными кабинками с одной стороны и стоявшими вдалеке от дороги облезлыми жилыми домами — с другой, казалось, разрезала Остию надвое — она напоминала сейчас агонизирующий город, покинутый людьми после золотой, нефтяной или каучуковой лихорадки. Тогда же, в те счастливые дни, в нем все куда-то бешено неслись, и за неделю возникали целые кварталы...

Наконец, полицейский-регулировщик указал Балестрини, куда ехать, и он отыскал дом, стоявший возле закрытого луна-парка. У края дороги на импровизированном поле стайка мальчишек играла в футбол, и ему пришлось подождать, пока схватка у ворот не закончилась голом (впрочем, весьма сомнительным, подумал Балестрини). Только после этого дорога освободилась. Проблем с парковкой не возникло, и он поставил машину прямо у дома номер восемь, возле старого парадного с цветными, давно немытыми стеклами. Дом был неказистым, единственное его украшение составляли цветы на балконах. Привратника в доме не оказалось.

Даже здесь, на втором этаже, пока он нажимал на звонок, отозвавшийся слабой, мелодичной трелью, были слышны крики и споры мальчишек-футболистов, которые никак не могли угомониться. Дверь открыла красивая дама лет пятидесяти на вид, но Балестрини, представляясь ей, подумал, что она, наверно, значительно старше. Женщина улыбнулась.

— Нет, я не госпожа, а служанка. Пройдите пока вот сюда.

— Спасибо, передайте синьоре, что я прошу извинить меня за неурочный визит. Но мне хотелось бы поговорить с ней всего несколько минут,— объяснил Балестрини служанке, которая провела его в душную гостиную, устланную коврами. К счастью, во всех комнатах были кондиционеры.

— Будьте любезны, подождите здесь.

Долго ждать не пришлось. Но Балестрини все же успел заметить бросающееся в глаза несоответствие между прекрасной мебелью, которую он видел через распахнутую дверь гостиной, и убогостью самой квартиры.

В гостиную проворно вошла чуть сгорбленная, но вполне элегантная старушка, за которой еле поспевала служанка. Балестрини увидел, что она ловко перекладывает из правой руки в левую мундштук с дымящейся сигаретой, и со страхом подумал, что придется поцеловать синьоре руку. Но хозяйка дома сама крепко пожала ему руку, дружески, однако все-таки сильно ее тряхнув.

— Так вы — доктор Балестрини,— проговорила синьора Де Дженнаро, окинув его быстрым взглядом. Голос был любезным, но твердым. Без лишних церемоний она провела его на балкон. Вьющиеся растения образовывали там низкую, темную беседку, в которой они с трудом уместились на стульях.

— Что будете пить? — спросила служанка, но Балестрини отрицательно покачал головой.

— Надеюсь, от аперитива вы не откажетесь? Ведь уже почти час.

— Да... кстати, синьора, прошу извинить за неурочное время визита.

— Не беспокойтесь, я уже пообедала. Лидия, принеси доктору Балестрини аперитив, а мне... рюмочку настойки.

Мальчишки на улице перестали спорить и возобновили игру —

мяч, видно, ударился с грохотом о кузов машины. Старуха улыбнулась, лицо у нее было худое, нервное, а голубые глаза удивительно добрые.

— Сын время от времени навещал меня. Он часто рассказывал мне о вас.

— Вот как?

— Да, он говорил только о работе, больше его ничего не интересовало. Разве что девушки. Когда он считал нужным, то и девушек приводил ко мне. В последнее время его что-то сильно тревожило и угнетало.

— Вот как?— повторил Балестрини и вдруг заметил, что старуха не носит траура, следы постигшего ее совсем недавно горя невозможно было заметить и на лице. Не переставая наблюдать за ней, он взял с подноса принесенный служанкой аперитив.— Он ничего не говорил вам... обо мне... ну, в связи с работой?

— Что-то не припомню. Впрочем, он часто повторял одну и ту же фразу. Знаете, в последнее время сын сокрушался, что на работе отношение к нему настороженное, временами просто враждебное. «Там у меня один-единственный друг — Балестрини. Жаль только, что он об этом не подозревает»,— говорил он.

Балестрини в растерянности отставил рюмку с аперитивом. В глазах синьоры не было ни усмешки, ни немого упрека. Пытаясь осмыслить эту странную фразу, он на минуту даже потерял нить разговора. Вдруг мать Де Дженнаро замолчала, морщины на лице обозначились резче, на глазах появились слезы. Она выронила мундштук с сигаретой, превратившейся уже в окурок, и своей старческой, с темными пятнами рукой робко погладила Балестрини по колену.

— Почему они убили его? Другого сына у меня нет.

Балестрини откашлялся. Собственно, ему вряд ли следовало сюда приходить.

— Вашего сына убили из-за его работы,— тихо ответил он, понимая, сколь абсурдным покажется такое объяснение, пусть даже оно и логично, матери.— Они искали пленки, три катушки, которые находились у вашего сына. Завладев ими, они его убили и...— Он умолк, не зная, что еще добавить. Другие подробности? Нет, это было бы чудовищно. Слова утешения? Всего несколько дней спустя после гибели ее сына? Он снова откашлялся.— Синьора...

Не обращая внимания на его слова, мать Де Дженнаро вдруг поднялась и с прежней проворностью направилась к двери. Служанка, едва увидев, что он тоже поднялся, подошла к нему.

— Я огорчен тем, что доставил синьоре...— пробормотал Балестрини, но служанка ободряюще ему улыбнулась. И в тот же миг вновь появилась хозяйка дома. Она несла какой-то сверток, но что это такое, Балестрини понял, лишь когда он очутился у него в руках.

— Синьора,— ошеломленно пробормотал он.

— Вы об этих пленках только что говорили? Аурелио дал мне их в тот последний раз, попросив...

Балестрини закрыл глаза.

14

Этому нелепому телефонному молчанию пришел конец лишь после долгих минут ожидания. Прокурорша холодным тоном сообщила, что она сожалеет, но муж, несмотря на его, Балестрини, настойчивые просьбы, не сможет из-за нездоровья подойти к телефону. Он советует доктору Балестрини непременно обратиться к доктору Де Леонибусу.

— Спасибо,— ответил Балестрини и с треском повесил трубку. Старая лиса! Он наверняка уже названивает Де Леонибусу, чтобы тот доложил ему потом, в чем заключается это «абсолютно срочное сообщение», о котором ему сказала жена. «Доложу, если Балестрини со-

изволит мне об этом сказать»,— конечно же, ответил господину прокурору Де Леонибус — в уме Витторио не откажешь.

Помешивая ложечкой чуть теплый кофе, Балестрини посмотрел на висевший в кухне настенный календарь. До зловещей даты — седьмого июля — оставалось всего две недели, а ему никак не удавалось добиться аудиенции у далеко не всемогущего главного прокурора Рима, зато удалось стать врагом его заместителя. Он взглянул на часы, отодвинул остывший кофе и набрал другой номер телефона.

— Генеральная прокуратура,— ответил женский голос.

— Соедините меня, пожалуйста, с секретариатом прокурора.

— Алло,— тут же пробурчал кто-то, после чего трубку наконец взял секретарь.

— Говорит доктор Балестрини из прокуратуры.

— Слушаю вас, доктор.

— Я хотел бы встретиться с господином прокурором, по возможности сегодня, во...

— К сожалению,— прервал его секретарь, и он услышал, как шелестят страницы поспешно перелистываемой записной книжки.— Да, к сожалению, сегодня будет очень сложно, доктор Балестрини. Вот я вижу, что...

— Простите. Сообщите господину прокурору, что я прошу о встрече по чрезвычайно важному делу.

— Да, да. Так... так. Тогда, мне думается, ближе к полудню господин генеральный прокурор сможет вас принять. Вы будете в прокуратуре?

— Да.

— Хорошо. Я доложу об этом господину прокурору, едва он приедет... примерно через час. А потом позвоню вам и сообщу, когда господин прокурор сможет вас принять.

— Крайне вам благодарен.

Он вышел из кухни, стараясь не смотреть вокруг. Уборщицы не было уже два дня, грязь и беспорядок росли с ужасающей быстротой. С того дня, как он покинул спальню, а затем и комнату Джованнеллы, квартира превратилась в бивуак. В спальне он избегал оставаться не только потому, что чувствовал себя таким одиноким в огромной супружеской постели, но и потому, что близкое — за стеной — соседство супругов Конти порой было трудно вынести. Однажды вечером, когда он, хлопнув дверью, вошел в спальню, то услышал, как синьора Конти проблеяла: «Он вернулся». Муж грубо велел ей заткнуться.

Внизу швейцар улыбнулся ему:

— Добрый день, доктор.

— Добрый день.

Еще только утро, а как жарко, подумал Балестрини, посмотрев на небо, скорее белое, чем голубое. Он загляделся и потому ничего не заметил. Лишь ощутил адскую боль в шее после удара и, уже падая на тротуар, услышал хриплое ругательство и крик девочки.

— Помогите! — взвизгнул старик, стоявший совсем рядом. Балестрини вспомнил о пленках в карманах незастегнутого пиджака и сжался в комок. Хотят завладеть пленками?

— Получай! — промычал один из пяти нападавших, ударив его ногой со всего размаху по бедру. Удар пришелся в бок, и он покатился по тротуару к дереву. Все пятеро навалились на него. Балестрини вцепился в чью-то ногу; два-три удара в спину, и вдруг он услышал, как один из нападавших злобно выругался: «Мать твою, карабинеры!»

— Сюда!— закричал все тот же старик. Удары внезапно прекратились.

— Ну-ка,— сказал кто-то и схватил его за руку. Балестрини снова сжался в комок, открыл единственный еще способный видеть глаз

и смутно различил зеленую полоску.— Ну-ка,— повторил человек в зеленом (да это же карабинер!), и секунду спустя еще двое карабинеров склонились над ним. Подошли старик, кричавший «помогите», и группка любопытных. Балестрини с трудом привстал. Карабинеры тут же помогли ему подняться.

— Кто они? — спросил Балестрини.

— Они удрали, как только появилась машина,— объяснил за карабинеров старик, разглядывая его с жадным любопытством.

— Сейчас прибудет второй патруль,— сказал еще один карабинер, вылезая из «газели», стоявшей во втором ряду.— Вы не доктор Маэстрини из прокуратуры?

— Балестрини.

— Ах да, извините... Кто на вас напал, доктор? Когда мы подъехали, тут уже никого не было. Мы решили, что это очередное ограбление.

— На пункт скорой помощи,— приказал старшина карабинеров, придерживая Балестрини под руку. Толпа мгновенно расступилась. Балестрини, когда его скорее втаскивали, чем сажали в машину, ощупал карманы — проверить, целы ли пленки. Теперь он был совершенно уверен — юнцы охотились не за пленками. Должно быть, это приятели Буонафортуны. Избить его до полусмерти ногами и велосипедными цепями — вот и все, что им было нужно.

— Как себя чувствуете, доктор? — спросил старшина.

— Терпимо. Очень уж гнать не стоит.

— Как хотите. Надо же! Еще немного — и эти сукины дети разукрасили бы вас...

Осмотр на пункте скорой помощи показал, что он еще дешево отделался — заплывший глаз да разорванный пиджак. Глаз ему забинтовали, а пиджак Балестрини снял и сунул под мышку. В таком виде он вышел из машины на улице Голанетто, где после недавних волнений постоянно дежурил наряд полиции и карабинеров.

— Вас проводить, доктор? — предложил старшина карабинеров. Только теперь Балестрини заметил у него на мундире пятнышки крови. Он слабо улыбнулся в ответ.

— Спасибо, не надо. До свидания.

— Всего доброго, доктор.

Балестрини медленно, боясь, что еще шаг — и острая боль возобновится, стал подниматься по лестнице. Сослуживцы останавливали его и спрашивали, что у него с глазом, и он на ходу придумал более или менее правдоподобную версию. Грязных, смятых брюк они, кажется, не заметили. Не успел он устроиться в кресле, как в кабинет к нему ворвался Витторио Де Леонибус. Лицо у Витторио было непроницаемое, впрочем, как всегда в щекотливой ситуации.

— Боже, что с тобой стряслось? — спросил он, оглядев его с ног до головы.

— Это не покушение. Просто напали какие-то юнцы, причина мне неизвестна.

— Кроме глаза, все остальное в порядке?

— Более или менее.

— Почему не идешь домой?

— Ты и сам знаешь почему. Да еще из-за этого,— зло сказал Балестрини и одну за другой вынул три пленки.

— Это пленки Де Дженнаро. Мы думали, что ими завладели его убийцы. Я их прослушал сегодня ночью... представь себе, спать лег в шесть утра. Теперь мы эти пленки перепишем, а затем я самолично передам их на хранение главе нашей судебной полиции.

Ничего не ответив, Де Леонибус сел напротив и уставился на пленки. После той ссоры, слух о которой распространился по всему Дворцу правосудия, они впервые встретились с глазу на глаз. Но ни один из них не пытался растопить лед враждебности.

— Послушаю их позже,— сказал Де Леонибус, взглянув на часы.— А пока что ты намерен предпринять?

— Для начала вызову в суд графа Эрманно Саворньяна. Кроме того, поскольку эти три пленки окончательно подтвердили кое-какие имена, я хотел бы знать, установил ли... ты контакт с некоторыми известными нам политическими и финансовыми деятелями, которые... ну, словом? — запинаясь докончил фразу Балестрини и кивнул на катушки с пленкой.

— Андреа, ты же отлично знаешь: даже для... скажем так, для доверительной беседы недостаточно...

— Послушай, раз уж путь дипломатических переговоров так сложен, позвони и скажи откровенно: «Дорогие господа, я знаю одного нашего чиновника, которому не терпится прислать вам вызов в суд... Помогите мне утихомирить его, но для этого я нуждаюсь в вашем хотя бы минимальном сотрудничестве».

— Не могу, Андреа. Ведь чтобы предпринять соответствующие шаги, нужно получить разрешение.

— Такое разрешение обязательно не для всех. Но я готов даже подождать.

— Понимаю,— пробурчал Де Леонибус, поднимаясь.

Ну что ж, выходит, поладить миром Балестрини не хочет. Он показал на пленки.

— Значит, ты передашь их майору?

— Только после того, как перепишу,— резко ответил Балестрини и почувствовал, с какой неприязнью Де Леонибус впился в него своими узенькими глазками. Подождав, пока за ним захлопнется дверь, Балестрини тяжело откинулся на спинку кресла. Боль усилилась — значит, впереди еще одна бессонная ночь. Он снова вспомнил о тех юнцах — нет, он не сумел запомнить в лицо ни одного из них. «Я вел себя как трус, безропотно позволив себя избивать. Хотя если учесть, как я испугался, то, пожалуй, нет»,— с улыбкой подумал он, и подбитый глаз сразу заныл. Он заплывал все больше, и в нем отдавалось болью любое движение лицевых мускулов.

Балестрини вспомнил о карабинерах (недаром их называют «корпусом достойных»), о первом из них, поспешившем ему на помощь, о старшине, о двух других, и вдруг в голову ему пришла мысль на первый взгляд абсурдная. Но только на первый взгляд. Он так и застыл с ручкой в руке, лихорадочно пытаясь найти ей подтверждение. И вот факты начали выстраиваться один за другим. В считанные секунды все обстоятельства, призванные подтвердить эту дикую мысль, встали на свои места.

Так вот почему полиции до сих пор не удалось отыскать Пастрини! Как бы она ни старалась, разве можно схватить человека, которого не существует? Пастрини — так на свой шотландский лад переделала его фамилию бедная Грэйс. Так она расслышала, наверно, фамилию «Балестрини», а потом, не раз ее повторяя, сама привыкла к ней. «Пастриньи» записал в своем блокноте секретарь, «Маэстрини» назвал его по ошибке один из карабинеров.

Доказательства?.. Де Дженнаро не стал бы называть девушке фамилии своего гостя, если бы речь шла о ком-то чужом. Вместо «Балестрини» он наверняка сказал бы «мой приятель» или что-либо подобное. А будь это новый осведомитель или случайный знакомый, Де Дженнаро сказал бы «один человек», «некто». К тому же, зная о грозящей ему опасности, Де Дженнаро вряд ли сразу бы открыл дверь незнакомцу. Между тем дверь он открыл, хотя, наверно, и удивился неожиданному визиту Андреа Балестрини. А потом Грэйс Демпстер, часто слышавшая фамилию прокурора, которого она угощала свежайшими тостами, догадалась об истине. Но не о том, сколь она опасна.

Вспомнив о судьбе Грэйс, он содрогнулся. Неужели ее убили только за это? Очевидно, успей она поделиться с ним своим открытием, он напал бы на след преступников, иначе ее не стали бы убивать. Он ощутил свое бессилие, на ум не приходила ни одна удачная идея. Наверно, самое разумное сейчас уехать домой, полечить там подбитый глаз примочками и отдыхом. В дверь постучали.

— Вам ничего не нужно, доктор? — заботливо спросил Винченти, вызвав у Балестрини улыбку. За долгие годы работы в прокуратуре хитрый лис впервые сам проявил инициативу.

— Нет, спасибо, Винченти.

— Может, выпьете кофе? — медовым голосом подсказал Винченти.

— Чашечку кофе? Пожалуй,— сказал Балестрини, пытаясь понять, исходила ли эта забота от Де Леонибуса или же Винченти сам пожалел его, увидев, в каком он плачевном состоянии.

Кофе подействовал на Балестрини благотворнее, чем он ожидал. Неприятный привкус во рту, скорее всего крови, от которого он не избавился и с помощью полосканий, после чашечки кофе исчез. Он прищелкнул языком и одарил Винченти благодарной улыбкой.

— Ну как кофе, доктор?

— Отменный,— ответил Балестрини, бросив картонный стаканчик в мусорную корзину,— ручаюсь, ты сам его варил.

Винченти усмехнулся и, сделав вид, будто не уловил в его словах иронии, вышел из кабинета. Всем было известно, что кофеварка-эспрессо принадлежала «фирме» Винченти и Барбаро. Поэтому никто не награждал ее в ожесточении пинками, даже когда сахар не сыпался в стаканчик или когда машина просто крала монету, так ничего и не дав взамен.

Теперь, после кофе, он вспомнил еще об одной забытой мелочи— она может стать важной уликой... Калибр пистолета, из которого убили Де Дженнаро, и обстоятельства преступления — целых три выстрела — можно было как-то объяснить, если б остались следы схватки. Но заключение эксперта недвусмысленно — пуля сразила Де Дженнаро в тот самый миг, когда он открывал дверь, прежде чем он успел что-либо понять. Зачем же тогда было делать три выстрела, если хватило бы и одного, как это произошло с Паскуалетти и с Грэйс Демпстер? Да, вот еще загадка: почему убийца стрелял из мелкокалиберного пистолета? Но так ли уж эта загадка неразрешима?

До полудня телефон звонил не раз, но это были звонки не из генеральной прокуратуры. Балестрини подождал до часа дня, потом стал собирать бумаги. Выходя из кабинета, он увидел у дверей унтер-офицера судебной полиции.

— Уходите, доктор? Прокурор приказал сопровождать вас до дома.

— В целях безопасности? — спросил Балестрини и с такой силой захлопнул дверь, что многие в коридоре остановились или обернулись. Унтер-офицер в замешательстве сглотнул слюну, потом утвердительно кивнул.

— Спасибо, старшина, я пойду пешком и один. Получить удар в зубы я не боюсь, что же до других опасностей... здесь нужна не ваша охрана, а кое-что посерьезнее.

Когда он, прихрамывая, поднимался вверх по бульвару Мадзини, то заметил, что его доводы старшину не убедили.

15

Пока их везли в полицейской машине, Джакомо Баллони ни разу не взглянул на этого колбасника. Он давно уже перестал бояться, что за ними следят те, кто еще надеется что-то выведать, зная об их прежних связях. Да если б они и заговорили в машине на глазах у

охраны, что тут особенного? Ведь в «Реджина Чёли» они встречались несколько раз на дню!

Так что он избегал смотреть на Россетти из одного только презрения, но открыто выразить его все же побаивался. Этот Россетти — свиной окорок. Но натуральный, а не эрзац, вроде тех, что продаются в его лавке. Вину этого идиота смягчает разве что его полное молчание. С той минуты, как его арестовали, он рта не раскрыл, даже чтобы попросить сигарету. Понятно, не из преданности шефу или из честного отношения к делу. Трусишь, брат, до жути трусишь, думал Баллони, глядя на его толстые ноги. И нагло усмехнулся.

— Смеешься, да? — зло спросил конвойный.

— Да, смеюсь.

— Твоя мать, видно, тогда недоспала?

— А твоя с кем-то переспала, вот и родился такой кретин, как ты.

Конвойный дал ему пинка, но как-то неловко, вяло, потом попробовал было снова пнуть его ногой, но промахнулся, уцепился за сиденье и стал осыпать его ругательствами, хотя снова ударить уже не пытался.

Не обращая на него внимания, Баллони принялся обдумывать, что его ждет. Очная ставка — предупредил адвокат. Очень неприятная очная ставка, и если не все пройдет гладко, может запахнуть жареным.

Баллони фанатично верил в своего адвоката. За годы мелких краж он перевидел великое множество всех этих защитников по назначению и адвокатишек из отдела социального страхования и в конце концов убедился, что по своей общественной значимости они равны санитару, слесарю либо монтеру, не говоря уже об их убогой профессиональной подготовке. А вот Пратович сделал то, что в свое время не сделали его отец или директор школы, первый работодатель, первый судья, давший ему срок. За полчаса Пратович объяснил ему, в чем он может признаться всегда и в чем не должен признаваться никогда; словом, научил его простейшим процедурным уловкам, которые делают допрашиваемого неуязвимым, и даже нескольким способам обмануть следователя, когда тот прибегает к хитростям.

Цена такому человеку наверняка не один миллион. Но адвокат обращался с ним так дружески, запросто, что порой Баллони казалось, будто он нанял его сам и щедро с ним расплачивается.

— Вылезай, черт бы тебя побрал! — приказал конвойный, и все заключенные сразу поднялись.

— Эх, хороший денек,— промычал третий заключенный, здоровенный детина, которого Джакомо Баллони никогда прежде не видел. Россетти слез с машины молча, лишь звякнули наручники. Их мгновенно окружили карабинеры и повели к зданию прокуратуры.

Вид Балестрини поразил Баллони, который давно не был у этого типа на допросе. Он показался Баллони выше ростом, осунувшимся, а глаза у него были как у больной собаки, смех да и только. И еще он заметил: Балестрини на него не смотрит, и понял, что это не случайно, умышленно, а уж почему, непонятно. Сам же он, наоборот, стал донимать Балестрини томными взглядами и, увлекшись, как-то даже забыл об очной ставке.

Между тем она оказалась долгой и трудной. В комнате сидела большая группа северян — мужчин и женщин средних лет — и еще паренек лет восемнадцати без руки. Проходя мимо под конвоем трех агентов в штатском, Баллони испуганно вздрогнул под этими мрачными пристальными взглядами. Балестрини во время каждой новой очной ставки ни на миг не спускал с него глаз и все более походил на черепаху, вдруг потерявшую свой панцирь.

— Введите Мантони,— внезапно приказал он, и дверь комнаты открыли в пятидесятый, наверно, раз.

— Входите, Мантони, входите,— дружелюбно произнес Балестрини, и, когда Баллони повернулся к вошедшему, у него от страха сжалось сердце. Память у него была цепкая, и он сразу узнал этого Мантони. Да и можно ли забыть обвислые усы и черный шрам, словно рассекавший голову пополам! Таких странных типов теперь встретишь не часто.

— Ну, Мантони, поглядите-ка хорошенько на этих людей.

Нет, не мог Мантони его видеть, точно не мог. Облизывая языком губы, Баллони убеждал себя, будто испугался только потому, что очень уж у Мантони необычное лицо. Он-то этого старика отлично помнит — тогда не спускал с него глаз, пока тот не ушел, освободив ему путь. И теперь он боялся, что и старик так же легко его узнает.

— Ну как?

Но светлые, водянистые глаза старика лишь скользнули по нему да на какой-то миг задержались на одном из агентов в штатском. Потом взгляд его поплыл дальше и остановился на Балестрини.

— Нет, не узнаю, господин судья.

— Вы в этом уверены?

— Да, никого не узнаю, господин судья.

— Ну, хорошо,— пробурчал Балестрини, и Баллони показалось, что тот сейчас рухнет на пол. Приподняв очки, он провел пальцами по векам, слегка покачнулся. Баллони не отрывал от него глаз, но вдруг его грубо схватили за плечи, и он очутился лицом к лицу с одним из двух конвойных.

— Теперь твоя очередь.

Слава богу, дело шло к концу. Оставалась лишь привычная очная ставка с колбасником Россетти. Их было уже столько, и оба так в этом понаторели, что казались спевшимся дуэтом, как однажды пошутил Балестрини, отпуская их. На этот раз все происходило молча. Усталым жестом Балестрини велел им сесть, не спуская глаз с Россетти, с которым, видно, только что кончил говорить. Толстяк Россетти сидел мрачный и угрюмо разглядывал свои руки. На лице у него не дрогнул ни один мускул, когда он услышал, что кого-то привели. Пока адвокаты обменивались приветствиями, Баллони поглядывал на него с некоторой опаской. Он не доверял этому колбаснику, хотя прежде безоговорочно ему подчинялся.

— Ну, раз вы, Россетти, довольны, то и мы тоже,— задумчиво проговорил Балестрини, и некоторое время никто больше не проронил ни слова, словно все соблюдали минуту молчания. Баллони воспользовался этим, чтобы взглядом спросить у адвоката, как идут дела. «У меня хорошо, а у тебя?» — многозначительно вскинув брови, спросил в свою очередь адвокат. Поняв по глазам Баллони, что и у него все в порядке, адвокат незаметно ему подмигнул. Адвокатом колбасника Россетти был университетский преподаватель, молодой, но уже лысый, с шелковым галстуком бабочкой.

Очная ставка, бесполезная и унылая, длилась минут двадцать. Баллони почти сразу догадался, что их пытаются уличить в обмане насчет алиби вечером в день ареста. Но доказать, что они встретились и старик Россетти передал ему взрывчатку перед тем, как проверка на контрольном полицейском посту разрушила все их планы, не удалось бы и Шерлоку Холмсу. Баллони улыбнулся при мысли о том, что этот болван Балестрини не один час промучился, пытаясь опровергнуть его алиби. Впустую, конечно,— ведь взрывчатку-то он получил двумя днями раньше, а тот вечер, перед поездкой, и вправду провел в кино.

— Веселишься, да? — процедил сквозь зубы Балестрини, и Баллони увидел, что тот даже почернел в лице. Наверно, болен. Этому Балестрини все же придется взять отпуск, а значит, на месяц-другой он уберется отсюда, с облегчением подумал Баллони. Правда, как

Баллони ни старался успокоить себя, этого человека с вечно хмурым лицом он побаивался. Помощник прокурора не из тех, кто пытается застращать заключенного, но уж на мякине его не проведешь.

Наконец объявили, что на сегодня хватит, и Баллони вздохнул с облегчением. Пока Россетти спрашивал что-то о похоронах жены, Баллони перебросился со своим адвокатом парочкой шуток. Потом все вышли в коридор.

— Когда начнется суд? — спросил Россетти у своего адвоката, а тот в ответ лишь пожал плечами.

Баллони собрался было передразнить адвоката, как вдруг его окликнули:

— Баллони!

Он остановился и в изумлении повернулся. Шедший рядом адвокат Пратович тоже остановился. Россетти и его адвокат сделали еще несколько шагов, и тут путь им преградил полицейский агент.

— Баллони,— повторил Балестрини с порога своего кабинета.— Вернись-ка на минутку.

Баллони взглядом спросил совета у адвоката, который тоже был заметно удивлен.

— Иди, я подожду тебя здесь.

— Мы спускаемся во двор,— предупредил сержант, начальник конвоя, и двинулся дальше с Россетти и его адвокатом.

Баллони с опаской вернулся в кабинет Балестрини.

— Садись,— приказал ему Балестрини, но сам стоял возле шкафчика и что-то в нем искал.— Садись,— повторил он. Увидев, что Баллони снова не подчинился. он подошел к нему вплотную и посмотрел на него с комическим удивлением. Баллони чуть не расхохотался, ему дико захотелось ухватить этого Балестрини за подбородок и ущипнуть за щеку с веселым криком «Пипирипи!», но он удержался.

Вопрос прокурора, который стоял совсем рядом, приятно его удивил:

— Сможешь повторить мой голос?

— Конечно,— невольно подражая его голосу, ответил Баллони. Да это же сущий пустяк: прокурор говорил так медленно и с такой характерной интонацией, что он мог бы устроить целое представление, и вся прокуратура покатывалась бы со смеху.

Балестрини улыбнулся, но улыбка его показалась Баллони не слишком дружелюбной.

— Видишь ли, Джакомино, у меня есть против тебя одна-единственная улика, да и то это скорее всего не улика.

— Какая еще улика?

— Ну, доказательство того, что Де Дженнаро убил ты. Ведь я надеялся, что Мантони, швейцар дома, где жил капитан, тебя узнает. Но вот не узнал.

У Баллони дух перехватило — неужели на лице у него отразился испуг?! На пристальный взгляд Балестрини он ответил хмурым взглядом, и чем больше он смотрел на этого блюстителя закона, тем яснее понимал, что тот бессилен. Не осмелится даже повторить свое обвинение в присутствии адвоката и потому-то прибег к дешевому трюку, оставив того в коридоре. Баллони улыбнулся — ему было смешно, он был сейчас неуязвимее этого Балестрини и знал, что его улыбка бесит врага.

«Ну, признаешь?» — прошептал Балестрини, и Баллони подозрительно огляделся вокруг. Спрятанные где-то микрофоны? Адвокат Пратович объяснил ему, что на основании нечетко записанного голоса нельзя обвинить человека в преступлении, такая улика всегда будет признана недостаточной.

— Что ты на меня уставился?

Баллони снова впился в него взглядом. Потом неторопливо при-

ник губами почти к самому его уху. Этого юнца переполняли радость и победоносное злорадство. Ухо вблизи было мясистым и розовым. Очень смешным.

— Да, Де Дженнаро убил я. Но пусть это останется между нами.

Он засмеялся, когда ухо вдруг резко отодвинулось. И снова увидел диковатые глаза прокурора за мутными стеклами очков. Через приоткрытую дверь он услышал какой-то шорох — адвокат Пратович ждал.

— Ты говорил в интерфон, подражая моему голосу, не так ли?

Баллони кивнул.

— И выстрелил в него, едва он открыл дверь, правда? Почему ты сделал три выстрела?

— Для верности. Я не в первый раз стрелял, но этот проклятый глушитель... и вот, едва капитан упал, я смог спокойно подойти и поточнее прицелиться...

— Ты выстрелил в него, когда он лежал на полу? — спросил Балестрини, и Баллони понравилось, что при этом он не повысил голос.

— Он приподнялся на колени,— объяснил Баллони, показав на пол... и как только...— Тут он умолк, пораженный внезапной бледностью прокурора.

— Видишь,— негромко заговорил Балестрини,— видишь, я не спрашиваю, почему ты это сделал, как тебе удалось незаметно улизнуть из тюрьмы и вернуться туда, кто тебе преподал уроки, кто дал оружие, кто заплатил адвокату, что тебе пообещали и угрожали ли тебе... я знаю — это похоже на фантазию... Я и сам с трудом верю. Подумай, что скажут другие, те, кто не верит и вещам куда более очевидным, куда более простым... но мне важно было знать, что это был ты...

Баллони кивнул с наглой усмешкой, еще не замечая опасности, слишком увлеченный своей ролью хозяина положения. И потом, они стояли слишком близко друг от друга, чтобы он мог разглядеть, как дрожат руки Балестрини.

— Вы не на тех работаете, доктор, да к тому же...— Не договорив, Баллони вскрикнул от страха, когда сильнейшая оплеуха словно оторвала его от пола и швырнула о стену. Закричал от страха и ярости. А этот зверь снова набросился на него, глаза его, казалось, вот-вот выскочат из орбит, он задыхался, губы дрожали.

— Гнусный убийца, подонок! — прохрипел он.

— Доктор Балестрини! — фальцетом выкрикнул адвокат Пратович, отворяя дверь. Из-за его спины заглядывали в кабинет второй карабинер конвоя и курьер.

— Убе... уберите его,— заикаясь, пробормотал Балестрини, показав на Баллони, но не глядя на этого ублюдка, трусливо вжавшегося в стену.

Карабинер ушел, уведя заключенного, лицо его выражало полнейшее недоумение. Исчез и курьер. Адвокат несколько секунд пребывал в растерянности, а потом поспешил на помощь Балестрини, который пытался добраться до кресла.

— Вам дурно?

Ответа он не получил. Адвокат Пратович в нерешительности огляделся вокруг: дверь распахнута, в коридоре — никого. Балестрини сидит, обхватив голову руками, но, видимо, понемногу приходит в себя.

— Господин помощник прокурора, уж не напал ли на вас мой подзащитный? — спросил Пратович, который и в самом деле ничего не понимал. Он пожалел, что сразу не вошел вслед за Баллони, когда того позвал Балестрини. Но кто мог предвидеть что-либо подобное?!

— Что вы, наоборот, это я на него напал,— еле слышно ответил Балестрини и, не глядя на адвоката, снова надел очки. Вид у него

сейчас был довольно забавный — взъерошенные волосы, багровое лицо,— и адвокат Пратович вздохнул с облегчением.

— Ну что ж, в таком случае...

Балестрини подождал, пока адвокат ушел, притворив за собой дверь. Он, конечно, направился в кабинет прокурора. Де Леонибус от такой новости возликует. Балестрини попытался успокоиться, но недавняя слепая ярость не проходила. Неужели он надеялся утолить ее пощечиной подонку, который знает все процедурные тонкости следствия. Знает настолько, что оказался сильнее прокурора, в чью обязанность входило доказать его виновность?!

Тут нужно совсем другое: сжечь бесполезные документы, плюнуть Витторио Де Леонибусу в рожу, избить в кровь Баллони, пока тот не признается, ворваться в кабинет к генеральному прокурору и высказать ему прямо в лицо все, что он думает: права юстиции должны восторжествовать над правами бюрократии, этой бюрократии старого политикана-горностая.

Он снял трубку и набрал номер. За три дня он запомнил его наизусть, хотя обычно с трудом запоминал самое простое сочетание цифр.

— Алло.

Теперь он и этот голос узнавал сразу. Они стали почти друзьями, он и секретарь генерального прокурора.

— С вами говорит Балестрини,— сказал он и испугался собственного хриплого голоса. Но секретарь узнал его без всякого труда.

— О, доктор Балестрини! К сожалению, господин прокурор уехал, его вызвали.

— Послушайте...

— Да, да...

Балестрини молчал, поглаживая пораненный глаз. Во время той короткой схватки его все же сильно ударили — временами боль в глазу становилась просто нестерпимой.

— Послушайте... завтра утром я заявлюсь в приемную и никуда не уйду до часа дня.— Он умолк и почувствовал, что секретарь удивлен.

— Но... но, доктор, ведь на завтрашнее утро не было назначено... понимаете? Словом, я не могу гарантировать, что господин прокурор непременно вас примет. Кроме того...

Он прервал секретаря самым ласковым, миролюбивым голосом, на какой только был способен:

— Не беспокойтесь. Я не требую, чтобы он обязательно меня принял. Главное, чтобы он знал: я сижу в приемной. До завтра.

И не слушая больше секретаря, повесил трубку. Увы, теперь он чувствовал себя куда менее спокойным, чем в тот момент, когда набирал номер генерального прокурора. Когда вдруг зазвонил телефон, он от неожиданности подскочил на стуле.

— Алло?

— Доктор Балестрини?

В первое мгновение ему показалось, что это звонит Рената. Буйство воображения. Ведь он не знал, где она, не получил от нее даже открытки, хотя им надо вместе решить много важных проблем, в том числе судьбу Джованнеллы Балестрини.

— Доктор Балестрини, с вами говорит секретарь доктора Де Леонибуса. Доктор Де Леонибус просит вас немедленно зайти к нему.

Балестрини улыбнулся, осторожно, чтобы не заболел пораненный глаз. Презрев старую дружбу, господин заместитель прокурора не соизволил спуститься к нему, а с недосягаемой теперь высоты третьего этажа срочно вызвал к себе.

— Передайте доктору Де Леонибусу, пусть идет к чертовой матери,— ответил Балестрини, но таким профессионально-вежливым

тоном, что секретарь на другом конце провода изумленно переспросил:

— Простите, как вы сказали, доктор?

Балестрини смутно его помнил — такой любезный молодой человек с маленькими усиками.

— Передайте ему, пусть идет к чертовой матери,— повторил он тем же тоном и, так как больше вопросов не последовало, повесил трубку.

16

— С вами говорит Бонора,— донесся откуда-то торжествующий голос. Собравшись наконец с мыслями, Балестрини понял, что держит в руках телефонную трубку и голос доносится оттуда. Он попытался получше сориентироваться в темноте.

— Простите, синьор Бонора, но я как-то не могу вспомнить...— пробормотал он и тут же понял, что допустил бестактность, ибо незнакомец на миг умолк.

— Доктор Балестрини, с вами говорит майор Бонора, начальник отдела...— начал тот еще более громко, но охотно дал себя прервать, с удовольствием выслушивая сбивчивые извинения.

— Но... который час, майор?

— Почти восемь, доктор. Восемь вечера.

Балестрини сел в постели и стал изумленно тереть неповрежденный глаз. Он ушел из генеральной прокуратуры примерно в половине второго, забежал домой перекусить и прилег немного отдохнуть. Значит, заснул где-то в половине третьего.

— Мы сегодня вновь пришли на квартиру к господину Эрманно Саворньяну,— начал докладывать майор, и Балестрини улыбнулся тому, с какой силой было произнесено это «господин», как бы в умаление графского титула Саворньяна. Наверняка это французские предки майора Боноры из финансовой полиции (Бонёр?) переименовали Людовика Шестнадцатого в «гражданина Людовика Капета»,— и мы узнали, что господин Саворньян отбыл в неизвестном направлении, короче говоря, скрылся. Если верить его секретарю, он находится в Соединенных Штатах. Во всяком случае, по словам секретаря, господин Саворньян оттуда позвонил ему в обеденный час. Впрочем, секретарь мог все это придумать, не исключено, что сбежавший укрылся не в Америке, а, скажем, в Лугано...

— Последнее не так важно, дорогой майор. Главное, что он скрылся. Этого более чем достаточно.

— Сожалею, доктор, но, право же, я не знал...

— Вы тут ни при чем, майор. Это моя вина. У меня в первый раз были все основания отобрать у него паспорт. Но я дал себя убедить... Ладно, не будем об этом. Что-нибудь любопытное обнаружили?

— В основном то, о чем я и раньше вам докладывал. Этот Саворньян руководил отделом секретной информации в СИДе, где служил и Гуидо Паскуалетти.

— А-а, налицо совпадение во времени...

— Как вы сказали, доктор?

— Они служили вместе в одно и то же время?

— Понимаете... точных сведений у меня при себе нет, но какое-то время они наверняка служили вместе. Затем Саворньян оставил службу...

— Его участие в тех событиях вы тоже проверили?

— Да, доктор. Именно Саворньян в тот день сопровождал министра в церковь святой Сабины. Кстати, я узнал от приходского священника, что несколько дней назад приходил кто-то из офицеров корпуса карабинеров и допрашивал его как раз в связи с этим делом.

Балестрини поморщился — бедный капитан Де Дженнаро, он в одиночку тянул свой воз, не доверял даже ему, Балестрини. Для него

в то время все они были одного поля ягода: он, полковник Виньа, коллеги, другие следователи, прокурор. Теперь-то он понимал Де Дженнаро. Каково постоянно чувствовать, что за тобой следят, что ты в одиночку рискуешь жизнью... К тому же Де Дженнаро, надо думать, боялся, что ему учинят разнос. Да еще куда более грубый, чем способен учинить ему самому, скажем, Витторио Де Леонибус, который тоже миролюбив и деликатен не больше африканского буйвола.

Балестрини стал причесываться и попытался разглядеть в зеркале, что же стало с глазом. И в этот момент снова зазвонил телефон. Он сразу узнал веселый голос Эмилио Бауэра:

— Ну как, перестал лезть на рожон?

— Почему?— спросил Андреа с удивлением, тут же настроившись на мажорный лад.

— Я лишь сегодня прочитал, что банда каких-то юнцов пыталась на тебя напасть.

— Пыталась? Да я как раз сейчас любовался перед зеркалом своими шрамами. Но не будем об этом.

— Какие нас ждут сюрпризы? — наигранно-бодрым тоном спросил Бауэр, и Балестрини невольно улыбнулся: до чего же упорно он старается скрыть свою заинтересованность. На деле Бауэр — прирожденный журналист, и он жаждет получить новости из первых рук. И все время боится узнать о них слишком поздно и прозевать сенсацию.

— Я нашел еще три пленки,— сказал Балестрини и догадался, что Бауэр сгорает от любопытства и еле удерживается от вопросов.

— Что-нибудь серьезное?

— Серьезное, даже очень. Настолько, что несколько дней назад я попросил генерального прокурора срочно меня принять. Больше ничего пока не скажу, ведь на девяносто процентов из ста мой телефон прослушивается. А у нас достаточно знать чуть больше положенного — и прямым ходом отправишься на тот свет.

— Если речь идет обо мне, Андреа, можешь быть спокоен. Как только повешу трубку, я сообщу о том, что ты мне рассказал, всей редакции. Надеюсь, эти типы побоятся устроить здесь побоище. Но зато нам, корреспондентам, его учинит главный редактор.

— Послушай, Бауэр, насчет подслушивания телефонных разговоров я не шучу.

— Конечно, потому и говорю тебе — будь осторожен. Больше того, не понимаю, как ты можешь сохранять спокойствие, зная, кто тебе противостоит!

— Вся беда в том, что этого-то я толком и не знаю.

— Андреа — рот на замок! Когда у этих типов спрашивают время, они смотрят на таймер с детонатором...

Балестрини засмеялся, еще более приободрившись. Казалось, Рената снова рядом и Бауэр навсегда поселился в Риме. Жены и друга ему наверняка хватило бы, чтобы всегда оставаться довольным жизнью.

— Так что же тебе сказал генеральный прокурор?

— Ничего, он до сих пор меня не выслушал. Я все перепробовал. Представляешь, сегодня утром, хоть мне и не назначили аудиенции, я нагло уселся в его приемной и заявил секретарю, что не уйду, пока господин прокурор меня не примет.

— И?

— И меня не приняли. Но в четверть второго, едва бедняга секретарь мне сообщил, что, увы, господин прокурор ушел, я мило ему улыбнулся и сказал, что у меня есть крайне важные сведения, касающиеся общественного порядка и государственной безопасности. Потом добавил, что эти сведения я должен изложить как можно скорее. Если прокурор не примет меня и завтра, то в полдень я устрою пресс-кон-

ференцию и сообщу журналистам, этой четвертой державе, то, о чем отказывается узнать мое начальство.

Бауэр присвистнул, а Балестрини, задохнувшись от гнева, умолк.

— Ну, что ты об этом думаешь?

— Помнишь, Андреа: «Никому другому не дано войти в эту дверь, лишь тебе такое было позволено. А сейчас я пойду и закрою ее». Помнишь?

— Что это?

— Из книги «Перед лицом закона», и ты, как ни парадоксально,— гражданин, перед которым захлопнули двери закона. Теперь они и вовсе закроются. Но не сами, а ты закроешь их своими руками.

— Не понимаю.

— А что ты сейчас вообще понимаешь, мой маленький Андреа? — спросил Бауэр таким проникновенным голосом, что сам смутился.

— Э, не преувеличивай.

— От Ренаты есть вести?

— Она звонила Вивиане, своей подруге.

— А, этой цыпочке? Ты о ней как-то говорил. Так где же она?

— Вивиана?

— Да нет же, глупец, Рената!— смеясь, воскликнул Бауэр.— Вот видишь, ты ничего не понимаешь.

— Она в Латине, в доме... ну, этого... Она сказала Вивиане, что позвонит мне в ближайшие дни... еще и для того, чтобы решить... знаешь, ведь есть еще девочка.

— Что же ты собираешься делать, Андреа?

— Не знаю,— ответил Балестрини, тут же с горечью подумав, что солгал. Бауэр захохотал в трубку:

— Когда узнаешь, плохо придется всем.

Наступил вечер. Балестрини по старой привычке подошел к окну, к самому подоконнику. Часто он и Рената стояли так и смотрели, как по площади Мадзини катят машины. Смотрели молча. Иногда между ними становилась и Джованнелла, и тогда им приходилось потесниться — ведь окна совсем узкие.

Рената как зачарованная следила за движением машин и пешеходов. Для нее, истинной провинциалки, всякое отвлечение от домашней работы было праздником. Особенно если она могла наблюдать за происходящим незаметно, лишь слегка высунувшись из окна. Если б кому-нибудь с улицы вздумалось взглянуть наверх, он увидел бы лишь маленький любопытный носик. Потом почти внезапно, Рената уставала, взгляд ее начинал блуждать по стенам домов, и она зевала во весь рот, так, что на глазах выступали слезы. Джованнелла даже подшучивала над ней, кричала, что мамочка, бедняжка, плачет. А когда девочка была совсем маленькой, то и вправду думала, что мама плачет.

В конце концов Рената поворачивалась к нему, если он устраивался в кресле, и говорила: «Будем ужинать, Андреа?» Летними вечерами, когда темнота в Риме словно никак не решается вступить в свои права, бывало так чудесно!

«Жаль, что я понял это только теперь»,— думал Балестрини, глядя в пустоту. И ощутил ту сладкую жалость к себе, которая заставляет человека хлюпать носом. Он с надеждой подумал, что вечером мать ему не позвонит. Дня три назад он вдруг почувствовал, и ощущение это было новым и пугающим, что материнские звонки ему осточертели. Хватит с него утешений вроде «бедный мой сыночек», макаронных запеканок, нескончаемых вопросов. Материнское участие его не столько утомляло, сколько злило. Вчера он это понял окончательно, ничуть не испытывая чувства вины. Председательша вечно заводила разговор о Джованнелле. Она разрывалась между двумя противоречивыми желаниями: чтобы сын либо утвердил свои юридически неоспоримые права на девочку, либо вообще умыл руки

и отказался от Джованнеллы. «Она, собственно говоря, не твоя родная дочь». «До чего же все это мне надоело!» — подумал Балестрини. Однажды он даже хотел возразить, но тут бесконечные материнские рассуждения сменились раздраженными жалобами на головную боль, на то, что в ее возрасте надо вести более спокойную жизнь. Нет, если она позвонит снова и начнет читать ему мораль, он ей все выскажет. Твердо, вежливо, как подобает хорошему сыну. И когда он это решил, вдруг зазвонил телефон. Он криво усмехнулся, должно быть от нервного напряжения.

— Слушаю,— сказал Балестрини, чудом удержавшись, чтобы непроизвольно не сказать: «Слушаю, мама». В трубку полился поток междометий и бессвязных слов, который у людей нерешительных обычно предшествует тому моменту, когда они, наконец, называют себя и ясно излагают, чего хотят.

— Гм... да, это... добрый вечер. Говорит секретарь генерального прокурора... а, это вы, доктор Балестрини?

— Да.

— Ах, простите, доктор, что так поздно, но я хотел... я вам звонил из прокуратуры до самого полудня...

Балестрини удивился, что он не сказал: «от госпожи прокуратуры», ведь он беспрестанно повторял: «от господина прокурора». Андреа улыбнулся — он был доволен, что звонила не мать. Ему есть что сказать и секретарю господина генерального прокурора.

— Я спал. Был дома, но спал. Обессилев от долгого ожидания,— добавил он и не сразу дождался ответа.

17

Часа в два ночи Рената проснулась и скоро поняла, что снова заснуть ей вряд ли удастся. Нет, ей не снились кошмары, простыни не были влажными от пота, пульс бился ровно, и она не испытывала чувства подавленности. Просто сон вдруг пропал.

Она зажгла свет, надеясь, что это все же не разбудит Джованнеллу. Девочка только сердито вздохнула и повернулась на другой бок. Рената тихонько встала, прислушалась: в соседней комнатке громко храпел Джино. Ей захотелось на него взглянуть, и она с нежностью представила себе, как он, лежа на спине, раскрытым ртом втягивает воздух. Но если он проснется, то захочет ее любви, решив, что она за тем и пришла к нему. А ей сейчас было не до того.

Последнее время Джино сильно переменился: у него пропала прежняя охота жить бездумно, развлекаться, работа сделала его человеком зрелым, почти обязательным. Именно он, Джино, прояснил суть их отношений, и в глубине души Рената была ему за это благодарна. Хоть она это смутно и понимала, у нее самой не хватило бы духу признать, что они просто любовники... Джино рассказал ей, что больше не живет с женой, но на развод не подал. «Знаешь, мы с женой решили скоро юридически оформить наш разрыв»,— как бы невзначай объяснил он. Рената поглядела на него с изумлением... «С женой оформить?» Дом на окраине Латины был очень милым, но хранил следы недавнего разрыва. Рената обосновалась в спальне вместе с Джованнеллой, которая, похоже, восприняла «каникулы» как нечто естественное и относилась к дяде Джино слегка настороженно, но с симпатией. Понадобилось целых два дня, чтобы убрать комнаты и навести в них чистоту.

Рената села за письменный стол, который, видно, служил жене Джино туалетным столиком. Действительно, на нем стояло большое овальное зеркало, и желтая столешница была в пятнах самых разных цветов. И никаких бумаг, конвертов, ручек. Вечером Рената вышла и купила все эти мелочи. Письмо, наполовину уже написанное, показалось ей неубедительным. Рената перечитала его, затаив

дыхание, словно ее подстерегало что-то неожиданное, хотя она хорошо помнила каждую фразу.

«Мама»,— прошептала девочка, но во сне. Она немного поворочалась, но не проснулась.

Мысль написать Андреа письмо подал Джино, заметивший, как она не любит звонить по телефону. К тому же поговорить с Андреа просто необходимо. Ведь надо уладить уйму дел, да и, как заметил Джино, «все-таки он помощник прокурора, и если захочет, то может многое...» Что именно, Рената не поняла, но страх, проступавший в его словах, заставил ее сесть за письмо.

Она добавила еще несколько фраз о здоровье Джованнеллы, а потом вдруг отвлеклась — представила себе, как Андреа, прочитав письмо, отложил его и задумался. Наверно, он позвонит матери и прочтет ей все, строчку за строчкой, а сам отделается краткой писулькой. Она стала грызть ручку, которая пахла чем-то горьким, а потом попыталась угадать, каким будет ответ. «Дорогая Рената»,— наверняка начнет он так, ни на секунду не задумавшись над истинным значением слова «дорогая». Не сомневалась она и в другом — ненависти к ней Андреа не испытывает. Ему вообще было неведомо это чувство, он не умел ненавидеть. И все-таки муж отправлял в тюрьму сотни людей, которые не вызывали у него ненависти. Он их лишь презирал. «Они такими родятся, и безжалостное классовое общество тут ни при чем!» — воскликнул он однажды у Де Леонибуса во время ожесточенного спора об истоках преступности.

Ренату эти слова поразили. Не по каким-то этическим причинам, и вовсе не потому, что у нее были иные суждения о социальном положении тех, кто попадает за решетку. При ее пяти классах начальной школы она вообще не понимала значения слова «этика» (как, впрочем, и многих других, которыми Балестрини и его коллеги швырялись во время этих проклятых споров), а свои мнения об обществе заимствовала из популярных журналов. Но примерно такую же фразу она уже слышала прежде. Ее отец, узнав, что она беременна, во время очередного скандала крикнул ей: «Ты родилась шлюхой! А такие потом становятся еще большими шлюхами».

Разглядывая себя в большом овальном зеркале, Рената без конца думала об отце. Овдовев, он почти перестал интересоваться ее судьбой. Но если бы случайно узнал — она на секунду задумалась — о побеге из дома? Нет, о том, что они с Андреа расстались, и о причинах разрыва, то его убеждение насчет шлюх только окрепло бы. «Моя дочь делает успехи. Конечно, когда есть опыт...»

Она снова села за письмо. Уже почти две страницы исписала, но письмо получалось какое-то неискреннее. Ренате захотелось разорвать его в клочки и начать снова. Первыми ее словами были бы: «Андреа, не знаю, как это все произошло...» — и потом можно было бы рассказать о своих переживаниях, чтобы он понял все, в чем она не отваживалась ему признаться во время их редких разговоров.

От Андреа порой веяло ледяным холодом, который словно замораживал. Несколько раз она с изумлением смотрела, как разговаривает с ним Вивиана. К примеру, подруга насмешливо, с иронией спрашивала, уж не крахмалом ли он моется вместо мыла. Впрочем, и Вивиана находила, что он чересчур твердокаменный, хотя по своей привычке обыгрывала и это: «Неужто твой муженек всегда такой твердый? Повезло тебе, Рената. А вот мой Джиджи...» Она мысленно позавидовала Вивиане. Будь она такой же раскованной, она бы схватила Андреа за волосы и крикнула ему в самое ухо крепкое ругательство. Вот бы он был поражен и шокирован, а она взяла бы его и поцеловала... да так же горячо, как целует ее Джино.

Эта мысль совсем сбила ее с толку. Несколько секунд она задум-

чиво грызла ногти. Потом снова взяла ручку и посмотрела на чистую третью страницу.

«Если ты хочешь, чтобы мы встретились в Риме, я могу взять и Джованнеллу. Тогда ты сможешь сам с ней поговорить, ведь ты...»

18

Ровно в полдень генеральный прокурор перестал изучать письмо из Высшего юридического совета и принял свою излюбленную позу полнейшей сосредоточенности: руки лежат на письменном столе, но вовсе не неподвижно — наоборот, пальцы барабанят по гладкой поверхности, нижняя губа выпячена, лицо достаточно хмурое, взгляд устремлен в одну точку. Обычно это производило на посетителя сильное впечатление.

Взглянув на большие настенные часы с маятником, он понял, что самое время сделать первый ход. Он нажал на кнопку интерфона.

— Слушаю, ваше превосходительство!

— Пригласите Балестрини.

— Сию минуту,— ответил секретарь, и прокурору показалось, что в его голосе прозвучала нотка облегчения. Он подождал немного. Секретарь вошел — прокурору снова показалось, что он доволен,— доложил о посетителе и, чуть заметно улыбнувшись, поспешил обратно в приемную.

— Добрый день,— произнес Балестрини, приближаясь к столу прокурора, тот привстал и, пытаясь скрыть удивление, протянул ему руку.

Прокурору было известно буквально все об этом молодом чиновнике, и поэтому он никак не ожидал, что Балестрини явится к нему на прием без галстука.

— Садитесь,— пригласил он Балестрини широким жестом бледной руки и тут же заметил, что тот положил на стол черный кожаный портфель.

— Вы хотели поговорить со мной, не так ли? Да, да, кажется, несколько дней тому назад вы просили принять вас...

— Если быть точным, девять раз,— ответил Балестрини, но генеральный прокурор не переспросил: «Что девять раз?» — такого удовольствия он этому невеже не доставит.

Тем временем Балестрини извлек из кожаного портфеля магнитофонные пленки, бумаги и положил все это на стол. Потом буквально впился в генерального прокурора взглядом. Выражение лица Балестрини было странным — напряженным, сосредоточенным и в то же время каким-то насмешливым.

— Ваше превосходительство, благодаря нескольким лицам, которых, увы, теперь уже нет в живых, погибшим, притом не случайно, мне в руки попало несколько документов и улик, не оставляющих, как мне кажется, места для сомнений — налицо... заговор, имеющий целью уничтожить существующий государственный строй. Как вы сами убедитесь, осуществление переворота намечено на седьмое июля. Значит, осталось меньше двух недель — и этого срока едва хватит, чтобы принять соответствующие меры на всех уровнях.

— Вы уверены, что ваши утверждения соответствуют действительности?

— Я ничего не утверждаю — я лишь излагаю результаты расследования, которое вел безвременно погибший капитан Де Дженнаро, а также данные, содержащиеся в этих материалах. Но даже если и нельзя было бы поручиться за их достоверность, по-моему, стоило бы, учитывая крайне опасную ситуацию, провести проверку.

Настал момент одобрительно улыбнуться, и генеральный прокурор не преминул одарить Балестрини улыбкой.

— Дорогой Балестрини, вы превратно меня поняли. Я не собираюсь ограничиться формальностями. Ваше мнение мне крайне важно, ведь я не случайно задал свой вопрос,— негромко произнес он и мягким жестом дал понять, что великодушно принимает все извинения Балестрини. Затем показал на горку документов и пленок. — Можете вы вкратце изложить содержание этих... материалов, как вы их назвали?

За четверть часа — генеральный прокурор слушал и внимательно за ним наблюдал — Балестрини сообщил его превосходительству все, что могло того интересовать.

Этот молодой человек был явно не великий оратор и часто прибегал к тяжеловесным, замысловатым фразам. Его возбужденное состояние давало о себе знать и в речи: он говорил бессвязно, как может говорить человек в рубашке без галстука, с покрасневшими глазами и усталым лицом, с грязью под ногтями. Впрочем, откровенная враждебность молодого прокурора не раздражала этого матерого волка, напротив, он с трудом сдерживал улыбку, когда Балестрини позволял себе довольно-таки прозрачные намеки.

Однако само изложение фактов было убедительным. Правда, Балестрини с чрезмерной легкостью называл некоторые имена. В большинстве своем людей влиятельных, по сей день занимающих ответственные посты. И этих-то людей молодой человек собирался привлечь к суду?! Если, строго говоря, следовать методу дедукции, подозрительными были все до единого телефонные разговоры, записанные на пленки. Разговоров, действительно компрометирующих этих лиц, было всего два-три, но на основании отдельных фраз и вполне однозначных данных можно было считать предосудительными и другие телефонные беседы, на первый взгляд абстрактные. Если же взглянуть на них с юридической точки зрения, то они вообще утрачивают свой внешне невинный характер и дают повод подозревать многих, слишком многих.

Внезапно генеральный прокурор поднял руку:

— Простите, как вы сказали?

— Относительно чего?

— Повторите, пожалуйста, последнюю фразу. Этот молодой заключенный...

— Баллони. Джакомо Баллони.

— Якобы убил Де Дженнаро... самовольно взяв... скажем так, отпуск и вернувшись затем в камеру с такой легкостью, словно тюрьма «Реджина Чёли» — это отель «Плаза»?

— Да, и это не предположение. Я давно догадывался, но как-то не верилось.

— И не зря.

— ...Но сам Баллони признался... в конце допроса...

Глаза генерального прокурора сузились и смотрели в пустоту. Он искал важную подробность, осевшую в глубинах памяти. Затем улыбнулся и легонько кивнул, словно подтверждал что-то известное лишь ему одному. Впрочем, в этом трюке не было надобности — Балестрини и так уже несколько секунд молчал, в растерянности глядя на него.

— Если не ошибаюсь, дорогой Балестрини, этот... неофициальный допрос, о котором вы упомянули, закончился потасовкой. В ходе потасовки вы грозили Баллони и даже... избили его?

— Собственно говоря, это не было потасовкой, и потому я не могу сказать, что его избил. О чем искренне сожалею. Бывают такие минуты, господин прокурор, когда хочется...

Генеральный прокурор понял, что молодой человек собирается атаковать его сентенцией вроде: «Кто находится, как я, на передовой, в окопах, где кишмя кишат вши и крысы, тот имеет, по крайней мере, право требовать, чтобы его не судили, не разобравшись

толком, люди, которые...». Прокурор внезапно поднялся, смягчив свою саркастическую улыбку, и подошел к огромному окну. Разумеется, Балестрини умолк и не решался продолжать, лишь следя за ним взглядом.

— Впрочем, я могу вас понять,— произнес прокурор тишайшим голосом,— я могу вас понять, хотя существуют законы профессиональной этики, которые должны соблюдаться неукоснительно. Но, познакомившись с вашим личным делом, я пришел к заключению, что вы примерный блюститель закона, способный...

— Я был таким,— процедил сквозь зубы Балестрини, но прокурор притворился, будто не расслышал.

— Во всяком случае, я готов вас понять. Еще и потому, что... прежде чем вас вызвать, я потребовал сведения о вас, ибо меня удивила... дерзость, да, именно дерзость и даже наглость, с какой вы явились в мою приемную...

— Я пришел выполнить свой долг.

— ...И я узнал,— продолжал генеральный прокурор, никак не отреагировав на реплику и, главное, не глядя в лицо собеседнику, который весь побагровел,— что помимо служебных затруднений и опасности, которым вы подвергались также в связи с судом над Буонафортуной, вызвавшим такой шум, я узнал, что у вас сейчас довольно сложная семейная ситуация. — Он догадался, что Балестрини совершенно потрясен и можно даже ждать в ответ взрыва негодования, и потому небрежно махнул рукой: мол, его сведения этим и ограничиваются. — Теперь вам понятно? — заключил он, не уточнив, к чему относятся последние слова.

Ответа не последовало. К счастью, зазвонил телефон, и генеральный прокурор минут пять что-то обсуждал с невидимым собеседником, хотя прекрасно мог отложить беседу. Затем многозначительно посмотрел на часы.

— Дорогой Балестрини,— начал он, прохаживаясь взад и вперед за спиной у посетителя, которому приходилось беспрестанно вертеться на стуле, чтобы смотреть прокурору в лицо.— Дорогой Балестрини,— повторил он после бесконечно долгой паузы,— позвольте вам, однако, сказать, что я ценю ваше рвение преданного блюстителя закона.

Он остановился у окна и открыл его. Затем сделал Балестрини знак подняться, взял его под руку и подвел к подоконнику.

— Какую грозную дату вы мне назвали, Балестрини?

— Седьмое июля.

— И какого же года?

Сквозь ткань пиджака он ясно ощутил, как напряглись мускулы Балестрини. Он почувствовал — молодой человек смотрит на него в полной растерянности, и в ответ лишь пожал плечами, не скрестив с ним взгляда.

— Значит, год с точностью не назван. А если речь шла о седьмом июля прошлого года?

— Вы шутите?— пробормотал Балестрини. Генеральный прокурор повернулся к нему и улыбнулся, но не иронически, а скорее отечески.

— Это не гипотеза, дорогой Балестрини: я навожу вас на след, на самый важный след. Седьмое июля, которое так вас пугает, уже прошло. Попробуйте вновь прослушать пленки, и вы убедитесь, что ничто этого не опровергает.

— Вы их уже видели? Прослушали?!

— Да нет же, нет! Но я в курсе дела, и мне известно, что все обстоит именно так.

— Откуда вам это известно?!— воскликнул Балестрини, и генеральный прокурор окинул его суровым взглядом.

— Соблюдайте хотя бы правила приличия. Я вам не Джакомо Баллони и потасовки не допущу.

— Я не...

— Оставим это. Вы задали мне вопрос, и я вам отвечу.

Генеральный прокурор неторопливо раскурил трубку. Больше он не имел права на ошибку. Теперь он понял, что за тип этот Балестрини, который смотрит на него словно мальчишка, заставший свою мать в постели с любовником. Он разочарован, этот наглый молодой человек, поэтому и говорит с ним так агрессивно и с такой горечью. Но еще больше он растерян, и потому его легко можно подмять, если крепко схватить за горло.

— Когда я спросил, о каком седьмом июля идет речь в вашем докладе, я, дорогой Балестрини, хотел сказать, что седьмое июля уже миновало, и то, чего вы так боялись, уже произошло. Как бы это назвать... путчем?

— Но я ничего не заметил,— непроизвольно вырвалось у Балестрини, и генеральный прокурор шутливо погрозил ему трубкой.

— Все потому, что вы привыкли к южноамериканским путчам: обстрел президентского дворца, обращение к народу по радио, танки на всех перекрестках, чрезвычайное положение, комендантский час и так далее. Конечно, нельзя отрицать, что при политической и социальной ситуации... южноамериканского типа подобные методы могут принести свои плоды. Я уже не говорю о тех случаях, когда не существует альтернативы и действовать можно только таким путем. Однако, дорогой Балестрини...

Он ухмыльнулся и вскинул сложенные вместе ладони — его рассмешил вид молодого человека, который слушал его как зачарованный. Скажи ему сейчас, что два вооруженных до зубов самурая за его спиной готовятся его убить, он бы поверил и тотчас обернулся.

— ...Дорогой Балестрини, неужели вы допускаете, что в Италии... где двенадцать миллионов голосуют за коммунистов, а многочисленные отряды вооруженных ультралевых готовы сражаться даже за университетскую реформу, где полно бывших участников Сопротивления... даже если принимать в расчет лишь еще физически крепких, активных и наиболее непримиримых, при столь резко выраженных антиправительственных настроениях и недовольстве в стране... вы допускаете, друг мой, что горстка военных, получивших жалкие подачки и устаревшее оружие из арсеналов НАТО, действительно способна свергнуть конституционную республику?! По-нашему, они в состоянии арестовать сто тысяч человек и взять под полный контроль еще два миллиона, установить свою власть по всей стране и создать действенное, хорошо подготовленное правительство, которое пришлось бы по душе хотя бы наиболее консервативным слоям населения? Вы подумали о том, что мы входим в Европейское сообщество? Вы полагаете, что мы можем из него выйти, точнее говоря, позволить, чтобы нас оттуда выгнали, едва мы образуем правительство правых, опирающееся на армию? Да и на какую армию? Десятки тысяч молодых коммунистов, призванных на военную службу и расклеивающих на стенах казарм плакаты с портретами Альенде и Че Гевары, десятки тысяч парней без всяких убеждений, которые умеют обращаться с оружием не лучше нас с вами и легко пойдут за однополчанами левого толка!.. Ну и, наконец, офицеры и унтерофицеры, не выигравшие ни единой войны, зато потерпевшие ряд неудач в поисках работы. Полиция? Карабинеры? Не стану излагать вам свое мнение о полиции... Но, поверьте, чтобы держать в узде почти шестьдесят миллионов, требуется кое-что иное.

— И что же из этого следует?

— А то, что вероятность путча южноамериканского образца нужно исключить заранее. Остается проблема, как воздвигнуть прочную плотину против коммунизма, который затопляет все вокруг и, увы, может в нашей несчастной, тонущей стране впервые взять власть не революционным путем, а в результате парламентских вы-

боров. Возможность, которая наконец-то стала не столь опасной благодаря... благодаря седьмому июля, о котором шла речь, дорогой Балестрини.

— Не понимаю.

— До сих пор?

— Я не понимаю, к чему вы клоните. Пленки...

— На ваших пленках записана лишь болтовня нетерпеливых людей, которые в состоянии эйфории на миг забыли об осторожности. Видите ли, Балестрини, все дело в людях. Что такое, в сущности, государственный переворот? Замена одних людей другими. Такими, которые заложат основы новой идеологии и социальной политики. Неужели, чтобы этого добиться, надо непременно прибегать к кровопролитию? Люди, которые занимают в Италии ключевые посты, могут быть заменены... и это уже происходит... начиная с седьмого июля прошлого года. Нужные люди на нужных местах. Постепенно, когда необходимые связи будут установлены и отработаны, эти люди составят ядро президентского конституционного правления, которое, по моему, и не только моему, убеждению, является единственным оплотом против коммунизма, процветающего у нас именно из-за чрезмерной приверженности к послевоенной конституции. Только такая сильная власть может спасти Европу.

Прокурор сделал паузу и, ожидая вопроса, с любопытством стал разглядывать почти потухшую трубку. Но вопроса не последовало.

— Тут вы могли бы спросить, как происходят подобные замены, но я по вполне понятным вам причинам, увы, не в состоянии вдаваться в детали, перечислять имена и фамилии. Однако возьмите мой случай...— добавил генеральный прокурор, и его светлые глаза прицелились в Балестрини, который, похоже, растерялся от всего услышанного и был не способен хоть как-то отреагировать на эти слова.

— Мой предшественник, блистательный Мариани-Таццоли, подал в отставку за несколько лет до наступления предельного срока службы. Это не произошло седьмого июля прошлого года лишь потому, что многочисленные перемещения и замены, проведенные сразу, все вместе, наверняка бы вызвали подозрения... Ну, и еще из-за того, что трудно было... гм... добиться его отставки.

— Добиться?

— Именно так.

— Не понимаю.

— Да перестаньте же упорствовать, Балестрини! Сойдите со своего пьедестала молодого и возмущенного блюстителя правосудия. Все это не имеет ни малейшего отношения к правосудию; здесь действуют высшие интересы. Вы же не раз отпускали домой отца многочисленного семейства, совершившего мелкую кражу? Несколько месяцев тюрьмы, хоть воришка и заслужил их, мало интересовали вас. А вот для оравы его детей это было очень важно. То же самое и в вашем случае. Вы упорно, уж позвольте вам это сказать, по-детски, дуетесь из-за того, что ваше расследование затормозилось и ему чинят препятствия, что помощник прокурора не пошел вам навстречу, а я не принял вас немедленно, как вы того ожидали. Друг мой, сейчас есть люди, которые прилагают усилия в надежде кое-что поправить, если это еще возможно...

— Так много слов, чтобы объяснить мне, что значит «добиться» отставки?— прервал его Балестрини. Но разящего сарказма, как отметил про себя генеральный прокурор, в голосе молодого человека уже не было.— Мне больше незачем знать, что значит «добиться» отставки кого-либо. Я и так знаю слишком много... серьезнейших проступков, которые, вероятно, останутся безнаказанными. Сейчас я пытаюсь вспомнить, сколько человек ушло в отставку или исчезло с политической арены за последние двенадцать месяцев. Боюсь, что

хотя некоторые случаи, очевидно, не связаны именно с этой ситуацией... Мне даже помнится, что несколько раз...

— Продолжайте.

— Несколько раз,— повторил Балестрини, который явно колебался, говорить ли дальше,— определенные лица были заменены другими вследствие их смерти. Но были и самоубийства, дорожные катастрофы, однажды была подложена бомба... хотя, понятно, я не думаю...— Он умолк и вопросительно посмотрел на генерального прокурора. Но тот молчал, не отрывая от него взгляда. За окном, прямо над ними, пролетел голубь, но оба даже не взглянули на него. Потом старший из них отошел от окна и снова уселся за письменный стол. Похоже, его ничуть не смутило то, что Балестрини не сразу вернулся на свое место. Генеральный прокурор заметил, что молодой человек сильно побледнел, но так и не произнес больше ни слова.— Это... чудовищно,— прошептал наконец Балестрини, и генеральный прокурор утвердительно кивнул головой.

— Это политика, друг мой. И хочу добавить, что, в сущности, я выполняю доверенное мне дело, хотя вам это и может показаться скандальным. При принятии самых важных решений я целиком и полностью употребляю свою юридическую власть... Одним словом — в осуществлении руководства страной. Может, вы думаете, что Высший совет поставил меня на этот пост, чтобы я расправлялся с карманными и квартирными воришками?

— Нет. Вас поставили, чтобы вы непосредственно участвовали в заговоре против государства,— процедил сквозь зубы Балестрини, а прокурор только улыбнулся в ответ, без тени досады. Как дедушка семи внуков, он к подобным выпадам был просто нечувствителен. Он прекрасно знал, какое у него сейчас выражение лица, и видел, сколь сильно оно подействовало на его собеседника.

— Какое государство вы имеете в виду, Балестрини? Государства как определенного понятия не существует, оно проявляет себя в составляющих его институтах. Один из таких институтов — возглавляемая мною служба генерального прокурора республики. Я не плету заговоры против государства, я его составная часть. И в данный момент я пытаюсь как-то помочь его укреплению, а не—простите за грубость — удрать, прихватив кассу...

— Я остаюсь при своем мнении.

— Очень хорошо, что же вы собираетесь предпринять? Устроите пресс-конференцию, где объявите, что кто-то потихоньку плетет заговоры? Какие доказательства вы представите?

— У меня есть пленки,— сказал Балестрини и непроизвольно взглянул на письменный стол, куда он положил пленки и документы, найденные при обыске в доме графа Саворньяна. Он даже не заметил, как они исчезли.— Вы их... взяли?

— Разве вы не принесли эти пленки, чтобы я их прослушал? Посмотрим, являются ли они в самом деле убедительным доказательством.

— Копии этих пленок я отдал в судебную полицию,— пробормотал Балестрини, и генеральный прокурор одарил его широкой улыбкой, сразу смягчившей напряжение.

— Зачем вы мне это сказали? Боитесь, что я их спрячу, эти пленки? И прикажу уничтожить те, что находятся в судебной полиции? О, такие предположения заставляют думать, что вы действительно способны созвать пресс-конференцию. Ну и что же вы там скажете? Что некий юноша на несколько часов покинул тюрьму «Реджина Чёли» с целью совершить политическое преступление и при этом кто-то сверху прикрывал его, создав ему превосходнейшее алиби?

— Вот это я постараюсь выяснить, чтобы...

Настал подходящий момент. Повелительным жестом генеральный прокурор остановил Балестрини. Улыбка исчезла, уступив ме-

сто суровому выражению лица, каковое и подобает высокопоставленному чиновнику, гуманному, однако непреклонному.

— Вы больше ничего не будете по данному вопросу выяснять. С этого момента следствие по делу «Баллони — Россетти — Де Дженаро» не входит в вашу компетенцию. Надеюсь, вы поймете причины, по которым я решил передать дело в более высокую инстанцию и, вероятно, поручу его в дальнейшем одному из ваших коллег. Ваше состояние, дорогой Балестрини, как в том, что касается этой сложной истории, так и в связи с вашими семейными неурядицами, не вполне соответствует...— и он заключил фразу многозначительным жестом — разве тут нужны дополнительные объяснения?

На секунду Балестрини застыл в полной растерянности, и генеральный прокурор даже слегка забеспокоился. Впрочем, он был слишком уверен в конечном результате, чтобы испытывать серьезные опасения. Старая, проверенная тактика никогда его не подводила: отступать, когда противник атакует, и атаковать, когда он отступает. Он знал, какое заслужил за это прозвище, и оно ему даже льстило. «Эластик», в этом слове не было ничего оскорбительного. Скорее в нем проступало досадливое восхищение, чем подлинное презрение. Когда ему показалось, что Балестрини проглотил и эту горькую пилюлю (хорошо, что больше пилюль давать не понадобится, а то Балестрини и так на пределе), он поднялся и, обойдя письменный стол, снова примирительно улыбнулся, протянув посетителю руку, которую тот машинально пожал и тоже встал со стула.

— Держитесь, дорогой Балестрини, держитесь. С этой минуты забудьте обо всем. По-моему, вы приняли эту историю слишком близко к сердцу. Право же, слишком. Что вы собираетесь теперь делать?

— Стать курьером.

— Простите. Не понял?— удивился генеральный прокурор и, забыв, что искусно выпроваживал посетителя из кабинета, внезапно остановился. Они стояли почти у самой двери. Балестрини грустно улыбнулся. Похоже, он сказал это вовсе не в запальчивости.

— Стану курьером. Кем же еще? Нельзя же быть блюстителем закона через день. Сегодня я им не был... и мне остается лишь утешаться сознанием того, что выполнить свой долг мне мешали всеми возможными способами.

— Вы намерены подать в отставку?— подсказал генеральный прокурор, слегка подталкивая его к двери.

— Не знаю. Возможно, не так сразу. Я не герой — я зарабатываю на жизнь своей работой и, пожалуй, не умею делать ничего другого. Теперь я обнаружил, что это — всего-навсего ремесло и к тому же жалкое, но даже самое механическое, ничтожное из ремесел все-таки позволяет человеку как-то прожить. Не знаю... У меня много других важных проблем, над которыми следует сейчас поразмыслить. Потом видно будет...

С завидной быстротой генеральный прокурор воспользовался последней паузой и протянул Балестрини руку, но, к великому его изумлению, тот в ответ руки ему не подал.

— Нет, спасибо,— вежливо ответил Балестрини, словно старик прокурор протянул ему коробочку мятных леденцов, и направился по коридору к выходу.

Генеральный прокурор, выглянув за дверь, убедился, что никто не наблюдал за этой сценой, и, облегченно вздохнув, неторопливо вернулся к письменному столу. Набрал номер по одному из двух стоявших на столе телефонов. Немного подождал и заговорил с невидимым собеседником. Он кивнул, улыбнулся, уточнил, вновь улыбнулся, ответил на вопрос, сам спросил, хмуря лоб, ответил отрицательно, кивнул, улыбнулся, попрощался и осторожно повесил трубку.

Летний жаркий день врывался в раскрытое окно, и плывущее по небу солнце задевало своими лучами и краешек письменного сто-

ла. Мелкими шажками генеральный прокурор подошел и задернул занавески, оставив, однако, окно распахнутым. Затем снова подошел к окну, и солнце рассыпалось искрами по его гладкому сверкающему черепу. Голубь, быть может тот же, что перед этим подслушивал их разговор, сел рядом на карниз. Но едва завидев человека, мгновенно взмыл ввысь.

С полминуты старик созерцал раскаленное добела небо. Потом, перегнувшись через подоконник, взглянул вниз. На улице почти никого не было, и он сразу узнал Балестрини, который уходил все дальше. Походка у него была какой-то странной, развинченной, он перекинул пиджак через плечо и поддерживал его кончиками пальцев.

19

Первым его побуждением было пройтись пешком. Совершить длинную прогулку, когда незаметно одолеваешь километр за километром и ноги сами несут тебя вперед. Но после короткой передышки в баре Балестрини понял, что едва ли доплетется даже до ближайшей стоянки такси.

Его обуревала жажда деятельности, абсолютно необъяснимая, ведь из кабинета генерального прокурора он вышел совершенно подавленным. Мысль съездить домой и отлежаться, пока не спадет зной, тоже не очень пришлась ему по душе. Он вспомнил об одной фразе, которую сказал там, у генерального прокурора. Как именно она звучала? «У меня много других вопросов... нет, других важных проблем, над которыми следует сейчас поразмыслить». Он улыбнулся. Фраза в самом деле была эффектной, но самое смешное, что это правда. Ему надо отыскать Ренату, поговорить с ней, увидеть девочку и, если удастся, привезти обеих домой.

— Вилла Боргезе,— сказал он таксисту, который подобрал его у светофора. Ему хотелось, да и нужно было немного подумать. Неплохо было бы полежать там под деревом, пока хорошая идея не придет сама собой. Они ехали по мосту через Тибр, когда он понял, что этот отдых в парке будет пустой тратой времени.

— Площадь Мадзини,— негромко сказал он. Таксист, который с каждым километром все больше становился похожим на актера Альдо Фабрици [1], повернулся, решив, что ослышался.

— Куда?

— Площадь Мадзини, едем на площадь Мадзини.

— Но вы же сказали...

— Я передумал.

— Э, по мне, так хоть...— пробурчал таксист, всем своим видом показывая, что ему наплевать, но заметно было, что он недоволен. В зеркале заднего обзора он постарался получше разглядеть глаза клиента, который повел себя так странно.

«У таксистов и прокуроров в последние годы возникают одинаковые заботы,— подумал Балестрини,— их клиенты становятся все труднее и опаснее».

Мало-помалу им овладело необычное возбуждение. Конечно — взять машину и поехать в Латину. Отыскать в справочнике адрес этого предприимчивого молодого человека, пойти туда и нажать кнопку интерфона. А там видно будет.

— Остановитесь,— сказал он.

— Что?

— Остановитесь-ка на минуту.

Цветы Вивиане? Пока владелец цветочного магазина записывал адрес, он подумал, а стоит ли. Ведь к тому же придется послать цветы анонимно — вдруг их получит Джиджи. Значит, потом предстоит

[1] Известный итальянский киноактер.

еще рассказывать Вивиане, что цветы послал он, Балестрини. Пожалуй, для того, чтобы ее удивить,— признался он самому себе. Вивиана переберет в уме человек тридцать, ставя эти розы в гостиной, и он будет на самом последнем месте, если только она вообще о нем вспомнит.

Он довольно улыбнулся, пересекая бульвар, и, уже подходя к поджидавшему его такси, поймал брошенный на него тайком испытующий взгляд толстяка таксиста. Представляю себе, что он обо мне думает: «А ведь казался таким почтенным господином». Он снова улыбнулся, опустившись на сиденье.

— Куда едем?

— Как куда?! На площадь Мадзини, куда же еще?

— А, ну да.

— Поторапливайтесь, а то уже поздно!

Но именно потому, что уже вечерело и уличное движение затихло, они приехали вовремя. Он оставил таксисту на чай шестьсот лир, и тот от изумления забыл даже поблагодарить.

Охваченный лихорадочным возбуждением, все перевернув вверх дном, он быстро переоделся — легкие брюки и трикотажная рубашка с короткими рукавами. Собрал все наличные деньги, которые нашел, часть положил в бумажник, часть сунул в карман. Потом бросился к телефону, но было уже поздно — Чентанни ушел из прокуратуры домой.

Перелистывая телефонный справочник, он в спешке порвал несколько страниц и торопливо набрал нужный номер, в надежде, что Чентанни не задержался по дороге. Ответил тоненький голосок, который напомнил ему голос Джованнеллы в детстве.

— Папа дома?

— Кто?

— Папа.

— Не знаю,— ответила девочка, подумав, и тут кто-то взял у нее трубку. Послышался нежный голос, который мог принадлежать только очень красивой женщине.

— Кто говорит?

— Моя фамилия Балестрини, синьора. Не могли бы вы попросить доктора Чентанни.

— Балестрини?

— Да.

— Минуточку.

Пожалуй, даже до генерального прокурора было легче дозвониться, подумал он с улыбкой. И наконец услышал голос Чентанни.

— Это я, Балестрини,— сказал он и с нетерпением стал ждать, когда иссякнут радостные и удивленные восклицания.

— Послушай, ты спрашивал насчет моего отпуска? Так вот, он начинается сегодня. Потом я дам тебе знать, когда намерен вернуться.

— Но извини, Балестрини... я не понимаю...

— Это все из-за врат закона, Чентанни. Я вынужден сам их за собой закрыть,— объяснил он и представил себе, как старина Бауэр засмеялся бы и, довольный, зааплодировал.

— Врата?— пролепетал Чентанни.

— Да, чао.

Что еще нужно сделать? Он машинально опустил ставни, выключил газ, свет и вынул ключи. Неожиданно зазвонил телефон. В первый миг он по давней привычке хотел взять трубку. Но ответить стоит, только если звонит Рената. Ренату же он так или иначе увидит самое позднее часа через два. Когда он закрывал дверь, телефон все продолжал звонить. А когда он в последний раз повернул ключ в замке, на их этаже остановился лифт, и из него вышли супруги Конти.

— Добрый день... не закрывайте, пожалуйста.

— Здравствуйте, доктор,— поздоровался с ним Конти, дородный, почти лысый мужчина с приятной улыбкой. Его жена, женщина лет сорока, довольно миловидная, отодвинулась, пропуская Балестрини к лифту, и посмотрела на его рубашку с короткими рукавами.

— Уезжаете отдыхать?— пропела она. Голос у нее был куда более тонким, чем можно было предположить по ее комплекции.

— Еду к жене.

— Она отдыхает на море?

— Нет, удрала из дома, как вы прекрасно знаете. И я еду, чтобы привезти ее,— ответил он и улыбнулся на прощание.

Когда лифт с гудением приближался к четвертому этажу, он услышал приглушенный мужской голос:

— Вечно ты ляпнешь что-нибудь невпопад. Помолчать не можешь!

Ответа — наверняка едкого — он не услышал. Из лифта он вышел с той же широкой улыбкой.

— Все в порядке, доктор?— приветствовал его швейцар.

— Более или менее.

В сущности, это было не так, но он по-прежнему улыбался и тогда, когда открывал дверцу машины и когда, опустив стекло, что-то насвистывая, стал искать в связке ключ зажигания.

За мгновение до смерти он заметил у своего виска чью-то руку. Рука что-то сжимала, но повернуться и посмотреть, что именно, он не успел.

◆

Критика

Ю. БОГДАНОВ

ЭНЕРГИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

К сорокалетней годовщине Словацкого национального восстания

Великая интернациональная эпопея борьбы с фашизмом оставила неизгладимый след в памяти миллионов людей. Она вошла в сознание народов как эпоха массового героизма, неисчерпаемых возможностей человеческого духа, поднявшегося на защиту завоеваний общественного и культурного прогресса. Для большинства стран Центральной и Юго-Восточной Европы, которым первыми пришлось испытать все губительные последствия варварской, человеконенавистнической практики фашизма, движение Сопротивления стало прологом народно-демократических и социалистических революций, положило начало качественно новому этапу в их национальной истории.

К таким событиям поворотной стратегической значимости относится и Словацкое национальное восстание (август — октябрь 1944 г.), сыгравшее решающую роль в судьбах словацкого народа, во многом предопределившее революционно-демократический и социалистический характер всего послевоенного развития Чехословакии. «Восстание, — писал об опыте словацкого антифашистского Сопротивления один из его основных организаторов, выдающийся поэт-коммунист Ладислав Новомеский, — прежде всего реабилитировало словацкий народ в глазах революционных народов Европы и демократического мира и раз и навсегда перечеркнуло мнение, что его «судьба», его историческое проклятие — роль прислужника контрреволюционной реакции...»[1].

Словацкое национальное восстание как многогранный фактор трансформации национального характера, как немеркнущая духовная традиция и плодотворный критерий оценки последующих общественных преобразований стало фундаментом всего послевоенного развития словацкой литературы, важнейшим катализатором ее роста и художественного обогащения. Проникаясь антифашистским пафосом, литература расширяла свои горизонты, диапазон воздействия, вела целеустремленный поиск новых средств художественной изобразительности. Сегодня, с дистанции в сорок лет, особенно очевиден непрерывный идейно-художественный процесс освоения словацкой литературой опыта антифашистской борьбы во всей его многозначности и многослойности.

Корни этого знаменательного процесса уходят в 30-е годы, когда чешская и словацкая литературы в лице своих самых талантливых, ведущих писателей забили тревогу, предостерегая человечество от угрозы набиравшего силу фашизма и войны. Достаточно вспомнить «Войну с саламандрами» и «Белую болезнь» К. Чапека, поэтическую «Сонату земных горизонтов» Ст. К. Неймана с красноречивым эпиграфом из «Моби Дика»: «О жизни думали мы — я и капитан Ахаб. И о том, как спасти всех людей...», страстную публицистику Ю. Фучика и ряда других представителей демократической и революционной культуры. В силу известных исторических обстоятельств события тогда приняли трагический оборот.

В марте 1939 года, преданная в Мюнхене западными союзниками, прекратила существование буржуазная Чехословацкая республика; Чехию и Моравию оккупировали германские войска, Словакия же из рук Гитлера получила статус «независимого», а по существу вассального, марионеточного

[1] Л. Новомеский. Предисловие. В кн.: Г. Гусак. Свидетельство о Словацком национальном восстании. М., 1969, с. 9.

государства, у руля которого оказалась католическая «народная» партия, местные клеро-фашисты, «людáки», давно добивавшиеся у Праги политической автономии. Спекулируя на патриотических чувствах земляков, они старались теперь выдать свершившееся за реализацию «тысячелетней мечты» словаков о достижении самостоятельности, об освобождении от «кабалы пришлых элементов», объявляли себя борцами за истинно национальные ценности, насаждая по образцу гитлеровского рейха режим «расовой чистоты», нетерпимости ко всем «инакомыслящим», прежде всего к коммунистам. Все это переслаивалось ханжескими проповедями о «христианском солидаризме», любви к ближнему, восхвалениями «великой прозорливости отцов нации», якобы уберегших Словакию от кровавой купели второй мировой войны.

А в 1941 году по указке Гитлера Словацкое государство вступило в войну против Советского Союза, и словацкие парни были отправлены на Восточный фронт проливать кровь за фюрера, за президента в черной сутане, преподобного Йозефа Тисо. Тогда-то и начали стремительно прозревать обманутые люди, и на фронте и в тылу стали развеиваться иллюзии, если у кого они оставались, относительно особой, «национально-спасительной» миссии Словацкого государства. Все честное, не потерявшее совесть, истинно патриотическое и демократическое принялось исподволь, постепенно консолидироваться на антифашистской платформе, готовясь к решающей схватке с предателями коренных интересов нации и народа. В авангарде этого процесса шли коммунисты.

Осенью 1943 года по инициативе нелегального Центрального руководства Коммунистической партии Словакии (К. Шмидке, Г. Гусак, Л. Новомеский) был создан в подполье Словацкий национальный совет, объединивший силы антифашистского лагеря и взявший курс на подготовку вооруженного восстания. Антифашистские настроения захватили и армию. Участие словацких дивизий в войне против Советского Союза на стороне гитлеровской Германии никогда не было и не могло быть популярно в народе. Словаки издавна, по традиции, связывали с русскими свои надежды на освобождение от многовекового национального гнета, а после победы Великой Октябрьской социалистической революции широкие массы трудящихся видели в Советской России притягательный пример коренных социальных преобразований. Солдаты словацкой армии на фронте отказывались стрелять в русских братьев, старались воспользоваться любым подходящим случаем, чтобы перейти на сторону Красной Армии. Так было в Белоруссии, где капитан Ян Налепка, удостоенный позднее звания Героя Советского Союза, привел свое подразделение к белорусским партизанам. Так было на Украине, под Мелитополем, когда около 3000 солдат и офицеров с оружием в руках перешли в расположение советских войск, заявив о желании сражаться с фашистами. Чехословацкий армейский корпус, созданный в это время в Советском Союзе и прошедший славный боевой путь от поселка Соколово на Украине до Праги, пополнял свои ряды бывшими солдатами словацкой армии.

К августу 1944 года в Словакии по существу сложилась революционная ситуация. К этому времени повсюду, но прежде всего в центральных, гористых районах широко развернулись действия партизанских отрядов.

Чувствуя свое полное бессилие, Тисо 29 августа обратился к гитлеровцам с просьбой о незамедлительной помощи в борьбе против собственного народа. Немецкие войска тут же начали оккупацию страны, вызвав бурю народного гнева. Этот день стал первым днем Словацкого национального восстания. 30 августа «Свободное словацкое радио» из Банска-Бистрицы сообщило о нем «всем, всем, всем...».

Так словацкий народ, поднявшись на борьбу против своих правителей, начал, по словам участника восстания, критика и литературоведа Александра Матушки, «свою малую отечественную войну в той Великой Отечественной». В глубоком немецком тылу, на расстоянии 250 — 300 км от фронта, образовалась обширная освобожденная территория с центром в Банска-Бистрице. Сюда со всех концов Словакии, а также из чешских земель, Польши, Венгрии стекались люди — партизаны, солдаты словацкой армии, крестьяне, рабочие, представители прогрессивной интеллигенции, стремившиеся принять активное личное участие в борьбе с фашистами. В рядах повстанцев сражалось и свыше 3000 советских граждан. Почти каждую ночь на аэродроме Три Дуба приземлялись советские транспортные самолеты с оружием, боеприпасами, подкреплениями. 8 сентября началась Карпато-Дукельская операция советских войск, оттянувшая на себя гитлеровские резервы, что позволило повстанцам успешно противостоять напору кадровых частей фашистского вермахта. Лишь перебросив дополнительно несколько танковых и моторизованных дивизий, гитлеровцам удалось наконец прорваться к Банска-Бистрице. Повстанцы отступили в горы, перейдя к партизанским методам борьбы. Эта война в горах при активной поддержке населения продолжалась вплоть до освобождения Словакии советскими войсками в феврале — марте 1945 года.

Вспоминая героическую историю самих событий, восстанавливая в памяти состояние словацкой литературы в условиях марионеточного Словацкого государства, отчетливо сознаешь всю спасительную, нравственно-очистительную миссию, которую имело восстание для творцов словацкой культуры. И дело даже не в том, что в период клеро-фашистской диктатуры у художников перо и слово были связаны путами цензуры. Несмотря на все усилия цензоров и официальных идеологов режима, словацкие литераторы в подавляющем большинстве своем сохраняли внутреннюю верность национально-освободительной, демократической традиции отечественной словесности. Не говоря уже о нелегально распространяемых боевых стихотворениях Я. Есенского, Ф. Краля, Я. Смрека и многих других поэтов, раздувавших «пламя святого гнева» (Есенский) в сердцах, почти вся под-

цензурная литература была наэлектризована духом неприятия господствующей идеологии. Это неприятие носило, однако, во многом стоически индивидуальный характер, в нем сквозила горечь личного бессилия что-либо изменить в фатальном ходе событий, казалось обрекавшим словацкий народ на исторически бесславную роль покорной, обманутой жертвы в руках бессовестных пособников германского фашизма. Боль за свой народ, перед которым развертывалась трагическая перспектива пусть не по своей вине войти в историю с клеймом коллаборационизма, — вот что прежде всего терзало сознание лучших представителей литературы, словацкой творческой интеллигенции вообще.

«Когда после долгих веков наш народ дожил до самостоятельности, причем даже в виде собственного государства, то это выглядело какой-то насмешкой, — писал в тридцатилетнюю годовщину восстания А. Матушка. — Люди, говорящие на словацком языке, так ратовавшие за чистоту этого языка, куда меньше ратовали за чистоту достоинств и первоначального значения слов, пытаясь выдать народу за самостоятельность тот загон, ту клетку, в которую его заперли. Но народ открывал глаза и видел, что эта самостоятельность — не его, что это страшная, извращенная самостоятельность, потому что досталась она ему в то самое время, когда все остальные народы — вблизи и вдали — подвергались методическому и безжалостному истреблению... Самозванцы надеялись удержать его в «голубиной кротости» относительным благополучием, тем, что жить было сносно и было что есть... Но народ не позволил купить и подкупить себя... Он хотел не только иметь, он хотел быть... и отважно схватился со всем тем, что его оскорбляло, с тем, что лживо и бессовестно выдавали за его чаяния»[1].

Неудивительно, что этот могучий порыв своей высокой, очищающей героикой буквально окрылил словацкую литературу. Для многих деятелей словацкой культуры восстание стало важнейшим фактом их личной и творческой биографии. В рядах повстанцев с оружием в руках сражались те, кто после 1945 года по праву займет свое место среди активнейших творцов словацкой социалистической литературы. Пафос героической борьбы вдохновил на создание ярких, боевых стихотворений таких авторов, вступавших в 1943—1944 гг. в литературу, как Я. Броцко, И. Терен, М. Лайчак, М. Крно и другие. Глубокой преданностью идеалам революции окрашены строфы еще совсем молодых поэтов, павших «на поле чести и славы», — Б. Коцура, М. Герца, О. Франка. В центре освобожденной территории, в Банска-Бистрице, на протяжении сентября 1944 года издаются повстанческие газеты и журналы, среди них «Нове слово», еженедельник по вопросам политики, культуры и экономики (под редакцией заместителя председателя Словацкого национального совета Г. Гусака). В этих изданиях, а также на повстанческом радио в Банска-Бистрице активно сотрудничают А. Плавка, А. Матушка, М. Хорват, Й. Феликс, М. Поважан и другие—писатели, поэты и критики, с именами которых неразрывно связано все развитие современной словацкой литературы.

Уясняя основные причины массового обращения писателей после 1945 года к тематике антифашистской борьбы, нельзя не сказать и о том, что в период существования фашистского режима вся демократическая подцензурная литература, не желавшая служить рупором официальной пропаганды, была вынуждена отходить от актуальной проблематики, то замыкаясь в мире «естественного» человека и вечной природы (так называемая лиризованная проза), то зашифровывая свое отчаяние в кошмарные сюрреалистические видения и аллегории (поэзия «надреализма»). Такая самоизоляция от окружающей действительности, принцип «внутренней эмиграции», хотя и позволяли литературе сохранять гуманистическое ядро, в то же время неизбежно обрекали ее на прозябание, на духовное истощение, в конечном счете ограничивая базу даже для собственно художественного новаторства. Лишь коренное изменение в соотношении искусства и действительности могло устранить причины хронически застойных явлений в литературе. Вот почему сразу же после освобождения страны восстание становится основным — долгожданным — объектом творческих усилий подавляющего большинства словацких литераторов.

За три-четыре последующих года вышло множество прозаических, репортажных и особенно поэтических произведений, написанных авторами самых разных художественных ориентаций. Но, несмотря на несходство индивидуальных почерков, легко заметить сегодня и нечто общее, что объединяет литературу о восстании того времени: почти на всех произведениях лежит неизгладимый отпечаток непосредственности, субъективной взволнованности, все они носят своего рода исповедальный характер.

Пора углубленного анализа еще не наступила, широта обобщений еще была не под силу писателям, многие из которых являлись участниками или по крайней мере заинтересованными свидетелями, остро переживавшими перипетии борьбы. Ощущение значимости движения, как правило, ассоциировалось не столько с его общими масштабами и перспективами, сколько с глубинным, спонтанно единодушным подъемом, который овладел всеми, кроме заведомых циников и прихвостней режима. Восстание открыло для большинства писателей прежде всего мир солидарности людей. Оно наполнило их чувством особой гордости за свой народ. Неудивительно, что в книгах, особенно поэтических, появившихся вскоре после освобождения, в первую очередь нашла выход эта внутренняя потребность в героизации событий и их участников. В лучших прозаических произведениях этого периода — в «Хронике» (1947) П. Илемницкого, посвященной подвигу жителей реальной словацкой деревни Черный Балог, в романе В. Минача «Смерть ходит по горам» (1948), запечатлевшем опыт

[1] А. Матушка. Тридцать лет. В кн.: Литература и время. Литературно-художественная критика в ЧССР. М., 1977, с. 123—124.

участия автора в восстании, и других был передан пафос эпохи — стремительной ломки утерявших моральное оправдание, отживших устоев и напряженного, радостного ожидания будущего. Это была естественная реакция литературы на период предшествующей вынужденной самоизоляции и одновременно — выражение доверия к происходящим после 1945 года коренным революционным переменам в стране.

Наиболее зрелым произведением, оставшимся от этого периода и предвосхитившим многое из того, что будет впоследствии подхвачено и развито словацкой художественной прозой, является, несомненно, «Хроника» Петера Илемницкого, писателя-коммуниста, одного из основоположников социалистического реализма в словацкой литературе. В отличие от ряда других авторов Илемницкий увидел в восстании не только и не столько стихийный взрыв негодования и гнева, сколько естественный и важнейший итог большого исторического этапа борьбы трудового народа Словакии за свое освобождение. Организующей и направляющей силой этой борьбы была коммунистическая партия, осуществившая в глубоком подполье подготовку восстания, придавшая ему организованность и сознание высокой интернационалистской цели. «Не те, кто приспосабливались к событиям, а те, кто сами творили их, — вот кто должен быть на первом плане», — говорится в конце книги. Илемницкий последовательно руководствуется этим принципом и при выборе главного героя-рассказчика (лесничий Гондаш — коммунист с «довоенным» стажем), и при поиске места действия (Черный Балог — традиционный очаг революционного пролетарского движения в Словакии), и при отборе конкретных событий, перенесенных из жизни в «Хронику». Своей кажущейся простотой и непосредственностью, самой безыскусственной «документальностью» формы — повествование от лица очевидца, участника событий, озабоченного лишь точным воспроизведением фактов в скромной деревенской хронике, — роман Илемницкого вдохновил на создание подобных «воспоминаний» многих молодых начинающих авторов. Так возник целый поток дневниковых, полудокументальных-полухудожественных произведений, в целом способствовавших переходу всей словацкой литературы на платформу социалистического реализма, формированию нового социалистического общелитературного сознания.

В первой половине 50-х годов восстание, тематически отступая на второй план, продолжает, однако, активно присутствовать в литературе. Во многих произведениях, посвященных современности, оно ощущается как исходная точка нового, послевоенного отсчета времени, как отправной пункт движения героев к освоению исторической закономерности всех последующих социалистических преобразований.

Во вступлении к своей книге «Свидетельство о Словацком национальном восстании» Г. Гусак проникновенно писал: «Меня волнуют эти события всегда, когда я о них вспоминаю, когда вижу живые лица людей, которые направляли события истории, несли на своих плечах ее бремя и отдавали за свободу свою жизнь... Кто же опишет всю эту самоотверженность, отвагу и героизм, энтузиазм и боевые качества, страдания и жертвы, самопожертвование, горечь и славу десятков тысяч антифашистов, коммунистов и некоммунистов, воинов и партизан в деревнях и селах, на фронтах восстания, в тюрьмах и концлагерях, в бараках для военнопленных, страдания мужчин и женщин, молодых и старых, для которых Словацкое национальное восстание было важнейшим делом их жизни? Из кирпичиков их личной деятельности возникла великолепная мозаика, картина нашей победы, которая всегда будет свидетельствовать о том, какой вклад внес словацкий народ в антифашистскую борьбу за свою свободу и за свободу других народов»[1].

В этом размышлении одного из главных организаторов и руководителей восстания по существу содержится стратегическое обоснование того нового подхода к отображению событий восстания, который уже со второй половины 50-х годов настойчиво и целеустремленно осуществляла словацкая литература, прежде всего в произведениях А. Беднара (сборник рассказов «Часы и минуты», 1956), трилогии В. Минача «Поколение» (1958—1961), романе Р. Яшика «Мертвые не поют» (1961). Эти книги до сих пор остаются по-своему непревзойденными эпическими произведениями о словацком восстании. Созданные разными по складу дарования художниками, они вместе с тем передают богатейший общий опыт поколения, пришедшего в ряды повстанцев по зову сердца и совести, стойко сражавшегося до конца. От субъективно окрашенных, частных зарисовок здесь был сделан решающий шаг по пути создания емких реалистических полотен, запечатлевших в судьбах многих и разных героев великий процесс исторического прозрения нации. Заостряя внимание на роли рядовых участников движения, вскрывая на конкретных примерах сложную диалектику освободительной борьбы, художественная литература своими средствами помогала преодолевать тенденции упрощенной трактовки восстания.

Пионером этого нового этапа в художественном освоении проблематики восстания по праву считается Альфонз Беднар, автор многочисленных произведений — рассказов, повестей, романов.

Так в своей повести «Часы и минуты» (и других произведениях одноименного сборника) Беднар выступает как острый художник-психолог, стремящийся прояснить индивидуальные пружины поступков своих героев. Реальность войны — это прежде всего трагическая реальность, сопряженная с риском смерти, со многими случайностями, угрожающими жизни человека. Перед лицом реальности человек проявляет себя до конца. Углубляясь во внутренний мир героев, Беднар обнажает механизм нравственного распада или возвышения личности: лишь разомкнув круг собственного «я», человек, по Беднару, утверждает себя в своем основном качестве. «Забыть о себе

[1] Г. Гусак. Свидетельство о Словацком национальном восстании. М., 1969, с. 14.

ради других» и «забыть о других ради себя» — вот два крайних полюса, между которыми движутся герои «Часов и минут», одерживая свои скромные победы или терпя бесславные поражения. Писатель стремится показать, что от исхода именно этих сражений зависит в конечном счете гуманистический потенциал и социалистического общества, в котором предстоит жить и в котором уже живут люди, прошедшие через испытания войны и огонь восстания.

Проецируя настоящее в прошлое, восстанавливая связь времен, Беднар открывает тем самым новое измерение у этой темы. Мотив заветов восстания, смысла принесенных народом жертв, возвращение к конкретному человеку, познающему себя и через себя историю, — все это вскоре вошло в арсенал словацкой прозы, по-своему преломившись в произведениях Минача, Яшика и вслед за ними у многих других авторов.

Поистине этапное значение в идейно-художественном раскрытии темы восстания имела трилогия Владимира Минача «Поколение», которая воспринималась и воспринимается до сих пор как наиболее полное и адекватное отражение эпохи антифашистской борьбы в Словакии, как «роман о судьбах всего народа», пользуясь определением словацкого исследователя И. Кусы. В этом обширном эпическом произведении, «главной» художественной книге писателя, принесшей ему широкое международное признание, Минач в самом деле стремился отразить не столько сами исторические события, перевернувшие до основания старый, отживший уклад общественной жизни в Словакии, сколько выразить, запечатлеть в конкретных судьбах людей исторический смысл этих событий. Иными словами, его трилогия — не историческая хроника, а многоплановое социально-психологическое полотно, призванное дать верное и объективно правдивое представление о движении времени и постепенном, нелегком, подчас драматическом приобщении к нему тех, кого Минач называет своими «сверстниками по поколению». «У нас был девиз,— писал автор по поводу первого тома трилогии, «Долгое время ожидания»,— девиз, который никто прямо не высказывал, но которого придерживалось почти все мое поколение: не слиться с *ними*...» С ними—значит с фашистами. Эта идея становится осью романа, исходным пунктом всей трилогии. Большинство героев первой книги, действие которой происходит в спертой атмосфере Словацкого государства накануне 1944 года, в тщетных попытках укрыться от «подлого времени» «воздвигают свое одиночество, как крепость, раз и навсегда». Лишь во втором томе трилогии, «Живые и мертвые», посвященном Словацкому национальному восстанию, бурный поток событий разрушит ненадежные стены этих призрачных убежищ, и тогда обнаружится, что за редким исключением все они не готовы к сознательной открытой борьбе. Старательно ограждаясь от мерзостей окружающего мира, они изолировали себя и от тех сил, которые исподволь подготавливали революционный взрыв. Пожар народной войны застает их врасплох.

Верный своему замыслу, Минач в «Живых и мертвых» не стремится к адекватному отображению конкретных эпизодов восстания, не увлекается анализом его военно-стратегических или политических аспектов. В центре его внимания — глубокий идейный и нравственный перелом, великий очистительный процесс, который начинается в душах героев, захваченных и покоренных стихией всенародной борьбы. Если центральные персонажи первой книги обладали только своими индивидуальными, «камерными» судьбами, то герои второй постепенно превращаются в действующих лиц реальной исторической драмы. Из сферы личной жизни они вступают в область общественной истории. Восстание становится фактом их биографий. С этого момента все мощнее начинает звучать и основная тема трилогии — тема приобщения к народу, подхваченная и развитая в третьем томе — «Колокола возвещают день».

Минач доводит свое повествование до февральских событий 1948 года, когда, собственно, и была одержана окончательная победа трудящихся Чехословакии над силами реакции, пытавшейся повернуть вспять колесо истории. Этот рубеж, однако, отнюдь не является в романе формальным поводом для «ударной» концовки. Восстание и Февраль суть две фазы единого процесса нарастания революции, и в концепции трилогии они естественно знаменуют узловые моменты в духовной эволюции героев.

Далеко не всем, даже прошедшим через огонь вооруженной борьбы, удается подняться на новую, высшую ступень исторического самосознания. Многое ждет впереди и тех, кто успешно берет эту высоту. Трилогия, будучи завершена сюжетно, исторически остается открытой. Революционный процесс продолжается — с опорой на достигнутое и все же в других формах, иначе, порождая свои неожиданные коллизии и требующие разрешения противоречия. Но в этом и состоит его новое качество.

Вторая половина 60-х годов мало что добавила к тем крупным художественным открытиям, которые были сделаны ранее — Илемницким, Беднаром, Миначем, Яшиком... Зато в 70-е годы события восстания, еще дальше отступив в прошлое, тем не менее стали вновь все настойчивее привлекать внимание писателей — представителей разных поколений. И дело не только в неустаревающей значимости самой темы, имеющей для словацкой литературы тот же принципиальный смысл, что и, например, тема Великой Отечественной войны для советской литературы. Вспомним, что конец 60-х годов стал для Чехословакии временем испытаний, острейшей борьбы с проявившимися и в литературе попытками поставить под сомнение основную линию развития социалистического искусства в Чехословакии, объявить любое позитивное отображение взаимосвязи между важнейшими общественно-историческими событиями и судьбами людей «рецидивами схематизма». Консолидация партии и общества на очищенных от ревизионистских наслоений основах как раз и ознаменовалась новым закономерным обращением литературы к эпохе антифашистской борьбы, что способствовало упрочению ре-

волюционных идеалов, восстановлению памяти о недавнем прошлом как обязывающем завете для настоящего. В это же время, после принятия закона о федеративном устройстве Чехословацкой социалистической республики, происходит общее обострение интереса к национальной истории, к проблематике национального самосознания, по-своему преломившееся в целом ряде новых значительных произведений.

В качестве непосредственного отклика на растущую общественно-литературную потребность в историческом самосознании можно рассматривать проявившееся именно в это время массовое тяготение писателей, прежде всего старшего поколения, к автобиографическим свидетельствам, к ретроспективному анализу и систематизации личного опыта, к осмыслению пережитого. Характерным примером может служить книга поэта и прозаика Андрея Плавки «Влюбленный в жизнь» (1971). Автор ведет в ней неторопливый, обстоятельный рассказ о своем детстве и юности, годах учебы и труда. Постепенно рамки повествования расширяются, оно все больше вбирает в себя объективный материал истории, перерастает в щедро документированное свидетельство о поколении, об особенностях формирования новой словацкой интеллигенции после 1918 года в условиях Чехословацкой республики, о происходящих переменах в общественном климате и национальном самосознании.

Не случайно, однако, своей книге Плавка дал подзаголовок — «почти как роман одной жизни». Ибо наряду с автором, рассказчиком, точным до мелочей, спокойным, рассудительным, много повидавшим на своем веку человеком, в книге живет, активно напоминая о себе, еще один — молодой — Андрей Плавка, по-юношески доверчиво «влюбленный в жизнь», горячий, нетерпеливый, «норовистый», идущий по своим кругам обретаемых надежд и утрачиваемых иллюзий. В этом смысле, по меткому замечанию словацкого литературоведа С. Шматлака, книга приобретает «черты и функцию классического «романа воспитания». Атмосфера эмоциональной, подлинно художественной достоверности окрашивает все произведение, помогая воссоздать закономерную логику развития типичного словацкого интеллигента, от интуитивной тяги к справедливости поднимающегося до сознательной борьбы за нее в рядах коммунистической партии.

Отправляясь от частного, индивидуального, Плавка восходит, таким образом, к общественному, национальному. Рассказ об одной жизни, нравственно-психологическое самораскрытие личности объективно пронизывается пафосом исторического самоопределения человека. Важно подчеркнуть, что этапы такого самоопределения неизменно соотносятся с решающими поворотами в жизни страны и народа, среди которых особую роль сыграло участие Плавки в Словацком национальном восстании. Принцип единства личной и народной судьбы, последовательно утверждаемый писателем,— «радость от сознания того, что живешь одной жизнью с народом, что с ним вместе зреешь и взрослеешь» (А. Плавка) — органически противостоит модернистским концепциям атомизации общества, отчуждения индивидуума, программного исторического пессимизма.

В этом произведении чрезвычайно своевременно — после всех поисковых ухищрений конца 60-х годов — была продемонстрирована вся плодотворность опоры на реальные, невыдуманные факты жизни, получила новое подтверждение художественная продуктивность уроков, извлекаемых писателем из собственного духовного опыта. Это был классический пример постепенного, индивидуального и логически закономерного самоопределения человека в широком общественном пространстве, пример, напомнивший о незаменимой значимости для каждого современника чувства личной «укорененности» в жизни, внутреннего ощущения принадлежности к родословной национального и социалистического бытия.

Исключительное воздействие на весь словацкий литературный процесс оказала в это время и глубоко личностная интерпретация национальной истории, предпринятая Миначем в цикле эссе, способствовавших внедрению в литературу художественной концепции «памяти нации как основы ее мышления и действий». В качестве характерного примера здесь можно назвать известный роман «Тысячелетняя пчела» (1979) П. Ярошa, давшего новую художественную трактовку истории и особенностей национального бытия словацкого народа на рубеже веков. Обострившееся чувство историзма, отчетливое стремление к «повторному» прочтению прошлого с позиций современности, когда прошлое как бы заново раскрывается навстречу потребностям сегодняшнего дня, определило и новое обращение писателей к, казалось бы, уже хорошо освоенной и разработанной теме Словацкого национального восстания. Знаменательно, что наряду с такими опытными авторами, участниками событий, как М. Крно, в сатирической дилогии «Благочестивый Мефодий» (1979) и «Доблестный Радуз» (1984) показавший мелкую, потребительскую изнанку фашистского режима в Словакии, тема антифашистской борьбы словацкого народа привлекает все большее внимание писателей младших поколений.

«Я ощущала это как свой долг,— так объяснила одна из них, Вера Швенкова, причину своего обращения к теме восстания.— Я хотела напомнить о людях, которые... пренебрегли личным благополучием и в решающие минуты доказали свое человеческое благородство, возвысившись над самими собой. Если литература претендует на то, что знает своего современника... то она не может проходить мимо наиболее чистых характеров и лучших человеческих качеств»[1]. В этом признании писательницы — ключ к высокой, романтически очищающей атмосфере ее романа «Кедровый бор» (1974).

В центре романа — скромная, но самоотверженная деятельность ячейки рабочих-коммунистов в небольшом провинциальном городке, простых, не слишком образованных, но исполненных внутреннего долга людей, принципиально не примирившихся

[1] «Romboid», 1974, № 6, с. 41.

с клеро-фашистским режимом. Именно этой бесстрашной уверенностью в своей правоте привлекают к себе Штефан Возар и его товарищи сердца честных патриотов-интеллигентов — пожилого учителя истории Юрая Краля и молодой учительницы Зузаны Батизовой. Все они становятся активными борцами антифашистского Сопротивления, участниками восстания, в котором многим из них довелось испытать и светлую радость первой победы, и горечь временного поражения, тяжелого отступления в горы, пережить смерть друзей, товарищей по оружию. Но что бы там ни было, размышляет учитель Краль незадолго перед тем, как сразит его фашистская пуля, «восстание было для народа единственным логическим исходом. Оно случилось, потому что не могло не случиться. Оно не было следствием лишь последних пяти лет. Оно является следствием столетий». Идеалы восстания вобрали в себя извечные стремления всех честных патриотов Словакии к исторической справедливости. Вот почему даже такая далекая от всякой «политики», но чистая душой, застенчивая и легко ранимая Зузана Батизова постепенно сближается не только с симпатичными ей людьми, но и глубоко естественно воспринимает их «философию», образ мышления, инстинктивно чувствуя благородство их помыслов и поступков. Страницы, посвященные Швенковой этому процессу «воспитания сердца», напоминают о непосредственных предшественницах Зузаны, героинях произведений Тимравы, выдающейся представительницы критического реализма в словацкой литературе конца XIX — начала XX в.

История есть общий знаменатель, сложный результат коллективной и нередко разнонаправленной деятельности людей. Однако приобщение каждого конкретного человека к истории — это процесс, далекий от автоматизма, он всегда окрашен субъективными моментами, отмечен чертами национальной и социальной принадлежности, индивидуальной специфики личности. В этом смысле яркое представление о «чисто словацких» реалиях, традициях, о природных условиях тех районов Словакии, в которых развивалась партизанская война, дает небольшая повесть молодого писателя Юлиуса Балцо «Желтовосковое яблоко».

Главный герой повести — бача Ян — потомственный чабан, отвечающий за деревенскую отару на отгонных пастбищах в горах. Его собственная жизнь, жизнь отца, деда от века подчинены неизменному ритму: зимой в деревне, с весны до поздней осени — высоко в горах с одним-двумя помощниками-пастухами, вдали от суетных забот, с глазу на глаз с могучей природой, от которой в первую очередь зависит все то, что он всегда считал основным смыслом своего существования: «Здесь он знал каждое дерево, каждый камень... Все обо всем». Он сам себя чувствовал частью этого «величественного храма природы», входя в который человек словно приобщается к его «торжественной тишине», к исконным источникам бытия и гармонии жизни. Все это не столько осознавалось, сколько ощущалось бачей Яном — сердцем, чувствами, всем естеством. Преступить законы природы означало бы для него кощунство. «Время сейчас такое — не до овец!» — убеждал его усталый, почерневший в непрерывных боях командир партизанского отряда. А бача Ян размышлял о своем: «Неужели ты думаешь, они могут поднять нож на дойных овец?»

В эту осень 1944 года ему пришлось, однако, воочию убедиться, что есть люди, способные на любое кощунство. Впрочем, они уже не люди, а бешеные волки, с которыми не дано подобру ужиться.

Он это понял, когда, спустившись с гор, увидел смрадное пепелище на месте родной деревни, дотла сожженной фашистскими карателями. Даже желтое яблоко, упавшее наземь с обгоревшего, истерзанного дерева у спаленного дома бачи Яна, насквозь пропиталось дымом, покрылось мертвенно-восковым налетом. С тяжелым от праведной ненависти сердцем бача Ян уходит в партизанский отряд...

Весомый вклад в развитие и художественное углубление темы восстания внес своими произведениями — трилогией «Мастера» (1976 — 1979), повестями «Иволга» (1978) и «Солдат» (1981) — Винцент Шикула, один из наиболее талантливых и самобытных мастеров современной словацкой прозы. В его трилогии получила развернутое художественное воплощение новая трактовка писателем всенародного характера Словацкого национального восстания. Шикула стремится показать не только активных и сознательных борцов Сопротивления, но и тех — а их было большинство,— кого, как говорит писатель, не помнит по именам история, хотя прежде всего им, их усилиям обязана своим прогрессом человеческая цивилизация. Восстановить справедливость, сказать во весь голос об этих «героях будничного труда» (Шикула) — такова центральная организующая мысль трилогии. Ей подчинено все: стилистика, интонация, импровизационная структура, позволяющая автору свободно комментировать действие, сюжет, подчеркивающий, например, в «партизанской» части не лихость и сноровку героев, а скорее военную неопытность, неумелость людей труда, отправившихся на войну как на тяжелую, неприятную, хотя и необходимую работу. Герои Шикулы — рядовые общественно-исторического процесса, «пехотинцы истории». Они погибали, часто нелепо, даже не успев нанести сколько-нибудь ощутимого ущерба врагу. Но разве от этого их смерть становилась менее трагической? «Был рядовым! И выполнил свой долг! Так можно ли считать плохим солдата, который не дожил до победы?»

Эта трилогия характерна именно для современного этапа развития словацкой литературы с ее пристальным интересом ко всему внутреннему миру личности. Образно говоря, в отличие от предшественников, историческое время у Шикулы в конечном счете всегда подчинено человеческому. «Если жизнь — это важное дело, то, значит, каждая жизнь важна».

Простые, ничем на первый взгляд не выдающиеся люди... Но под пером писателя

их судьбы нередко приобретают обобщающий, а то и символический смысл. Дело в том, что писатель берет их из самой гущи народа, и так или иначе в каждом из этих людей просвечивают черты национального характера, а в их жизни (и смерти) подчас причудливо, но всегда закономерно преломляются общие законы истории. В этом смысле и повесть «Иволга» — типичное для Шикулы произведение.

Героиня повести Филомена и ее муж Яно даже по словацким довоенным меркам — бедняки из бедняков. В жизни Филомены вообще не было никаких особых событий: сначала скромно и одиноко жила в деревне, потом смутил ее покой переменчивый и взбалмошный Яно, заставивший перебраться к нему в каморку подметальщика улиц. А затем Яно куда-то исчез и вернулся к Филомене лишь спустя несколько лет, когда уже отгремела война и пришла новая власть. И снова он принялся подметать улицы, а Филомена заниматься уборкой у соседей и делами по хозяйству. Но за внешней бессобытийной канвой их жизни таится нечто драгоценное — теплое отношение к окружающим их людям, готовность бескорыстно помочь в беде, интуитивное чувство добра и справедливости. Именно это чувство побудило Филомену во время восстания помочь молодому парню-антифашисту скрыться от немецкого патруля. Именно им руководствовался и Яно, носивший в лес партизанам продукты и едва не поплатившийся жизнью за это.

Повесть почти целиком написана от лица главной героини, автор словно лишь «помогает» Филомене рассказывать о своей незамысловатой, не больно удавшейся и все-таки счастливой жизни. Благодаря такому приему и достигается эффект достоверности, абсолютной правдивости повествования, подкупающего искренностью интонации, сочностью народного языка, живым, сердечным юмором. В общем смысле «Иволга» и близкая ей по замыслу повесть «Солдат» — не что иное, как своеобразный комментарий к «большой» истории; здесь по-своему преломляется народная точка зрения на исторические события первой половины XX века в Словакии, находит новое оригинальное художественное подтверждение идея закономерности борьбы народа за национальную свободу и социальную справедливость.

В этой статье названы лишь некоторые произведения из того великого множества книг, которые были созданы в Словакии на материале восстания и антифашистской борьбы. Анализировать все накопленное за сорок лет художественное богатство — это значит по сути писать историю словацкой литературы после 1945 года. Нет сомнения, что и в будущем тема восстания останется одной из главных в творчестве чехословацких писателей.

«Мы гордимся исторической значимостью Восстания,— писал В. Минач в эссе «Восстание».— Гордимся тем, что коммунисты стояли во главе мощного всенародного движения, гордимся неколебимой стойкостью его руководителей и тысяч местных активистов, их самоотверженностью, единственной наградой за которую была победа правого дела. Мы помним о мертвых, живем с живыми... Мы не забудем и советских людей, соратников по борьбе: ведь великий национальный исторический акт смог осуществиться только благодаря тому, что на Востоке уже были не просто русские братья, а самое главное — новая советская революционная власть.

Нам дорого досталось современное историческое самосознание, тем ценнее оно для нас. И поскольку мы ничего не получили даром, все это живет с нами».

◆

Письма из-за рубежа

УИЛЬЯМ КУПЕР

ДВА НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ РОМАНЕ

Роман в Англии переживает сейчас пору расцвета. Новое поколение молодых писателей (от двадцати с небольшим до сорока с небольшим лет), несомненно талантливых, с увлечением и энергией пишут романы. Похоже, что они не испытывают недостатка в материале для своих произведений, а искусство рекламы и торговли служит тому, чтобы привлекать к ним внимание широкого читателя. И не так уж важно, в чем суть взаимосвязи этих двух моментов, важно другое: сейчас пишутся, а главное — читаются многочисленные романы, заслуживающие серьезной оценки.

Говоря о серьезной оценке, я имею в виду не только литературоведов и профессиональных критиков, но гораздо более широкий круг умных и чутких читателей-непрофессионалов. Меня удручает жесткое стремление в духе Генри Джеймса делить роман на две категории: «художественный роман» и «развлекательный роман» — ведь в действительности подавляющее большинство их лежит между этими крайностями. «Развлекательный роман», абсолютно лишенный художественности, будет сразу отложен читателями, которых я имею в виду, однако и «художественный роман», столь же абсолютно лишенный какой бы то ни было увлекательности, попросту никто не станет читать. Я говорю о романе, который, безусловно являясь художественным произведением, в то же время достаточно увлекателен, чтобы книгопродавцы заказывали его в больших количествах. Судя по отзывам рецензентов и критиков, таких романов появляется обнадеживающе много, а книготорговцы и библиотекари свидетельствуют, что обнадеживающее и все возрастающее число их покупается и читается.

Тут, пожалуй, будет уместно сказать несколько слов об искусстве рекламы и торговли [1]. В последние годы появилось удивительно много литературных премий — причем нередко весьма крупных в денежном исчислении, которые ежегодно присуждаются за романы. Вошло в моду публиковать списки избранных романов для рекламирования под такими широковещательными заголовками: «Лучшие произведения молодых английских романистов» (двадцать романов), «Двенадцать лучших современных романов», «Девяносто лучших с 1939 года» и так далее. «Но что, собственно, должны доказывать эти списки?» — спросил один мой ученый друг. Да абсолютно ничего — сам этот вопрос изобличает их изначальную нелепость. С другой стороны, такие списки все же, видимо, привлекают внимание широкой публики, внушают ей мысль о том, что сейчас выходит много хороших романов, заслуживающих прочтения, и подсказывают, с каких авторов следует начать. А поскольку интерес к романам возрастает, то и писатели, не внесенные в списки, в конце концов попадают в поле зрения читателей.

Я отнюдь не считаю себя знатоком в этой области — я и не ученый-литературовед, и не страстный любитель романов. Однако — и, возможно, не без воздействия нынешнего поветрия — последнее время я все больше читаю романы, к которым так или иначе было привлечено мое внимание, и все чаще ловлю себя на мысли: «Это же хорошо!» Ну, и поскольку я сам романист, радуюсь: «Отлично! Роман переживает пору расцвета!»

В первую очередь в глаза бросается «всеядность» тематики — «множественность и открытость», как сейчас принято выражаться. Читателю предлагается множество романов на множество тем — даже трудно себе представить, что последует дальше [2]. На мой взгляд, это великолепно — оставаясь с нами, дух романа шагнул за собственные границы. И неизбежно возникает соблазн поразмыслить над тем, а не ша-

[1] Для советских читателей скажу, что у меня на родине не существует столь всеобщей «жадности к чтению», множество убедительных примеров которой мне приводили русские друзья. В Англии сходная «жадность» существовала в XIX веке, во времена Диккенса и Джордж Элиот, но с появлением так называемого модернизма она сошла на нет. *(Здесь и далее прим. авт.)*

[2] За последние десятилетия наше общество стало многорасовым, и теперь в создание романов заметный вклад вносят англоязычные писатели родом из самых разных географических регионов — из Индии, стран Африки и Карибского бассейна.

гает ли он в каком-то определенном направлении. Опасный вопрос! «Течения» и «движения» облегчают задачу преподавателям и журналистам, но существуют они главным образом в воображении тех, кто изобретает подобные определения, и лишь истории дано показать, скрывался ли за ними какой-то реальный смысл. К сожалению, слишком часто она показывает их бесплодность и легковесность [1].

И здесь я ступаю на опасную почву, пытаясь выделить направления, по которым, на мой взгляд, в соответствии с модой движется сейчас роман. Я уже не увижу того, что через тридцать лет покажет история, но в настоящее время мои попытки могут способствовать оживлению споров и дискуссий. В сущности, я подрубаю сук, на котором сижу, определяя два течения, движение в двух диаметрально противоположных направлениях, причем от того места, где мне хотелось бы видеть — для его же блага и вполне в моем вкусе — расцвет романа.

Преследуя две цели — проанализировать нынешнее положение и изложить собственную точку зрения,— я хотел бы задать вопрос: зачем мы читаем романы? Сверхпростейший, по выражению Ч. П. Сноу, ответ: потому что это доставляет нам всякого рода удовольствия. И в первую очередь то, которым люди наслаждаются с тех самых пор, как научились читать: удовольствие услышать занимательную историю, нетерпеливое желание узнать, «а что дальше». Нетерпеливое желание узнать, что будет дальше первобытно ли оно по своему происхождению? Да, именно. Потому-то оно неизменно живет и не утрачивает силы с начала исторических времен. И вот почему глупо и нелогично если не сказать — чванливо, относиться к нему с пренебрежением на манер Э. М. Форстера или, того пуще, Вирджинии Вулф, утверждавшей, что модернизм «освобождает» искусство от необходимости рассказывать истории. (А заодно «освобождает» и писателей — или писательниц — от широкого круга читателей: вспомним, что в этот период истории литературы интерес к роману упал катастрофически, и неудивительно.) Всем величайшим романам мировой литературы присуще свойство поддерживать непрерывный читательский интерес к тому, что произойдет дальше. Отказ от этого свойства рискован и может привести к роковым последствиям.

Но, конечно, удовольствия от того, что нам рассказывают интересную историю, самого по себе мало. История всегда рассказывается о людях. И второй род удовольствия возникает от того, что нам раскрывают сокровенную суть человека, что, читая, мы узнаем новое о себе подобных, а следовательно, и о себе самих. Идеальный случай — когда персонажи изображены и как живые люди в своем индивидуальном своеобразии, и каждый из них — наедине с вечностью, перед лицом ее, и в то же время как граждане, живущие и действующие в обществе. Первое зависит от способности писателя видеть и чувствовать своих героев изнутри, как бы перевоплощаться в них. Второе — от его наблюдательности и умения заглянуть во внутренний мир своих героев извне. Эти моменты взаимосвязаны, и каждый абсолютно необходим, чтобы создать полноценные и убедительные образы. В этом решающем суждении мы исходим из того, что автор по-настоящему знает и понимает то, о чем пишет, и из созвучности того, о чем мы читаем, нашему собственному опыту. Тогда мы начинаем верить в то, что писатель рассказывает правду о подлинном мире.

И третий род удовольствия, не менее существенный, чем первые два, возникает из ощущения, что роман, который мы читаем, представляет собой настоящее произведение искусства. Коротко можно сказать, что нам нравится его форма, структура, композиция, то, что голос художника обращен непосредственно к нам, создавая тесную связь между писателем и нами, приобщая нас к его творческим озарениям. Говорю обо всем этом коротко, но настаиваю на существенной важности сказанного.

Конечно, уже ясно, что я имею в виду реалистический роман. Это представляется мне вполне оправданным, так как в XIX веке, в дни своей славы, именно реалистический роман был повсеместно признан традиционной формой романа. (Разумеется, я вовсе не хочу сказать, что реалистический роман возник в XIX веке. «Сатирикон» пришел к нам из Рима I века нашей эры как фрагмент реалистического романа. Исландская «Сага о Ньяле» была коротким реалистическим романом. А японский роман «Гэндзи-моногатари», написанный на рубеже X—XI веков, — длинный (может быть, даже слишком длинный!) реалистический роман. Традиционная форма реалистического романа стала как бы стволом, от которого с тех пор ответвились другие романные формы. Дерево и должно ветвиться, расти, развиваться, чтобы оставаться живым! Роман — удивительно емкая форма искусства, вмещающая самые разные течения. Но, на мой взгляд, сейчас следует напомнить, что традиционный реалистический роман был и остается главным стволом. Отрицать это, утверждать, что в рамках традиционной формы уже не может быть создано ничего интересного, опасно. Отдельные небольшие ветви могут выживать или не выживать в то или иное время, но, если жизни лишится ствол, все они неминуемо погибнут. Нападки на традиционную форму непременно окажут разрушающее воздействие на форму как таковую. И тут я вплотную подхожу к главной теме своего эссе. Мы живем в период, когда в определенных кругах стало модным нападать на реалистический роман. Имеет смысл разобраться в сущности этих нападок и указать на возможные последствия.

В том, что я назвал выше удовольствием второго рода при чтении романа, нетрудно, по-моему, распознать его гуманистическую основу и сделать вывод, к которому пришел я: реалистический роман является важнейшим проводником гуманиз-

[1] Например, так называемое «движение сердитых молодых людей» в английской прозе 50-х годов теперь начинает выглядеть не только бесплодным, но и весьма разрозненным.

ма широко понимаемого, я бы сказал — либерального. Мне кажется, это имеет не только литературное, но и идеологическое значение. В наши дни сказать, что либерализм стал объектом нападок со всех сторон, как на Востоке, так и на Западе, значит не сказать ничего нового. (У нас в определенных кругах требуется немалая смелость, чтобы употребить слово «либеральный» в похвальном смысле. У меня этой смелости хватает!) Реалистический роман подвергается нападкам и с идеологических и с эстетических позиций. Но поскольку я пишу все-таки литературный, а не политический очерк, то рассмотрю в основном эстетическую сущность нападок, которая чаще всего затрагивает два момента: отношение между искусством и действительностью, во-первых, и природу художественного вымысла, во-вторых.

Об отношении искусства и действительности мудро и со знанием предмета сказала Джейн Остин: главная трудность, стоящая перед романистом, заключается в необходимости удовлетворить соперничающие требования искусства и жизни. Это самоочевидно для любого романиста: искусство обретает форму, структуру, упорядоченность в зависимости от творческой индивидуальности и взглядов художника, между тем как зеркало, поставленное перед действительностью, не дает живого изображения, зеркальное отражение жизни лишено собственного голоса и видения. В основе того, о чем говорила Джейн Остин, эстетика компромисса: отбирать и типизировать жизненный материал настолько, чтобы читатель ощутил, что имеет дело с произведением искусства, но одновременно не лишать события реальной жизни оттенка случайности, уникальности, чтобы у читателя создавалось впечатление соприкосновения с действительностью. Если в форме реалистического романа есть некая подспудная идея, пишет профессор Дэвид Лодж, это идея компромисса. А либерализм и компромисс тесно связаны. В наши дни компромисс, как идеологический, так и эстетический, часто осуждается, поскольку существует общее устремление к эстетическим и идеологическим крайностям. В той мере, в какой это касается эстетики компромисса в романе, ее отрицание приводит иногда к тому что роман лишается либо художественности, либо реальности — либо из него изгоняется живая жизнь, либо всякая художественность [1].

Вторая линия нападок, касающаяся природы вымысла, опирается примерно на следующую логическую аргументацию: литература не есть реальная жизнь. следовательно, нельзя искать соответствий между нею и жизнью. литературу можно соотносить лишь с самой собой (говоря профессиональным языком, она самодостаточна). В крайних случаях всякий намек на реальную жизнь изгоняется из литературы полностью. До каких нелепостей может довести логика!

Чтобы понять, как отрицание эстетики компромисса воздействует в настоящее время на английский роман, следует обратить внимание на возрастающую моду на романы, из которых реальная жизнь изгнана — ради фантазий, аллегорий, сюрреализма, «готической» романтики. Хотя не так явно, растет мода и на романы, из которых изгнана художественность ради документальности, репортажа, «научности». Любопытно отметить, что в 1982 году крупнейшая английская премия за лучший роман была присуждена «Детям полуночи»[1] (в основе своей фантастическому произведению), а в 1983 году ее получил «Шиндлеровский ковчег»[2] (в основе своей документальное произведение). Оба эти романа несомненно написаны талантливыми писателями и обладают значительными достоинствами. Форма романа чрезвычайно емка, и в ней достаточно места для произведений самого разного рода. Однако эти два произведения иллюстрируют ту тенденцию, при которой под все большей угрозой оказывается сама сущность романа.

Не стану говорить, какая опасность возникает, если противоборствующие идеи достигают крайностей вместо того, чтобы найти компромиссное решение. Отрицание творческого вдохновения, изгнание вымысла из романа — весьма серьезный фактор, так как лишает читателя одного из главных удовольствий: хотя такой роман представляет читателю реальную жизнь, он не дает возможности того глубинного ее познания, которую несет художественное озарение. Однако изгнание реальной жизни из романа гораздо более серьезно, поскольку в конечном счете люди способны жить друг с другом в дружбе. только если они могут по-настоящему проникнуть в чужой характер и чужое бытие. Профессор Джон Бейли, понимая, чем чревата такая опасность и для романистов и для читателей, абсолютно точно определил ее: когда изгоняется реальная жизнь из литературы, тогда и романист лишается своей роли человека, несущего правду. Если реалистический роман перестанет существовать, тем хуже для жанра и для всех нас.

Что можно сказать в заключение? Пусть роман, которому служат таланты его создателей, раскидывает свои ветви во всех направлениях. Только так он сможет остаться плодотворным жанром. Но весьма опасно думать и утверждать, что можно забыть, отвергнуть или уничтожить главный ствол без того, чтобы не пострадало дерево. Что конкретно означает эта метафора? Потерю существеннейшей части умных и тонких любителей чтения.

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ

[1] От редакции: как явствует из эссе У. Купер очевидно, в какой-то мере разделяет либералистские взгляды и если высказывание о том, что реализм — это компромисс между искусством и жизнью можно принять за фигуру речи, то трудно согласиться с автором когда он отождествляет всю эстетику реалистического романа с системой либералистских взглядов.

[1] У. Купер, очевидно, имеет в виду роман пакистанского писателя Салмана Рушди.

[2] Роман видного австралийского писателя Томаса Кенилли.

Культура и современность

Рафаэль Альберти... Когда в июле 1984 года в Мадриде было учреждено «Движение за референдум», создатели которого потребовали незамедлительного проведения обещанного правительством социалистов всенародного референдума о членстве Испании в НАТО, в числе тех, кто первыми вошел в это движение, оказался замечательный испанский поэт, никого в стране это не могло удивить. Рафаэль Альберти, хотя ему исполнилось 82 года, не только по-прежнему много пишет и еще больше рисует, но и почти ежедневно (до 300 раз в год) выступает перед народом с «реситалями», которые, как он сам открыто подчеркивает, имеют не только поэтический, но и политический характер. Так поэт и по сей день остается в первых рядах борьбы своего народа за свободу и демократию, против империализма и войны. А потому глубоко закономерно, что список наиболее видных интеллигентов, вошедших в «Движение за референдум», которое стало своего рода координационным центром мощного антивоенного движения в Испании,— список интеллигентов, настойчиво выступающих против участия страны в агрессивном Североатлантическом пакте, возглавляет один из старейших и наиболее признанных писателей испанской земли.

Поразительно насыщенной и разнообразной жизнью живет этот человек, который до сих пор полон юношеской энергии. Свою жизнь в искусстве он начинал художником. Попав в круг испанской интеллигентской элиты начала 20-х годов, в которой были Федерико Гарсиа Лорка, Хуан Рамон Хименес, Мануэль Альтолагирре, Луис Бюнюэль, Сальвадор Дали, молодой художник из Кадиса стал писать стихи. В 23 года он (вместе с поэтом Херардо Диего) был удостоен Национальной литературной премии, к нему пришла широкая известность. Став одним из ведущих поэтов и драматургов на родине, Рафаэль Альберти вместе с тем самым активным образом включается в общественно-политическую жизнь страны. Член коммунистической партии с 1931 года, он все силы и талант отдавал сплочению художественной интеллигенции Испании перед лицом наступавшего тогда в Европе фашизма, укреплению солидарности со Страной Советов, в которой поэт не раз бывал с той поры — в частности, ровно 50 лет назад,— он был гостем I съезда Союза советских писателей.

В годы национально-революционной войны в Испании (1936—1939) поэт-антифашист стал одним из руководителей организации сопротивления мятежникам, он возглавляет так называемые «Милисиас де культура», выступая перед бойцами республиканской армии на фронтах, публикуя стихи и ставя театральные пьесы, поднимавшие народ на борьбу с франкистами...

Затем последовало изгнание, длившееся без малого 39 лет. Из них 24 года Рафаэль Альберти провел в Аргентине, 15 лет — в Италии. Но дух поэта не был сломлен, не оскудело его творчество, он по-прежнему борется против фашизма на своей родине, против реакции во всем мире, активно участвует в движении сторонников мира, за что в 1965 году он был удостоен международной Ленинской премии.

Несмотря на все запреты, в самой Испании новые книги стихов поэта тайком передают из рук в руки, имя его окружено легендарным ореолом, он признан как один из наиболее крупных национальных поэтов. Борьба против режима Франко не ослабевает ни на минуту, и в эту борьбу, которая подготовила впоследствии переход страны на рельсы демократизации, творчество самого Рафаэля Альберти и его общественно-политическая деятельность внесли свой весомый вклад.

Реакционные круги Испании, тщетно пытавшиеся в июле 1975 года сохранить франкизм без Франко, настолько боялись зажигательного слова поэта, его влияния, что Рафаэлю Альберти не сразу после смерти каудильо удалось вернуться на родину. Лишь год спустя кончилось долгое изгнание поэта. Въезд его в Испанию был поистине триумфальным — народ встречал его как одного из своих героев. На первых демократических выборах в 1977 году Рафаэль Альберти был избран депутатом в кортесы от коммунистов. И хотя несколько позже он отстранился от непосредственного участия в парламентской деятельности, уступив свой мандат другому товарищу по партии («Я не

политический лидер, а скорее лидер поэтический...» — сказал он недавно в интервью французской газете «Революсьон»), Рафаэль Альберти, продолжает плодотворно работать в поэзии и графике и борется вместе со своим народом за достижение самых благородных идеалов.

Свидетельством признания поэта стало присуждение Рафаэлю Альберти крупнейшей премии Мигеля Сервантеса, которой удостаиваются писатели Испании и стран Латинской Америки, пишущие на испанском языке, за особые заслуги перед литературой. В городе Алькала-де-Энарес, считающемся родиной Сервантеса, премию поэту вручал глава Испанского государства король Хуан Карлос. Получая премию, Рафаэль Альберти выступил с речью, текст которой мы предлагаем вниманию читателей в том виде, в каком он был воспроизведен испанской газетой «Паис».

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ

«СКОЛЬ ТЫ НЕМИЛОСЕРДНА, О СЛАДКАЯ ИСПАНИЯ!»

*В*аши Величества!

После без малого 24-летнего пребывания в изгнании в Аргентине 28 мая 1963 года я через необъятные небесные врата прибыл в город Рим. Был мне тогда 61 год. И жило во мне неодолимое и горькое желание погрузиться, потеряться, полностью раствориться в запутанном, полном опасностей лабиринте крошечных площадей и закоулочков квартала Трастевере, где я решил поселиться,— в квартале, являющем собой город внутри города, особую столицу, веселую, прочно обжитую кошками и крысами, полную мимолетных звуков, где по вечерам, когда показывают футбол, люди громко галдят в барах; квартале, помимо множества других притягательных и неожиданных достопримечательностей примечательном еще и тем, что весь он завален кучами остро пахнущего мусора, пересекающими эту часть города, подобно горным пепям. Как я уже сказал, вступил я в Рим, спустившись в него прямо с небес, через небесные его врата, и вспоминая о том, что за четыре столетия до этого, в 1569 году, в этот же город через Порта дель Пополо вошел Мигель де Сервантес, благоговейно поцеловав порог этих ворот, не сдерживая слез при встрече с Римом.

Душа всех городов, твердыня Рима!
Высок удел, назначенный судьбою
тебе, о Рим! Позволь перед тобою
склониться мне в поклоне пилигрима.
О город, чье величие столь зримо,
что спорит с неземною красотою,
позволь и мне ступить ногой босою
в твой храм, чье первенство неоспоримо[1].

Шаг за шагом ходил я по тем местам, которые в свое время исходил Сервантес, тогда еще такой молодой, любуясь «душой всех городов», как он назвал Рим — который тогда и не подозревал, что ему суждено быть родиной Возрождения Сервантес ходил по Риму, восхищаясь его величием и древностью, «его рассыпающимися мраморными статуями, невредимыми и разбитыми, разрушенными арками и обвалившимися термами, удивительными портиками и грандиозными амфитеатрами, его мостами и улицами, сами названия которых сразу же выделяют их среди всех улиц мира: Аппиева дорога, дорога Фламиния, Юлия, Аврелия...»

Живя в Риме, который Сервантес восторженно назвал «свободным городом Италии», он был счастлив, хотя те два года его жизни солдата-скитальца были полны бедности и трудов. А потом он погрузился на галеру «Маркеса» и отправился сражаться в Лепанто, где лишился левой руки — перед сражением он под рубашку вместо панциря подложил стихи Хорхе Манрике, которыми тогда зачитывался.

И как Сервантес никогда не смог забыть свою свободную жизнь в Италии, так и я никогда не забуду прожитых мною пятнадцати лет в Трастевере, в новой и свободной стране, пробудившейся вновь после окончания второй мировой войны. Прибыл я туда не из Испании, где я так много оставил, оборвав свои корни, а из раздольных просторов Аргентины, что первыми дали мне приют и где я пробыл так долго, что вид их навсегда стал мне дорог, как и другие пейзажи, открывшиеся передо мной в моей новой жизни. Настолько глубоко врезались мне в душу эти просторы, что, когда я вынужден был оставить их и вернулся снова в Европу — хотя и не на родину, тогда для меня недостижимую,— я столь же смиренно, как и Сервантес, преклонив колени в Порта дель Пополо, молил Рим одарить меня своими чудесными милостями, чтобы мне не тосковать и не жалеть о всем прекрасном и глубоко выстраданном, оставленном мною на землях Южной Америки.

Сервантес, попав в плен, тосковал по Испании, лил по ней слезы, писал про нее стихи и создавал в воображении образы, которые в будущем запечатлел на бумаге — так тяжелое алжирское пленение, навевавшее на него бесконечное отчаяние, заточение, во время которого он даже оказался на волосок от смерти, все же обогатило его горчайшим жизненным опытом. Мы же, те, кто, с оборванными корнями, обдуваемые всеми ветрами, сумели добраться до иных, далеких земель, поначалу и на минуту помыслить не могли, что наше вынужденное паломничество затянется почти на 40 лет — а я говорю лишь о тех, кому в конце концов удалось вернуться на родину; ведь сколькие из нас

[1] Стихи Сервантеса. *(Здесь и далее перевод стихов Сергея Гончаренко.)*

еще остаются в чужих странах — тысячи и тысячи, и многие остались там навсегда.

Среди этих оставшихся — немало лучших наших поэтов. Я позволю себе сегодня напомнить лишь о них, не называя наших художников, музыкантов, прозаиков, ученых, имена которых звучат так гордо,— всех тех, кто с честью занимает достойное место рядом с нашим славным трудовым народом, ибо все мы сообща, по точному выражению Хосе Бергамина, образуем «странствующую по чужим землям Испанию». И простите меня, повторяю, что я назову лишь некоторые имена в этот лучезарный и прекрасный для меня день, когда имя Мигеля де Сервантеса осеняет меня словно два крыла — любви и гармонии. На закате моей жизни в такой день я с еще большей силой ощущаю неразрывную связь с дорогими моему сердцу друзьями — поэтами 20-х годов. Хорхе Гильен, Дамасо Алонсо, Херардо Диего — все они сегодня, когда я получаю эту замечательную премию, носящую имя Сервантеса, премию, которой недавно был удостоен и другой испанец, гранадский поэт Луис Росалес, столь близкий к нашему поколению,— все они сегодня становятся еще ближе мне. Не могу не вспомнить я здесь сегодня имена Висенте Алейсандре, Федерико Гарсиа Лорки, Хосе Бергамина и Мигеля Эрнандеса — у всех нас был общий путь, который мы прошли рядом до того момента, когда кровавая драма гражданской войны вторглась в наши судьбы.

Сколь ты немилосердна, о сладкая
Испания!

Когда наш великий и мудрый Антонио Мачадо пешком пересекал Пиренеи, шагая рядом со своей старухой матерью, уходя вместе с большей частью республиканской армии, покидавшей родную землю, он уносил в душе ту самую Испанию, по которой со слезами на глазах вздыхал в Алжире Мигель де Сервантес. Первые стихи, написанные испанским поэтом в изгнании, принадлежат Мачадо:

Эти дни голубые,
это солнце далекого детства...

Одна-единственная стихотворная строчка, но в ней уже билась тоска по родине, острое страдание от расставания с ней: обнаружена она была на клочке бумаги в кармане пальто старого поэта после его кончины. Дону Антонио Мачадо было 64 года. Мигель де Сервантес умер в 69 лет.

Сколь ты немилосердна, о сладкая
Испания!

А Хуан Рамон Хименес смог успокоиться лишь тогда, когда он наконец спокойно уснул на кладбище, на берегу моря у города Сан-Хуан в Пуэрто-Рико. В этом же городе он потерял Зеновию, любимую жену, потерял в тот самый день, когда поэту была присуждена Нобелевская премия. Хуан Рамон прожил на восемь лет больше, чем Мигель де Сервантес. Можно представить, с каким наслаждением Хуан Рамон продолжал бы глядеть на бьющиеся о берег Пуэрто-Рико волны Карибского моря, представляя далекое белопенное море и сиреневые сумерки своего Могера, которые так часто, как сквозь дымку, вставали в его воображении в долгие годы изгнанической жизни в Нью-Йорке.

Уснул навеки и Мануэль Альтолагирре. И Эмилио Прадос. Оба они были из Малаги, выросли на ее берегах, напротив побережья Северной Африки. После многих лет изгнания, когда и сама надежда на возвращение уже пропала, душа Эмилио словно заплуталась в темном лабиринте, в подземной пещере, откуда она, страдая и мучаясь, рвалась к свету.

Закрою глаза. Приснится
морская сердитая волна.
И сон этот видеть вечно
душа моя обречена.
Уже она не очнется,
и не проснется она.

Когда он скончался в Мексике, ему было 63 года.

Сколь ты немилосердна, о сладкая
Испания!

А сейчас вы услышите, как пел другой уроженец Малаги, Хосе Морено Вилья, страдавший от ностальгии ставшей особенно нестерпимой, когда к нему начала подступать смерть,— ему все чаще виделся берег его родного моря, утопающий в сочной листве:

Мы не сами приплыли, нас вынесли волны
на далекую землю ацтеков и инков.
Лишь по воле, по прихоти этого шторма
мы ступили, качаясь, на берег далекий.
Пусть песок на чужбине такой же, как дома,
и такие же рифы здесь вдоль побережья,
и похожие птицы поют на рассвете —
все равно уплывем мы однажды отсюда.
Не с мешками сокровищ, не с золотом в слитках
и не с танками в трюмах корабль наш отчалит,
а с тоской по отчизне ацтеков и инков,
где впитает в себя вулканический пепел
нашу кровь, наше слово и прах наших близких,
где оставим частицу мы нашего сердца...

Хосе Морено Вилья умер в Мексике 25 апреля 1955 года, двумя днями позже того числа в календаре, на который выпала кончина Сервантеса, но в том же возрасте — было ему 69 лет. Там же, на том берегу океана, в Аргентине, кончились дни поэта-баска Хуана Ларреа, чьи стихи, темные и потаенные, проникнуты упорными поисками нового поэтического слова; он преклонялся перед Рубеном Дарио и боготворил гениального перуанца Сесара Вальехо. На том же берегу, омываемом Карибским морем у Пуэрто-Рико, смотрит на волны, не в силах оторвать от них глаз, Педро Салинас, который умер в Бостоне в 61 год.

Почти два года провоевал Луис Сернуда на мадридском фронте, в горах Гвадаррамы, с вершин которых открывается вид на монастырь Эскуриал. Родом он был из Севильи, натура у него была тонкая, непредсказуемая, а творчество — как прозрачный лабиринт в полутенях, схожий с его родным кварталом Санта-Крус в городе, где он родился. Думаю, что среди

всех нас, поэтов, оказавшихся на чужбине, Сернуда страдал больше всех, хотя на словах, и особенно под конец жизни, он упрямо твердил, что и думать забыл о родной Андалусии.

Эскориал, ты подобен каменной лилии,
распустившейся в монастырском саду.
Светлоголосый соловей,
остекленевший в небе беззвучной песней,
ты похож на плод граната:
жесткий снаружи и сочный внутри.
Таким, Эскориал, встаешь ты в моей
памяти,
вздымаясь к широкому небу
и отражаясь торжественной улыбкой
в зеркале тихого пруда. Облака
венчают твои бессмертные башни...
Я не забыл оливковые рощи
на берегу андалусийского моря,
но сегодня память уносит меня на
север —
в гранитную серую высь сьерры,
где под сочной синевой неба
высятся сосны... Именно там
души человеческие должны бы жить
душа в душу.
Изгнание заставляет лучше понять
отчизну...

Эти строфы — из стихотворения «Соловей на скалах», написанные Луисом Сернудой в Англии, незадолго до того, как он перебрался в Мексику. Там он внезапно скончался, был ему 61 год.

Сколь ты немилосердна, о сладкая
Испания!

Леон Фелипе, самый старший из нас, хотя, казалось, у него вообще нет возраста, с охрипшим на ветру голосом самый среди нас легкий на подъем и быстро загорающийся, больше всего был похож на Дон Кихота, весь пронизан сервантесовским духом. К нему Испания обратилась только поистине немилосердной своей стороной, ибо ему почти не удалось вкусить ее сладости. Долгое свое изгнание в Алжире он переживал как пленение, которому конца-края не видно, проклиная судьбу и вознося к небесам гневный крик, снова и снова бросаясь с копьем наперевес на ветряные мельницы, каждый раз вновь поднимаясь на ноги, никогда не теряя жизненной силы, что так и кипела в его крови. Как только началась гражданская война, он бросил все и поспешил в Испанию из Панамы, где впервые ему удалось получить работу преподавателя. Было ему тогда 50 лет. Он сражался в битве за Мадрид и в самые горестные минуты, когда все рушилось, обращался к образу одинокого рыцаря Дон Кихота, который виделся ему странствующим по кастильскому плоскогорью:

Дон Кихот! Сколько раз я видел,
как ты скачешь неутомимо!
Как просился я в путь с тобою,
но всегда проезжал ты мимо.
Ты по нашей скакал Ла Манче,
но не слышал моей молитвы.
Дон Кихот! Я, как ты, печален,
только нет во мне сил для битвы.
Сколько раз в безысходной скорби
как великого одолженья
я просил даровать мне право
за тобою идти в сраженье.
Не прошусь я в оруженосцы,
не напрашиваюсь в адъютанты.
Только все же возьми с собою —
хоть бы конюхом Росинанту.
Свинопасом ли, козопасом,
но, идальго, возьми с собою...
Снова тенью на горизонте
изготовил копье ты к бою!

Упование Леона Фелипе на Дон Кихота всегда жило в его душе, и сейчас мне чудится, что замечательный поэт из Саморы все же въехал в наши дни в Мадрид, сидя на крупе Росинанта, но не затем чтобы стать незаметным козопасом, а уверенно сжимая рыцарское копье своей мечты. Сегодня старый поэт застыл, изваянный в камне, в одном из парков Мексики, под тенью огромных древних мексиканских кипарисов, самых необычайных деревьев этой страны. Назову и других поэтов, которым не привелось вернуться в Испанию: Педро Гарфиаса, Хуана Рехано, Артуро Серрано Плаху и Хосе Эррера Петере.

Король всем идальго, господь горемыкам,
с мечом, и с мечтою, и с горестным
ликом
ты скачешь — и время тебе нипочем.
Ты, непобедимый, нам нужен, как
прежде:
твой меч проторяет дорогу надежде,
а сердце нам служит надежным щитом.
О ты, непреклонный в своем постоянстве,
взыскующем вечных скитаний
и странствий,
о ты, победивший соблазн однолюб,
с великой отвагой, с упорством завидным
всегда сомневающийся в очевидном
и пробующий аксиомы на зуб!
О рыцарь средь рыцарей, пэр среди пэров,
вселяющий ужас во всех маловеров
и дерзко бросающий вызов судьбе!
Неравная битва, смертельная схватка
тебя не пугают — и все же несладко
на нашей земле нищеты и достатка
тебе посреди монументов тебе.
Заступник, грехи наши нам отмоли ты!
Святой наш! Спаси наши души молитвой!
Идальго всевышний! Прости и спаси!
Спаси нашу кровлю! Не кровью ли
каплет
над нами? Седлай Росинанта, о Гамлет:
нам быть иль не быть? Отче, иже еси...
Спаси нас, идальго, от боли, бесчестья,
от сверхбелокурых неистовых бестий,
от хриплых певиц, от убийц-докторов,
от лживых наветов, как от эпидемий,
от аплодисментов и от академий,
порог огради нам, идальго, и кров!
Спаси нас, о рыцарь, воитель и витязь,
от правых и все же неправых
правительств,
что сеют ракеты в полях, а не рожь.
К закату склоняется век, и над голым
его плоскогорьем витает не голубь,
а смрадный стервятник,
чернее, чем ложь.
Мещан защити ты своею десницей:
ведь им с ветряками самим не
сразиться —
они, ветряки, синяками грозят.
От черных полковников, меч
донкихотов,
спаси нас, избавь нас от переворотов,
которые ввергнут однажды нас в ад!
Король всем идальго, господь горемыкам!
Спаси наши души! Усильем великим
спаси нас, покуда наш мир не погиб!
Сразись, Дон Кихот, с ядовитой змеею,
пока над Ла Манчей и прочей землею
не вырос драконом дымящийся гриб!

Ваше Величество!

Когда испанский поэт-изгнанник попадает в ту часть Америки, где говорят на том же кастильском языке, но с поразительным многообразием и богатством иных оттенков, корни его, сочащиеся болью, оборванные, исхлестанные ветрами, с годами понемногу обретают жизнь, возрождаются, опять идут в рост, выбрасывают листья, новые почки и побеги, настолько жизнеспособные и мощные, что они, словно влекомые непреодолимой слепой силой, тянутся через океан к оставленным когда-то на родной земле, оборванным, иссеченным корешкам. И вопреки огромным рас-

стояниям корни, встретившись вновь, срастаются обрубками своими, по ним снова пробегает когда-то прерванный живой ток, пространства между ними оживают и в конце концов появляется цветок, взращенный на боли и страдании, но неподвластный смерти, ибо его обвевает воздух родной земли и согревает привычное солнце, и он снова начинает источать аромат. И снова обретают голос и поют те поэты, которых я чувствую рядом с собой в этот день Сервантеса, в день, когда мне вручают премию, которой, вне всякого сомнения, достоин каждый из них.

Домой на железных крыльях
летел я, отчизной болен.
Тень птицы стальной струилась
над речкою и над полем.
И мнилось мне: скачут кони
по полю под этой тенью.
И я на коне мальчишкой
вернулся в свое селенье.
Нашел я свой дом, где раньше
звенела струя фонтана,
фонтана, и на чужбине
мне певшего неустанно.
Фонтан пересох — и все же
он пел мне, как пел однажды,
и канувшей в Лету влагой
он вновь утолил мне жажду.

Я, Ваше Величество, вернулся. Мне посчастливилось вернуться. Мне удалось срастить и восстановить оборванные корни, снова укоренить их в почве Испании, погрузиться в толщу народа Испании, с которым я теперь связан повседневным существованием. Именно это дает мне крепкое здоровье, живость и стремительность кометы, что и поныне живут во мне в мои 81 год, 4 месяца и 7 дней. Комета моей жизни все больше разгоняется, увеличивает орбиту, уподобляясь существующей миллионы лет комете Галлея, увиденной мною в далеком детстве, когда я нежился на прекрасном берегу близ Кадиса где я родился, и которая снова должна появиться — уверен, что я буду жить и тогда,— в небе Испании через полтора года.

Ваше Величество!

Надеюсь, Вы вспомните, что я впервые увидел Вас в посольстве Испании при Ватикане, в Риме. Тогда, приветствуя Вас, я вручил Вам краткое письмо, в котором мы, группа испанских изгнанников, живших в Италии, просили Вас предоставить амнистию политическим заключенным, еще томившимся в тюрьмах нашей страны. Таким был мой первый человеческий контакт с Вами и королевой Софией, сопровождавшей Вас. Сегодня я приехал в Алькала-де-Энарес, город—колыбель Сервантеса, чтобы получить из Ваших рук высокую премию, которую я воспринимаю как премию всем тем 338 миллионам людей, что во всем мире, хотя и с разными оттенками, говорят, выражают свои мысли и чувства на бессмертном языке Дон Кихота. Спасибо, Ваше Величество.

А Ее Величество королеву донью Софию я прошу принять от меня в виде приветствия скромный поющий цветок, выращенный Лопе де Вегой, в котором я отважился лишь заменить один лепесток.

Вот цветок для королевы.
Краше не было у Евы.
Справа нет и нету слева
лучше этого цветка
Только роза вдруг ревниво
побледнела всем на диво:
королева столь красива,
что пред нею справедливо
меркнут краски лепестка

Большое спасибо.

Вступление и перевод с испанского
ХУАНА КОБО

◆

Публицистика

ЗДЕНЕК ГОРЖЕНИ

«...ВСЕ ЭТО НУЖНО ДЛЯ РЕВОЛЮЦИИ»

Как Россия стала второй родиной бравого солдата Швейка

Бравый солдат Ярослав Гашек отправился на первую мировую войну. Произошло это одним хмурым осенним вечером 1914 года, когда уже бушевала военная буря, оставляя по обе стороны линии фронта тысячи свежих могил. В Австро-Венгрии все усиленнее нагнеталась шовинистическая атмосфера. Именно тогда будущий творец бравого солдата Швейка вошел в одну из многочисленных пражских гостиниц, «У Валшу», и остановился на ночь. Но лучше дадим слово пану Славичеку, старшему полицейскому комиссару города Праги, составившему точный протокол события: «При проверке анкет для иностранцев от 24 ноября обнаружено, что в гостинице «У Валшу» проживает Ярослав Гашек, родом из Киева, путь держащий из Москвы. На основании официального приказа поименованного в списке иностранца доставили в комиссариат, где было установлено, что это известный писатель и журналист Ярослав Гашек. На допросе он заявил, что хотел проверить, хорошо ли осуществляется в военное время полицейский учет иностранных граждан, и с этой целью указал в упомянутой анкете неверные данные».

Вот таким образом в стиле, достойном бравого солдата Швейка, Ярослав Гашек объявил свою войну войне. Разыгрывая эту комедию, за что полицейская управа отвалила ему пять суток тюрьмы, он едва ли мог предполагать, что оба города, указанные им в анкете гостиницы «У Валшу», Киев и Москва, станут поворотными вехами в его судьбе.

Однако не эта озорная выходка привела Гашека в лагерь противников войны. Сознательным антимилитаристом он стал задолго до того дня, когда раздались первые выстрелы. Так, в 1907 году в остросатирическом произведении «Мирная конференция» Гашек высмеивал попытки милитаристов замаскировать планы подготовки войны дымовой завесой миролюбивых речей. Сатирик-публицист выступает против аннексии Боснии и Герцеговины, осуждает попытки использовать летательные аппараты на войне, на этой страшной, невиданной до сих пор войне, которая, «точно черная тень современного варварства», нависла над человечеством.

В сентябре 1911 года в фельетоне «Забытый юбилей» он даже предсказал надвигающуюся катастрофу: «...видимо, будет война и много людей, подданных различных государств, будет убито...»

В феврале 1915 года эта война весьма ощутимо вторглась и в жизнь писателя. В качестве «вольноопределяющегося», как в австро-венгерской армии называли солдат с законченным средним образованием, Гашек (отнюдь не добровольно) стал солдатом 91-го пехотного полка в Ческе-Будеёвице.

Прежде чем отправиться на поле брани, Гашек надписал на прощание одному из друзей свою книгу «Моя торговля собаками»: «Через несколько минут я уезжаю куда-то далеко. Может быть, вернусь казацким атаманом. Если меня повесят, пришлю тебе на счастье кусок своей петли». За кладбищенским юмором этих строк легко угадывается нежелание автора помогать австро-венгерской военной машине в ее убийственных планах, а также его решимость действовать: подразумевается, что он пойдет даже на крайний риск.

Благоприятная обстановка для осуществления намерений Гашека возникла 24 сентября 1915 года у украинской деревни Хорупань, близ города Дубно, примерно в 100 км к северо-востоку от Львова. Утром того дня внезапная атака русских войск застала Гашека в окопах. Часть 91-го полка спешно оставляет свои позиции. Вольноопределяющийся Ярослав Гашек, вестовой или связной один

надцатой пехотной сотни двенадцатого батальона, готов к действию: он переходит Рубикон — переходит на сторону русских.

91-й пехотный полк, позднее прославленный Гашеком навеки, потерял в этот день много солдат — 135 убитыми, 285 ранеными, 509 было взято в плен. Большинство сдавалось добровольно. Цели ненавистной войны были глубоко чужды чешскому солдату, который был насильно втянут в нее.

Солдат «чешской революции»

В Киеве Гашек побывал дважды. Первый раз, когда ему предстояло пройти около 350 км до лагеря военнопленных в Дарнице. Об этом походе «пешком от Дубно до самой Дарницы под Киевом» писатель упоминал в «Похождениях бравого солдата Швейка во время мировой войны».

Во второй раз Гашек приехал в Киев из лагеря для военнопленных в Тоцке под Бузулуком уже в качестве одного из первых добровольцев, вступивших в так называемую «Чешскую дружину». Это произошло в июне 1916 года, именно тогда, когда Гашек стал, по его словам, солдатом «чешской революции».

«Чешскую дружину» основали «русские чехи», несколько десятков тысяч которых жило в России до первой мировой войны. В самом начале военных действий был образован «Союз чешских (позднее чехословацких) обществ», а «Чешская дружина» была его военной организацией, сражавшейся бок о бок с русской армией. Весной 1916 года царское правительство дало согласие на то, чтобы в дружину могли вступать добровольцы чешской и словацкой национальностей из числа австро-венгерских военнопленных. Когда известие об этом разнеслось по Тоцкому лагерю, Ярослав Гашек, еще не оправившийся после тяжелейшего тифа, был среди первых, кто заявил о желании сражаться против Австро-Венгрии. Приехав на Украину, Гашек становится солдатом первого чехословацкого стрелкового полка, основой которого послужила «Чешская дружина». Позднее на базе полка зародился чехословацкий корпус (легион). Штаб полка располагался в украинском городке Бережно, примерно в 250 км северо-западнее Киева. Однако медицинская комиссия, к великому огорчению Гашека, признала его негодным к строевой службе. Писатель был назначен полковым писарем и позднее переведен в Киев, в распоряжение «Союза чехословацких обществ».

И все-таки на поле битвы Гашек попал. Он участвовал в сражении под Зборовом, за что был награжден Георгиевским крестом четвертой степени.

Однако основным оружием Гашека все же было перо. В Киеве тогда выходила газета «Чехослован» на чешском языке.

В течение нескольких месяцев в ней из номера в номер печатались гашековские рассказы, юморески, передовицы, стихи, фельетоны, информативные заметки. Наконец-то журналист получил возможность открыто призывать своих земляков к борьбе против ненавистной Австро-Венгрии — тюрьмы народов. Наконец, на помощь своему страстному патриотическому порыву, иногда даже окрашенному в националистические тона, он призывает бравого солдата Швейка. Еще до войны, в 1912 году, этот гашековский литературный персонаж, «идиот на действительной», который собрался «служить государю императору до последнего вздоха», завоевал широкую популярность у читателей. Образ Швейка фигурировал в пяти рассказах писателя. В 1917 году в Киеве Гашек создал уже повесть в 100 страниц и назвал ее «Бравый солдат Швейк в плену». Хотя Швейк ничуть не отступился от своего намерения служить императору со всем пылом, «хоть режь на части», однако с криком: «Друзья, я Йозеф Швейк из Кралевских Виноград» герой повести перебегает на сторону русских.

Книга, с ее несколько романтическим финалом, отвечает всем требованиям агитационного материала для чешских войск. Швейка встречают хлебом и чаем. Приветствует его и рота чешских добровольцев.

«Второй Швейк» был опубликован летом 1917 года. Книга пользовалась большим успехом у чешских солдат. Для самого Гашека ее издание стало своего рода генеральной репетицией «третьего Швейка» — романа, который создавался после войны и явился уже абсолютно зрелым художественным произведением.

Февральская революция застает Гашека в Киеве. Писатель вместе со всеми демократическими силами России приветствует ее. С восторгом пишет он о том, как украинцы, русские и чехи праздновали на улицах Киева свержение царя: «Этот великолепный солнечный день, первый праздник свободы, стал великой манифестацией и чешской революции. Чехов, находившихся в Киеве и принявших участие в манифестации, встречали такими овациями, что сегодня нельзя сомневаться в том, что русский народ считает нас, чехов, своими союзниками».

Осознание этого факта было чрезвычайно важно для дальнейшего духовного развития Гашека.

Гашек буквально окрылен Февральской революцией, она помогает писателю увидеть перспективу национально-освободительного движения чехов и словаков: «Совершенно очевидно, что, если движение хочет защитить интересы народа и добиться установления республики, оно не может достичь этого только парламентским путем,— пишет он 29 марта 1917 года в статье «Республиканская программа в Чехии».— Необходимо идти другой дорогой, а это — революция. Как успешно провести ее, показала в эти дни Россия, где с помощью насилия свергнут старый режим и где отовсюду слышны призывы установить республику.

Мы слушаем эти голоса с особой симпатией. Мы сами осуществляем вооруженную революцию против прогнившей габсбургской империи и поэтому провоз-

глашаем вслед русской революции: «Да здравствует революционная армия Чехословацкой республики!»

События в России развивались бурно, каждого из участников этих событий, а также и «нейтральных» чешских легионеров они вынуждали определить свою позицию. Не был исключением и Ярослав Гашек. Он сравнивает слова и дела представителей советской власти и руководства чехословацкого корпуса. Особенно близки ему социальные идеалы революции. Он приветствует решение советского правительства об экспроприации имущества капиталистов.

Под влиянием двух русских революций в публицистике Гашека появилась тема рабочего движения. Он пишет о труде и капитале, о правящих кругах, в рабочем классе он видит реальную силу, способную привести его родину к национальному освобождению.

В начале февраля красное знамя революции взвилось и над Киевом. Гашек вступает в непосредственный контакт с представителями советской власти, знакомится с ее программой, идеями, лозунгами.

Между тем главари чехословацких легионеров окончательно сбрасывают маску «нейтралов». Из Парижа, где находился так называемый Чехословацкий национальный совет — орудие империалистического сговора,— прозвучал приказ отвести легионеров с русского фронта и буквально вокруг света переправить их во Францию: чехословацкие солдаты должны продолжить борьбу с австро-германскими войсками. При этом руководство ссылается на переговоры в Брест-Литовске, в силу которых временно прекращаются бои на Восточном фронте. Однако, когда австро-германские войска вероломно нарушили перемирие и 18 февраля 1918 года вторглись на Украину, отвод легионов был ускорен.

Предательский акт руководства чехословацкого корпуса буквально ошеломил Гашека. Он считает, что отвод легионов во Францию — измена делу «чешской революции», он видит в этом и предательство по отношению к народу России, который, как неоднократно он подчеркивает, первым дал его соотечественникам возможность сформировать чехословацкие военные части. Он открыто выступает на защиту не только России и русского народа, но и социалистической революции: «Войска германского и австрийского императоров вторглись на Украину и в Россию. Это авангард капиталистов и империалистов, направленный для борьбы против политической и социальной революции, против русского и чешского пролетариата...» Так 24 февраля, будучи еще в Киеве, он пишет в воззвании, адресованном легионерам. Однако эвакуация продолжается.

Ярослав Гашек, солдат 1-го стрелкового полка отдельного чехословацкого корпуса и журналист, не поддается, однако, всеобщей истерии. Напротив, он отваживается на самый серьезный и решительный шаг в своей жизни. В архиве легиона обнаружилась копия его заявления: «Нижеследующим извещаю, что я не согласен с политикой филиала чехословацкого Национального совета и с отъездом нашего войска во Францию. Поэтому заявляю, что выхожу из рядов чешского войска до тех пор, пока в нем и во всем руководстве Национального совета не одержит верх другое направление».

Так он перешел Рубикон вторично. На этот раз путь привел в лагерь Октябрьской революции. До прихода австро-германских войск он успел выехать поездом из Киева в Москву.

В ту пору Гашек едва ли мог в полной мере оценить все значение своего поступка, но, объективно говоря, он смотрел сквозь десятилетия: его помощь Советской России была в то же время помощью и его собственному народу, ибо Октябрьская революция своим влиянием предопределила и революционное будущее Чехословакии.

История доказала, что Гашек был прав.

Красноармеец

В Москву судьба забрасывала Гашека дважды. Первый раз — в марте 1918 года. Хотя документов об этом сохранилось мало, сам этот факт не вызывает сомнения. В «Анкете чехословацкого коммуниста, члена Российской Коммунистической партии (большевиков)», заполненной Гашеком под № 1721 перед его отъездом на родину, на вопрос «Когда и где стал коммунистом?» Гашек отвечает: «Москва, март 1918».

В той же анкете на вопрос «С какого и по какое время служил в Красной Армии?» ответил: «С апреля 1918 до 18.XI.1920».

В следующей рубрике Гашек перечислил семь городов, где он в этот период находился: Самара, Бугульма, Уфа, Челябинск, Омск, Красноярск и Иркутск.

Красноармейскую форму Гашек надевал на себя дважды. Первый раз в Самаре, второй — спустя несколько месяцев, когда ему пришлось пережить драматические дни отступления от преследующих белогвардейцев и их союзников-легионеров, его соотчественников.

При каких обстоятельствах стал Гашек красноармейцем?

Большевистская партия и Советское правительство обратились к революционерам из рядов иностранцев, которых революция застала в России, с предложением вступить в новую рабоче-крестьянскую армию. Наконец, 14 марта 1918 года в Москве состоялась конференция социал-демократов, интернационалистов, которая послужила импульсом к созданию национальных секций при РКП(б). Чехословацкая секция сформировалась в марте 1918 года, а в мае того же года на ее базе была основана Чехословацкая коммунистическая партия в России. Эти интернациональные секции видели главную задачу в том, чтобы способствовать мобилизации своих земляков на фронт, на защиту Октябрьской революции. В тот период это было самое конкретное, самое действенное проявление пролетарского интернационализма.

Чехословацкая секция сразу же стала посылать из Москвы в разные районы России отряды чешских красноармейцев. Например, газета «Прукопник» 27 марта 1918 года сообщила, что «по всей России разъехались наши агитаторы, вооруженные мандатами партии». Агитаторы получили задание убеждать легионеров, отъезжающих из России, вступать в ряды Красной Армии. На важных железнодорожных узлах, через которые проезжали поезда с легионерами по направлению Сибирь — Владивосток, чехословацкие коммунисты создали агитпункты и пункты по формированию чехословацких интернациональных отрядов. Одним из таких центров, помимо того, была Самара, куда в начале марта или в начале апреля 1918 года выехала группа членов чехословацкой секции во главе с Ярославом Гашеком.

Формирование чехословацкой красноармейской части — вот главная задача, на которой Гашек сосредоточил свое внимание, будучи в Самаре. В сохранившемся документе, написанном Гашеком, говорится, что 15 апреля 1918 года там начал создаваться отряд чехословацких красноармейцев из числа чехословаков и сербов, вошедший в состав 1-го Советского Самарского полка. Из рапорта инспектора пехоты самарской губернии Семенова (май 1918 г.) можно узнать, что месяц спустя после создания отряд уже насчитывал 120 человек и что его командиром был чех Малина, ранее служивший в русской армии. «Занятия ведутся ежедневно с утра до 11 часов и после обеда с 2 до 4 ч. 30 м. На занятии всегда присутствуют все взводные и ротный командир, а также политический комиссар Гашек»,— отмечал инспектор пехоты Семенов.

Здесь, в Самаре, Гашек участвует вместе со своими товарищами в праздновании 1 Мая. При его содействии была основана ячейка чехословацких коммунистов. В этом городе Гашек на собственном опыте постигает, что такое острая классовая борьба. В мае 1918 года он стал свидетелем вооруженного антисоветского мятежа анархистов. Московский коллекционер Петр Матко, в течение полувека изучающий биографию и творчество Гашека, хранит в своем архиве письма одного из бывших легионеров, который спустя много лет признался ему, что некогда получил задание совершить покушение на Гашека.

«Маленькое приключение» в Поволжье

Чехословацкие легионеры мечтали добраться до Гашека. Для них он был предателем хотя бы уже потому, что выбыл из их рядов и агитировал против отъезда из России во Францию, но главным образом потому, что перешел на сторону Красной Армии. Они знали о его статьях в «Прукопнике», о его листовках, распространявшихся среди легионеров, проезжавших через Самару. Неудивительно, что было выдано два ордера на арест Гашека, в которых он обвинялся в «преступной измене» государственным интересам чехословацкой нации. Гашек не мог, конечно, знать об этих ордерах, но предполагать их существование мог. Когда в конце мая 1918 года чехословацкий корпус поднял вооруженное восстание против советской власти сначала в Пензе, а затем и в других городах, когда в начале июня началось наступление на Самару, он инстинктивно почувствовал, что живет под дамокловым мечом. Бои за Самару шли несколько дней. В сражении у деревни Липяги, расположенной в 15 км от Самары, участвовал и отряд чехословацких красноармейцев. Тогда Красная Армия не смогла отстоять Самару, 8 июня город оказался в руках легионеров, и с их помощью власть захватила контрреволюция. Вскоре пали и другие волжские города — Казань и Симбирск.

Товарищ Гашека по оружию, чехословацкий красноармеец Йозеф Поспишил, вспоминал позднее в своей книге «Я знал Гашека» (1977), что роты чехословацких красноармейцев отступали из Самары на восток и в последнюю минуту сели в товарный поезд, отправлявшийся на Уфу. Без Гашека. По свидетельству Поспишила, Гашек тогда в штабе, расположенном в гостинице «Сан-Ремо», ликвидировал документы, а затем, переодевшись в гражданскую одежду, «покинул Самару в другом направлении».

После падения Пензы в руки легионеров попало несколько чехов из рядов 1-го пензенского чехословацкого полка. Пленные были повешены без суда. Гашек легко мог себе представить свою участь, попадись он тоже в руки «братьев-легионеров».

О превратностях судьбы, постигших его после падения Самары, мы, к сожалению, знаем очень мало. В «юбилейных воспоминаниях», написанных в Праге три года спустя после событий в Поволжье и его бегства из Самары, он рисует дни, проведенные среди «поволжской мордвы», рассказывает, как по приговорам на скорую руку сколоченных полевых судов в Самаре «выводили рабочих из тюрем и расстреливали за кирпичным заводом». В городе и предместьях усиленно действовала контрразведка новой власти. «В эти тяжелые минуты, когда мне на каждом шагу грозила смерть, я решил, что лучше всего для меня будет отправиться на северо-восток в Б. Каменку»,— пишет Гашек. К сожалению, рукопись осталась незаконченной.

Существует, однако, еще одно свидетельство Гашека: его письмо Ярославу Салату, председателю Центрального чехословацкого бюро агитации и пропаганды при ЦК РКП(б), написанное 17 сентября 1920 года[1]. В нем он вспоминает о «маленьком приключении» которое пережил летом 1918 года в Поволжье: «...после того, как «братья» в 18 г. штурмовали Самару... мне два месяца в Самарской губ., прежде чем я пробрался в Симбирск, пришлось разыгрывать пе-

[1] Перевод его был опубликован в «ИЛ», 1967, № 11.

чальную роль идиота от рождения, сына немецкого колониста из Туркестана, который в молодости потерял родных и скитается по свету, в чем не усомнились даже дошлые патрули чешских войск».

Мы не имеем причин не верить Гашеку — это было в его стиле. Более трех месяцев он скрывался на левом берегу Волги, позже переправился на правый берег и во вновь освобожденном Симбирске явился к представителям советской власти. Это могло произойти самое раннее во второй половине сентября (Симбирск был вновь освобожден 12 сентября 1918 года) или в начале октября 1918 года. Йозеф Поспишил утверждает, что «все это прошло не так гладко и даже в результате одного недоразумения и подозрения Гашек очутился за решеткой», но вскоре по выяснении дела его освободили.

Здесь мы покидаем не всегда достоверную почву свидетельств, появившихся спустя десятки лет. Перед нами несомненный факт: по крайней мере с 16 октября 1918 года Гашек опять в рядах Красной Армии. Это подтверждается документом, выданным ему в тот самый день под номером 979/181 политическим отделом революционного военного совета 5-й армии Восточного фронта в Симбирске. В документе говорилось, что товарищ Я. Гашек «делегируется в качестве организатора в город Бугульму в распоряжение т. Широкова».

Татарский городок Бугульма был как раз за несколько дней до этого освобожден Красной Армией (13 октября 1918 года). Позже Гашек вспоминал в своих юморесках о «председателе Каюрове», который послал его из Симбирска за 300 км в Бугульму. Василий Николаевич Каюров, в прошлом питерский рабочий, был заместителем начальника политотдела 5-й армии. В письме от 20 июля 1918 года В. И. Ленин приводит его в пример как рабочего-«вождя», каких рабочий класс Петрограда должен посылать в руководящий аппарат Красной Армии на Восточном фронте[1].

В. Н. Каюров с великодушием, достойным великого революционного времени, поверил вновь объявившемуся чешскому красноармейцу Гашеку, но все же запросил Центральный Комитет Чехословацкой коммунистической партии в России о дополнительной информации. На первое послание, текст которого неизвестен, ответ не был получен, поэтому 24 декабря 1918 года Каюров повторяет запрос: «Дать срочно отзыв о товарище Гашеке Ярославе, Бугульма, политотдел 5-й армии, Каюрову». На этот раз по телеграфу пришел ответ ЦК Чехословацкой коммунистической партии, гласивший: «Товарищ Гашек вышел в марте из чешского корпуса, с тех пор осуществлял связь с партийными учреждениями. После занятия чехословаками Самары судьба его нам неизвестна». Очевидно, телеграмма не противоречила тому, что Гашек говорил Каюрову о своей недавней деятельности. К концу декабря 1918 года, когда пришел ответ из Москвы, у чешского писателя уже было за плечами более двух месяцев многообразной политической и организаторской работы в 5-й армии. Это была самая лучшая проверка.

В Бугульме

Свою службу в рядах Красной Армии Гашек начал в Бугульме на посту помощника коменданта города. Казанский исследователь творчества Гашека Станислав Антонов обнаружил недавно документ — первый приказ коменданта Бугульмы Ивана Дмитриевича Широкова. Из приказа явствует, что писатель принял на себя обязанности помощника коменданта 26 октября 1918 года.

В Бугульме тогда проживало 10—15 тысяч человек. Через город проходила железная дорога, соединяющая Симбирск с Уфою и Уралом, и это придавало городу большое стратегическое значение. Через него шли на фронт поезда с солдатами и оружием, здесь формировались новые части Красной Армии. У городской комендатуры забот было хоть отбавляй, не говоря уже о политической и просветительской работе среди гражданского населения. Иногда приходилось решать и совершенно прозаические дела. Понадобилось, например, привести в элементарный порядок здание, в котором предстояло разместить штаб 5-й армии.

В одной из юморесок, написанных в Бугульме («Крестный ход»), в гротесковой форме Гашек изобразил, как однажды он потребовал, чтобы монахини местного монастыря отдраили полы в бугульминских казармах. Спустя годы подтвердилось, что этот эпизод писатель не выдумал, а почти точно описал реальный случай. В архивах нашлось предписание Гашека, адресованное игуменье бугульминского монастыря:

«Предлагаю Вам выслать немедленно 30 монахинь для уборки помещения штаба 5-й армии в дом Волжско-Камского банка по Советской ул.

Пом. коменданта Гашек».

Поначалу, когда в городской комендатуре появился чех в красноармейской форме, не обошлось без недоразумений. Свидетель тех событий, тогдашний командир 2-го взвода комендантской роты Иван Филиппович Риманов, чуваш, который 23-летним бойцом 26-й дивизии 5-й армии участвовал в освобождении Бугульмы, вспоминает, что Широкову пришлось даже выступить на митинге, чтобы развеять сомнения красноармейцев насчет Гашека. «С белыми чехами мы тогда дрались не на жизнь, а на смерть, а в комендатуре служит один из чехов,— пишет Риманов в тоненькой книжечке своих воспоминаний о встречах с Гашеком в Бугульме («Встречи с Ярославом Гашеком». Чебоксары, 1974 г.).— Не подастся ли он к своим «братьям»? Такие вопросы можно было услышать иногда в среде бойцов».

Однако по свидетельству Риманова Гашек своим поведением и веселым характером быстро завоевал популярность как

[1] См. В. И. Ленин. Собр. соч. Изд. 4-е, т. 27, с. 503.

среди красноармейцев, так и среди мирного населения.

В свою очередь и у Гашека наверняка сохранились самые живые воспоминания о Бугульме. По возвращении на родину он оказался в стесненных денежных обстоятельствах. Пользуясь этим, издатели требовали от него написать «что-нибудь о России». Перебирая в памяти пережитое, он тогда остановился на бугульминском периоде жизни. Франтишек Кисела (Сауэр) в своей книге «Франта Габан с Жижкова» рассказывает, как Гашека буквально разрывали на части и он якобы пообещал написать сразу несколько романов, взяв под это небольшие авансы. Кисела цитирует «подлинный» договор Гашека с издателем А. Свиценым: «Подтверждаю, что я получил 700 крон как аванс за свой роман, который напишу для издательства А. Свиценого под названием «Бравый солдат Швейк у большевиков». В редакции газеты «Трибуна» Кисела также видел объявление, извещавшее, что «будет издаваться юмористический роман Ярослава Гашека «Солдат Швейк в Бугульме».

Что-то в этом было. Описав свою одиссею, связанную с возвращением домой, Гашек берется за юмористические рассказы на тему Бугульмы и печатает их именно в «Трибуне».

Первую юмореску «Комендант города Бугульмы» он сопроводил интригующим подзаголовком «Тайна моего пребывания в России» с целью высмеять всех тех, кто хотел бы, чтобы он вывернул для них душу наизнанку. Героем юморесок, однако, является не бравый солдат Швейк, а сам автор. В этих произведениях Гашек «поймал», «учуял» возможности жанра. В этот период творческого подъема у писателя дозрела идея описать похождения бравого солдата Швейка «во время мировой и гражданской войн здесь и в России». Так он и заявил в написанном им извещении. «Трибуна» еще не кончила печатать цикл юморесок о Бугульме, а бравый солдат Швейк уже пережил свое третье рождение, теперь уже как герой романа.

В юморесках Гашек отпустил узду фантазии, и, однако, некоторые мотивы отвечали правде жизни. В юмористических рассказах Гашек вспоминает о каком-то «тверском» полку и его командире — анархисте Ерохимове. Некоторые ветераны утверждали, что Гашек все выдумал, что никакой «тверской» полк не существовал, как не существовало и «командира Ерохимова». Но и на этот раз документы встали на сторону автора юморесок. В Центральном архиве Советской Армии в Москве нашлось донесение политкомиссара 26-й дивизии В. К. Путны политотделу 5-й армии от 21 ноября 1918 года, касающееся «тверского политэскадрона», который следует расформировать.

Таким образом, «тверская» воинская часть обнаружилась, но и Ерохимов существовал. Газета «Наш путь», печатавшаяся в уфимской типографии, писала в январе 1918 года, что военный революционный трибунал 5-й армии приговорил 1 января к расстрелу члена особой комиссии Бугульминского уезда Ерохима за то, что тот использовал свое служебное положение для собственного обогащения. Вполне возможно, что именно из этого сообщения гениальная память Гашека выхватила и сохранила имя Ерохим — Ерохимов.

Возможно, найдутся люди, способные использовать юмористические зарисовки о Бугульме в политических целях. В 1979 году два французских издателя выпустили в свет тенденциозно озаглавленный сборник бугульминских юморесок Гашека, включив в него также рассказы и фельетоны, созданные им в другие периоды творчества. Оба издателя были и авторами предисловия, в котором, отдавая Гашеку должное как мастеру сатиры, они в то же время противопоставляют его самому себе, стремясь превратить во врага Октябрьской революции. А это не что иное, как злостная клевета.

...Все это нужно для Революции

Свою боевую биографию Ярослав Гашек изложил вкратце в вышеупомянутом письме к Ярославу Салату. Можно понять, почему в этом письме он путает латинский алфавит с русской азбукой, а в его лексике звучат русизмы — ведь он два года живет исключительно в русской среде, говорит и пишет только по-русски. Здесь он перечисляет ряд своих должностных обязанностей и образно описывает все новые и новые поручения:

«У меня всегда полно работы, и когда я полагаю, что больше уже никто не способен придумать, что бы я смог еще сделать, появляются новые обстоятельства, которые заставляют меня работать еще больше. Я вовсе не ропщу, поскольку все это нужно для революции».

А это уже больше чем сообщение. Это признание, в полной мере подтвержденное исследованиями, предпринятыми советскими и чехословацкими историками и литературоведами после второй мировой войны. Они показывают нам Гашека — организатора и политработника Красной Армии, пропагандиста, лектора, популярного оратора на митингах, редактора и издателя красноармейских газет и журналов, а также человека, жившего в соответствии с революционными нормами нового общества.

После отступления из Бугульмы политотдел 5-й армии назначает его в январе 1919 года на пост заведующего типографией в Уфе, где печаталась газета «Наш путь» (позже переименованная в «Красный стрелок»). Здесь Гашек впервые выступает и как автор фельетонов, комментариев, актуальных заметок, написанных на русском языке.

В Уфе Гашек был также избран секретарем так называемой Иностранной партии коммунистов (большевиков). На этом посту он в полной мере реализует свое знание языков: кроме русского он знает немецкий (говорит и пишет), может изъясняться на венгерском, польском, французском. Возможно, именно поэтому он становится также и уполномоченным

«австро-венгерского Совета рабочих и солдатских депутатов». Он даже объявляет мобилизацию венгерских граждан, проживающих в Уфимской губернии, на помощь Венгерской советской республике.

В сентябре 1919 года в Челябинске Гашек назначается начальником интернациональной секции политического отдела 5-й армии. Год спустя он становится во главе организационно-информационной секции, некоторое время замещает начальника политотдела. Гашек избирался секретарем партийной ячейки типографии, секретарем партийного комитета в штабе 5-й армии, членом бюро чехословацкой секции при Иркутском губкоме РКП(б) и членом Дальневосточного чехословацкого бюро по агитации и пропаганде. В августе 1920 года жители Иркутска избрали его депутатом городского Совета от Красной Армии.

Широкое поле деятельности предоставил ему прежде всего пост начальника интернациональной секции. Он охарактеризовал ее задачи в отчете о работе секции за период август—ноябрь 1919 года: «Популяризация авторитета рабоче-крестьянской Советской власти, объяснение программы Коммунистической партии, широкая пропаганда идей всемирной пролетарской революции и диктатуры пролетариата, подготовка иностранцев к вступлению в ряды Красной Армии, формирование из них интернациональных частей, отрядов и т. д., организация коммунистических ячеек в интернациональных частях армии, издание листовок, воззваний и газет...».

В восточных областях России в то время находилось много иностранцев различных национальностей, главным образом венгров и немцев. В большинстве случаев их сюда забросила мировая война. Секция выпускала агитационные материалы на нескольких языках. Под руководством Гашека выходили и газеты на иностранных языках, в основном на немецком и венгерском, а также польском. В Иркутске он был редактором первой советской газеты на бурятском языке. Он должен был также издавать китайско-корейскую газету.

Совершенно очевидно, что Гашек рассчитывал на более длительный срок службы в рядах Красной Армии. Оказавшись в восточной России, он все больше и больше внимания уделял проблемам народов Дальнего Востока, записался даже слушателем на курсы восточных языков при Иркутском университете, на отделение японского языка, и ему было выдано удостоверение за № 23.

Гашек систематически интересуется актуальными вопросами внутренней и внешней политики Советской России, изучает произведения В. И. Ленина, работы других советских деятелей, внимательно следит за событиями за рубежами Советской России, развивает активную лекционную деятельность. В лекциях и статьях он размышляет над тем, какие уроки следует извлечь из революционных событий в других странах, освещает задачи III Коммунистического Интернационала, много внимания уделяет Красной Армии, Советам и их международному значению, проводит обучение гражданских и армейских работников. А также много пишет. После второй мировой войны в советских архивах обнаружились в полном смысле слова сокровищницы документов, свидетельствующих о деятельности Гашека в те годы.

Далеко-далеко в прошлом остались озорные похождения Гашека. И хотя, вернувшись на родину, к старым, мало изменившимся общественным отношениям, он в определенном смысле снова погрузился в жизнь богемы, именно поэтому красноармейский период его жизни заслуживает особенного внимания. «Все годы в России,— писал он 3 февраля 1921 года своей первой жене Ярмиле,— я ничего не пил». Иван Ольбрахт вспоминал на страницах «Руде право» (15 ноября 1921 года) о встрече в марте или апреле 1920 года в Москве с Софьей Гончарской, заместителем начальника политотдела 5-й армии, делегаткой IX съезда РКП(б), с большой симпатией говорившей о Гашеке. «Не пьет?» — спросил ее Ольбрахт. «Ярослав Осипович?[1] Ох, ох! И что вы только говорите, товарищ!» — запротестовала Гончарская.

13 апреля 1920 года Богумир Шмераль записывает в своем дневнике, позднее печатавшемся в «Право лиду» и изданном также отдельной книгой, разговор с «товарищем, делегаткой из Сибири», сидевшей в одной с ним ложе (Малого театра), которая сообщила ему, что «хорошо знает Ярослава Гашека». Не исключено, что это была та же самая Софья Гончарская.

«Она говорит о нем тоном близкого товарища. Называет его «Гашек», иногда доверительно, с чешским акцентом, даже просто «Ярослав». «Он нас часто разыгрывает, говорит она, и тогда мы говорим: «Ну, Ярослав, ведь мы знаем, что это неправда!»... Он очень порядочный, трудолюбивый, здоровый человек, он хороший товарищ, все окружающие его, сказала она, любят его»,— записал Шмераль.

В том, что Ярослав Гашек действительно вел в Красной Армии такой образ жизни, мы можем убедиться и на примере двух писем, посланных им в редакцию газеты «Наш путь» в феврале 1919 года. В них он обращает внимание на уполномоченного Полиграфического отдела в Уфе Кобусова, который «проезжал на санях пьяный по улицам города и на углу Спасской и Сибирской улицы кричал: «Вот как комиссар гуляет!»

Гашек потребовал наказать Кобусова «самыми строгими мерами революционного времени», ибо в советских учреждениях должны работать, по его глубочайшему убеждению, только «люди с чистым прошлым, не дискредитирующие своими поступками Республику».

Публично указать пальцем на Кобусова мог, несомненно, только человек, который сам жил по самому строгому уставу революционного времени.

[1] Отца Гашека звали Йозеф — по-русски Осип.

Возвращение домой

С июня 1920 года Гашек жил в Иркутске. Это последний город его сибирской эпопеи. Гражданская война в Сибири окончилась, и штаб 5-й армии остановил дальнейшее продвижение на восток.

Тем временем на далекой родине Гашека со дня на день все выше вздымалась революционная волна. Росло число членов социал-демократической партии, поддерживавших программу левого марксистско-революционного крыла, в стране ширился мощный отклик на Октябрьскую революцию. Левое крыло послало даже свою делегацию в Москву на II конгресс Коминтерна, проходивший в июле—августе 1920 года. Делегацию возглавлял Антонин Запотоцкий. В ее составе был и Бржетислав Гула, редактор кладненской газеты «Свобода», друг Гашека и коллега еще по работе в редакции «Чехослована». Гула был очень заинтересован в Гашеке и звал его в Кладно. В анкете, заполненной Гашеком перед отъездом на родину, написано: «Через Коминтерн на Кладно».

Но не будем забегать вперед. Делегация марксистского левого крыла снова и снова настойчиво требовала, чтобы чехи и словаки, ставшие в Советской России членами большевистской партии, ускорили свое возвращение на родину. Во все углы Советской России разлетелись телеграммы. Здесь, в России, уже свершилось, а в Чехословакии, как воздух, требуется каждая пара рук.

Несколько ранее Центральное чехословацкое бюро составило список соотечественников, которые хорошо зарекомендовали себя в Советской России. Не был забыт и Ярослав Гашек. Однако первые вызовы и распоряжения насчет Гашека, направлявшиеся в Иркутск, были отвергнуты. Ни политотдел 5-й армии, ни Иркутский комитет партии не соглашались на отъезд Гашека. Поэтому в конце концов председатель Бюро Салат пишет Гашеку лично.

Письмо Салата искренне обрадовало Гашека, о чем он сообщил в своем ответном послании. В этом письме он увидел доказательство, что его соотечественники считают его надежным товарищем и бойцом. Гашек действительно изменился за тридцать месяцев работы в рядах Красной Армии, и сам это сознавал. Письмо вдохновило его, и он дает согласие на отзыв из рядов Красной Армии. Однако он занимает слишком высокий пост, чтобы мог принять самостоятельное решение: «Не думайте, что я не подчиняюсь партии, если сам ничего не предпринимаю. Вы должны нажимать, и об этом Вас прошу».

Ответ Гашека пришел в Москву 8 октября 1920 года.

Вскоре после этого через всю Сибирь летит телеграмма Центрального Комитета РКП(б). На этот раз политотдел 5-й армии уступил и отпустил Гашека, что было подтверждено приказом № 473: «Откомандированного в распоряжение ПУР политинспектора т. Гашека Ярослава исключить из списков ПОАРМа с 24.X—с. г.».

В конце октября 1920 года Гашек вместе с Александрой Львовной, типографской работницей, на которой он женился в Красноярске, навсегда покидает берега Ангары. Окончился большой отрезок пути, на который он вступил в феврале 1915 года солдатом ненавистной ему австро-венгерской монархии. Он не стал казацким атаманом. Он неизмеримо вырос духовно. И хотя в целях конспирации он пересекает границу под чужим именем, без военной формы и чинов, он возвращается на родину обогащенным огромным опытом и сложившимся мировоззрением, которые помогут ему глубже проникнуть в общественные процессы, свидетелем которых он был, глубже разобраться в вопросах войны, истинных ее причинах, и описать мир, расколотый на классы. Первым его понял Юлиус Фучик. Исследовав юморески Гашека-легионера и его послевоенное творчество, он констатировал, что «Россия оказывает на Гашека огромное влияние — наполовину его Швейк рожден ею, это уже готовая и зрелая работа».

Перед отъездом из Москвы Гашек заполняет уже упоминавшуюся выше анкету. На вопрос: «В какое место Чехословакии желаете ехать?» Гашек отвечает однозначно: «Куда требуется».

Однако развитие событий смешало все карты. В декабре 1920 года чешская буржуазия переходит в контрнаступление, революционное движение подавлено силой, многие революционеры сидят по тюрьмам, и среди них те, кто звал Гашека на родину.

А самому Гашеку оставалось всего два года жизни. Сказались неотвратимые последствия военных лет, тяжелого тифа и, конечно, плохое питание. 3 января 1923 года Гашек умирает в своем домике в Липнице, не дожив и до 40 лет. Однако ему хватило сил написать роман о похождениях бравого солдата Швейка в годы мировой войны, который, даже незавершенный, обессмертил его имя.

Не будет забыта и та глава его жизни, что связана с его деятельностью в рядах Красной Армии. Судьба великого чешского писателя тех лет есть и всегда будет достойна внимания не только историков и литературоведов, но и писателей. Это была жизнь, прожитая по принципам, которыми сегодня соизмеряют и будут впредь соизмерять свое нравственное чувство люди нового общества в Советском Союзе, в Чехословакии и в других социалистических странах,— по принципам революционного времени.

Перевод с чешского ЕЛЕНЫ ГАЛЕНКИНОЙ

◆

Ю. КАГРАМАНОВ

О НОСОРОЖЬИХ ИГРАХ И НЕМНОГО О ТЕКУЩЕЙ ПОЛИТИКЕ

Новоявленные носороги с берегов Сены, именующие себя «новыми правыми», продолжают свои носорожьи игры, вовлекая в них тех, кто вчера еще держался как будто в стороне. Напомню, что раньше многих других поторопился «оносорожиться» сам Ионеско. Автор «Носорогов», видимо, настолько вошел в образ, что уже не вышел из него. «ИЛ» писала об этом движении, на свой лад возрождающем идеи, в свое время подготовившие приход к власти фашистов[1]. Кое-какие новые подробности о деятельности «новых правых» побуждают вернуться к теме.

Когда лет пять тому назад движение «новых правых» вдруг получило широкую известность (оно возникло еще в 1968 году, но только летом 1979-го о нем заговорили средства массовой информации Франции и других западных стран), буржуазно-либеральные круги явно были скандализованы архиреакционной программой, выдвинутой «наследниками Морраса и де Местра» (как назвал тогда «новых правых» журнал «Нувель обсерватёр»). Все сколько-нибудь крупные буржуазные политические партии сразу же поспешили от них отмежеваться. В свою очередь, подавляющее большинство буржуазных интеллектуалов — а именно к ним прежде всех остальных адресуются «новые правые» — более или менее решительно отвергли их заигрывания.

Теперь положение меняется: так сказать, порог неприятия в отношении «новых правых» заметно снизился. На сегодняшний день, свидетельствует один из французских авторов, «влияние этой новой школы, против которой летом 1979 года была развернута интенсивная кампания (правда, поскольку речь идет о буржуазной прессе, следует уточнить, что часть публикаций, направленных «против» «новых правых», на деле представляла собой косвенную их рекламу — Ю. К.), далеко выходит за рамки экстремистских кругов».[2]

О политических партиях речь пойдет ниже. Сейчас несколько слов об интеллектуалах. Заглянем в списки «почетных членов» основной из организаций «новых правых» — так называемой Группы исследования европейской цивилизации, сокращенно ГРЕСЕ. Среди значащихся в них имен ученых мужей встречаются и те, чье присутствие здесь не вызовет удивления: это, например, западногерманский профессор Ф. Альтхейм, бывший при нацистах ведущим официальным историком античности, и голландский генетик И. Хофмейр, чьи труды давно используются для обоснования апартеида в ЮАР. Но рядом с ними находим и тех, кто до сих пор особо реакционных симпатий вроде бы не обнаруживал. Таковы крупный историк П. Шоню, не менее известный антрополог Р. Ардри, хирург К. Барнард. Среди писателей наряду с фашиствовавшими еще с 40-х годов Морисом Бардешем и Жаном Жионо — Морис Дрюон, Пьер Гripари, до сих пор к крайне правым себя не причислявшие. Все это лишь наиболее известные имена, можно было бы назвать десятки других деятелей культуры, имеющих репутацию особ респектабельных и в политическом отношении «умеренных».

Как видим, об изоляции ГРЕСЕ в интеллектуальных кругах капиталистической Европы сегодня говорить не приходится. Чем же «новые правые» сирены так завораживают респектабельных и «умеренных»? Журнал «Нувель обсерватёр» отвечает на этот вопрос сле-

[1] См. Ю. Каграманов. Еще о носорогах. «ИЛ», 1981, № 8. *(Прим. ред.)*

[2] J.—C. Petitsfils. L'extrême droite en France. Paris, 1983, p. 114.

дующим образом: тем, что они предлагают для Запада будто бы наиболее радикальное средство выхода из кризиса, решительно перечеркивая «наследие христианства» и высвобождая место для возрождения «языческой традиции».

Нападки «новых правых» на христианство побудили французского католического публициста Ж. Урдена к утверждению, что «распространение идей «новых правых» в масштабе западного мира представляет самую большую битву, которая была начата против христианства с 1750 года»[3].

Известно, за что «новые правые» не жалуют христианство: за то, что оно якобы проложило дорогу марксизму. Их лидер Ален де Бенуа утверждает, будто именно христианство создало «революционную антропологию», сделавшую возможной появление марксизма. Тезис надуманный (впрочем, даже и не самого Бенуа, а заимствованный им у других буржуазных философов), мистифицирующий действительные отношения между марксизмом и христианством.

Разумеется, марксизм возник не на голом месте. Кто не помнит высказывания В. И. Ленина: марксизм «усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры»[4].

А «новые правые» отвергают не только христианскую религию, но и всю культуру, «отравленную» христианством.

Между тем европейская культура средних веков и Возрождения, а отчасти и более позднего времени, как известно, очень тесно связана с христианством; механически отделить их нельзя. Философия, искусство, даже наука на ранних этапах ее развития буквально пропитаны христианскими представлениями.

Надо ли добавлять, что при всем бережном отношении к культуре прошлого марксисты ведут идейную борьбу с христианством, как и со всякой другой религией. Хотя оно, то есть христианство, — феномен, в исторической перспективе достаточно сложный и многомерный, основной его задачей с момента, когда оно оформилось в церковь, были и остаются защита и освящение существующего эксплуататорского строя. Другое дело, что христианская религия в капиталистическом мире, очевидно, чем дальше, тем меньше справляется с этой задачей: пустеющие храмы тому свидетельство. Но здесь-то, вероятно, и таится главная причина того, почему христианская религия вызывает недовольство у «новых правых»: просто она стала недостаточно эффективной как средство идеологического воздействия.

При этом «новые правые» вовсе не выступают против религии как таковой. Напротив, они повторяют вслед за Э. Юнгером (реакционным немецким писателем, эссеистом, одним из тех, кто подготовил приход к власти нацистов) будущее Европы — либо хаос, либо возвращение богов.

«Новые правые», однако, не пытаются возродить из праха языческие божества; они не могут не понимать, что подобное богостроительство или религиозное реставраторство заведомо обречено на неудачу. Мы, говорит генеральный секретарь ГРЕСЕ П. Вьяль, сожалеем, что нет больше ни Вотана, ни Юпитера, но они ушли, и вернуть их нельзя. Речь идет о другом: о том, чтобы восстановить «на новом уровне» «дух» культуры языческих времен, все то, что в свое время вызвало к жизни культ Вотана и Юпитера.

Вот в этом направлении ГРЕСЕ трудится не покладая рук. Передо мной массивный фолиант, озаглавленный «Традиции Европы», где собраны информационные бюллетени ГРЕСЕ за ряд последних лет. Каждый из них — своеобразный гибрид научного (или, по крайней мере, научно-популярного) журнала с календарем «для семейного чтения». В материалах, которые здесь помещены, читатель может найти и поучительное и развлекательное. Но есть у них сверхзадача: восстановить, елико возможно, образ мыслей и стиль чувствований далеких языческих предков.

«Мы, конечно, не секта, — оговаривается на страницах этого издания Бенуа, — и мы ни в коем случае не проповедуем «возврат» к язычеству. Но мы усматриваем в исконном язычестве наших пращуров выражение ряда ценностей и духовных позиций и стремимся их актуализировать, а не просто скопировать»[5].

Стоит приглядеться к тому, как это делается конкретно на страницах бюллетеней ГРЕСЕ. Основную часть их занимают статьи, содержащие экскурсы в область мифологии и фольклора, подробные описания различных языческих обрядов, особенно праздничных ритуалов. В свое время христианская церковь, как известно, позаботилась о том, чтобы либо уничтожить языческие традиции и обряды, либо «наложить» на них новые, христианские (так, например, пасха была «наложена» на языческий весенний праздник вечного возрождения, рождество — на праздник зимнего солнцестояния и т. п.); равным образом и некоторые языческие божества и мифологические персонажи были переряжены в христианских святых. «Новые правые» стремятся повсюду снять позднейшие «наложения», дабы все изначально «этническое», языческое и натуралистическое воссияло в своей первозданной чистоте.

Здесь же можно найти и академические справки о «неопаганизме» в XX веке: о тех писателях, художниках, композиторах (Баррес, Лоуренс, Стравинский, Рерих и другие), которые сознательно

[3] G. Hourdin. La nouvelle droite et les chrétiens. Paris, 1980, p. 87.

[4] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 337.

[5] Les traditions d'Europe. Paris, 1983, GFT 8, p.2.

или интуитивно «открывали» для себя и своих современников те или иные стороны языческого прошлого. Здесь и стихи и поэмы, посвященные варварам: от Леконта де Лиля до Стефана Георге и некоторых современных поэтов. А выполненные со вкусом и со знанием дела (то есть исторических реалий) иллюстрации снабжают читателя впечатлениями зрительного ряда: добротно сработанные особи, долженствующие изображать варваров, прямые, бесхитростные характеры, добрые кони, мечи, ножны, колчаны, плуги и прялки, все с соответствующей орнаментикой. Знаки и символы тут играют особую роль: «новые правые» заявляют, что хотели бы вернуть знакам всю полноту их смыслов — обычная рождественская елка, к примеру, возводится ими к древнескандинавскому представлению о мировом древе Иггдрасиль (аналогичном библейскому Древу жизни). Детям и взрослым должно помнить, что перед ними не просто дар леса, но символ Древа, вершиной своей уходящего в небеса.

Здесь же и практические рекомендации, относящиеся к утвари, повседневной пище и праздничному столу и т. д.,— очевидно, все это по-своему должно способствовать возрождению «духа леса», духа язычества и многобожия. Есть даже советы по поводу того, в какие цвета красить пасхальные яйца, чтобы вернуть празднику его языческое значение. Не забыт список имен: папам и мамам, раздумывающим, как назвать своего ребенка, рекомендуется вспомнить о таких звучных архаических именах, как Адальберт и Гильдебрандт, Парсифаль и Фредегонда, Сигрид и Хельга.

Несмотря на некоторую курьезность подобных упражнений, само по себе внимание к языческой старине не может вызывать возражений. Не случайно интерес к ней сейчас велик. Именно в языческую эпоху (название условное, придуманное христианскими богословами, о чем также следует помнить) были выговорены «азы» культуры. Именно в те туманные времена сложились у народов Европы основы их традиционного — народного — мировосприятия. Притом это не только чисто исторический интерес. Древние мифы, легенды, саги — колодец с живой водой, которая нужна сегодня и будет нужна завтра. (Хотя и здесь хочется оговориться: увлечение архаикой не должно создавать перекоса в оценках, не должно заслонять иных пространств необъятного массива, именуемого культурным наследием).

Что касается публикаций ГРЕСЕ, то языческий мир, встающий со многих страниц ее бюллетеней (равно как и других изданий, принадлежащих «новым правым»),— это мир вагнеровских музыкальных драм с их «органическими» сюжетами, их сильными и вместе с тем элементарными характерами, разве что в нем меньше драматизма, больше размеренного житья-бытья и есть в нем место не только для героев, но и для, так сказать, рядовых варваров с их «простыми добродетелями» и «невинными радостями».

Но мы знаем, что «новые правые» отнюдь не являются эдакими романтиками, одержимыми ностальгией по кельтским и германским древностям. Древности эти интересуют их постольку, поскольку могут «работать» в заданном направлении. Их внимание к различным «мелочам» говорит лишь о том, что начинают они издалека. Продавая своим читателям языческие легенды и кулинарные рецепты, они рассчитывают в конечном счете закупить их души.

Ибо сводя «традиции Европы» к традициям архаической эпохи (да и те ограничивая, по сути, ареалом расселения германских и кельтских племен; неведомо почему Восточная и Южная Европа почти полностью выпадает из поля зрения ГРЕСЕ), «новые правые» по сути хотели бы перечеркнуть главное из того, что было достигнуто в последующие столетия и что в культурной сокровищнице Европы составляет ее золотой фонд. Они хотели бы предать забвению все революционные и прогрессивные традиции, все, что с ними так или иначе связано, все знаки и символы революций, включая те, которые в ряде западноевропейских стран получили официальное признание (к примеру, празднование Дня взятия Бастилии во Франции).

Более того, даже в таком — далеком, казалось бы, от политики — издании, как бюллетени ГРЕСЕ, «новые правые» не удержались от прямых, хоть и неуклюжих, выпадов в адрес демократии. Под рубрикой «Высказывания о братстве и демократии» приводятся цитаты, надерганные (а то и попросту вымышленные) из произведений различных деятелей революционных и прогрессивных движений, передовых философов, писателей, деятелей искусства, долженствующие создать впечатление, что их авторы терпеть не могли простой народ и не упускали случая лишний раз его унизить. Этим лжецитатам противопоставляются подборки пословиц и поговорок, будто бы выражающие квинтэссенцию «традиционной», то есть «истинно народной», мудрости. Подборки характерные: «Горшок котлу не товарищ», «Сила прежде права родилась», «Кто всякому друг, никому не друг», «Вороне соколом не быть». И еще: «Поспешай медленно», «Смеется тот, кто смеется последним». Очевидно, роли «поспешающих медленно», зато «смеющихся последними» «новые правые» отводят самим себе.

И уж совсем выдает ГРЕСЕ свои симпатии в разделе бюллетеней, именуемом «календарь памятных дат» и отражающем точку зрения «новых правых» на то, о чем читателю следует помнить, а о чем — начисто забыть. История гитлеровского рейха и нацистской партии занимает в этом календаре видное место. Что же должен помнить о ней читатель? А то, например, что 11.II.1927 бедные члены НСДАП, собравшиеся на свой митинг, были «атакованы комму-

нистами». Что в 1931-м ведущий идеолог нацизма А. Розенберг был за свои «труды» удостоен «национальной премии». Что в 1936-м на Олимпийских играх в Берлине Германия стяжала наибольшее число медалей. Что в августе 1939-го, в канун нападения Германии на Польшу, поляки якобы допустили «зверства» в отношении немецкого гражданского населения. И т. д. и т. п. Об агрессивных, грабительских войнах, о чудовищных массовых репрессиях, развязанных против мирного населения, даже о распрях внутри самой НСДАП (вроде «Ночи длинных ножей»)— ни слова.

Или вот еще: академическая по видимости справка о свастике. Сообщается, что изображения свастики можно найти у различных древних народов, что не редкость они даже в произведениях искусства времен раннего христианства. Тут же приведены многочисленные иллюстрации. Возможно, что все здесь верно и нигде комар носа не подточит. Но зачем все это понадобилось? Ясно, что не для вящей эрудиции. Со времен второй мировой войны свастика вызывает ужас и отвращение у всех порядочных людей. И данный экскурс понадобился затем, чтобы побудить читателя другими глазами взглянуть на паучий знак, а значит, подсознательно изменить отношение к его носителям.

Свои усилия по воскрешению «духа» язычества ГРЕСЕ преподносит как «расширяющие» будто бы границы культуры, «слишком связанной» уроками близкого прошлого, «почти утратившей связи с обширным континентом более отдаленного прошлого».

Смысл подобных операций, производимых над языческим наследием, легко улавливается на родине нацизма. «Неоязычество» «новых правых», читаем в вышедшем недавно в Мюнхене сборнике «Неоконсерваторы и «новые правые», «очень напоминает некоторые из тех критических теорий культуры и цивилизации, что имели хождение в Германии в 20-х и 30-х годах и фактически привели к национал-социализму»[6]... На самом деле «новые правые» стремятся как раз сузить границы культуры, лишив ее того прогрессивного содержания, той сложности и тонкости, которые стали завоеванием близкого прошлого, верхних витков спирали социальной и культурной истории человечества. Духовность того сорта, за которую ратуют «новые правые»,— непритязательная, питающаяся со стола мифологии (в исконном или же в современном, то есть фигуральном смысле) и, главное, чуждая критицизма или, как они предпочитают выражаться, «критиканства» (иначе говоря, принимающая порядки буржуазного общества такими, каковы они есть).

Здесь уместно вспомнить, что движение «новых правых» имеет свою предысторию. Если писать о них роман, следовало бы, вероятно, вернуться на четверть века назад, в 1960 год. Это было бы начало с интригующим заголовком: например, «Пролог в преисподней». Его героем был бы другой, наряду с Бенуа, лидер «новых правых»— Луи Повель. Дело в том, что в 1960 году вышла в свет книга «Утро магов», написанная Повелем совместно с Ж. Бержье[7], предлагавшая читателю своего рода «сделку с дьяволом». Хотя это сочинение явилось событием в истории иного рода, а именно — возрождения оккультизма, нельзя и здесь не сказать о нем несколько слов. И не только потому, что один из его авторов впоследствии оказался во главе «новых правых». «Утро магов» имеет прямое отношение к идеологии «новых правых» и к поставленной ими задаче переделки общественного сознания, о которой только что шла речь.

В своей книге Повель и Бержье вступили на путь реабилитации оккультизма и мистики под видом «расширения границ» познания, «освобождения духа» от связывавших его до сих пор оков рациональности. Примечательно, что авторы уделили много места оккультным упражнениям Гитлера и К°. К самому гитлеризму они как будто бы отнеслись с должным осуждением, а вместе с тем антинаучные, мистические учения, составлявшие часть нацистской идеологии[8], излагались ими с плохо скрываемым сочувствием и даже порою воодушевлением. Сверхзадача, которую поставили перед собой Повель и Бержье, состояла в том, чтобы возбудить у читателя по крайней мере интерес к той «взрывной силе мистического динамизма», которая в нацистской Германии, по их утверждению, раздвинула границы «систем, созданных приемами рационального мышления», а заодно возбудить интерес и доверие к «магическому духу» вообще.

«Утро магов» имело продолжение. Повель организовал издание журнала «Планет», позднее переименованного в «Нувель планет», специализировавшегося на продаже читателям всевозможных сенсаций из области псевдонауки и оккультных «знаний», включая астрологию, алхимию, некромантию и спиритизм. А в 1970 году вышла новая книга Повеля и Бержье «Вечный человек», наделавшая не меньше шуму, чем «Утро магов». Эта книга, представляющая собой перл современной «паранаучной» литературы (о которой советский читатель имеет некоторое представление по сочинениям, например, Эриха фон Деникена), полна фантастических гипотез и допущений. В дополнение к прежним своим (и того же Деникена) «открытиям», вроде тех, что атомную бомбу некогда уже изобрели халдейские мудрецы, а первые космо-

[6] Neokonservative und "Neue Rechte", München, 1983, S. 161.

[7] L. Pauwels. J. Bergier. Le matin des magiciens. Paris. 1960.

[8] Официальным признанием (или хотя бы полупризнанием) при нацизме пользовались такие бредовые теории, как теория «космического льда», будто бы оказывающего решающее влияние на судьбы человечества, или концепция земной поверхности как якобы вогнутой, а не выпуклой.

навты появились задолго до нашей эры в Китае, авторы выдвинули новые: что человечество будто бы не впервые существует на земле, что оно не раз уже нарождалось, затем гибло и вновь нарождалось, что в человеческом мозгу не только в прошлом, но и в настоящем и в будущем возможны и даже неизбежны «спонтанные мутации таинственного и предположительно космического происхождения» и т. д. и т. п.

Повель и Бержье именуют свои взгляды «фантастическим реализмом», утверждая, что он позволяет высвободить «творческую энергию» духа, задавленного научным рационализмом.

«Мы не представляем,— как бы раздразнивают они читателя в «Вечном человеке»,— что внутри нашего мира существует другой мир, что существует другой человек внутри нас самих». Людям следует «разбить свои умственные кандалы и снова стать варварами»[9], иначе говоря, доверчивыми простаками, готовыми уверовать во что угодно.

«Паранаучные» упражнения Повеля и Бержье еще менее невинны, чем это можно было думать тогда, когда «новые правые» еще не появились или, во всяком случае, не активизировались. Ибо их «фантастический реализм»— это не что иное, как попытка расшатать детерминизм научного миросозерцания, в особенности в части, касающейся явлений общественной жизни, стимулировать «мутацию» общественного сознания, результатом которой была бы его полная дезориентация. Тем самым расчищался путь для «новых правых» с их «авангардизмом» и волюнтаризмом, задавшихся целью ослабить скрепы гуманистической культуры и попытавшихся идти наперекор истории и ее законам.

Получилось распределение ролей: сначала вышел Повель в мантии факира и ослепил и оглушил публику своими искусственными громами и молниями, а затем в рассеявшемся дыму объявился высокоученый Бенуа и сухим, бесстрастным голосом зачитал свою программу возрождения «научным путем» культуры языческого типа. Можно, впрочем, употребить вместо прошедшего времени настоящее: спектакль продолжается, «сциентизм» во взглядах «новых правых» уживается с элементами оккультизма и мистики. На этот факт, в частности, обратил внимание французский историк Р. Ремон: «их («новых правых») претензия на научность не исключает на деле особого пристрастия к баснословному и чудесному»[10].

Но повторим: пристрастие к баснословному и чудесному — это для «новых правых» прежде всего средство ввести в заблуждение общественное сознание. Линия Повеля (как «факира») состоит в том, чтобы добиваться, елико возможно, большей его «взрыхленности», а «сциентист» Бенуа в свою очередь выступает как «сеятель» неразумного и недоброго.

Между тем, пока в недрах ГРЕСЕ разрабатываются далеко идущие планы «варваризации», на арене текущей политики дела идут своим чередом, для «новых правых» совсем не неблагоприятным. После того как в мае 1981 года к власти во Франции пришло правительство левых сил, партии бывшего правительственного большинства, пересев на скамьи оппозиции, вероятно, сочли возможным проявлять меньшую щепетильность в выборе советчиков. Во всяком случае, с этого момента связи между буржуазными (правоцентристскими) партиями и «новыми правыми», существовавшие и прежде, стали еще более тесными. Уже спустя несколько месяцев после смены власти журнал «Нувель литтерэр» отметил «новое явление, перегруппировку правых интеллектуалов всех направлений под знаменами Повеля и Алена де Бенуа».[11] В число этих интеллектуалов входят сотрудники «мозговых центров» партий бывшего правительственного большинства. «Мозговые центры» пересматривают стратегию и тактику своих партий и рассчитывают извлечь для себя пользу из уроков, которые им дают «новые правые». Отсюда и приток новых приверженцев в клубы и другие организации «новых правых» — по данным французской прессы, число их членов за один только год (май 1981 г. — май 1982 г.) выросло вдвое.

В свою очередь как будто перестраиваются и «новые правые»: а именно, происходит, или, вернее, углубляется, некоторое разделение труда между двумя их основными организациями — ГРЕСЕ и «Клубом настенных часов»[12]. Если первая продолжает «трудиться для будущего», то второй в еще большей мере, чем прежде, ориентирует себя на участие в практической политике. В его стенах, где видную роль играет теперь известный реакционный публицист, бывший министр внутренних дел в правительствах пятой республики князь М. Понятовский, вырабатываются рекомендации, имеющие целью сдвинуть «правый центр» еще более вправо и в то же время сделать его программу как можно более привлекательной в глазах избирателей. Как пишет журнал «Кайе дю коммюнисм», Клуб становится «важным местом встречи всех реакционных сил, занятых поисками выигрышной программы для оппозиции»[13].

Новые возможности открыл перед «новыми правыми» частичный успех «пра-

[9] L. Pauwels. J. Bergier. Eternal man. Frogmore, 1973, p.9.

[10] R. Rémond. Les droites en France. Paris, 1982, p. 287.

[11] "Nouvelles litteraires", 1981, N 2815, p. 18.

[12] Основная из организаций «новых правых» (названная так потому, что одно время они собирались в зале, где висели старинные часы), где тоже дебатируют теоретические вопросы, но в более непосредственной связи с практикой (что определяется уже составом Клуба: его члены — это преимущественно чиновники, крупные менеджеры, отставные военные и т. д.).

[13] "Cahiers du communisme", 1982, N 11, p. 118.

вого центра» на муниципальных выборах 1983 года. Через посредство правоцентристских мэров и муниципальных советников они сумели активизировать свою «муравьиную» (как они сами ее называют) деятельность по «демарксизации культуры», порою сильно смахивающую на «охоту за ведьмами» в американском стиле. Конкретно она выражается в том, например, что так называемые дома культуры, открытые стараниями деголлевского министра культуры А. Мальро, подвергаются «чистке» либо даже совсем закрываются, устраиваются гонения на прогрессивные организации и прогрессивные издания, из библиотек изымаются книги, «уличенные» в «красной пропаганде», и т. д. и т. п. Как видим, «новые шуаны» (так однажды назвала «новых правых» газета «Монд»), хоть и не прячутся в отличие от старых шуанов (времен Великой французской революции) в лесах, тоже по-своему «партизанят» — «на муниципальном уровне».

Те же муниципальные выборы довольно неожиданно позволили выдвинуться ультраправой, профашистской партии «Национальный фронт», возглавляемой Ж.-М. Ле Пеном. Еще бóльшую неожиданность принесли выборы в Европейский парламент, состоявшиеся в июне 1984 года, когда этой партии удалось набрать 11 процентов голосов избирателей. Признак тревожный: впервые «ультра» добились во Франции значительного успеха. Платформа «Национального фронта» не оригинальна: махровый антисоветизм и антикоммунизм, пропаганда расизма, разжигание ненависти к трудящимся-иммигрантам. Что же привлекло к нему столь значительное число избирателей? Французские обозреватели, размышляя над «эффектом Ле Пена», пришли к выводу: выдвижение «Национального фронта» не в последнюю очередь было подготовлено трудами «новых правых».

Хотя Ле Пен и отмежевывается от «языческого фашизма», заявляя о себе (в традиции французских ультраправых) как о «добром христианине», тем не менее стилем своих выступлений он коечем обязан Алену де Бенуа: как и тот, он стремится придать себе и возглавляемому им движению видимость респектабельности.

Выступление «новых правых» поощрило реакционные круги и в других западноевропейских странах. В ФРГ, например, созданы «группы сотрудничества» с ГРЕСЕ. В Италии, где существует крупнейшая в Европе неофашистская партия, «престиж Алена де Бенуа,— по свидетельству итальянского автора,— похоже, затмил престиж Эволы (Джулиус Эвола — ведущий теоретик итальянского неофашизма.— **Ю. К.**), еще и сегодня остающегося авторитетнейшим теоретиком для части французских крайне правых»[14]. В Испании тот же Бенуа сделался, по утверждениям испанской прессы, «властителем дум» тамошних «ультра».

Восторги «ультра» понятны; куда примечательнее, что с «новыми правыми» нередко солидаризуются и те, кто считает себя «левыми». Я имею в виду прежде всего «новых философов». И «новые правые», и «новые философы» выступают заодно, например когда нападают на социалистов, находящихся у власти во Франции и в меру своих сил поддерживающих институты «традиционной» культуры. Они выговаривают социалистическим лидерам за то, что те, дескать, отстали от интеллектуальной жизни и что своей культурной политикой они только играют на руку коммунистам.

«Социалистическая власть, — высокомерно заявил основатель антикоммунистического «Комитета интеллектуалов за Европу свобод» А. Равенн,— не поняла, что интеллектуалы изменились почти так же, как и мир. Для них актуальное прошлое насчитывает пять тысяч лет, а не столетие»[15]. Равенн по своим взглядам близок к «новым философам», но под этими его словами вполне могли бы подписаться и «новые правые».

Насчет пяти тысяч лет — это не более чем фраза. Интеллектуалы, от имени которых выступает Равенн, добиваются не расширения кругозора, а, напротив, сужения его. Ибо они предлагают забыть нечто гораздо более значительное, нежели то, что они предлагают вспомнить. (При том что ищут они в лежащем позади пятитысячелетии разные вещи, забыть они хотели бы одно и то же — гуманизм.) Забвение, навязываемое ими, неизбежно открыло бы дорогу для того зловещего превращения, которое однажды названо было «оносороживаньем». Вспомним: во лбу вдруг прорастает рог, и тело покрывает «жесткая кожа такого чудесного темно-зеленого цвета...».

[14] "Nuova destra e cultura reazionazia negli anni ottanta." Cuneo, 1982, p. 150.

[15] "Le Monde", 1982, II juin, p. 2.

◆

Документальная проза

ПАТРИК Д. СМИТ

В ПОИСКАХ РУССКОГО МЕДВЕДЯ

Фрагменты книги

Перевод с английского Ю. С. РОДМАН

Своими глазами

Для начала — несколько слов напоминания.

Патрику Д. Смиту — 57 лет, он коренной южанин, уроженец Миссисипи и учился в «Старой мисс» — Миссисипском университете. Но вот уже почти двадцать лет, как он переехал из родного штата во Флориду, на Мерритт-Айленд и, как видно, прижился там, полюбил тот край. Он работает в отделе информации одного колледжа, а в свободное время пишет книги. На его счету — пять романов.

Один из них — поэтичный и грустный, «Навеки остров» (1973), посвященный судьбе индейцев семинолов,— издан в тридцати трех странах. И понятно почему — в нем, как отзывалась критика, есть прелесть американского народного сказания и пафос американской трагедии. В русском переводе известна и другая его вещь — «Ангельский город» (1978),— роман, изобличающий практику так называемых трудовых лагерей для сезонных сельскохозяйственных рабочих. Роман взбудоражил весь штат. Газеты писали: «Пока на ответственные должности во Флориде не придут люди, готовые покончить с порабощением бесправных мигрантов, мы снова и снова будем пожинать урожай стыда». По книге был отснят телевизионный фильм.

Все, что пишет Патрик Смит, отмечено достоверным, не из вторых рук, знанием материала, благородной безыскусственностью слова и мудрой человечностью.

Весной 1983 года писатель откладывает работу над большим романом «Земля, которую помнят», многоколенную семейную хронику флоридской семьи, и летит с женой Айрис в Советский Союз.

Помимо Москвы он побывал в Ленинграде, Ташкенте, Самарканде, Бухаре... Встречался с писателями, колхозниками, студентами... Результатом этого путешествия и этих встреч и стала книга, несколько небольших отрывков из которой предлагается читателю.

За две недели не узнаешь как следует человека — не то что страну. Патрик избрал самый естественный и самый надежный способ повествования — репортажный. Его книга — как бы дневник поездки: день первый, день второй, день третий... Приводятся названия мест, которые он посетил, и имена людей, с которыми беседовал. Верный давнему правилу, он пишет только о том, что видел своими глазами и слышал своими ушами.

Писатель знает своего читателя, так называемого обыкновенного американца, и именно ему, имеющему весьма смутные, а то и превратные представления о нашей стране, адресована книга. Поэтому кое-что из рассказанного им — для нас очевидность, зато для многих его соотечественников — откровение. Кое-что осталось непонятым и самим автором, и он не скрывает этого.

«...Я старался написать книгу так, чтобы американцы поняли, как нам нужна, как ценна дружба с русскими людьми»,— говорил он. Так она и написана.

В самом названии книги — «В поисках русского медведя» — уже заключена ирония в отношении ремесленных сочинений, где советские люди изображаются бескультурными, примитивными существами, отлученными от благ цивилизации, или, того хуже,— какими-то коварными варварами в медвежьих шкурах, грозящими Америке. Такие сочинения во множестве плодит книжный рынок США, особенно сейчас, на волне «патриотизма», искусственно поднятой теми, кому это выгодно.

Репортаж Патрика Смита объективно спорит и с советологическими штудиями, авторы которых заняты исключительно «тайниками» русской души и «тайнами» Кремля. Взять хотя бы недавно переизданную в США библию советологии — «Русских» Хедрика Смита.

Сравнивая работы двух Смитов — Патрика и Хедрика, еще раз убеждаешься: есть две Америки. Одна — за взаимопонимание, за нормальные отношения с нашей страной, за мир без страха и войн. Другая — против.

Книга Патрика Смита пока не увидела свет — мы располагаем рукописью. Однако писатель не теряет времени даром. Вскоре после возвращения домой он несколько раз выступил по телевидению, а потом неоднократно отправлялся в поездки с лекциями. К апрелю нынешнего года он провел свыше пятидесяти выступлений! Как его принимали и слушали, свидетельствует почта писателя. Копии некоторых писем он переслал мне. Процитирую лишь из двух:

«Всю неделю после вашего выступления в Женском клубе я получаю благодарности от наших членов за организацию встречи и за ваш рассказ о поездке в Россию... Нам всем надо напоминать, и почаще, что люди — везде люди и у них одинаковые стремления и заботы... Убеждена, что, когда ваша книга о русских «приключениях» будет опубликована, она вызовет большой интерес».

Это письмо из города Уинтер-Парк во Флориде. Другое—из города Джорджиана, штат Алабама:

«Слушая вас, мы чувствовали, как ваша добрая воля и добрая воля людей, которых вы встречали во время поездки по России, словно бы растет, набирает силы и захватывает всех нас. Вы зажгли новые надежды на то, что нашим внукам, может быть, посчастливится жить в конце концов в условиях мира, и напомнили, что мы все несем ответственность за это».

Хорошо, когда у тебя есть такие друзья, как Патрик Смит,— пусть и в далекой Флориде.

Г. ЗЛОБИН

Непрерывный дождь струйками сбегал по стеклу, а мы с Айрис стояли в зале ожидания франкфуртского аэропорта и смотрели вниз на пассажиров без зонтов, торопящихся попасть в помещение. Сводка погоды на этот день извещала, что в Москве тепло, 77 градусов по Фаренгейту, без осадков, но здесь, в Западной Германии, было холодно — всего 40 градусов. Нам сказали, что эта необычная скверная погода держится уже две недели.

Наше путешествие началось днем раньше: в полдень друзья подъехали к нашему дому в Мерритт-Айленде (штат Флорида) и отвезли нас в аэропорт в Орландо. Оттуда мы прилетели в Атланту и пересели на самолет Люфтганзы. Из Атланты вылетели в 18.10 и прилетели во Франкфурт в 8.35 утра на следующий день. Теперь нам предстояло пересесть на другой самолет Люфтганзы, вылетающий из Франкфурта в 0.50 и прибывающий в Москву в 6.05 утра.

Во время томительного многочасового ожидания во франкфуртском аэропорту я ни на минуту не мог отделаться от мрачных мыслей, похожих на тучи, нависшие над взлетно-посадочными полосами. Мы не были уверены даже в том, что нам забронировали гостиницу в Москве. Что, если нас никто не встретит? Что, если нам придется неизвестно сколько часов ждать неизвестно кого или нас просто отвезут в телеге в одну из знаменитых русских тюрем?

Мрачные мысли появились у меня еще во время перелета через Атлантику. В самолете мы сидели рядом с парой из Огасты (штат Джорджия), он был женат на немке, и они летели в Мюнхен навестить родственников жены. Мы сказали, что собираемся провести две недели в Советском Союзе, и мужчина поинтересовался, присоединимся ли мы в Москве к какой-нибудь американской туристской группе. Когда я ответил отрицательно и сообщил, что мы будем путешествовать вдвоем, он мрачно взглянул на меня и сказал:

— Вы храбрее большинства американцев.

Но мрачное настроение на некоторое время рассеялось благодаря поданному нам обеду: рис, грибы, цыпленок, креветки, телячьи фрикадельки, немецкое пиво, белое вино, сыр и на десерт взбитый шоколад. Этот превосходный обед должен был задобрить наши желудки перед ожидавшей их в России капустой и вареной картошкой — нас заранее предупреждали, что пища в Советском Союзе «просто кошмарная».

Как раз после обеда группа мужчин человек в тридцать заняла заранее приготовленные для них места в нашем салоне. Все они были здоровяки лет двадцати с небольшим. Я спросил у немецкой стюардессы, говорившей по-английски, кто они такие, и она сказала, что это русские футболисты, возвращающиеся в Москву после матча.

— После матча здесь, в Германии? — спросил я.

— Нет, в Лос-Анджелесе,— ответила она.

Никто из футболистов, окруживших нас со всех сторон в маленьком салоне, предназначенном для пассажиров, летевших в Москву, видимо, не говорил по-английски. Это были первые советские люди, которых я увидел во плоти, и мне показалось, что все они ненавидят американцев. Мы сидели, выпрямив спины, будто нас крепко-накрепко привязали к креслам, и смотрели только вперед, боясь шелохнуться; русские вокруг нас спокойно переговаривались друг с другом, а я мысленно вернулся к собы-

тиям, из-за которых мы оказались в таком ужасном положении.

Все началось в конце 1979 года, когда в соответствии с программой культурного обмена в Нью-Йорк приехал русский критик Георгий. В одной из нью-йоркских газет он прочел рецензию на мой роман «Энджел-Сити», в котором я рассказывал о жизни сезонных рабочих в Южной Флориде. Вернувшись в Москву, Георгий написал мне и попросил прислать экземпляр книги, что я и сделал. Через некоторое время он снова написал, прося выслать другие мои работы, в ответ я отправил ему роман «Навеки остров». И вслед за ним книги «Река — дом родной», «Начало» и «Аллапатта».

Так между нами завязалась переписка, продолжавшаяся больше трех лет. Сначала мы писали в сдержанном, официальном тоне и обращались друг к другу «Дорогой сэр». Потом перешли на «Дорогой друг», а потом на «Дорогой Георгий» и «Дорогой Патрик». В конце концов мы начали обмениваться наборами почтовых марок и новогодних открыток (русские новогодние открытки удивительно красивы).

Георгий стал моим литературным «заочным другом» в России, он предложил нескольким издательствам мои книги. Первым появился на русском языке роман «Энджел-Сити», он был опубликован в журнале «Иностранная литература»[1]. Потом я написал для этого журнала статью о значении литературы для расширения взаимопонимания между народами. А вскоре московское издательство «Прогресс» опубликовало в одной книге два моих романа: «Энджел-Сити»[2] и «Навеки остров» (В романе «Навеки остров» я рассказываю, как живут современные индейцы семинолы в нашем болотистом штате Флорида.) Позднее я узнал, что эти два романа прочитало огромное число советских людей и отрывки из них были опубликованы в нескольких литературных журналах.

В 1981 году я получил приглашение посетить Советский Союз в качестве гостя Союза писателей, но не смог воспользоваться этой любезностью. А спустя год пришла телеграмма с официальным приглашением для меня и моей жены Айрис. На это предложение я тоже довольно долго не отвечал. Наконец, я написал в Союз писателей, что, по всей вероятности, мы с женой сможем приехать весной 1983 года. В ответной телеграмме нам сообщили, что кроме Москвы и Ленинграда мы побываем в Ташкенте, Бухаре и Самарканде. Я решил, что в Москве мы будем включены в одну из интуристских групп, вместе с которой посетим эти города Средней Азии с такими непривычными для нас названиями. До тех пор я слышал только о Самарканде и связывал этот город главным образом с Чингисханом, Марко Поло и Омаром Хайямом.

Несколько месяцев мы вновь и вновь обсуждали приглашение: то склонялись к тому, чтобы его принять, то к тому, чтобы отказаться, но в один прекрасный день я принял твердое решение и заказал билеты на самолет на 26 мая 1983 года.

[1] 1981, № 2.

[2] В книжном издании «Ангельский город».

Со всех сторон на нас посыпались советы: откажитесь, пока не поздно, не ездите. Русские будут «промывать вам мозги»; вы увидите только то, что они захотят показать; вы сможете разговаривать только с теми, с кем они разрешат; КГБ установит в вашем номере потайные микрофоны, их агенты будут ходить за вами по пятам; они используют вас в своих пропагандистских целях; там омерзительно кормят. Некоторые придерживались иного мнения: такой случай представляется раз в жизни, поезжайте во что бы то ни стало.

В свое время я счел своим долгом писателя поселиться среди индейцев, чтобы увидеть собственными глазами, как они живут, и достоверно рассказать об их жизни. Потом я жил вместе с сезонными рабочими, чтобы воссоздать картину их повседневного существования. Мне всегда хотелось увидеть все что можно собственными глазами. Вот почему главным, что повлияло на мое решение поехать в Советский Союз, было желание самому увидеть эту страну, попытаться узнать и понять советских людей, понять, как они живут, что считают для себя важным, что думают об Америке. Мне, кроме того, хотелось встретиться со своими советскими собратьями по перу и представить себе, что важно для них. Я допускал, что мне не удастся беспрепятственно встречаться с людьми, но хотел по крайней мере попытаться. Я послал еще одно письмо в Союз писателей, подтвердил, что приеду, и сообщил, что хотел бы повидать как можно больше людей, встретиться с писателями. И попросил разрешить мне прочесть несколько лекций в университете.

Все эти политические сложности, связанные с поездкой, не имели для Айрис никакого значения: для нее это была волнующая возможность познакомиться с чем-то неведомым, увидеть воочию то, о чем она знала только из книг. Слова «социалистический», «капиталистический» не играли никакой роли в ее решении. Ей хотелось поскорее тронуться в путь и привезти подарки нашим детям и внукам.

Итак, мы улетели, чувствуя себя почти на месте Марко Поло; Айрис предвкушала интересные приключения в чужой стране, а я надеялся отыскать знаменитого русского медведя, встретиться с ним лицом к лицу и посмотреть, правда ли он так грозен, как рассказывают о нем у меня на родине.

Реактивный самолет оторвался от франкфуртской взлетной полосы и устремился ввысь сквозь неприветливые черные тучи: пока мы летели над Польшей, земля оставалась невидимой. Только когда мы оказались над Советским Союзом, солнце прорвалось наконец сквозь сплошную облачность и осветило лежавшую под нами страну. Подлетая к Москве, мы снизились, и я с удивлением увидел, что страна эта красива: изумрудная зелень, испещренная сельскохозяйственными постройками и группами деревьев, вспаханные поля, стада коров, неторопливо передвигавшихся по пастбищу, синие пруды. Не знаю, какую картину я ожидал увидеть (может быть, коричневую землю, обезображенную вечной мерзлотой), но я увидел не то, что ожидал.

Мы спустились по трапу и вошли в здание аэропорта; первым, что бросилось нам в глаза, был ряд кабин, где проверяли паспорта и визы. За стеклянной перегородкой в каждой кабине стоял военный, пассажиры подходили к кабинам строго по одному... Едва я подумал, что эта церемония никогда не кончится, как услышал, что позади кабинок кто-то громко кричит:

— Патрик Смит! Патрик Смит!

Кричала привлекательная темноволосая женщина лет тридцати пяти с таким же встревоженным лицом, как у нас. Когда мы наконец миновали кабины, она поздоровалась и сказала:

— Меня зовут Татьяна, но я прошу вас называть меня просто Таней. Я ваша переводчица, я буду сопровождать вас в поездках по Советскому Союзу. Нам предстоит пробыть вместе две недели.

Слава богу, нас встретили, вздохнул я с облегчением.

К тому времени, когда мы получили багаж, около каждой таможенной стойки уже выстроились длинные очереди. Этого момента мы боялись больше всего. Два наших внушительных чемодана были битком набиты подарками, и мы выслушали немало устрашающих рассказов о таможенных порядках (и ограничениях) в Советском Союзе. Мы не сомневались, что бóльшая часть привезенных подарков будет конфискована и вполне возможно, что наличие в наших чемоданах некоторых вещей причинит нам массу неприятностей.

Таня увела нас из очереди и проводила к стойке в глубине зала. Она показала служащему какую-то бумагу, сказала несколько слов по-русски, и нам разрешили пройти; на чемоданы никто даже не взглянул.

Когда шофер сел за руль и наша машина влилась в поток транспорта, направляющегося в город, Таня растерянно сказала:

— Сегодня я не понимаю почти ничего из того, что вы говорите. Если вы будете первое время говорить медленнее, завтра я буду понимать половину. А на следующий день, надеюсь, все.

Она объяснила, что ей уже приходилось работать с американцами в качестве переводчицы; однажды она провела месяц в Сибири вместе с группой американских и русских биологов, занимавшихся проблемами сохранения окружающей среды. Но американские биологи были из Нью-Йорка, Мичигана и Монтаны. В ее практике я — первый американец с Юга (я родился в штате Миссисипи, последние восемнадцать лет жил во Флориде, и у меня весьма посредственное произношение южанина со старомодной привычкой растягивать слова), поэтому она с трудом меня понимает. Я постарался говорить медленнее, чтобы дать Тане возможность привыкнуть к незнакомой манере речи.

Пока мы ехали, я с интересом смотрел по сторонам; вначале тут и там попадались деревенские дома, потом появились заводы, кварталы жилых зданий, наше шоссе пересекали другие, по дороге мчалось все больше машин, на автобусных остановках толпились люди.

Погода была прекрасная: солнечная, но не слишком жаркая — 76 градусов по Фаренгейту,— и мы наслаждались свежим ветром, врывавшимся в машину через открытые окна.

По дороге Таня немного рассказывала о Москве. И кое-что о себе. Она родилась в Сибири, где работали ее родители, геологи. Отец умер, когда она была еще ребенком, в шестнадцать лет она рассталась с матерью, уехала в Москву и поступила в Институт иностранных языков на английский факультет. По окончании подала заявление с просьбой зачислить ее в качестве преподавателя английского языка в Московский университет и в ожидании решения работала в различных местах, в том числе провела год в Индии. Работа в университете считается весьма почетной, Таня сказала, что очень любит профессию педагога.

Танин муж — научный работник (математик), у них есть десятилетняя дочь, и они часто берут ее с собой в туристские походы зимой и летом (Танин муж увлекается горным туризмом). Иногда Тане предлагают работу переводчицы.

Вскоре наша машина оказалась в центре города и выехала на московский Бродвей — на улицу Горького; после многочисленных поворотов мы наконец увидели на противоположном берегу реки гостиницу «Украина». Союз писателей решил поместить нас не в главную интуристскую гостиницу, а в «Украину», чтобы дать нам возможность находиться среди коренных жителей Советского Союза, съехавшихся в Москву из разных республик, а не в сугубо туристском окружении.

Хотя мы едва держались на ногах от усталости, я вышел из номера и решил познакомиться с гостиницей, что я делаю постоянно, куда бы мы ни приехали. В вестибюле толпилось много людей: мужчины восточного типа, похожие на арабов, кавказцев; некоторые говорили по-русски, другие — на незнакомых мне языках. В буфете в глубине вестибюля многие покупали водку, коньяк, русское пиво, бутерброды с копченой рыбой и пепси-колу, которую мне предстояло встречать повсюду в Советском Союзе, где бы мы ни оказались.

В правом крыле вестибюля размещались два главных обеденных зала огромного размера, в заднем играл русский джаз-оркестр и покачивались танцоры. В мезонине я увидел магазин, где торговали только на твердую валюту, русские деньги здесь не принимали. Я зашел в магазин и купил коробку крекеров и пачку сдобного печенья.

Разглядывая лакомства на прилавке, я понял, какую глупость мы едва не сделали. Под влиянием разговоров о том, что в Советском Союзе еду можно получить только в ресторанах при гостиницах, мы всерьез подумывали, не набить ли нам чемоданы венской колбасой, сардинами, крекерами и тому подобным.

Я вышел из гостиницы, перешел улицу и оказался в небольшом сквере; хотя было уже почти 10 часов вечера, еще не стемнело. В центре сквера на пьедестале из украинского гранита стоял бронзовый памятник Тарасу Шевченко, украинскому поэту. Позднее я узнал, что в Советском Союзе

много памятников известным поэтам и писателям, так как они считаются национальными героями.

Все скамейки в сквере были заняты, по аллеям бродили люди. Я прошел полквартала, вышел на берег реки и засмотрелся на коричневую воду. Здесь по тротуару тоже гуляло много людей.

Я восхищался собственной храбростью: одинокий американец, не боясь ужасных последствий, отважился прогуляться без переводчика — в Америке мне говорили, что подобные прогулки строго запрещены во всех городах Советского Союза. Разглядывая женщину, толкавшую перед собой детскую колясочку, я чувствовал себя Джеймсом Бондом.

Я побродил еще полчаса и вернулся в гостиницу, решив не искушать больше судьбу. Осторожно пробравшись через парк, я перешел улицу и нырнул под благословенный кров гостиницы. У себя в номере я лег в постель и мгновенно заснул. Айрис уже блаженствовала в волшебной стране сна.

Таня сказала, что сегодня наш день начнется с длительной поездки в небольшой подмосковный город Загорск, где находится известный исторический памятник — Троице-Сергиева лавра.

Нам снова предоставили машину с шофером, и пока мы ехали по улицам Москвы, я разглядывал людей, толпившихся на тротуарах и в магазинах. Большинство мужчин было в костюмах и галстуках, женщины — в красивых модных платьях, ничего похожего на серое однообразие, которого я ожидал. Не меньше удивила меня сама Москва — прекрасный город с красивыми скверами, фонтанами, памятниками, старинной архитектурой, узкими улицами и широкими проспектами, такими чистыми, будто их только что пропылесосили.

Москва построена в виде нескольких концентрических окружностей с Кремлем в центре. Мы пересекали одну окружность за другой, и по мере приближения к пригороду деревьев и зелени становилось все больше. Последняя, пятая окружность называется Московская кольцевая дорога — сегодняшняя граница города. За кольцевой дорогой простирается широкая полоса леса, охраняемого государством, это зеленый пояс Москвы. В лесистой местности располагаются многочисленные зоны отдыха, где москвичи проводят субботние и воскресные дни, и здесь повсюду тоже было много людей.

Потом за окнами машины потянулись поля и пастбища, на одном из полей работали рядом мужчины и женщины, солнце светило ярко, и на некоторых женщинах были только купальные костюмы. Недалеко от дороги отдыхали и закусывали целые семьи, по краю шоссе с легким гулом двигался поток велосипедистов. Многие шли пешком с рюкзаками на плечах.

Неожиданно мы увидели цепочку солдат — человек пятьдесят,— растянувшуюся на четверть мили; солдаты рыли лопатами какие-то ямы. Это зрелище показалось мне очень любопытным: я подумал, что солдаты строят какие-то военные объекты. Но когда я спросил Таню, что они делают, она сказала, что солдаты копают ямы под столбы для забора вокруг пастбища.

Я обратил внимание, что в Советском Союзе на шоссе висят те же знаки, что в Америке. Когда от шоссе отходит боковая дорога и вы видите изображение ножа и вилки, это значит, что боковая дорога ведет к ресторану; телефон означает, что по соседству есть телефон-автомат; насос — что вы подъезжаете к бензоколонке. Бензоколонка выглядит так же, как в Америке: небольшое строение из бетона, перед ним несколько насосов.

Чем дальше мы отъезжали от Москвы, тем сильнее водитель нажимал на газ. Мы обгоняли всех подряд, я бросил взгляд на щиток и увидел, что стрелка спидометра добралась до отметки 140. Не знаю, какую скорость означала эта цифра в переводе на мили в час, но мы неслись, будто за нами по пятам гнался дьявол.

Таня тоже забеспокоилась и сказала:

— Водитель нарушает все наши законы.

В Советском Союзе, как и в Америке, по шоссе полагается ездить, не превышая установленной скорости, иначе... небольшие машины с синими огнями на крыше... но, к счастью, мы на них не наткнулись.

Через два часа мы прибыли на место целыми и невредимыми, но несколько более образованными — теперь мы знали, что такое русские лихачи...

В 11.30 мы встретились с Таней в вестибюле гостиницы и доехали на машине до издательства «Прогресс» — «Радуга». «Прогресс» издает американские романы (и многие другие книги) на английском языке, а «Радуга»— на русском.

Прежде чем подняться в помещение издательства, Таня показала нам книжный магазин на первом этаже того же здания, где всем желающим продают книги выпускаемые «Прогрессом» и «Радугой». Один из отделов магазина целиком занят американской литературой на английском языке, классикой и современными произведениями. Выбор необычайно широк, множество полок уставлено книгами Хемингуэя, Сэлинджера, Капоте, Оутс, Гарднера, Драйзера, Твена, Стейнбека, Фолкнера, Уоррена, Воннегута, Моррисон, Чивера и многих других авторов.

Таня отобрала несколько книг, переведенных с русского языка на английский, которые, как она считала, должны были мне понравиться и я купил их для нас с Айрис вместе с двумя детскими книжками (также в переводе с русского на английский) для наших внуков в Калифорнии.

Я спросил Таню, можно ли купить мои книги в русском отделе магазина.

— Нет,— сказала она.— вы не найдете их ни здесь, ни в других магазинах. Весь тираж разошелся меньше чем за две недели.

Выйдя из магазина, мы поднялись в издательство, где нас уже ждал главный редактор редакции зарубежной литературы и несколько его сотрудников.

Мой первый вопрос был вызван Таниным замечанием в магазине:

— Если первый тираж моей книги разошелся меньше чем за две недели, почему

вы немедленно не напечатали следующий, как поступил бы любой американский издатель?

— Потому что в настоящее время мы испытываем трудности с бумагой,— услышал я в ответ — Если мы выпустим дополнительным тиражом ваши книги, мы не сможем опубликовать произведения других авторов, а это было бы несправедливо. Сейчас мы ограничиваемся одним тиражом для каждого автора. Так как у нас государственное издательство, а не частное, выгода, в отличие от ваших коммерческих издательств, не является для нас определяющим фактором.

Присутствующие задавали мне множество вопросов: как в Америке отбирают книги для публикации, сколько в среднем экземпляров каждой книги находят покупателей и каков средний тираж публикуемых книг, какой процент предлагаемых рукописей издательства отвергают. Меня снова спросили, почему в Соединенных Штатах появляются все новые небольшие издательства. И опять задавали вопросы о том, как я собирал материал об индейцах семинолах и сезонных рабочих, когда задумал романы «Навеки остров» и «Энджел-Сити».

После обеда, в котором я принял участие по приглашению главного редактора, он спросил меня, собираюсь ли я читать лекции в Московском университете, и, услышав мое «да», сказал:

— Вас ожидает хороший прием, можете не сомневаться. Ваши произведения знают и преподаватели и студенты. В нашей стране к писателям относятся с большим уважением.

— У меня дома писателей часто называют совсем иначе,— ответил я.— Боюсь, что в русском языке даже не найдется подходящих слов для перевода таких выражений.

Следующая встреча в этот день должна была состояться в 4 часа дня на факультете журналистики Московского университета. Мне не сказали заранее, сколько времени будет в моем распоряжении, и я решил, что сначала скажу несколько слов сам, а потом буду отвечать на вопросы.

Таня и Айрис поехали со мной, в вестибюле здания нас встретил декан факультета журналистики. Мы миновали длинный коридор и вошли в аудиторию, где уже собрались участники встречи. Часть студентов этого факультета изучала литературу, часть —журналистику, некоторые занимались на отделении радио- и тележурналистики. Почти все присутствовавшие преподаватели и студенты знали английский.

После того как декан факультета коротко представил меня, я сказал, что, вздумай я побеседовать со студентами в 4 часа дня у себя дома, все собравшиеся вполне бы уместились бы в кладовке, где держат половые щетки, поэтому я очень тронут присутствием такого большого числа слушателей в столь позднее время. Мои слова вызвали взрыв смеха.

Потом по просьбе декана я рассказал о своих книгах, изложил вкратце содержание каждой из них и попытался объяснить, какие события в моей жизни повлияли на мое решение стать писателем.

Эта вступительная «лекция» заняла примерно полчаса, а затем градом посыпались вопросы: когда я впервые заинтересовался индейцами и почему решил о них написать? В чем состояла подготовительная работа? Как сейчас живут американские индейцы? Правда ли, что их до сих пор держат в резервациях? Чем они зарабатывают на жизнь? Как к ним относятся остальные американцы? Вопросы, касавшиеся сезонных рабочих, были примерно в том же духе.

Двое из присутствовавших побывали недавно в Оксфорде (штат Миссисипи), где проходила конференция, посвященная творчеству Фолкнера, и когда я сказал, что до переезда во Флориду много лет жил в Оксфорде и изредка встречал Фолкнера, они забросали меня вопросами обо всех мелочах, касавшихся Фолкнера-человека. Я рассказал им несколько историй, когда-то передававшихся из уст в уста на главной площади в Оксфорде; некоторые из них вполне достоверны, другие нет, но те и другие являются частью легенды о Фолкнере.

Один из профессоров, читавший курс лекций о Фолкнере, спросил меня, какой роман Фолкнера я бы рекомендовал студентам для первого знакомства с писателем. Я сказал, что начинать лучше с более легких романов: «Свет в августе», «На смертном одре», затем, наверное, можно прочесть «Медведя», а потом перейти к таким романам, как «Авессалом, Авессалом!», «Шум и ярость». Мое предложение понравилось профессору, он сказал, что придерживается той же точки зрения.

Мне задали много вопросов о современных американских писателях: кто мой любимый писатель и кто, по-моему, создает сейчас наиболее значительные произведения.

Потом меня попросили назвать любимых русских писателей нашего времени и сказать, почему мне нравятся их произведения, и тогда я понял, что иду ко дну. Я не мог назвать ни одного имени. В виде слабого извинения я сказал, что за последние три года получил много книг из Советского Союза, но только на русском языке и все они до сих пор не переведены. Я назвал русских писателей, которых изучал, когда работал над магистерской диссертацией: Достоевского, Толстого, Чехова. Но студенты ждали другого. Они хотели услышать имена современных писателей, а я молчал самым жалким образом.

И пока я, онемев, стоял и отчаянно пытался найти выход из создавшегося положения, у меня в голове одна мысль сменяла другую: вот эти русские здесь, в далекой Москве, знают о современных американских писателях, наверное, не меньше меня, а я не в состоянии даже несколько минут поговорить с ними о литературе их страны. Как сильно мы отличаемся друг от друга и какой же я болван, что не подготовился заранее к этой беседе! Но сколько есть у меня на родине библиотек и книжных магазинов, где можно найти хотя бы один томик прозы или поэзии современного русского писателя?

Я видел, что Таня в смущении бросает на меня растерянные взгляды. Она сказала несколько слов по-русски, хотя мое молчание не нуждалось в переводе, надо мной сжалились и переменили тему.

Один из студентов задал вопрос, до той минуты казавшийся мне маловероятным:

— Как вы думаете, может ли Америка использовать против нас ядерное оружие?

— Мне непонятно, откуда у вас такие мысли,— сказал я,— но могу ответить с уверенностью: нет. Если на американцев кто-нибудь нападет, они будут стоять насмерть, но сами они ни на кого нападать не будут. И это правда, что бы вы ни слышали по этому поводу и что бы вам ни говорили. Мы, американцы, никогда не начнем войну, среднего американца гораздо больше волнует проблема, как уберечь помидоры от жучков, чем ядерная война с Советским Союзом.

— Почему тогда ваши руководители высказываются так враждебно по нашему адресу? — спросил кто-то еще.

— Я не могу нести ответственность за то, что говорят другие,— сказал я.— Только сам человек знает наверное, что он хочет сказать, когда произносит те или иные слова, и в американском правительстве на всех уровнях раздаются самые разные голоса. Это в равной степени относится и к администрации нынешнего президента, и к конгрессу. Вы просто не совсем представляете себе, как работает американская государственная машина. Наши политические деятели имеют право говорить все, что им вздумается, и в основном они произносят громкие фразы. По форме эти фразы означают одно, а по существу совсем другое.

Я видел по выражению лиц, что смутил своих слушателей, и знал, что не вправе рассчитывать на полное понимание этой аудитории, если половина американских граждан не понимает того, что говорят политические деятели их страны.

— Правда ли, что большинство американцев ненавидят русских, и если да, то почему? — спросил другой студент.

При этих словах у меня снова появилось ощущение, будто в меня бросили шарик из жеваной бумаги. Помолчав, я сказал:

— Нет, неправда. Американцы могут не понимать вас, им может не нравиться ваш строй, но они не испытывают ненависти к русскому народу. Тот, кто утверждает обратное, говорит неправду.

Я понимал, что мой ответ не вполне точен, так как встречал американцев, заявлявших, что они ненавидят всех русских, хотя в жизни не видели ни одного из них. Но я снова и снова уверял своих слушателей, что главная цель американского народа — мир во всем мире и что мы хотели бы установить более дружественные отношения с советскими людьми.

Декан вернул нашу беседу в русло литературы, и мне задали еще много вопросов об американских писателях и об их творчестве, в особенности о рассказах Джона Чивера.

Разговор продолжался уже три часа, и декан сказал, что наше время подошло к концу. В начале этого разговора я чувствовал настороженность некоторых профессоров и студентов, но расставались мы друзьями, может быть потому, что я чистосердечно отвечал на все вопросы.

Меня поблагодарили за то, что я согласился приехать на факультет и уделить время студентам. В ответ я сказал, что буду рад, если каждый из них сможет когда-нибудь посетить мою страну и познакомиться с жизнью Америки так же, как я сейчас знакомлюсь с жизнью их страны. Я добавил, что подобные встречи, когда можно обменяться мнениями и рассеять какие-то заблуждения, должны, по-моему, привести в конце концов к улучшению отношений и к дружбе между нашими народами.

Многие студенты провожали нас по коридору, они продолжали задавать вопросы, приглашали прийти к ним в гости еще раз до отъезда в Америку. Я опасался, что вряд ли это окажется возможным: слишком перегруженной была программа, но сказал, что постараюсь выполнить их просьбу если не в этот приезд, то, может быть, в следующий.

Отправиться из Москвы в Среднюю Азию, в Узбекистан — это все равно, что совершить путешествие во времени: вы поднимаетесь на борт реактивного самолета в одном мире и приземляетесь в другом с разницей во времени на 2500 лет, если не больше. В городах Средней Азии можно увидеть современные витрины, но в старых районах улицы еще хранят отпечатки ног Чингисхана, Марко Поло, Тимура и Улугбека и отпечатки копыт бесчисленных караванов верблюдов, шествовавших по этим местам из Китая и Индии в города Европы.

С каждой древней стеной здесь связана какая-нибудь легенда; сохранившиеся минареты, мечети, медресе и мавзолеи свидетельствуют о высочайших архитектурных свершениях, об этапах истории человечества.

И в то же время современный Узбекистан является чудом прогрессивного развития. Можно по-разному относиться к Советскому Союзу и его политическому строю, но, находясь в Узбекистане, нельзя не увидеть, что некогда пустынные земли превратились в цветущую страну.

Каких-нибудь сорок лет назад почти все узбеки были неграмотны, сейчас в Узбекистане открыты многие сотни школ, техникумов, институтов, и это утверждение можно перефразировать: почти все узбеки грамотны. В Узбекистане построены сотни заводов, решивших проблему занятости населения, а благодаря оросительной системе бывшие пустыни стали плодородным краем, где процветает скотоводство. Хлопок — национальное достояние Узбекистана, республика производит более шести миллионов тонн хлопка ежегодно.

Узбеки — гордый народ, и они имеют все основания гордиться своими сегодняшними достижениями и своим прошлым, восходящим к истокам доступной нам истории человечества.

Но узбеки, кроме того, приветливый и дружелюбный народ. Когда путешествуешь по их удивительной стране, кажется, что едешь одновременно в комфортабельной машине и на верблюде.

Наша программа включала посещение колхоза, расположенного недалеко от Ташкента. Как только мы выехали из города, ряды домов уступили место обработанным полям и садам, подступавшим к самой до-

роге. В этой стране, видимо, стремились использовать каждый фут земли. Сопровождавший нас профессор Каюмов сказал, что узбеки очень гордятся своими достижениями в сельском хозяйстве, родившимися в результате многолетних усилий ученых и самоотверженной работы всех и каждого.

Мы проехали уже много миль, город остался далеко позади, наконец шофер свернул на узкую дорогу, вившуюся по высокому склону долины. Вскоре мы уже были у въезда во владения колхоза: перед нами высилась алюминиевая арка, сплошь увитая виноградной лозой. Позади арки стоял деревянный двухэтажный дом, окруженный цветником, справа вплотную к дому подступала зеленая роща.

Как только мы вышли из машины, с нами поздоровался председатель колхоза Джиас Емазов, мужчина лет шестидесяти с коричневым, опаленным солнцем лицом, на голове у него красовалась квадратная узбекская шапочка. У Джиаса было суровое и в то же время ласковое выражение лица, как у типичного дедушки, любящего детей и готового, если нужно, потягаться в силе с быком.

Джиас Емазов проводил нас по наружной лестнице на балкон второго этажа, откуда открывался прекрасный вид на долину. Перед нами, насколько хватало глаз, тянулись виноградники, фруктовые сады, бахчи с дынями, огороды.

Когда мы впервые узнали о предстоящей поездке в колхоз, я представил себе, как нас поведут под немилосердным солнцем по иссохшим полям, и вдруг я увидел такие красивые, такие зеленые места! То, что было приготовлено для нас на балконе, тоже повергло меня в изумление.

На столе теснились блюда с вишней, клубникой, абрикосами, помидорами, огурцами и кислой капустой, стояли вазы с виноградом, миндалем, фисташками и какими-то незнакомыми мне орехами, на двух огромных тарелках лежали большие куски говядины, бараньи котлеты и зажаренные на вертеле цыплята, а посреди всего этого изобилия высились горы круглого узбекского хлеба. И конечно, на столе красовались бутылки русской водки, местного вина, минеральной воды, кувшины с фруктовым соком и вездесущая пепси-кола.

Джиас сказал, что мы находимся в том самом доме, куда колхозники приходят каждый день во время обеденного перерыва, чтобы поесть и отдохнуть. Балкон огибал две стены второго этажа, а в единственной на этом этаже большой просторной комнате вдоль стен стояли ряды узких кроватей.

— Наша собственная гостиница,— сказал Джиас, показывая нам комнату.

Из долины дул прохладный ветерок, я с наслаждением вдыхал чистый свежий воздух и чувствовал, как напряжение, сковывавшее меня все предыдущие дни, постепенно уходит и я будто рождаюсь заново.

— Я с удовольствием провел бы здесь целый месяц в полном безделье,— сказал я,— как хорошо здесь отдыхать. За всю свою жизнь я не видел такого покойного места.

— Пожалуйста, оставайтесь здесь. Для того мы и построили нашу маленькую гостиницу.

В это время по лестнице поднялся мужчина с подносом, на подносе стояли чашки и чайники с горячим зеленым чаем, мы сели за стол, и Джиас сказал:

— Узбеки начинают каждую еду с чая. Давайте выпьем чай, а потом поднимем бокалы за наших гостей.

Зеленый чай очень вкусный, ничего подобного мы прежде никогда не пробовали, и я пил с удовольствием. Чашки были без ручек, как принято в Узбекистане, я бережно держал в горсти свою чашку и обрадовался, когда ее наполнили во второй раз.

По дороге в колхоз профессор Каюмов дал понять, что нас ждет узбекское угощение и что хозяин обидится, если мы будем есть неохотно и не попробуем всего, что будет на столе. Он еще прибавил, что обычным гостям подают три блюда, а особенно уважаемым — не меньше семи. Я заранее решил отдать должное ожидавшей нас трапезе.

Наш хозяин разлил водку и предложил тост за американских гостей, оказавших ему честь своим присутствием, в ответ я тоже произнес тост и поблагодарил за предоставленную нам возможность побывать в этом колхозе.

Я сказал, что фисташки — одно из моих любимых лакомств и что мой сын живет в Калифорнии, где они растут в изобилии, поэтому он иногда посылает фисташки нам во Флориду. Джиас удивился: он не знал, что в Америке тоже растут фисташки, ему было приятно, что я люблю эти орехи.

Потом Джиас рассказал, что в его обязанности председателя колхоза входит руководство всем хозяйством, проверка счетов, выделение колхозникам полагающейся им части общего дохода в качестве платы за труд.

Я спросил его, что за дома виднеются на склоне долины, и он ответил, что это дома колхозников. Каждому колхознику выдается в личное пользование участок земли, на котором он строит себе дом. Размер участка зависит от числа детей в семье. Колхозник, если захочет, может арендовать в колхозе трактор, чтобы вспахать свой участок, все, что он вырастит, является его собственностью. Большинство колхозников продает овощи и фрукты на ташкентских рынках.

На стол поставили большие миски с бараньим супом: в жирном коричневом бульоне, щедро заправленном свежими овощами и травами, плавали куски мяса. Я вынул мясо и съел, потом взял ложку и принялся за суп, Джиас с любопытством посмотрел на меня и сказал:

— Суп надо есть не так. Узбеки едят суп вот как.

Джиас поднял миску и выпил суп через край, я последовал его примеру и выпил весь суп до последней капли.

Затем он произнес:

— У нас есть старинный обычай: когда приезжает особенно дорогой гость, в его честь режут овцу. Режут у него на глазах, потом тушу свежуют и зажаривают. Мы знали, что вы пробудете у нас недолго, поэтому зарезали овцу вчера вечером, не

дожидаясь вашего приезда. Но все равно зарезали в вашу честь.

Сказать, что я был поражен, значит ничего не сказать.

— Я вам очень признателен и искренне тронут,— ответил я,— но, право, не стоило этого делать.

— Нет-нет, мы зарезали овцу в вашу честь,— стоял на своем Джиас.

В эту минуту появился человек, носивший наверх угощения, в руках у него был большой поднос с целой овечьей головой, он подошел и поставил поднос передо мной. Профессор Каюмов сказал:

— Почетный гость обязан сам разделать овечью голову и раздать мясо гостям. Чем больше предложенный вами кусок, тем больше вы, значит, уважаете того, кого угощаете. Но, кроме того, важно еще, какую часть вы даете. Лобные части означают мудрость. Ухо предлагают тому, кому вы желаете хорошо слышать, язык — тому, кому желаете хорошо говорить, глаза — видеть. Раздавая мясо, вы должны каждому объяснить, почему вы даете ему именно эту часть, а не другую.

Я постарался скрыть свою растерянность, взял нож и вилку, поднялся со стула и наклонился над овечьей головой, таращившей на меня глаза. Исподтишка я взглянул на Айрис — я боялся, что она уже потеряла сознание,— но Айрис держалась как настоящий солдат. Таня следила за каждым моим движением с таким напряжением, будто возносила за меня молитвы в эту трудную минуту моей жизни. Она тоже впервые была свидетельницей этой узбекской церемонии.

Я начал с того, что вырезал большие куски мяса из лобной части, положил их на тарелку Джиаса и сказал:

— Даю вам это мясо в знак признания вашей мудрости и в благодарность за то, что вы пригласили нас к себе в колхоз.

Кусок языка я положил Тане со словами:

— Это за то, что вы говорите вместо нас на языке, которым мы не владеем.

Ухо я положил профессору Каюмову и сказал:

— Пусть оно поможет вам расслышать наши обещания жить в мире и дружбе с вашим народом.

Оставшиеся кусочки лобной части я положил на тарелку Айрис с пожеланием мудро прожить все годы до конца жизни.

Себе я прежде всего положил глаз, чтобы разглядеть все хорошее, что есть в узбеках, а потом по кусочку от других частей, чтобы хорошо слышать и хорошо говорить.

Джиас одобрительно улыбнулся и предложил тост (весьма своевременно) за мой дар разделывать овечьи головы.

Все, что я увидел и услышал, заставило меня усомниться в том, что это настоящий колхоз, а не просто «выставка», куда возят гостей, чтобы продемонстрировать им головокружительные успехи Узбекистана. Поэтому я спросил Джиаса:

— Когда к вам приезжали другие американские писатели, вы тоже устраивали такой роскошный пир?

— Другие не приезжали,— ответил он,— вы первые. Перед этим я пил с американцами почти сорок лет назад, это было недалеко от Берлина, когда кончилась война. А когда война началась, мне было семнадцать. Я сразу пошел добровольцем. Воевал в разных местах, был под Ленинградом, во время освобождения Берлина наша часть встретилась с американцами, мы с ними хорошо выпили. Давно это было, с тех пор не приходилось встречать их.

Джиас сделал знак, чтобы принесли следующее блюдо, и на столе появилась гора узбекского плова, но профессор Каюмов поднялся и сказал:

— Нам уже пора. Самолет на Бухару вылетает в 3 часа дня, нужно ехать, не то мы опоздаем.

Джиас горячо протестовал, просил нас побыть еще немного, но профессор Каюмов проявил твердость и повторил, что мы должны ехать. Тогда Джиас повернулся к Айрис и сказал:

— Приезжайте, пожалуйста, сюда на обратном пути из Бухары, поживите у нас недельку. Вы тут прекрасно отдохнете.

Айрис объяснила ему, что мы торопимся домой, потому что наша дочь в Калифорнии ждет ребенка, она может родить в любой день.

— Я понимаю, что вы беспокоитесь,- сказал Джиас.— У меня самого много внуков. Когда вернетесь к себе, пришлите телеграмму, все ли благополучно, а я зарежу ягненка в честь вашего нового внука.

Мы обещали выполнить его просьбу и сдержали слово.

Во дворе, куда мы спустились по лестнице, оказалось много народа. Все собравшиеся держали правую руку у сердца, и я спросил профессора Каюмова, что это значит.

— Этим жестом узбеки говорят о своих дружеских чувствах,— сказал он.— Они обещают, что сохранят память о вас в своих сердцах, и просят вас оставаться их другом.

Я обернулся к провожавшим, положил правую руку на левую сторону груди, и они все заулыбались.

Джиас преподнес Айрис букет роз, а человек, который приносил наверх угощения, вручил мне большой пакет с фисташками.

Айрис поцеловала Джиаса в обветренную загорелую щеку, в ответ он улыбнулся, тогда я расцеловал его по-узбекски: сначала в правую щеку, потом в левую.

Мы уже выехали на дорогу, а провожавшие все еще стояли, прижав правую руку к сердцу, и смотрели нам вслед.

Мне предстояло прочесть лекцию и побеседовать с преподавателями и студентами Самаркандского университета, одного из самых крупных университетов Средней Азии. Встреча должна была проходить в здании Государственной самаркандской библиотеки, примыкающей к университету, чтобы руководители библиотеки тоже могли на ней присутствовать.

Директор библиотеки встретила нас у входа и провела через отдел американской литературы. Она очень гордилась своим небольшим собранием, и я поздравил ее с этим достижением.

Когда мы вошли в аудиторию, где в од-

ном конце было что-то вроде сцены, там уже собралось много народа. В основном это были студенты, профессора и местные жители, но, судя по одежде, среди них были и приезжие колхозники.

На сцене за столом стояло три стула: для меня, для Тани, которой предстояло переводить, и для секретаря Самаркандского отделения Союза писателей, который сказал по-русски несколько вступительных слов.

Я снова рассказал о цели своей поездки в Советский Союз и обрисовал в общих чертах свой писательский путь, о чем меня заранее попросил секретарь.

В конце концов я, естественно, перешел на современную американскую литературу, и моя лекция так же естественно превратилась в вечер вопросов и ответов, поскольку слушатели охотно вступали со мной в разговор. Кто-то из студентов поднялся, назвал несколько рассказов Джона Чивера и спросил, что я думаю о каждом из них. А потом я услышал тот же вопрос, который пригвоздил меня к полу в Москве:

— Кого из современных советских писателей вы любите больше других и почему?

На этот раз благодаря Тане, прочитавшей мне наикратчайший курс советской литературы, я был лучше подготовлен к этому вопросу и мог по крайней мере назвать нескольких писателей, с произведениями которых познакомился, пока летел в Ташкент. Но я снова почувствовал, насколько глубже советские студенты знают нашу литературу, чем мы советскую.

Один из студентов не удовлетворился моим кратким перечнем. Он назвал неизвестного мне писателя и спросил, как я отношусь к его творчеству.

Я сказал, что не могу ответить на вопрос, потому что не читал книг этого писателя, но у меня на родине, наверное, найдутся более образованные люди. И тут я сам загнал себя в ловушку: я сказал, что, насколько мне известно, при одном из нью-йоркских университетов есть центр по изучению русской литературы и что с русской литературой можно познакомиться также в других университетах и библиотеках, но я живу далеко от Нью-Йорка, бываю там редко и не могу пользоваться этими источниками, поэтому я плохо знаю современную русскую и советскую литературу.

— Самарканд находится дальше от Москвы, чем Флорида от Нью-Йорка,— возразил студент,—и все-таки мы здесь, в Самарканде, знаем обо всем, что происходит в Москве, особенно если дело касается литературы. Почему же вы не знаете, как обстоят дела с русской литературой? Неужели вы живете в такой изоляции у себя во Флориде? Разве во Флориде нет библиотек?

Я не знал, как выйти из положения. Мысли мои смешались, наконец я заставил себя открыть рот:

— Видите ли... само собой разумеется. Хотя нет. В какой-то мере... Конечно, я мог бы получить необходимые сведения, и, конечно, во Флориде есть богатые библиотеки. Но я был слишком занят своей работой и не проявил должной настойчивости. Надеюсь, что в следующий раз я смогу ответить на ваш вопрос. К сожалению, сейчас я не в состоянии это сделать.

Я так и не смог преодолеть себя и откровенно сказать всю правду, сказать, что, к сожалению, в моей стране, наверное, лишь немногие библиотеки могли бы предложить своим читателям книги современных русских писателей, а может быть, таких библиотек и вовсе нет, что в наших книжных магазинах не продают русских книг. И суть дела в том, что мы ничего не знаем о вашей прозе и о вашей поэзии. К сожалению.

Студент видел, что я в замешательстве, он сел и больше не возвращался к этой теме.

Одна женщина, профессор университета, спросила по-английски:

— Правда ли, что в романе «Энджел-Сити» воссозданы подлинные события из жизни сезонных рабочих у вас на родине или это все-таки некоторое преувеличение?

Во время поездок по Америке мне часто приходилось отвечать на этот вопрос. Многие американцы просто не в состоянии представить себе, что сезонные рабочие на самом деле живут в таких ужасающих условиях, они считают, что «Энджел-Сити» — плод моей фантазии.

— Некоторые события, описанные в романе, конечно, драматизированы,— сказал я,— так пишутся все романы. Роман должен быть интересным, он должен производить впечатление, иначе его просто никто не будет читать. Тем не менее все эпизоды в «Энджел-Сити» основаны на подлинных событиях. Подобные вещи не обязательно случаются в каждом лагере сезонных рабочих, и обычно они не остаются безнаказанными, однако они действительно происходили и продолжают происходить.

Разговор перешел на американских индейцев, на меня посыпались вопросы об их прошлом, о том, как они живут сейчас. Когда эта тема была исчерпана, я спросил:

— Знает ли кто-нибудь из присутствующих, каким жестом американские индейцы показывают, что у них мирные, дружеские намерения?

Никто не ответил, я поднял правую руку и сказал:

— Они делают вот так.

Затем один из студентов задал вопрос, правда ли, что в Соединенных Штатах широко распространено сейчас движение за мир. Я сказал, что это правда, и повторил то, что уже говорил студентам Московского университета: в американских семьях принято составлять список необходимых дел. Поверьте мне, в этих длинных списках для войны просто нет места.

Один из преподавателей встал и сказал, что в советских газетах писали о волнениях, вспыхнувших в американских университетах десять лет назад, и ему хотелось бы знать, как обстоит дело сейчас.

Я ответил, что с тех бурных времен положение резко изменилось. Волнения и бунты тех лет были связаны с протестами студентов против войны во Вьетнаме. Теперь большинство студентов усиленно занимаются, готовятся к будущей самостоятельной работе.

Мне задали еще несколько вопросов о некоторых американских писателях и их произведениях, беседа продолжалась уже два с половиной часа. Секретарь объявил, что нам пора кончать, и два студента — юноша и девушка — поднялись на сцену и вручили мне букет роз. По одобрительной улыбке Тани я понял, что встреча прошла хорошо.

Мы направились к машине, и большинство студентов пошло нас проводить; когда мы отъехали, я оглянулся и увидел, что они стоят на улице, подняв вверх правую руку,— они говорили мне о мире и дружбе на языке американских индейцев.

Увидав фамилию Гранина в расписании моих ленинградских встреч, Таня сказала, что Гранин — один из очень популярных и читаемых писателей в Советском Союзе. В эти первые дни ей хотелось встретиться с ним гораздо больше, чем мне. Но постепенно я начал привыкать к мысли, что мне предстоит увидеться с человеком, похожим одновременно на Марка Твена и Эрнеста Хемингуэя.

Мы приехали последними, нас проводили в небольшую комнату, где уже был Гранин. Его внешность в какой-то мере подтвердила мои ожидания. На минуту мне показалось, что я вижу перед собой двойника Карла Сэндберга: взъерошенные седые волосы, проницательные и в то же время озорные глаза. Рядом с ним сидел белорусский писатель Алесь Адамович. Адамович и Гранин шесть лет работали вместе над книгой о ленинградской блокаде.

Нас представили друг другу, и я спросил Гранина:

— Какого рода романы вы пишете?

— Те, что мне нравятся,— ответил он.

Я подумал, что передо мной еще один русский писатель, поглощенный темой войны, и так как мне хотелось завязать разговор, сказал:

— Много лет назад я написал роман о приключениях моряка американского торгового флота во время войны, но он так никогда и не был опубликован.

— Мне никогда не хотелось писать беллетристику о войне,— ответил Гранин.— Я слишком близко видел настоящую войну, чтобы выдумывать что-то на эту тему.

Его резкий ответ показал мне, что мы оба ведем «пристрельный огонь», стараясь понять друг друга, и я почувствовал к нему симпатию, хотя контакта между нами еще не возникло.

— Какие романы пишут сейчас у вас в Америке? — спросил Гранин.

— Одни трудятся, думая о том, чтобы получилась настоящая вещь,— другие с расчетом, что их книги будут хорошо продаваться.

— Не слишком это достойно — писать только то, что хорошо продается,— сердито пробурчал Гранин.

— Не спорю.— ответил я.— хотя писатели тоже должны есть, как все люди. Когда русским писателям предлагают хлеб, они ведь не отказываются?

— Нет. Мы тоже едим. Но я предпочитаю брать хлеб в булочной, а не доставать его откуда попало.

Меня будто ударили палкой, и я перешел на другую тему:

— Читали вы мои романы по-русски?

— Да,— ответил Гранин и не сказал о них больше ни слова.— Кем вы сами себя считаете, писателем-социологом или писателем-гуманистом?

— Ни тем, ни другим,— возразил я решительно.— Я пишу о том, что мне интересно. Если выбранная тема требует, чтобы я занимался социальными проблемами, я занимаюсь социальными проблемами.

— Понятно,— сказал Гранин и улыбнулся. Потом протянул мне книгу и добавил: — Это вам.

Я взял надписанный русский экземпляр блокадной книги. Поблагодарив Гранина и Адамовича, я спросил:

— Это что, история блокады?

— Нет,— ответил Гранин.— Это совсем другое. Историй уже написано немало. В этой книге собраны короткие рассказы о жизни людей во время блокады, здесь показана человеческая сторона исторических событий. Если вы прочтете книгу, вы поймете, почему у нас никто не хочет еще одной войны.

Мне показалось, что Гранину тесно в этой маленькой комнате, что он сейчас скажет: «Надоело трепать языком! Давайте выйдем отсюда, а то я задохнусь». Но вместо этого он спросил:

— Вы читали Достоевского?

— Да,— сказал я.— Его произведения входили в программу университетского курса.

— Вы хорошо помните «Преступление и наказание?» — продолжал он.

— Не уверен,— ответил я.— Прошло много лет с тех пор, как я читал роман.

— Достоевский не выдумывал обстановку и место действия «Преступления и наказания»,— сказал Гранин.— Он работал как первоклассный плотник, только пользовался словами, а не деревом; здесь, в Ленинграде, сохранились уголки, которые он описывал. Хотите посмотреть?

— Да, конечно,— тут же согласился я, сгорая от любопытства.

— Тогда пойдемте,— сказал Гранин,— я устрою для вас литературную экскурсию. Племянник Достоевского показал мне все эти места, а потом я сам много раз там бродил. Меня тянет на эти улицы будто магнитом, и вас тоже будет тянуть, если вы перечитаете роман после нашей прогулки.

Мы вышли из помещения Союза писателей и приехали в один из самых старых районов города с узкими улицами и четырех- пятиэтажными домами, изъеденными временем и небрежением. Таня волновалась как ребенок и держала наготове записную книжку, чтобы записать точный адрес каждого дома, где мы побываем.

В некоторых кварталах этой старой части города шли строительные работы, нам то и дело попадались опустевшие дома, ждавшие ремонта. В одном месте Гранин попросил шофера остановиться и подождать, мы прошли пешком по узкому проулку и поднялись по лестнице пустого дома.

— Здесь жил Раскольников, убивший

старуху,— сказал Гранин.— Снимал каморку под крышей.

Дом, казалось, был отдан во власть привидений, как кладбище ночью, и пока я медленно переставлял ноги с одной истертой каменной ступеньки на другую и поднимался в полутьме с этажа на этаж, у меня было жуткое чувство, что рядом идет Достоевский.

Когда мы добрались до последнего этажа, Гранин заметил:

— А вот та самая клетушка, где жил убийца.

Еще один более короткий пролет лестницы вел к закрытой деревянной двери. Гранин шел впереди, мы за ним, и когда он распахнул эту старую дверь, я подумал, что сейчас из комнаты выскочит дьявол и схватит меня в объятия.

В комнате не было стен, так как чердак был расчищен перед ремонтом, но доски пола еще оставались на месте. Я тут же представил себе, как этот несчастный человек сидел при свете свечи на грязной койке и у него перед глазами проплывали кровавые видения.

Мы вернулись на улицу.

— Отсюда до дома старухи, куда ходил Раскольников,— сказал Гранин,— ровно столько шагов, сколько написано в романе. Я много раз проделывал этот путь, и счет всегда сходился. Но это все-таки далековато, более семисот шагов мы лучше направимся не туда, а в другое место, там тоже стоит побывать: в романе написано, что, когда убийца украл деньги, ему было страшно держать их дома, поэтому он спрятал их под полуторапудовым неотесанным камнем возле ворот в одном дворе. Сейчас мы подъедем туда на машине.

Пока шофер вез нас в указанное место, Таня спросила:

— Как вы думаете, зачем писатель причиняет себе столько хлопот и точно описывает определенное место и определенные предметы если он может все это придумать, большинство ведь придумывает?

— Кто знает,— ответил Гранин.— Это мог бы разъяснить только Достоевский.

— Может быть, он просто хотел заставить кого-нибудь сделать то, что делаем сейчас мы: повторить его путь, размышляя, зачем ему это понадобилось,— сказал я.— Может быть, он хотел загадать загадку...

Водитель остановил машину, и мы вошли во двор, окруженный домами. Гранин уверенно прошел вперед и сказал:

— Здесь!

Он нагнулся и приподнял огромный камень — тот самый камень, что лежал здесь еще до появления романа, опубликованного более ста лет назад.

— Да, черт побери,— пробормотал я и покачал головой.— Теперь уж я обязательно перечитаю роман, и особенно внимательно те места, где говорится о том, что мы видели.

— Я бродил здесь много раз с книгой в руке,— сказал Гранин.— Читал, считал и каждый раз все здесь берет меня за живое. Будто на моих глазах вымысел становится явью. Хорошо что вы успели повидать эти места, после реконструкции здесь многое изменится. Я предпочел бы, чтобы все осталось как есть, но это невозможно.

Гранин и Адамович привезли нас в гостиницу и предупредили, что поедут домой на метро. Я предложил им машину и сказал, что шофер отвезет их, куда они захотят, но они отказались и заявили, что им так удобнее.

Перед тем как расстаться, Гранин сказал:

— Я был в Америке по обмену, но тогда отношения между нашими странами были не такими напряженными, как сейчас. Может быть, что-нибудь переменится, и я смогу еще раз приехать в Америку.

— Надеюсь,— ответил я.— Правда, мне не удастся устроить для вас такую удивительную экскурсию, какую вы устроили для меня зато я покажу вам папель и крокодилов, а если нам повезет — и пантеру.

Гранин засмеялся и сказал:

— Это было бы великолепно и почти так же увлекательно как прогулка с тенью Достоевского. Когда-нибудь я еще поймаю вас на слове. Как знать!

Таня приехала в гостиницу в 5.45 утра, и пока швейцар выносил наши чемоданы и укладывал их в машину, нас поливал сильный дождь — первый за две недели пребывания в Советском Союзе.

В нескольких кварталах от гостиницы мы остановились, так как на углу улицы нас ждала под зонтиком добрая знакомая из Союза писателей. Она села к нам в машину и сказала:

— Я понимаю, что у вас и так слишком много вещей, но я просто не могла удержаться. Я принесла вам пластинку с русскими песнями, очень надеюсь, что она вам понравится.

— Я буду всю дорогу держать вашу пластинку на коленях,— сказал я с благодарностью,— а у себя дома мы будем единственными людьми, кто может послушать настоящую русскую музыку.

По каким-то неведомым причинам шофер мчал с сумасшедшей скоростью, и мы все в ужасе молчали, пока машина неслась по скользким от дождя улицам. Через считанные минуты, как нам показалось, мы уже были в аэропорту.

Таня хотела избавить нас от досмотра, поэтому она понесла наши документы на таможню, а мы поднялись в кафе на балконе и решили выпить чаю или кофе.

— Вы соскучились по дому? — спросила мою жену наша знакомая.

— Да,— ответила Айрис.— Нам было здесь очень хорошо, но мне уже хочется вернуться домой.

— Я вас понимаю. Дом — это дом. Частичка моего сердца навсегда осталась со студентами и профессорами Канзасского университета, где я была по обмену, но я с радостью вернулась домой.

Мы были готовы разговаривать о чем угодно только не о приближающейся минуте расставания.

Наша знакомая помешала без нужды свой чай и сказала:

— У нас говорят что если уезжаешь в дождь, обязательно когда-нибудь вернешься.

— В Самарканде нам говорили то же

самое про чай,— сказал я,— поэтому в день отъезда мы выпили целый чайник чая.

К нам подошла Таня, мы спустились в вестибюль и по длинному коридору прошли к последнему проверочному пункту.

Здесь наш путь преграждал барьер.

— Пришли? — спросил я у нашей знакомой.

— Да,— ответила она.— Это граница. Дальше мы не можем вас проводить.

Таня была странно молчалива Мы с женой расцеловали ее. и я сказал:

— Если мы когда-нибудь приедем, вам снова придется путешествовать вместе с нами, это наше непременное желание. Так что, пожалуйста будьте живы и здоровы.

— Постараюсь,— ответила она.

Мы прошли за барьер, и я на минуту задержался, мне хотелось сказать Тане что-то еще. Она увидела, что я стою в нерешительности, и крикнула:

— Все в порядке!

Коридор поворачивал в сторону, мы оглянулись и в последний раз помахали рукой, а потом вошли в зал ожидания для пассажиров международных рейсов.

Я поставил наш объемистый чемодан с подарками на скамью около Айрис, подошел к окну и засмотрелся на воду, ручьями бежавшую по стеклу.

Через несколько минут объявили наш вылет, Айрис окликнула меня. Я постоял еще немного, меня осаждали воспоминания, я подумал: а вдруг когда-нибудь...

Я радовался, что идет дождь.

◆

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Сборник статей МИХАИЛА БАХТИНА «Вопросы литературы и эстетики». Издательство «Наука и искусство».

Избранные стихотворения АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО. Издательство «Народна култура».

Повесть АНАТОЛИЯ КИМА «Нефритовый пояс». Профиздат.

Стихотворения АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО. Издательство «Народна култура».

«Записки следователя» ЛЬВА ШЕЙНИНА. Издательство «Отечествен фронт».

ВЕНГРИЯ

Повесть ВЛАДИМИРА КРУПИНА «Живая вода». Издательство «Европа».

Сборник произведений ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «На зимней дороге». То же издательство.

Повесть ГЕОРГИЯ СЕМЕНОВА «Дней череда». То же издательство.

Книга ЮРИЯ СЕНКЕВИЧА «На Ра через Атлантику» Издательство «Гондолат».

Рассказы для детей ВЕРЫ ЧАПЛИНОЙ «Четвероногие друзья». Издательство «Мора».

Роман ОТАРА ЧИЛАДЗЕ «Шел по дороге один человек». Издательство «Магветёба».

ГДР

Сборник произведений ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА («Ранние журавли» и другие») Издательство «Фольк унд вельт».

Повесть АНАРА «Шестой этаж пятиэтажного дома». То же издательство.

Роман МИХАИЛА БУЛГАКОВА «Белая гвардия». То же издательство.

Роман БОРИСА ВАСИЛЬЕВА «Были и небыли» Издательство «Ауфбау».

Роман НОДАРА ДУМБАДЗЕ «Закон вечности». То же издательство.

Повесть ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА. «Сандро из Чегема». Издательство «Фольк унд вельт».

Роман ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА «Белеет парус одинокий». То же издательство.

Сборник рассказов КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО «Степная гроза». Издательство «Киндербухферлаг».

НИДЕРЛАНДЫ

Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Волчья стая». Издательство «Симон».

Повесть АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА «Солнечное затмение». То же издательство.

Стихи и эссе ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА. Издательство «Ооршот».

ПОЛЬША

Повесть ВАСИЛИЯ БЕЛОВА «Воспитание по доктору Споку» Издательство «Чительник».

Роман ИОСИФА ГЕРАСИМОВА «Предел возможного». То же издательство.

«Избранное» ЮРИЯ ОЛЕШИ. Издательство «Выдавнитство литерацке».

Книга ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА «Люди, годы, жизнь». Издательство «Чительник».

ФИНЛЯНДИЯ

Повесть МИХАИЛА ПРИШВИНА «Женьшень — корень жизни». Издательство «Гуммерус».

Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Деньги для Марии». Издательство «Талми».

Антирубрика

А. КОППАРД

СЕЛЕЗЕНЬ

Перевод с английского ДМИТРИЯ АГРАЧЕВА

Жила в одной деревне старушка по имени Ребекка Трахнелл, и были у нее собака Джек с чудным глазом, котенок Джек с чудным хвостом и селезень Джек с чудными мыслями. Был у старушки сын — молодой Джек, а покойного ее мужа при жизни звали Старым Джеком. Поначалу-то имена у всех были разные, но больно уж липли к старухе привычки, да так и пошло, что и человека и скотину звала она одним и тем же именем. Селезень был птицей немолодой, и жил он на сухом-пресухом дворе, не двор, а египетская пустыня. Раньше, бывало, вырвется он иной раз на волю в большой мокрый свет и пойдет куролесить по лужам да канавам, но старая Ребекка возьми да и запри его, чтоб не безобразничал, и остался у него один только сухой двор, так ведь это не жизнь, а чистое мученье.

Как-то раз старухин сын Джек сунул селезня под мышку.

— Джеки, птичка, у тебя ж сегодня, кажется, день рождения!— И зашагал так с селезнем под мышкой, и вот, пройдя с милю, а то и больше, вышел на поле, где стоял сарай, а возле сарая был пруд, настоящий пруд с отлогими берегами, поросшими свежей, сочной травкой, упругой и влажной у самой воды. Сама-то вода была темно-бурого цвета и сильно воняла, но зато над нею склонялись три или четыре каштана и изредка роняли в нее свои нежные лепестки. Ах, как ярко светило солнце! И какой свежий ветер веял над водой!

В этот-то пруд Джек — молодой человек опустил Джека-селезня, и селезень свихнулся от счастья. Он вздымал воду клювом и обливал себе спину. Он вертелся и плясал или стремглав скользил от берега к берегу. Он пробовал даже уйти под воду и, пронзая прохладную толщу, достигнуть того утиного рая, что лежит на дне всякого пруда, но половина его — худшая половина! — всегда, дергаясь и подпрыгивая, оставалась наверху, в нашем постылом мире.

Юноша Джек сказал, что оставит его здесь до вечера, потому что у него день рождения, а перед сном придет и заберет его. И селезень, оставшись на пруду один, плавал и громко крякал от счастья и гордости. Как ярко светило солнце, и какой свежий ветер веял над водой, раскачивая кроны каштанов и срывая пышные соцветья, отчего белые лепестки душистым снегопадом опускались на пруд! В ветвях кричала ворона, смеясь над шутовством и невоспитанностью одинокого селезня. А он был пьян от радости!

Немного погодя показался прохожий, мужчина, как говорится, в соку, с темным от загара лицом, в видавшей виды шляпе. На нем была толстая холщовая куртка и брюки с пряжками пониже колен, а на плече болталась пустая кошелка. В это ясное, свежее утро он отдал должное хорошему пиву. Одной рукой он придерживал широкий ремень на животе, другой — трубку.

— Эге-ге, приятель! — воскликнул он, увидев селезня, и остановился, задумчиво наблюдая за его кувырканьем.

— Кряк! — ответил селезень.

— Это мне-то кряк! — вскричал недовольно незнакомец.— Да ты в конюшне, что ли, рос?

Тогда селезень понял, что беседует не с кем-нибудь, а с существом высшим, пожалуй даже богом или джентльменом, и ответствовал с должной степенностью и уважением.

— Эге-ге, родимый! — воскликнул незнакомец.— Да ты, я погляжу, для утки — отличный парень.

Селезень счел нужным сообщить, что у него сегодня день рождения.

— Бр-рынь! — вскричал незнакомец и тут же присел на бугор у самой воды, не бугор, а целый замок с башнями, понастро-

енный муравьями,— чего не навыдумывают эти муравьи! — Бр-рыны! — повторил незнакомец и добавил, что у него сегодня тоже день рождения.— Аккрапатам! Ну не чудно?

— Ну вот я, значит, и остался сегодня дома,— продолжал он,— а старуха моя нудит и нудит. Я ей вежливо так говорю: да что тебе за вожжа-то под хвост попала, да еще в мой день рождения? Ты, говорю, как собака с гнилым носом. Не могу я тебя больше терпеть, хоть умри, не могу, да еще в свой день рождения Ты на себя-то, говорю, погляди: как есть мешок говядины, пошла бы блох из хвоста повытряхивала,— а сам взял да пошел в огород и поработал чуток в огороде-то. Ну вот мне шею и скрутило—не вздохнешь не охнешь Пропотел на ветру — и готово Мне всю жизнь не везло. это я тебе говорю Не везло — хоть ты лопни, так уж, видать, на роду написано. Хочешь, я тебе всю свою жизнь расскажу смолоду был честным, а потому бедным и помру.

Селезень млел в прохладной воде: от наслаждения он чуть прикрыл глаза и то и дело вежливо кивал. Никто и никогда не уделял ему столько внимания. не оказывал ему столь лестного доверия А теперь, видали' Незнакомец же. сидя на муравейнике, занимался тремя делами сразу: посасывал свою погасшую трубку, пытался ее снова разжечь и болтал с уткой в пруду.

— Ты, мой милый, всем уткам утка, и тут уж вернее не скажешь.

— Но,— грустно вздыхал селезень,— я всего лишь сирота.

— Ха! Что ж тут такого? Сиротой любой может стать. Захотел и стал Абсолютно любой Кроме Принца Уэльского. Ты, парень смотри, всяких там глупостей в голову не бери.— строго, но добродушно заметил незнакомец — Ты сам-то откуда?

Селезень назвал свою деревню. Оказалось. что незнакомец прекрасно знает эти места

— Бр-рыны! М-да,— проговорил он,— ну, тоска там приличному человеку: ни те поговорить с кем, ни дома, ни трактира, ни свиньи, ни собаки, ни курицы приличной — все так, одно название.

Селезень сознался. что жить там очень скучно, это правда, он даже не раз подумывал о том, чтоб куда-нибудь переселиться.

— Скучно! — взревел незнакомец.— Да я в этой дыре и дня б не вынес, хоть ты мне улицы хрусталем вымости да золотом посыпь Нет уж, у меня-то места получше

— Извините меня, сэр,— промолвил вежливый селезень,— я не знаю, как вас зовут и где вы живете.

— Ха-ха! Аккрапатам! — отвечал незнакомец — Аххраматумс! Ему и родословную выложи! Нет, знаешь, в тебе есть что-то китайское, да и от индуса малость. Ну, ясное дело. ты — птица породистая. Я тоже родовитый; скажешь, у всякого дедов да прадедов — аж до самой древней истории? То-то что не у всякого А оно как есть правда, хоть режь меня, хоть ешь. Две плиты на барклейском кладбище — знаешь? Нет! Две плиты на ширском? На ширском-то было четыре, но две свалились (по правде сказать, их столкнули), и Фидлер Кинч стянул их для своего свинарника, но с тех пор ему, бедолаге, так со свиньями и не везло до самой смерти. Объелся он, Фидлер Кинч. Я тебе правду говорю: правду-то, ее всяк скажет, коли знает, ну а чего никто не знает — того и знать не надо. Две плиты на ширском, две на барклейском, медная табличка с черепом в тубинском алтаре Скажешь, плохая родословная? Тубин, Шир и Барклей? Явились когда-то и поныне тут. Уильям Бубс.

Тут незнакомец с чувством ударил себя кулаком в грудь, и так селезень узнал, что его нового друга зовут Уильям Бубс, а не аккрапатам или аххраматумс.

— А когда Фидлер умер, преподобный Саксби эти плиты откопал — он, поди, с самого начала знал, где они В одну ночь перетащили. Хочешь посмотреть — пойди в ширскую церковь да отверни бархат на алтаре, там наши плиты-то и есть: святая святых и на вечные времена. Ну, каков у нас род? Тебе про Бубсов никто плохого не скажет. нас люди уважают Было б у меня время, показал бы тебе одну могилку — близнецы Хезекийя и Иосиф Бубсы, оба агнцы безгрешные (там так и написано), скончались от укуса гадюки, когда выходили из церкви после конфирмации, в 1766-м. Бр-рыны! Прости господи, помню, мне прадед рассказывал про Вильгельма Завоевателя, все как есть рассказывал! Бубсы — народ что надо, они теперь повсюду, важные да именитые Я слышал, живет один на севере, в Ноттингемшире, так у него домов — квартал за кварталом, от парикмахерской — и до самой окраины. И все его, его собственные — большой человек, понимаешь ли. Он раньше знаешь, что делал? Чучела набивал, да, чучела — рыб, птиц всяких, ну еще там, не знаю, хорошо набивал, собака, как живые были. Для герцога одного набивал, забыл, как звать, для королевы тоже. Так год за годом, год за годом — и домов, домов! — пока глазами не ослаб, состарился, ну и скис. А все почки, наверное, у меня вот тоже шалят. Большого ума человек! У нас это вот тут.

Бубс показал пальцем на середину лба, а потом как будто что-то проглотил.

— Аххраматумс,— загадочно добавил он.

Селезень улыбался и крякал, показывая тем самым, что приятная беседа с мистером Бубсом доставляет ему истинное удовольствие; сам же мистер Бубс поднялся, неторопливо оглядел окрестности, вынул из кармана коробку с табаком и снова уселся на муравейник. Не спеша была набита и раскурена трубка, после чего мистер Бубс некоторое время попыхивал ею в задумчивости, созерцая пруд и селезня и прислушиваясь к ветру в ветвях каштанов. Чудесный выдался денек!

— С кем ты живешь-то в своей деревне?

— Живу я с Джеком Трахнеллом,— отвечала разомлевшая птица.— Вы его не знаете?

— Джека-то? Аккрапатам! Да мы с его папашей в одну школу ходили. Он все твердил, что он младше меня, только я этого никак в толк не возьму — школу-то он кончил раньше, да, и в пахари нанялся к

муженьку сонной девки. Я-то еще полгода в школе проваландался, а потом, значит, в кровельщики пошел. Бубсы — большие мастера. У нас это вот тут,— мистер Бубс вынул трубку изо рта и опять показал ею себе на лоб, а потом густо сплюнул через плечо, бросив вызов свежему ветру.

Селезень задал еще один вопрос:

— А кто такая сонная девка?

— Дочка Илая Садлера. Она как-то раз уснула, да так, что ее уж не добудились. Было их две девчонки, да Илай, да мать их. Илай, понятное дело, помер, ну и остались Мэри и вот эта Энни. Мэри в людях была у сквайра, а Энни уснула, да так и проспала семь лет. Семь лет так и провалялась в постели — и не просыпается, и не помирает. Люди понаехали со всего света: и смотрели, и булавкой кололи — учителя, да герцоги, да члены парламента,— но разбудить не разбудили, не просыпается — и все тут. Семь лет — это, знаешь ли, ой как долго. Загадка. Мать ее на этом кучу денег заработала. Целое состояние. Ну мать, ясное дело, померла, тут все давай уговаривать Мэри: «Дескать, Мэри, возвращайся-ка ты домой да пригляди за спящей сестренкой». А Мэри в ответ: «Ни-ни-ни, и не подумаю».—«Это почему же?»— спрашивают. «Она тебе, дескать, сестра, как есть беспомощна и от тебя во всем зависит».— «А потому,— отвечает Мэри,— что я эту тетерю живо разбужу». И что же ты думал? Разбудила! Так Энни тут же выскочила замуж и с ходу нарожала десять человек детей. Больше уж не засыпала. Ее спящей красавицей прозвали Хех-хе! Такого надувательства еще во всей Англии не бывало, за тысячу верст, поди, о таком не слыхивали! А старый Джек Трахнелл и нанялся к мужу сонной девки в работники. Вообще, скажу я тебе, столько есть всяких штук, чтоб денег заработать, и коли ты чего хочешь, то добейся — силой или враньем. Сила и вранье правят сим грешным миром, понимаешь, голубчик? Все, что ни делается, делается в чью-то пользу, но не в твою! Знаешь, что я тебе скажу? Я скажу: послушайте, сэр, ежели от вашего удовольствия другому больше вреда, чем вам — радости (а так-то оно частенько бывает!), так распорядитесь, сэр, своим удовольствием наилучшим образом. Ежели,— Бубс нацелил свою трубку прямо на сосредоточенно внимавшего ему селезня,— ежели вы из тех, кто много не думает, так вы и не узнаете о содеянном зле и не остановитесь, ибо вам наплевать. Но обратите внимание, сэр, ежели вы другого рода и вам не наплевать как честному человеку, тогда мой совет пропал и вы им, понятно, не воспользуетесь, ибо не сможете! Такова природа человеческая,— заключил Бубс, снова поднося спичку к трубке,— и такова жизнь.

— Ах, это истинная правда,— вздыхал счастливый селезень.

— И еще одно,— продолжал философствующий кровельщик.— Мы, может, и не получим всего, чего просим, но зато, уж будьте покойны, получим все, что нам причитается, и мне, значит, не больно далеко до моих же похорон. А тебе до твоих, голубчик. Сила и вранье, говорю тебе, правят сим грешным миром. Кто сладко-то сочинять умеет, тот внакладе не останется. Да вон возьми хотя бы Джека Трахнелла, того, что нанялся к мужу сонной девки: я этому Трахнеллу никогда не доверял. Он тебя, перво-наперво, так заговорит, что сам себе мил не будешь. Вообще я в этой твоей деревне никому не доверяю, безродные все людишки-то, что с них возьмешь? И молодой Джек не лучше. Мой тебе совет, парень, больше ты к ним не возвращайся, храни-ка лучше свою независимость, держись за нее, а его не слушай да с ним не ходи. Нечего тебе горе-то мыкать! Нравишься ты мне, буду я твоим другом по гроб жизни. Вот тебе моя рука.

Бубс поднялся, внимательно оглядел окрестности, от души сплюнул, потер правую руку о штанину и подошел к самой воде. Тогда селезень подплыл к берегу, чтобы принять его дружбу.

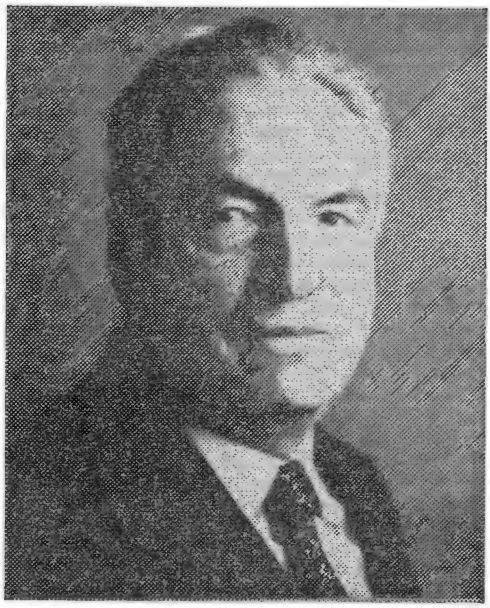
— Эге-ге, голубчик!

Пальцы Бубса плотно сжались на утиной шее, и селезень был выхвачен из пруда. Прошло мгновенье, и шея его обмякла; он больше не бился, не говорил, не жил.

— Хорош хорош,— приговаривал Бубс, ощупывая его грудку и спинку.— Красавец! — И, положив птицу в кошелку, он снова повесил кошелку на плечо.— Аккрапатам! — весело бормотал он, удаляясь.— Аххраматумс!

◆

Наши гости



Камен Калчев
(Болгария)

О популярности романов, повестей, рассказов Камена Калчева свидетельствуют их многочисленные издания не только в Болгарии, но и за рубежом, где они вышли общим тиражом более двух миллионов экземпляров В Советском Союзе изданы все лучшие произведения писателя, и не только на русском но и на белорусском, украинском и других языках народов СССР. Недавно Воениздат выпустил сборник «Софийские рассказы»— избранное Камена Калчева, ставший как бы юбилейным. приуроченным к семидесятилетию писателя, которое отмечается в этом году.

В творчестве Камена Калчева большое место занимает революционная тема. Главное в нем — современность, сквозь призму которой воспринимает он теперь и переживания своей юности, связанные с годами революционной борьбы. Писательской манере Камена Калчева присущ тонкий психологизм, внимание к человеку, легкая ирония.

— В вашем творчестве,— обращаемся мы к писателю,— нашли преломление различные этапы развития социалистического общества в Болгарии. Каковы, по вашему мнению, сегодня главные социальные и нравственные проблемы социалистического общества?

— Окружающая действительность во всей ее сложности, во всех ее проявлениях — быт, особенности психологии, общественные тенденции, определяющие будущее,— вот что всегда привлекало меня. Здесь, в этом хитросплетении проблем и характеров, я ищу своих персонажей. И чем необъятнее, богаче и неожиданней представляется мне этот мир, тем привлекательней кажется он мне, тем сильнее мое желание нарисовать как можно более широкую и многоплановую панораму нашего общества. Идет упорный поединок со всем косным, отсталым, консервативным. Когда-то нам было легко — все недостатки нашего общества мы связывали с «проклятым буржуазным прошлым», с тлетворным влиянием «загнивающего» капитализма. И это было правильно. Существует это влияние и сегодня. Эту ржавчину некоторые и по сей день стараются смыть со своей души. Но продолжать оправдывать наши недостатки проклятым наследием прошлого, мягко говоря, заблуждение, самообман, прикрывающий истинные причины, порождающие их. В этом году Болгария празднует сорокалетие социалистической революции. За эти годы в нашем обществе, идущем по пути неуклонного подъема, добившемся исключительных успехов, к сожалению, появились свои мещане и

ретрограды. Кто и как должен бороться против них? Кто и как защищает нас от этого зла? Вот главнейшая не только политическая, но и нравственная и психологическая проблема. В борьбе за искоренение этих явлений и состоит конфликт конфликтов. Литература, искусство в целом призваны не только изображать его, но и искать средства его решения.

— Сейчас много спорят о положительном герое, в частности болгарские писатели и критики. Этой теме был посвящен разговор, состоявшийся в редакции журнала «Септември» — одного из ведущих литературных журналов Болгарии, главным редактором которого вы были в течение многих лет. Некоторые утверждали, будто сегодня нельзя найти в жизни не только идеального, но даже и положительного героя, который служил бы примером для подражания. Что думаете об этом вы, автор книг, воссоздающих образы Георгия Димитрова и других видных революционеров, произведений, главные герои которых — коммунисты, борцы за утверждение нового строя?

— Если общество успешно развивается, если в нем идет борьба с недостатками, значит, в нем не может не быть положительных героев. Иначе кто же двигал бы общество вперед, если бы в нем не было сил, не было бы людей, которых мы несколько условно называем положительными героями. Положительный герой не только противостоит, но и активно борется с мещанином, потребителем, карьеристом, подлецом, мошенником, лжецом, обманщиком. В своих последних произведениях — романах «Пробуждение», «Песня Марии» и особенно в романе «Третий», который был опубликован в конце прошлого года в журнале «Современник»,— я как раз и пытаюсь поставить эти актуальные проблемы, стараюсь наметить характерные черты сегодняшнего положительного героя в образах центральных персонажей: простой девушки Марии, ее мужа — партийного работника Балтова и старого рабочего, которого называют просто Железнодорожник.

— Расскажите подробнее о вашей трилогии, ведь она получила положительную оценку болгарской критики, но пока еще не вышла отдельным изданием. Хотя у нас, в Советском Союзе, пристально следят за всем новым, что появляется в болгарской литературе, но все же, учитывая издательские сроки, на русском языке она, очевидно, выйдет не очень скоро.

— Я собираюсь назвать ее «Мирные времена». В этом названии скрыта трагическая ирония нашей жизни; вот уже сорок лет мы находимся на грани войны, на грани катастрофы. Такие ли мирные, в сущности, эти мирные времена? А если мирные, то на ком и на чем держится мир человеческого существования? В трилогии нет исторических личностей. Ее герои — простые люди, которые ищут свое место под солнцем. А это место порой так непрочно и так скупо отмеряется, несмотря на все старания человека. И отсюда — широкий спектр выведенных в ней разного рода чудаков, мошенников, честолюбивых бюрократов. Рядом с теми, кто ведет унылое, бесполезное существование — наглецы и откровенные потребители. И тут же — донкихоты, словно бы явившиеся из прошлого, и провозвестники будущего. Верность высоким нравственным принципам — главный внутренний смысл нашего развития, требование нашего внешне мирного времени. И во всем этом есть ирония жизни, надеюсь, что мне удалось ее показать. Достоевский высказал мысль, которая, как мне кажется, может служить ключом к моему авторскому замыслу, моему видению мира: жизнь полна комизма и величественна только в своем внутреннем смысле.

— Вы давний и верный друг нашей страны, часто бывавший в Советском Союзе, много сделавший для укрепления дружеских связей между советскими и болгарскими писателями. Так, в 1963 году вы возглавили одну из первых делегаций болгарских писателей, посетивших СССР. Когда вы впервые познакомились с советской литературой?

— В тридцатые годы, в то время, когда только начинал писать и печататься в нашей прогрессивной печати. Одним из первых, кто приобщил меня к советской литературе, был наш замечательный критик-марксист, страстный пропагандист советской литературы Георгий Бакалов, только что вернувшийся из СССР. Первой советской книгой, которую я прочитал, был «Тихий Дон» Шолохова в переводе Бакалова. Большое впечатление произвел на меня «Разгром» Фадеева. Эти книги стали моим открытием советской литературы, потом я уже старался не пропустить ни одного нового произведения, переведенного на болгарский.

— А кто из советских писателей вам особенно близок?

— По-русски я стал читать советскую литературу гораздо позже. Очень любил Горького и долго находился под его влиянием, особенно любил трилогию «Детство», «В людях», «Мои университеты».

В пятидесятые годы, когда я работал над романом «Живые помнят», посвященным революционным событиям в болгарском селе, примером мне служил Шолохов. У Фадеева я учился лаконизму, неоднозначному раскрытию человеческого характера. Левинсон остается для меня образом положительного героя. В то время образ положительного героя понимался довольно примитивно. Шолохов и Фадеев изменили, расширили и углубили мое и многих других болгарских писателей моего поколения представление об этом образе. Нам стали близки не только Левинсон и Бунчук, но и Григорий Мелехов и Морозка.

Я зачитывался замечательной книгой Валентина Катаева «Белеет парус одинокий». Нравится мне и его новая проза, меня привлекает его гуманизм, благородная ирония. После 9 сентября 1944 года, в последние лет двадцать, я имел счастье познакомиться не только с произведениями советских писателей, но и со многими из них лично.

Незабываемое впечатление оставили встречи с Шолоховым, Фединым, Полевым, Симоновым. Помню, как Твардовский читал свою новую поэму. Я высоко ценю творчество и многих других писателей, среди которых есть мои друзья. На всю жизнь запомнился мне международный симпозиум, проходивший в 1963 году в Ленинграде, в котором наряду с советскими писателями принимали участие видные европейские писатели — Жан-Поль Сартр, Уильям Голдинг и другие. Хотя симпозиум был посвящен проблемам романа, главной темой его стал злободневный вопрос борьбы за мир, против фашизма.

— Следите ли вы за современной мировой литературой?

— Мне очень помогает журнал «Иностранная литература», из которого мы, болгары черпаем богатую информацию. Я давний его подписчик и с нетерпением жду каждый номер. Благодаря вашему журналу я познакомился с творчеством таких писателей как Габриэль Гарсиа Маркес, Грэм Грин, а также ряда писателей Азии и Африки. Чтение — одно из моих любимых занятий. По-моему писатель должен знать что пишут его собратья по перу, знать чего добилась современная художественная мысль, иначе он будет открывать то, что уже давным-давно открыто.

— Какую из книг вы цените больше других своих произведений?

— Мне особенно дороги роман «У истоков жизни», речь в нем идет о моем детстве, роман «Двое в новом городе», «Софийские рассказы» и «Город нашего страдания», тоже автобиографическая вещь. Я рад, что эти книги переведены в Советском Союзе и именно три последние вошли в сборник, изданный Воениздатом.

— Если бы у вас была возможность, хотели ли бы вы повторить свою жизнь?

— Я не хотел бы, чтобы моя жизнь в точности повторилась со всеми ее горестями, разочарованиями, ошибками, но в главном она была бы, я думаю такой же: я был бы, как и сейчас, коммунистом, посвятившим свою жизнь служению великому делу.

— В заключение позвольте задать вам традиционный вопрос о замыслах, новых работах.

— Пока что у меня нет каких-то конкретных планов. Жду выхода трилогии отдельной книгой. Надо осмыслить итоги полувекового писательского пути, прежде чем приступать к чему-то новому.

М. ТАРАСОВА

◆

К нашим иллюстрациям

Ровесник нового века

Творческая судьба художника Цултэма типична для представителя новой национальной интеллигенции Монголии. Вскоре после революции семья его отца — арата Нямосора из Архангайского аймака — переехала в Улан-Батор. В то время разворачивалась борьба с пережитками феодализма, намечался явный прогресс в хозяйстве и культуре. В этой новой для спокойной и неторопливой Монголии атмосфере бурных социальных перемен началась и сложилась его творческая биография.

Первый шаг был сделан в 40-м году, когда юноша стал учеником, а позднее и художником в Государственном Центральном театре. Знакомые лишь с традициями национальной живописи «монгол-дзурагч», широкие массы могли в конце 30-х годов впервые увидеть выставку картин советских художников. Для Цултэма, как и для многих его соотечественников, она открыла образцы реалистического истолкования мира, новую для монголов технику масляной живописи. А к самым азам мастерства он приобщался в одном из вечерних изокружков столицы под руководством советских художников К. Померанцева, С. Бушнева, Н. Бельского.

Еще одной важной ступенью стала непродолжительная работа на киностудии «Монголкино». Цултэм принял участие в создании первого исторического фильма зарождающейся кинематографии «Цогт тайдж» («Степные витязи»). На сей раз его наставником оказался П. Гаваа — один из старейших самобытных монгольских художников...

А потом — поистине счастливые годы студенчества. Цултэм учится в Московском художественном институте имени Сурикова в мастерской С. Герасимова. Сын простого арата всерьез знакомится со знаменитыми школами европейской живописи, с русским и советским многонациональным искусством, культурой Древнего Востока.

Тонко и проникновенно ощущает Цултэм природу — не потому ли излюбленным жанром художника становится пейзаж? Или, быть может, эту привязанность изначально породил его благословенный Архангай — красивейший край Монголии, где соединяют свои воды прозрачный стремительный Тамир и неторопливый Орхон. Край, где суровые вершины напоминают неприступные громады Алтая, где неоглядные просторы обращают мысль к восточным степям страны. Архангай, не только раскинувшийся в самом центре Монголии, но как бы воспроизводящий ее облик в уменьшенной копии.

Цултэм любовно пишет свою родину: «Юрты в степи», «Караван», «Белые тучи», «У реки», «Степная дорога», «Белая долина» — все эти работы передают красоту его древней земли.

Органично переплетаются в его творчестве испытанные традиции старой национальной школы и техника современной живописи. Нямосорын Цултэм, верный исконной традиции национального рисунка, обращается к его приемам, символике цветовых решений. И как здесь не вспомнить об искусстве Марзаншарава — одного из предтеч современной монгольской живописи, знаменитого художника былых лет, насмешника, который правдиво и едко изображал в своих работах жизнь ламаистского духовенства, мастера, которого знатоки назвали потом монгольским Брейгелем.

Одной из лучших работ Цултэма стала картина «Призыв». Выполненная в стиле «монгол — дзурагч», она несет совершенно новое содержание. Древняя атрибутика гармонично сочетается с революционным порывом. Недаром эта картина стала одним из символов новой Монголии. А предшествовала ей еще дипломная работа художника — «Встреча монгольской делегации с Лениным», в которой приемы традиционного стилистического решения служили передаче революционного пафоса времени.

Много сил Цултэм отдает работе над портретом. Он пишет портреты исторических деятелей, известных ученых и артистов, простых тружеников. И в каждой из картин стремится запечатлеть индивидуальность современника.

Завершить это короткое слово о творчестве Нямосорына Цултэма — ровесника новой Монголии — хочется словами самого мастера:

«Думая о своем жизненном пути, я вспоминаю, что нашу интеллигенцию составляли счастливые молодые люди, родившиеся уже в свободной стране и взращенные любовью и заботой народной власти. Как и все мои сверстники, я носил кумачовый пионерский галстук, воспитывался Ревсомолом и безгранично горжусь тем, что принадлежу к отряду коммунистов, несущих высокую ответственность за дело построения социализма в МНР».

Б. АНДРЕЕВ, Е. ЧЕРНЯЕВ

◆

Советская литература за рубежом

ФРАНЦИЯ

Пьеса МАКСИМА ГОРЬКОГО «Дачники». Издательство «Комеди франсэз».
Повесть И. ГРЕКОВОЙ «Вдовий пароход». Издательство «Институт д'этюд слав».
Поэмы ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО. Издательство «Мессидор».
Повесть АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА «Джан» и рассказ «Усомнившийся Макар». Издательство «Юнион женераль эдисьон».
Романы ЮРИЯ ТЫНЯНОВА «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара». Издательство «Галлимар».

ФРГ

Повесть ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Джамиля». Издательство «Зуркамп».
Роман МИХАИЛА БУЛГАКОВА «Жизнь господина де Мольера» Издательство «Лухтерханд».
Роман ИВАНА ЕФРЕМОВА «Туманность АНДРОМЕДЫ». Издательство «Вильгельм Хайне ферлаг».
Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Понедельник начинается в субботу». Издательство «Зуркамп».
Роман АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО «АЭЛИТА». Издательство «Ульштайн».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Повести и рассказы ВАСИЛИЯ БЕЛОВА. Издательство «Смена».
Роман РУСЛАНА КИРЕЕВА «Победитель». Издательство «Младе лета».
Книга ФЕЛИКСА КУЗНЕЦОВА «За все в ответе. Нравственные искания в современной прозе». Издательство «Лидове накладателстви».
Повесть-сказка ЛАЗАРЯ ЛАГИНА «Старик Хоттабыч». Издательство «Младе лета».
Стихи ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА. Издательство «Одеон».
Роман в новеллах КОНСТАНТИНА СИМОНОВА «Так называемая личная жизнь». Издательство «Наше войско».
Роман АЛЕКСАНДРА ЧАКОВСКОГО «Дороги, которые мы выбираем». Издательство «Правда».
Книга ВИКТОРА ШКЛОВСКОГО «Эйзенштейн» Издательство «Одеон».

ШВЕЙЦАРИЯ

Автобиографические рассказы ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА. Издательство «Л'аж д'ом».
Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Жук в муравейнике». Издательство «Эдито — сервис».

ЮГОСЛАВИЯ

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «И дольше века длится день». Издательство «Поморска заложба».
Пьесы МИХАИЛА БУЛГАКОВА. Издательство «Нолит».
Сборник стихов АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО. Издательство «Рад».
Роман ЮРИЯ ТЫНЯНОВА «Пушкин». Издательство «Вук Караджич».

ЯПОНИЯ

Книга ВСЕВОЛОДА ОВЧИННИКОВА «Сакура и дуб». Издательство «Саймари сюппанкай».
Повесть АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Приключения Кроша». Издательство «Ирионся».

Среди книг

Русская и советская литература в зарубежном мире

Издано в СССР

ДУХОВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

А. И. Мамонов. Пушкин в Японии. Москва, «Наука». 1984.

В жизни каждого народа есть имена, определяющие его место и значение среди других народов и государств. В России это изначально — Пушкин, чья духовная власть с годами все более ощутима, чье творчество все более глубоко овладевает умами и сердцами миллионов людей, находящих в его произведениях отзвук своим настроениям, стремлениям, своему мирочувствованию. Книга А. И. Мамонова впервые вводит нас в своеобразный мир. В его труде два аспекта: Пушкин и Япония. Порой один аспект получает преимущество перед другим (автор увлекается и уходит несколько в сторону); но чаще они даны в нерасторжимой связи и взаимопроникновении.

Позиция «первооткрывателя» обусловливает популяризаторский контекст некоторых глав: «Русский язык в Японии (конец XIX — начало XX в.)»; «Медный всадник» (1973) и «Домик в Коломне» (1977) в исследованиях Танабэ Сахоко». Автором руководило, видимо, естественное желание поведать читателю о незнакомом, максимально расширив рамки книги. Однако даже «необязательный» материал казалось бы не имеющий прямого отношения к пушкиноведению, обретает здесь действенный резонанс. Ибо постичь проблему «Пушкин и Япония» гораздо легче, когда мы знакомимся со становлением японской русистики, узнаем о тех сложностях, которые она встречала на своем пути, о взаимных усилиях, направленных на постижение культуры народов Японии и России, о людях стоявших у истоков нашего сближения и взаимопонимания. А. И. Мамонов рассказывает не только о содержании отдельных книг о Пушкине, но и об их художественном оформлении.

Исторический контекст постоянно присутствует в книге помогая автору сегодня взглянуть на события прошлого, пользуясь четкими ориентирами. Так, в книгах японских пушкиноведов идеализируются отношения русского поэта и Николая I, и А. И. Мамонов убедительно связывает бытование этой концепции с ситуацией, существующей в самой Японии. Он пишет, что «книга Накаяма Сёдзабуро издавалась в обстановке крайнего разгула монархо-милитаристских сил в Японии, в условиях нагнетания шовинистических и ура-патриотических настроений. Критика в адрес русского монарха могла бы вызвать недопустимые по тому времени ассоциации, небезопасные для автора».

Усиление интереса к творчеству Пушкина в сегодняшней Японии также не рассматривается как явление чисто культурного плана. Оно связывается А. И Мамоновым с тем что Россия «превратилась в могучее социалистическое государство, воплотившее в жизнь многовековые чаяния лучших людей российского общества. Да и фигура Пушкина стала все чаше рассматриваться в контексте мирного строительства и культурного сотрудничества между народами».

Вызывает уважение и доверие сам тон, выбранный исследователем: разговор ведется в спокойном ключе, хотя автор не лишен привязанностей и не скрывает заинтересованного отношения к некоторым адресатам своего повествования особенно к тем людям, с которыми его свела судьба Проникнуты искренним теплом очерки о художнице прожившей 36 лет в Японии,— Варваре Дмитриевне Бубновой (из рода Вульфов)—пропагандистке Пушкина в японской культурной среде; о видных ученых— Кимуре Сеити, Курахаре Корэхито,— известных пушкинистах; о самом народе, которому присуще в высшей степени чувство

красоты, любовь к прекрасному в жизни и искусстве.

Подлинным гимном Пушкину звучат отдельные стихи японских поэтов, собранные А. И. Мамоновым: в них — признание русского гения, в них то родство, которое создается духовной близостью народов, проникновенным отношением к национальным реликвиям великих культур.

Такое же чувство рождает воссозданная в книге история переводов Пушкина в Японии, данная и в общем и в отдельных рассказах о подвижниках этого труда — воспроизведения языка великого русского писателя на японском. Автор не скрывает трудностей, не смягчает недостатков, но везде воздает должное таланту, труду, поиску. Он называет имена людей, которые «творили историю русско-японских литературных связей, ее пушкинскую главу», и справедливо отмечает, что они «полпреды» Пушкина в Японии. «Без Пушкина не было бы их, но и без них Япония не узнала бы Пушкина». Поэтому не как простой реестр, а как своеобразный символ этих связей воспринимается составленный в результате длительных поисков автора и опубликованный в конце книги полный перечень переводов и имен более шестидесяти переводчиков, давших жизнь творениям Пушкина в Японии.

Отмечу, что каждый из разделов исследования А. И. Мамонова имеет свое функциональное значение, вводя нас в какую-либо важную сферу жизни Пушкина в Японии. Особо нужно выделить библиографию. В ней скрупулезно собрано и представлено все, что связано в Японии с именем русского писателя: его собрания сочинений, сборники, отдельные произведения, изданные на японском языке, и — что особенно значительно — список критической литературы насчитывающий более двухсот наименований.

Плодотворно проведено автором сопоставление книг японских пушкиноведов Ясуги Садатоси Накаяма Сёдзабуро и Курахара Корэхито. Оно дает нам реальное представление о развитии научной мысли в Японии, о любовном отношении японцев к русской литературе к Пушкину, что в конечном счете приводит к известным сдвигам в духовной жизни и демократической культуре в самой Японии.

Некоторые факты и находки исследователей, приведенные в книге А. И. Мамонова воспринимаются как открытия, проливающие свет на связи, которые существуют между произведениями разных эпох и народов. Так, в монографии рассказано об установлении Курахара Корэхито типологической близости поэмы Бо Цзюйи «Вечная печаль», написанной более тысячи лет назад, с пушкинским «Бахчисарайским фонтаном».

Пожалуй, самый живой интерес читателя вызовет история переложения на японский язык «Капитанской дочки», сделанного еще в 1883 году. По мнению Н. И. Конрада, этот перевод был выполнен с английского текста «Капитанской дочки». А. И. Мамонов, опираясь на работу японского пушкиниста Янагида Идзуми о судьбе первого переводчика пушкинского романа — Такасу Дзискэ, убедительно опровергает бытующую версию. Факты биографии Такасу Дзискэ говорят о том, что он владел русским языком и его перевод сделан с текста оригинала по 4-му тому Полного собрания сочинений Пушкина (СПб., 1869—1871). Стилизация же на английский лад — дело рук цензора Хаттори Надэмацу, который известен именно такими поделками.

Сопоставляя оригинал с переводами, он показывает, сколько трудностей и загадок таится в этом процессе. Перед читателем раскрывается противоречивая, а порой исполненная драматизма картина «освоения» пушкинской поэзии в Японии и «как подлинное богатство чужой культуры развивает возможности собственной». Именно об этом свидетельствует, в частности, история перевода стихотворения «К Чаадаеву», наглядно свидетельствующая об обогащении японской поэзии, соприкоснувшейся с пушкинской мыслью и мастерством.

Книга прочитана. Не все в ней удачно. Иногда хотелось бы, чтобы позиция исследователя была более определенной. Стремление найти точные причины обращения японских писателей к пушкинскому творчеству в атмосфере времени иногда приводит к социологическим передержкам (Так, вряд ли стоило говорить, что именно растущая потребность японского общества в произведениях, пронизанных освободительным духом, обусловила перевод первой исторической народной трагедии «Борис Годунов».)

Но замечания наши касаются в основном частностей, не снижающих общей высокой оценки серьезного труда. Книга А. И. Мамонова «Пушкин в Японии» служит благородной цели — взаимообогащению разнонациональных культур, которое сегодня стало для нас живой реальностью и духовной необходимостью.

Л. ТАРТАКОВСКАЯ
г. Ташкент

ПОВСЕДНЕВНОЕ И ВЕЧНОЕ

Аднан Салим. Тургенев — художник, мыслитель. Москва, «Современник», 1983.

С годами все полнее и ярче раскрывается перед человечеством мировое значение русской классической литературы. Великие русские писатели XIX века давно уже восприняты просвещенными людьми планеты как явление, выходящее за рамки нашей национальной культуры. Это классики — Достоевский, Толстой, Чехов и, разумеется, Тургенев!

«Приобщению» Запада к духовному богатству Тургенева способствовало длительное пребывание русского писателя во Франции. Но, конечно, главная причина его все возрастающей известности не в этом. Тургенев привлекает своим обаянием, простотой и поэтичностью созданного им мира. В Тургеневе видят русского волшебника, умеющего не только остро ставить социальные проблемы, но и заворожить читателя неповторимой поэзией своей страны, воссоздать лирическое начало русской жизни.

Веками складывающаяся национальная жизнь, какие бы в ней ни были теневые

стороны, образует благодаря своему колориту, традициям, характерному художественному мышлению нечто неповторимое, особый мир повседневной и реальной поэзии, которую Писемский назвал «жизненной поэзией». Тургенев воссоздал «жизненную поэзию» России глубоко и тонко. И свойственная ему сила социального обличения приобрела особую убедительность именно потому, что уродству зла Тургенев сумел противопоставить величие Красоты. Горький мечтал о том чтобы культурное человечество объединилось вокруг светлого пушкинского гения. Тургеневское творчество, преемственно связанное с пушкинским, целительно и в наше время, когда приходится бороться против извращений, вносимых в эстетическое и философское сознание человечества буржуазным декадансом

Вот почему в последние годы интерес прогрессивной зарубежной славистики к автору «Отцов и детей» усилился Остановимся на книге иракского литературоведа и прозаика Аднана Салима.

Нельзя не приветствовать смело выбранный Аднаном Салимом аспект исследования — философский. Разве это не главный аспект всей науки о литературе? В самом деле, при бесконечном разнообразии наблюдений, которыми занимается литературоведение, разве не стремимся мы в конце концов выявить глубинный пафос творчества изучаемого автора, его философско-нравственное кредо? Сосредоточившись на основных началах литературной деятельности Тургенева, еще недостаточно исследованных советскими и зарубежными литературоведами, иракский ученый — и в этом его бесспорная заслуга — последовательно и убедительно показывает неотделимость «текущей», конкретно-исторической проблематики от великого и вечного в произведениях русского мастера. Верно замечено автором монографии: «Тургенев-художник умел, как никто другой, возводить единичный факт человеческого существования на степень философского обобщения о жизни в целом». Тургенев предстает в работе Аднана Салима как «один из самых глубоких и жгучих философских умов великой русской литературы XIX века» как художник, подвергающий человека «всестороннему, вдумчивому истинно философскому рассмотрению», как страстно ищущий и обостренно чуткий мыслитель удивительно близкий нашей эпохе, для которой характерно растущее внимание к общечеловеческим проблемам, к философскому осмыслению исторических событий.

Актуальность философских исканий Тургенева, как показывает автор рецензируемой работы, объясняется в огромной степени диалектичностью мышления русского художника В его отношении к битвам идей, к загадкам мирового процесса не было метафизической статики, педантически серой одноцветности, гелертерской самонадеянности и самодовольства. Он остро ощущал различные грани каждой доктрины и духовной жизни каждого социально-психологического типа; он воспринимал все краски бытия не изолированно друг от друга, а в гармонически сложном и целостном узоре, в их динамике.

Аднан Салим глубоко прав, рассматривая философско-поэтическую диалектику Тургенева как мощную познавательную и творческую силу, позволившую русскому писателю выявить ту великую и бессмертную красоту мира, которая не лишена оттенков грусти, порождаемой преходящим характером каждого частного феномена, но которая даже и грусть эту озаряет утешительным светом Аднан Салим объективно рассматривая творчество Тургенева, отмечает и элементы скептицизма, которые подчас давали себя знать в сложных философских исканиях автора «Отцов и детей» Но наблюдения ученого подтверждают, что скептицизм Тургенева, «завораживающий своей трагической мощью», объединяется в сложнейшую гармонию с аккордами более мощными — аккордами вечной земной радости. И это дало иракскому ученому основания сравнить и сблизить Тургенева с Бетховеном.

Диалектический подход к бытию, острое чувство историзма позволили Тургеневу показать разные ипостаси таких людей как Рудин, Лаврецкий, Базаров, их слабости и их сильные стороны, их блуждания и прозрения их историческую ограниченность и таящиеся в них залоги грядущего. Порожденные XIX веком и перерастающие его рамки, эти образы ставят перед нами волнующие философско-этические проблемы духовной культуры, любви, социальной ответственности человека

Тургенев предстает в рецензируемой работе не как одинокая философско-поэтическая вершина, а как один из ярчайших русских художников, озабоченных интенсивными духовными исканиями. Сопоставляя Тургенева с Достоевским, Толстым, Аднан Салим показывает как, при всех капитальных различиях между гремя великими писателями, их сближала органическое и неутомимое стремление к познанию основ бытия, страстная мечта о гармонии — о гармонии социальной, о гармонии в душе каждой отдельной личности Справедливо указывает исследователь и на элементы философской общности Тургенева с Гончаровым, Салтыковым-Щедриным, Чеховым, Горьким...

Однако есть в этой книге материал и для дружеской полемики Иракский ученый склонен преувеличивать влияние немецких философов на Тургенева — художника и мыслителя глубоко самобытного Получается так: Гегель вооружил Тургенева диалектикой и покорный ученик Тургенев успешно применял ее в своей художественной практике, а в своих теоретических работах даже «часто как бы подгонял под гегелевские категории и понятия свои собственные размышления и обобщения» В действительности Тургенев никогда не был чьим либо покорным учеником. Конечно, Гегель помог сформироваться его диалектическому мышлению. Но разве не были еще важнее для писателя великая «школа» русской истории, русского освободительного движения, уроки Пушкина, мышление которого поражает своим глубоким историзмом? Не следует забывать и о том критицизме, который ха-

рактерен для отношения Тургенева к немецкой философии. И, право же, туманы и зори над Бежиным лугом и аромат его цветов больше способствовали формированию тургеневского пантеизма, нежели сочинения Шеллинга.

Поспорить можно было бы и о личности Базарова. Думается, что Аднан Салим несколько идеализирует его, забывая о той опасности, которая таится в самонадеянной и грубой «базаровщине», враждебной духовным ценностям человечества.

В истолковании «Аси» Аднан Салим, как, впрочем, и другие исследователи, ограничивается повторением известной концепции, выраженной в статье Чернышевского «Русский человек на rendez-vous», в статье блестящей и политически острой, но отнюдь не освобождающей нас от обязанности дальнейшего и, может быть, более многоаспектного рассмотрения поэтического содержания повести. В ней с чисто тургеневской тонкостью переданы впечатления молодого русского человека, открывающего для себя красоту и сложность мира. И какое же тут перед нами богатство живописных, психологических и бытовых нюансов! Следовало бы внимательней рассмотреть и психологию героини, девушки причудливой, эксцентричной, не свободной от душевных изломов, которые в значительной степени делают понятными недоумения и колебания героя.

Не вполне оценил автор и романтическое начало в произведениях Тургенева — между тем оно окрасило в обостренно-эмоциональные и мечтательные тона философию великого художника, помогло ему избежать эмпирической «трезвости», столь характерной для распространившейся тогда в Западной Европе и в России весьма влиятельной позитивистской философии.

Наличие спорных моментов отнюдь не мешает небольшой по объему, но содержательной книге Аднана Салима стать заметным вкладом в науку о Тургеневе.

Н. ЖЕГАЛОВ

Издано за рубежом

ДОСТОЕВСКИЙ — ПРИ СВЕТЕ ДНЯ

Valeriu Cristea. Dictionarul personajelor lui Dostoievski. Bucureşti. Editura Cartea Românească, 1983.
Валериу Кристя. Словарь персонажей Достоевского, 1983.

В Бухаресте вышла книга о Достоевском, которая имеет огромный читательский успех и, естественно, вызывает споры — как все, что связано с творчеством этого классика русской и мировой литературы. Один из критиков указывает, например, что, если эта книга — словарь, следовательно, она по сути простое учебное пособие и не может претендовать на большее. Но тут уместно вспомнить, что и знаменитая Французская энциклопедия тоже была словарем, что не помешало ей стать важнейшим явлением мировой культуры. Другой критик, Николае Манолеску, видит в словаре Кристи «подлинное критическое исследование, оригинальное и глубокое, включающее пятьсот эссе, содержательных, насыщенных фактами и увлекательных». А точнее можно было бы сказать, что именно сплав элементов словаря с чертами критического исследования и придает книге подлинную оригинальность.

Валериу Кристя — один из ведущих румынских критиков, автор ряда исследований, посвященных современной литературе. Его перу также принадлежит книга «Молодой Достоевский» (1921) и внушительный том критических миниатюр и эссе «Пространство в литературе» (1979), в котором, в частности, рассматриваются произведения Гоголя и Чехова, Толстого и Достоевского. (На русском языке его работы публиковались в журнале «Вопросы литературы» и в сборнике «Литература и жизнь народа. Литературно-художественная критика в СРР». 1981.)

Кристя видит в Достоевском не «злого гения» и «жестокий талант», каким было принято его считать, но писателя по преимуществу доброго, утверждавшего любовь к людям, способность к самопожертвованию во имя чужого счастья, умение радоваться жизни и красоте. Мир его произведений отнюдь не исчерпывается трагическим и абсурдным — возвышенное в нем сочетается с героическим, а комическое вовсе не всегда переходит в гротеск.

Безмерному злу автор «Идиота» противопоставляет бесконечное добро. Валериу Кристя, естественно, не отрицает сосуществования в человеческой душе противоборствующих страстей, но исходит из того, что Достоевского в столкновении добра и зла в душе человека (как в отношениях человека и общества, человека и природы и пр.) интересует выбор, который делает человек, его нравственное решение. В процессе борьбы добра и зла писатель прослеживает и постоянно утверждает подлинно человеческие ценности. Подробно освещая характеры и судьбы персонажей, Валериу Кристя не схематизирует, не делит их на ангелов и демонов, а раскрывает их реальную сущность. Например, не идеализируя Мышкина, в котором Достоевский мечтал изобразить «положительно прекрасного человека», и показывая его внутреннюю борьбу с раздвоенностью, с ужасным демоном подозрения, упоминая, как в салоне Епанчиных, «словно в мгновенном ослеплении, Мышкин совершенно ошибочно оценивает современную действительность», Валериу Кристя делает вывод, что герой «Идиота»— «самый сильный из слабых и самый слабый из сильных».

Тонкое раскрытие роли каждого персонажа опирается на глубокое проникновение в замыслы Достоевского и их конкретное воплощение и помогает определить место персонажей в структуре произведения как главных действующих лиц, так и персона-

жей второстепенных или эпизодических (хотя, по мнению автора, существуют и крупные второстепенные персонажи, вроде Гани Иволгина). Кристя анализирует взаимоотношения между персонажами, раскрывающиеся в различного рода конфликтах— в столкновении страстей, мировоззрений, материальных интересов и т. д.; или же в раздвоенности, в воплощении отдельных черт героя в других, порой фантастических фигурах. Учитывает автор «Словаря» и различные формы повествования — ведется оно от имени автора, рассказчика-посредника, псевдогероя и т. п.

Как никто до него среди румынских специалистов по Достоевскому, автор «Словаря» сумел раскрыть своеобразие и могучие достоинства стиля Достоевского, построенного на контрапункте, на приеме «небрежения словом», на исключительной выразительности образного мира, охватывающего сферу вещного и духовного, реального и мифа, философских категорий и подсознательного.

Еще одно важное достоинство «Словаря» заключается в подчеркивании разнообразия и богатства характеров, созданных Достоевским, что убедительно опровергает утверждения некоторых критиков о скудности типов, о постоянном повторении в различных романах одних и тех же характеров. В «Словаре» рассмотрены 560 персонажей пяти больших романов, начиная с «Преступления и наказания» и кончая «Братьями Карамазовыми». К этому числу надо добавить еще и множество безымянных персонажей, которые фигурируют в различных статьях. В результате возникает картина плотно населенного мира людей и вещей, находящихся в постоянном движении, исполненных значения и символического смысла.

В качестве примера расскажем о построении одной из статей. Она разделена на следующие части: 1. Изложение бурной биографии героя с выделением поворотных моментов в его духовном формировании, специфических психологических мотивов, влияния социальной обстановки и т. п. Особое внимание уделено отношениям Дмитрия с братьями, с отцом, с Катериной Ивановной и Грушенькой. 2. На основе этого фактографического материала воссоздается характер героя. «Митя—не аморфная смесь добра и зла, в нем явно преобладает положительное начало, а все отрицательное в конечном счете искупается широтой его души». 3. Далее, характер героя позволяет выявить философские идеи романиста: «На каторге Достоевский открыл, что страшнее всего душу человека уродует не преступление само по себе, а омертвление морального чувства...». Критик конкретизирует эту идею в рассказе Мити о его сне, предвещающем тему тупика, затем раскрывается мотив рока, напоминающий тот же мотив в античной трагедии. 4. Отсюда делается вывод, что даже этот герой, на первый взгляд столь далекий от всякой умозрительности, «подобно всем Карамазовым,— прирожденный философ». Автор обращает внимание на его мысли, созвучные мыслям самого писателя, и цитирует слова Мити, звучащие как гимн радости и утверждающие потребность человека в счастье и красоте. По мнению Кристи, этот «гимн» составляет «новый кульминационный пункт романа... Дмитрий — это в с е г е р о й: язычник и христианин, человек средневековья и нового времени». 5. Рассматриваются материалы, связанные с генезисом образа, и называются реальные прототипы (о прототипах литературных говорилось в предыдущих разделах).

Характеристика центральных персонажей представляет собой микромонографии до пятидесяти страниц. Но и второстепенные персонажи дают материал для блестящих микроэтюдов. При этом интерпретация образов столь же не однозначна, как не однозначен характер большинства персонажей Достоевского. Так, например, Лиза в «Братьях Карамазовых» не поддается прямолинейной трактовке. Кристя склоняется к выводу, что зло в Лизе — преимущественно воображаемое и служит своеобразным средством очищения. Естественно, что в ряде случаев толкования образов могут представляться спорными. Однако опровергнуть критика отнюдь не просто: на стороне Кристи всегда стройная система аргументов и умение убеждать. Умело использует он и научную литературу о Достоевском — в частности, труды советских ученых А. Долинина, Л. Гроссмана, М. Бахтина, В. Кирпотина, Г. Фридлендера и многих других.

Решительно опровергая представления о Достоевском как о выразителе зла, автор «Словаря» справедливо отмечает: «Если бы исследователи обращали больше внимания на главных и второстепенных героев иного типа, чем Свидригайлов, Ставрогин или Иван Карамазов, было бы легче заметить, как густо населены романы Достоевского д о б р ы м и л ю д ь м и, и понять в а ж н е й ш и й ф а к т его творчества: эти персонажи (которыми почти исключительно занимается известная часть вчерашней и сегодняшней, преимущественно западной, критики и философии) являются о т р и ц а т е л ь н ы м и в глазах самого их создателя, который вовсе не отражается в них, а, напротив, выносит им недвусмысленный приговор — правда, средствами такой современной, лишенной всякой дидактики и морализации прозы, что она остается непонятной для некоторых вплоть до наших дней».

Сила книги Валериу Кристи заключается в первую очередь в переносе акцента на д о б р о, на тот краешек вольного неба, который был виден из Мертвого дома. Художественный мир романов Достоевского предстает в ней во всей своей подлинности.

АЛЬБЕРТ КОВАЧ
г. Бухарест

НА БЛАГО НАШЕЙ ДРУЖБЫ

На состоявшейся 29 ноября 1983 года в Москве международной встрече переводчиков я так начал свое выступление: «Великий китайский писатель Лу Синь в 1936 году, незадолго до смерти, писал в предисловии к переводу своих сочинений на чешский

язык: «Лучше всего, если народы будут не разобщены, а проникнутся интересом друг к другу. Путь этот наиболее верен и прям, и проложит его — литература. Жаль только, что пока этим путем идут только единицы». Лу Синь, конечно же, был из наиболее значительных деятелей культуры, избравших этот благородный путь. Я отношусь к его словам с уважением и горячей любовью: вот уже почти пятьдесят лет, отданных переводческой работе, я неуклонно иду по тому верному и прямому пути, который указал мне Лу Синь, хотя путь этот оказался трудным и тернистым.

I

Когда мне было десять лет, дядя прислал для меня из Шанхая несколько книжек — это были «народные рассказы» Толстого. Минуло шестьдесят лет, но я до сих пор берегу их, не только в память о дяде — на книжках его собственноручные надписи — и не из-за фотографий Толстого. Главное, эти книги, великий Толстой распахнули передо мной дверь в русскую литературу, заставили горячо полюбить русскую классику.

В 1928 году, в пятнадцатилетнем возрасте я поступил в Шанхайский университет. Дася и с жадностью, словно изголодавшись, принялся читать русских писателей — Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова.. Потом уже сам перевел с английского рассказ Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет».

В марте 1930 года, в студенческую пору, в актовом зале университета мне довелось слышать доклад Лу Синя о литературе. К этому времени я уже прочитал по-китайски «Мать» Горького, «Разгром» Фадеева в переводе Лу Синя и «Железный поток» Серафимовича, переведенный Цао Цзинхуа. Новый мир открылся мне в этих первых произведениях революционной советской литературы.

Когда японские войска в феврале 1932 года напали на Шанхай, я, поощряемый дядей, под гром пушек взялся изучать русский язык. Сначала осилил букварь, басню Толстого «Лев и мышь», потом «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина — самостоятельно, по-русски,— как же я был счастлив!

В марте 1935 года я, двадцатидвухлетний корреспондент китайской газеты, приехал в Москву. Три года проработал я здесь и регулярно наведывался в Ленинскую библиотеку. Библиотеку иностранной литературы — читал и уже тогда начал переводить русскую и советскую литературу.

30 июня 1935 года во время физкультурного парада на Красной площади я впервые увидел Максима Горького и приехавших в Советский Союз Ромена Роллана и его жену.

В 25-ю годовщину смерти Толстого, в ноябре 1935 года, по приглашению Союза советских писателей я побывал на родине Толстого в Ясной Поляне. Мне довелось присутствовать на похоронах Горького и принять участие в траурном митинге на Красной площади в день смерти Островского, автора романа «Как закалялась сталь»; в зале Союза советских писателей я склонился перед его гробом в прощальном поклоне.

По случаю столетия со дня гибели Пушкина, в феврале 1937 года, я участвовал в торжественных заседаниях, состоявшихся в Москве и Ленинграде, ездил в Михайловское. Я перечислил те наиболее памятные события, которые оставили во мне глубокий, незабываемый след. В те годы я перевел пушкинские стихи «К Чаадаеву», «Послание в Сибирь» и «Тамань» Лермонтова.

Возвратившись в марте 1938 года через Западную Европу на родину, я принял участие в войне китайского народа против японских захватчиков. В разное время — сначала в Ухани, а потом в Чунцине — я был редактором возглавляемой Чжоу Эньлаем газеты «Синьхуа жибоа». В ту пору я написал и опубликовал множество статей о русской и советской литературе, подготовил для ежемесячника «Вэньсюэ юэбао» специальный номер, посвященный десятой годовщине со дня смерти Маяковского. Вместе с известным китайским писателем Мао Дунем мы перевели несколько рассказов для детей из книги А. Роскина «Максим Горький». Я занимался также редактированием серии «Советская литература», выходившей под редакцией Цао Цзинхуа.

Для издательства «Синьчжи шудянь» я составил два сборника. В первый были включены «Как закалялась сталь» Островского, «Время, вперед!» Катаева, пьеса Корнейчука «Фронт», и назывался он «Собрание известных произведений мировой литературы»; второй сборник — «Эпическая поэзия народов Советского Союза»— знакомил читателей с поэмой «Витязь в тигровой шкуре» великого грузинского поэта Руставели и армянским эпосом «Давид Сасунский». Я был редактором этих сборников и написал к ним предисловия.

В годы антияпонской войны пристальный интерес к моей работе проявил Чжоу Эньлай, который хотел, чтобы я возможно глубже изучил русскую и советскую литературу, стал настоящим специалистом в этой области. Ободренный его вниманием, я перевел на китайский политические памфлеты Эренбурга, его письма и статьи о гражданской войне в Испании, о трагедии Франции, статьи периода Великой Отечественной войны Советского Союза. Тогда увидели свет «Необъявленная война», «Июнь на Дону», «Героический Сталинград». Мне было приятно получить написанное 2 декабря 1942 года письмо от Эренбурга, в котором говорилось:

«Дорогой Гэ Баоцюань.

Благодарю Вас за Ваше дружеское письмо. Меня обрадовало и растрогало и Ваше ко мне внимание и интерес китайских писателей к моим книгам.

Легко Вы поймете, какой радостью для меня будут мои книги на китайском языке. Я не знаю Вашей замечательной страны, но Ваша героическая борьба много лет восхищает всех ревнителей свободы.

Я прошу Вас передать мой горячий привет, братский привет китайским писателям. Я желаю им того же, что и пленен-

ному Парижу, и нашей Красной Армии, и всем народам, и всем людям доброй воли: победы.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш Илья Эренбург».

Получал я письма и от других советских писателей — Исаковского, Симонова, Горбатова,— и всякий раз письма эти радовали меня и ободряли.

Помню, как в день приезда Мао Цзэдуна из Яньани в Чунцин — 28 августа 1945 года — Чжоу Эньлай в Хунъяньцуни представил меня Мао Цзэдуну, который, здороваясь со мною, сказал: «Значит, Вы знаток русской литературы». Это было признанием определенных успехов, достигнутых мною в деле перевода и пропаганды советской литературы в Китае.

После победы в антияпонской войне я вернулся в Шанхай. Написал книгу «Очерк советской литературы», одновременно редактировал журнал «Советская литература», издавал полное собрание прозаических произведений Пушкина, «Ежегодник по изучению произведений Горького» и «Изучение творчества великого русского драматурга Островского»...

II

После установления 1 октября 1949 года Китайской Народной Республики меня направили на дипломатическую работу в китайское посольство в Москве. С 1954 года я трудился на благо укрепления дружбы между народами КНР и СССР. Тогда-то и завязались у меня широкие связи с советскими литераторами, учеными; я много ездил по стране, бывал в союзных республиках, продолжал изучать русскую и советскую литературу. В моих переводах были в эти годы опубликованы произведения Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Некрасова, а из советских писателей — Горький, Есенин, Маяковский. Я переводил украинцев — Шевченко, Лесю Украинку, Франко, Тычину; казаха Джамбула; киргиза Токомбаева; армянских писателей Абовяна и Исаакяна; белорусских — Купалу, Танка; писателей Литвы — Нерис, Венцлову; латышского писателя Лациса.

Стихи Исаковского, Тихонова, Суркова, Симонова китайцы узнали в моих переводах. Работал я и над национальной классикой: переводил рубаи основоположника персидской и таджикской литературы Рудаки и отрывки из поэмы великого узбекского поэта Навои «Фархад и Ширин».

После 1950 года я побывал в Польше, Чехословакии, Югославии, Болгарии, Албании, проезжал Венгрию и Румынию. Это позволило мне расширить рамки переводческой работы. Так появились на китайском языке произведения поляков Мицкевича и Конопницкой, чешских писателей Немцовой, Волькера, венгерских — Петефи, Араня, румына Эминеску, югослава Караджича, болгар Ботева, Яворова, Вапцарова, албанских писателей Чаюпи и Мьеды.

Позже я заинтересовался литературами стран Азии, Африки и Латинской Америки, переводил Неруду и Хикмета, поэтов Анголы, Мозамбика.

В конце 50-х — начале 60-х годов я стал работать в Институте литературы и Институте иностранной литературы Академии общественных наук, изучал историю связей китайской литературы с литературами Запада, занимался проблемами художественного перевода, его историей в Китае.

Что касается русской литературы, то за это время мною были написаны статьи о значении для Китая произведений Пушкина, Тургенева, Гончарова, Толстого, Чехова, Горького. Мне удалось отыскать самые ранние китайские переводы знаменитой повести Пушкина «Капитанская дочка» и произведений Толстого; я занимался проблемой переписки Толстого с китайцами; изучал связи Горького с революционной борьбой в Китае.

Я исследовал также связи китайских писателей с западными литературами. На эту тему я написал работы: «Место Лу Синя в мировой литературе», «Подлинная история А-кью за пределами Китая», «Го Можо и иностранная литература», «Воспоминания о днях моего общения с товарищем Мао Дунем».

Я участвовал в редактировании «Истории европейской литературы», раздела «Иностранной литературы» в «Большой китайской энциклопедии», где напечатал, и немало статей о русской и советской литературе. К моей радости, ряд моих работ нашли отклик в зарубежных научных кругах и опубликованы на русском, английском, японском и немецком языках.

III

Я занимаюсь художественным переводом не как теоретик, я — переводчик-практик и на основании своего многолетнего опыта могу подтвердить, что для хорошего перевода произведений русской литературы необходимо так владеть русским языком, чтобы ощущать его красоту и чувствовать все его оттенки; и, конечно, важно знать русскую историю, культуру, жизнь, быт, нравы людей — только тогда можно создать по-настоящему хороший перевод.

Прежде чем взяться за перевод стихотворений Пушкина, мне пришлось глубоко изучить его жизнь, творчество, историю отдельных произведений. Наверное, поэтому до сих пор живут мои переводы пушкинских стихов «К Чаадаеву», «Памятник» и других — их печатают, передают по радио. Я встречал многих читателей, которые с одобрением отзывались о моем переводе пушкинского стихотворения «Если жизнь тебя обманет».

Проведя в СССР долгие годы, я полюбил русскую природу, зимний пейзаж. Потому, я думаю, и получились достоверными переводы стихотворений Пушкина «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Зимняя дорога».

Знание страны помогло мне и при одобренном советской критикой переводе стихотворения Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье»). Не могу не сказать, что мой перевод «Сказки о рыбаке и рыбке» включен в учебники китайского языка

для начальных школ. В процессе работы я, по просьбе редактора, ориентировался на детей, старался сделать пушкинскую сказку легко читаемой по-китайски.

Несколько слов об одной из последних моих работ. Для издательства переводной литературы в Шанхае я составил сборник произведений Тараса Шевченко, в котором некоторые стихи — «Думы», «Порченая», «Катерина» — опубликованы в моем переводе. Приступая к переводу, я занялся украинским языком, изучал украинские народные песни и в процессе работы пользовался и оригиналом, и русским переводом. Мне было бесконечно жаль героиню из поэмы «Катерина», и когда я дошел до того места, где Катерина, простившись с родителями, взяв горсть родной земли, с ребенком на руках, рыдая, в лучах заходящего за гору солнца покидает село, я не мог сдержать слез, и горькие слезы текли у меня почти все время, пока я переводил эту поэму.

Я не только печалился и сочувствовал несчастной судьбе «Чернобровой», но и стремился передать революционный протест, свойственный Шевченко, то, что позволило ему сказать: «Моя жизнь — часть истории моего народа».

Другая работа, которой я сейчас занят,— участие в двадцатитомном Собрании сочинений Горького. Мне довелось перевести рассказы Горького и некоторые из его статей о литературе. Перевел я и «Песню о Буревестнике». Сейчас мой перевод включен в учебники для средней школы, а ведь чтобы передать ощущение приближающейся революции, столь важное в этом произведении, я множество раз исправлял свой перевод.

Переводил я и «Двенадцать» Блока. В этот приезд мне удалось снова побывать в Ленинграде. Я прибыл туда в восемь часов утра, но видел перед собой «черный вечер, белый снег». Наша машина проехала по Невскому проспекту, и мне бросились в глаза часы на Невской башне. Я много раз прошел по Дворцовой площади и под аркой Главного штаба. Мне казалось, я вижу, как сквозь ветер и снег идут двенадцать человек, я как будто слышал могучий голос призыва: «Революцьонный держите шаг!» Побывал я и в музее-квартире поэта и по-новому понимаю и чувствую теперь поэму Блока...

Советский Союз я посетил после двадцатипятилетней разлуки. За это время многие из моих старых друзей, прозаиков и поэтов, покинули нас, и я отправился на Новодевичье кладбище, чтобы выразить свою скорбь, поклониться им.

У меня было много встреч с сегодняшними советскими писателями — молодыми и среднего поколения: я читал их книги, вел с ними дружеские беседы.

Как специалист по русской и советской литературе я буду продолжать работать на благо дружбы между китайским и советским народами—вкладом моим в ее укрепление будут новые художественные переводы.

ГЭ БАОЦЮАНЬ

г. Пекин

ЖИВОЙ ИНТЕРЕС

A. Mümtaz Idil Gerçeklik ve roman. Ankara, Daynişma Yayinlari, 1983.
A. Mümtaz Idil. Soviet Romani. Ankara, Yarin Yaijinlari, 1983.
А. Мюмтаз Идил. Действительность и роман. Анкара, 1983.
А. Мюмтаз Идил. Советская проза. Анкара, 1983.

Почти одновременно в Анкаре вышли две книги турецкого литературоведа А. Мюмтаза Идила, тематически перекликающиеся между собой, поскольку в обеих рассматривается история жанра романа. «Действительность и роман» рассматривает проблему достоверности в европейской реалистической прозе, и, естественно, значительное место в ней отведено творчеству русских реалистов XIX в., которые, как известно, открыв новые художественные средства правдивого отображения действительности, во многом определили последующее развитие не только европейского, но и мирового реалистического искусства.

Книга Идила позволяет взглянуть на проблему достоверности в русской прозе в непривычном ракурсе. Это взгляд представителя иной художественной культуры — традиционно восточной, но испытавшей за последнее столетие определенное воздействие европейской культуры.

А. Мюмтаз Идил различает «объективную» и «субъективную» действительности. В основе всех видов и жанров искусства лежит объективная действительность, которая пропускается через призму субъективного видения художников. Жанр романа возникает из сказаний, героических эпосов и на первых порах ограничивается зеркальным отражением объективной действительности. Лишь позже роман поднимается до художественных обобщений. Однако связь с объективной действительностью устойчиво сохраняется вплоть до Достоевского, который, как считает Идил, перенес центр тяжести на субъективную действительность и тем самым направил дальнейшее развитие реалистической литературы по двум руслам. Творчество Достоевского Идил считает поворотным пунктом в истории реалистической литературы XIX века.

Кратко проследив реалистические тенденции в европейском романе, в числе первых реалистов Идил называет Пушкина и Лермонтова. Им, по мнению Идила, приходилось решать, чьими глазами взглянуть на объективную действительность и чьими устами поведать о событиях, составляющих сюжет. Рассказчик — неотъемлемая часть их произведения: явное или скрытое его присутствие необходимо. Через него романист осуществляет общение с читателем. Так, в «Капитанской дочке» Пушкина повествование ведет Гринев, дворянин и офицер, ставший по воле судьбы очевидцем крестьянского восстания под предводительством Пугачева, и это позволяет Пушкину с особой убедительностью и реальностью раскрыть как подлинно человеческие черты образа Пугачева, так и историческое значение русского крестьянского движения.

Идил прекрасно сознает, что новизна реалистического стиля (в отличие от романтического) не исчерпывается критериями формы, тем более что форма реалистических произведений многообразна, как многообразна сама объективная действительность, которую они отображают, осваивают и преображают. Вот почему Идил справедливо критикует тех турецких прозаиков, которые пытаются слепо и формально подражать западноевропейским и русским писателям.

Как раз в этом, по мнению Идила, повинен Селим Ирели, представитель новаторского направления в современной турецкой прозе. Но для того, чтобы писать, как, например, Достоевский, недостаточно только восхищаться им. Да и нужно ли писать как Достоевский? Достоевский оказал влияние на многих крупных писателей мира, но никто из них, подчеркивает Идил, не стремился подражать ему. Испытывать влияние и подражать — вещи разные.

Подробно анализируя романы Селима Ирели, Идил показывает, что «обновление» Достоевского осуществляется благодаря причудливой смеси фрейдизма и марксизма. К чему это приводит? Романы Селима Ирели вызывают ощущение недостоверности. Его герои лишены реальных связей с окружающей средой, замурованы в собственном внутреннем мире, где, по сути дела, и происходят изображаемые события.

Тревожит Идила и преклонение перед Западом, уходящее корнями в прошлое столетие, когда в результате социальных реформ в жизнь турецкого общества стали проникать элементы европейской культуры и когда сформировалось и по сей день бытующее мнение о «европейском превосходстве». Оно наложило негативный отпечаток на мироощущение многих деятелей литературы и искусства. Но лицо турецкой литературы определяют не они, а такие художники, как Назым Хикмет, Яшар Кемаль, Азиз Несин. Книга Идила вносит вклад в развитие именно этой реалистической, истинно турецкой литературы.

Вторая книга Идила, «Советская проза», написанная живым, лаконичным языком, рассчитана на широкий круг турецких читателей, которые получают возможность познакомиться с историей советской прозы. Одновременно она хотя бы частично восполняет пробел в турецком литературоведении, мало знакомом с социалистическим реализмом. Правда, Мюмтаз Идил взял на себя практически невыполнимую задачу, попытавшись так или иначе коснуться творчества примерно ста советских прозаиков в книге объемом всего в 125 страниц. Она не разбита ни на разделы, ни на главы, ни даже на параграфы. Автор стремительно переходит от одного прозаика к другому, спеша представить своим читателям как можно больше советских мастеров слова.

Однако Идилу удается добиться определенного единства, строя книгу вокруг идеи преемственности в литературе. Советская проза возникла не на пустом месте, разъясняет он своим читателям. «Воспринимать советскую литературу в резком отрыве от традиционной русской литературы неразумно»,— пишет он в самом начале. И не случайно он начинает свою работу с прозы Пушкина и других великих представителей русской классической литературы XIX в., под чьим могучим влиянием формировались поколения советских писателей и чьи произведения многократно переводились на турецкий язык.

Прослеживая развитие русской литературы XIX в., Идил ведет своего читателя от более знакомого к менее знакомому и вводит его в процесс зарождения литературы социалистического реализма в начале XX в. Под этим углом Идил рассматривает творчество основоположника литературы социалистического реализма М. Горького. Именно Горькому он посвящает наибольшее число страниц, рассказывая о творческом пути великого писателя, начиная от «Макара Чудры» и кончая «Жизнью Клима Самгина».

Особое внимание критик уделяет роману «Мать», который в истории русской литературы знаменует переход от критического реализма к социалистическому. «Новаторство Горького,— пишет Идил,— отличающее его от критических реалистов, включая и его современников, состоит в том, что он... создал образ личности, которая преобразовывает мир во имя человека. «Мать» стала классическим образцом, в котором воплощен именно такой тип романического героя».

Большое место в книге отведено русским советским писателям, в чьих произведениях отражены классовые коллизии гражданской войны, трудности социалистического строительства в первые годы после революции. Это прежде всего произведения Д. Фурманова, Н. Островского, К. Федина, В. Катаева, Л. Леонова, А. Фадеева, М. Шолохова.

Шолохов, отмечает Идил, не только продолжил традиции, идущие от Достоевского и Толстого, но и обогатил русскую и советскую литературу новыми художественными средствами. «У Шолохова, как и у Толстого, действительность показана в ее непрерывном движении». Великий писатель, «выявляющий общечеловеческие черты и глубоко вскрывающий мир своих героев, отчасти напоминает Достоевского, но отличается от него неколебимой верой в будущее, верой в неистребимость жизни и благодаря этому... вновь сближается с Толстым».

В романах Шолохова с предельной правдивостью и убедительностью отражены ожесточенные классовые столкновения и связанные с этими столкновениями крутые переломы в судьбах простых людей, вовлеченных в исторический процесс сознательного переустройства окружающей их социальной среды. В книгах писателя, подчеркивает Идил, ощущается пульс его времени. Рассказывая о «Тихом Доне», «Поднятой целине», «Они сражались за Родину» и «Судьбе человека», Идил как бы перелистывает важнейшие страницы, повествующие о жизни советского народа.

Затем Идил кратко касается творчества Б. Полевого, В. Кожевникова, С. Залыгина, К. Симонова, В. Солоухина, Г. Маркова, Ю. Бондарева, В. Распутина, В. Белова и многих других советских прозаиков. Одни известны турецкому читателю в переводах,

другие вовсе ему незнакомы. К этим последним относятся, в частности, советские писатели, которые пишут на языках своих республик, и книга Идила знакомит с такими виднейшими представителями многонациональной советской литературы, как М. Ауэзов, В. Лацис, Ч. Айтматов, В. Ананян, К. Гамсахурдиа, Б. Кербабаев, С. Васильченко, М. Ибрагимов.

«Советскую прозу» Идил завершает разбором произведений Василия Шукшина, «одного из самых одаренных мастеров слова в советской литературе». Писатель, актер, сценарист, режиссер, Шукшин во всех сферах своей многогранной творческой деятельности «стремился показать миру все богатство и многообразие характера» своих героев Так оценивает Идил творчество Шукшина.

Есть в книге и досадные пробелы. Так, з ней ни словом не упомянуты, например, И. Ильф, Е. Петров, М. Булгаков, А. Упит. Идил объясняет такие упущения не только ограниченными пределами книги, но и малочисленностью доступных ему источников, хотя, судя по ссылкам, он широко пользовался работами многих советских критиков и литературоведов: К Зелинского, Л. Тимофеева, Б. Сучкова, А. Мясникова, М. Пархоменко, М. Храпченко, А. Метченко

Книга Идила, исполненная подлинной любви к советской прозе, пробуждает в читателе живой интерес к литературе социалистического реализма. В этом ее главное достоинство.

ЭЛЬЧИН МЕХТИЕВ
г. Баку

ТРИ ГЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Всю жизнь восхищаюсь романом «Война и мир» Толстого. И считаю, что это было подлинное событие в мировой литературе. С технической точки зрения он произвел настоящую революцию в жанре романа, потому что был романом новаторским. Новаторским во всех отношениях. Изумительно и то, как сумел автор вдохнуть жизнь в своих персонажей. У меня такое впечатление, что я вижу их собственными глазами. Словно встречался с ними, разговаривал, словно они окружают меня в действительности Князь Андрей, Пьер Безухов, Наташа

Особенно интересна для меня вторая часть — изгнание наполеоновской армии из России. Интересна и с исторической точки зрения и с художественной Любопытно и то, что это показано как благополучный финал войны — ведь это взгляд на историю русского, в то время как французы воспринимали свое поражение естественно, совершенно по-иному. Хотя лично я считаю, что Наполеону нечего было делать в России, и русские были совершенно правы, что выставили его вон Роман замечателен и тем, что дает возможность оценить истинную роль Кутузова, превосходящего умом и военной хитростью Наполеона

«Анна Каренина» — тоже, конечно, превосходный роман, и для своего времени он был, вероятно, очень смелым, но у нас есть свой непревзойденный роман на ту же тему — «Госпожа Бовари». Я не буду сопоставлять Флобера и Толстого, оба они великие писатели, но тема здесь явно общая, и для меня это не так интересно, как «Война и мир»

Еще больше значит для меня Достоевский. Это не просто великий писатель, это Писатель с большой буквы. Я думаю, во Франции нет писателя, который не мечтал бы создать хоть один такой прекрасный роман, каких много у самого Достоевского. Его книги, его персонажи завораживают, а глубина психологизма просто потрясает. Если бы мне пришлось выбирать между его романами «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и «Идиот», где Идиот вовсе не идиот, я выбрал бы именно этот, третий роман. Я думаю, Достоевскому удалось здесь лучше, чем кому бы то ни было, показать особенности русской души и создать образ по-настоящему прекрасного человека, избежав при этом сусальности и комизма. Ведь очень важно, что Идиот не кажется смешным Просто он слишком прекрасен, чтобы жить среди людей Этот роман — подлинное чудо русской литературы

И еще один писатель, который занимает огромное место в моей жизни,— это Чехов Его пьесу «Три сестры» я видел не меньше четырех раз. И помню ее наизусть. Ну и, конечно, я люблю «Вишневый сад», «Чайку», «Дядю Ваню» Что же я больше всего ценю в Чехове? Я думаю, это самый гениальный драматург конца XIX — начала XX века. С поистине гениальной, я бы сказал медицинской (ведь Чехов был врачом!) проницательностью и точностью он описывал все движения человеческой души и при этом показывал людей с любовью и жалостью Я знаю, с каким удовольствием играют актеры в чеховских спектаклях. И знаете почему? У Чехова нет второстепенных ролей. Даже самая маленькая роль у него незабываема и дает возможность для яркого сценического воплощения. Я помню, в «Трех сестрах» есть восьмидесятилетняя нянька Анфиса Центральные персонажи там, конечно, другие, но эта нянька ничуть им не уступает. И мне говорила одна актриса, причем молодая, что она с наслаждением исполняет эту «маленькую» роль.

Многие годы я преподавал английскую литературу в Сорбонне и одинаково владею французским и английским языками. И наравне с английской также хорошо знаю и американскую литературу. Обе они безусловно повлияли на меня как на писателя. Особенно присущий им юмор. Конечно, юмор можно найти во всех литературах, и во французской, и в русской, но англосаксонский юмор имеет свою специфику, которая мне очень близка. Почти во всех моих книгах много юмора. Но гораздо больше, чем англосаксонские литературы, на меня повлияли три моих русских Бога — Толстой, Достоевский и Чехов. Я очень люблю Марселя Пруста за его психологизм, но он так пристрастен к мелочам, что впадает в чрезмерную мелочность, и я предпочитаю ему Достоевского и Чехова. Достоевский, несмотря на кажущееся многословие, никогда не теряет из виду главную линию повествования, которой все подчинено. Французы — народ умеренный и рациональный, и безумная страстность Достоевского не соответствует моему темпераменту, тем не менее

раскаленная атмосфера его книг, его порывистые и романтические персонажи, поражающие неожиданностью и безрассудностью своих поступков, непрестанно влекут и влекут меня к себе. Как и тонкость, даже утонченность Чехова.

Каждый писатель стремится к какому-то идеалу, к какой-то модели. Правда, я уже вышел из возраста, когда следуют моделям; говорят, я уже сам создал модель, которой стремятся подражать, и все же, если бы я захотел определить свой идеал, то он находился бы где-то посередине между Достоевским и Чеховым.

Советскую литературу я знаю меньше. Не потому, что я закрыт для вашей современной литературы, отнюдь нет, но то, что появляется у нас в переводах, не всегда попадает мне в руки. Конечно, я знаю Горького, Маяковского, Шолохова. Но, по правде говоря, меня в первую очередь интересовали книги советских писателей о войне, в частности книги К. Симонова. У вас знают мой роман «Смерть — мое ремесло», который я посвятил жертвам тех, для кого смерть стала ремеслом. Сам я участвовал в Сопротивлении, девять месяцев был узником фашистского лагеря смерти и хорошо знаю, что такое война. И знаю, что она несет людям. Поэтому мне глубоко близок благородный пафос советских писателей, которые воскрешают страницы второй мировой войны. Последние годы я пишу серию исторических романов (уже вышло пять книг, и я заканчиваю шестую). Для меня это не уход от актуальности в прошлое, не связанное с настоящим. Прошлое и настоящее неразрывно связаны, и корни сегодняшних противоречий, которые народы разных стран должны преодолевать мирным путем, уходят в прошлое. И я не скажу ничего нового, если повторю: чтобы лучше понимать современность, необходимо глубже знать прошлое.

РОБЕР МЕРЛЬ
г. Париж

ИСТОЧНИК ПОЗНАНИЯ

Ваша литература давно и прочно вошла в мою жизнь Свои самые первые русские и советские книжки я прочитала еще в детстве, по совету матери, которая была деревенской учительницей А после того как студенткой я в 1963 году совершила свое первое путешествие по Советскому Союзу, я уже старалась не пропускать ни одной книги, которая выходила во Франции в переводе с русского. Даже сама храбро взялась за изучение такого трудного для нас русского языка.

Сейчас я живу в Тулузе, преподаю экономику в лицее, но по-прежнему внимательно слежу за вашей современной литературой. Регулярно читаю я и журнал «Советская литература», на который подписываюсь уже десять лет. И если даже в переводах публикуемых произведений не все бывает безупречно и порой встречаются «русизмы», чтение журнала дает мне очень многое. Почему? Прежде всего потому, что разнообразие материалов отвечает тому живому интересу, который вызывает у меня многонациональная советская литература. Именно благодаря этому журналу я лучше поняла, как сосуществуют и развиваются ваши республики. Особенно мне помогли в этом специальные номера, посвященные отдельным народам. Как вы думаете, какие номера я наиболее охотно даю почитать своим друзьям? Номера, посвященные литературам народов Севера и Прибалтийских республик. Потому что для меня самой они явились подлинным откровением. Я даю их читать и своим ученикам, которым часто рассказываю о Советском Союзе. Очень полезными кажутся мне и статьи, повествующие о жизни писателей прошлого или выдающихся исторических деятелей. В частности, после того как я прочитала материал об Александре Коллонтай, о которой у нас мало что известно, мне захотелось узнать о ней как можно больше.

Однако у французов есть и другие возможности узнать, что происходит в вашей жизни, культуре и литературе. Каждый советский фильм, который выходит у нас на экраны, также неизменно приоткрывает нам что-то новое в советской реальности. При этом случается, что фильмы, не пользующиеся у вас успехом, вызывают интерес у французских зрителей. Или вам нравится в ваших фильмах одно, а нас привлекает совсем другое. Нечто похожее бывает и с книгами. Например, я знаю, что роман Евгения Евтушенко «Ягодные места» в советской печати вызвал различные отклики: и положительные и критические. Во Франции же этот роман пользовался бесспорным успехом. И в этом нет ничего удивительного. Для нас любой ваш фильм, любая книга — не только произведение искусства или литературы, а еще и важный источник познания и информации о тех сложных, порой противоречивых процессах, которые протекают в жизни советского общества.

Вот почему я бы хотела, чтобы во Франции выходило как можно больше произведений советских авторов — ведь взаимное глубокое знакомство способствует укреплению дружбы и мира между народами.

АННИ ГАРРИК
г. Тулуза

◆

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

ЛЕТОПИСЕЦ БОЛГАРСКОГО СЕЛА

Неторопливое воссоздание жизни и быта болгарского села — вот основная тема творчества Крума Григорова, талантливого болгарского прозаика, чье семидесятипятилетие недавно отметила болгарская общественность.

В основе своей проза К. Григорова автобиографична. Светлые воспоминания о детстве и юности, проведенных в селе, вот уже полвека служат писателю источником вдохновения. Судьба и борьба народа, прошлое болгарского села и кардинальные изменения, происшедшие в нем после социалистической революции в Болгарии, нашли свое правдивое отражение в его произведениях, особенно в повестях «Мое детство», «Гимназист», «Среди народа», «Раздольчане», составляющих тетралогию.

Точность деталей, тонкое ощущение красоты природы, верная передача национального колорита, социальной атмосферы описываемой эпохи, высоких нравственных качеств народа, сочность и музыкальность языка — вот отличительные черты прозы Григорова, подчеркивает журнал «Септември» в связи с юбилеем писателя.

Признанием его заслуг стало присуждение ему звания Героя социалистического труда.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«НАШИ ДНИ»

Так называется новый роман Дэвида Стори (см. «ИЛ», 1983, № 8), который вышел в издательстве «Кейп». По словам рецензента еженедельника «Таймс литерари сапплмент», главного героя этой книги Фрэнка Эттерклиффа кое-что роднит с героями предыдущих романов писателя — Колином Пассмором из романа «Пассмор» (1972) и Колином Сэвиллом из известного советским читателям «Сэвилла» (1976. русск. пер. 1977).

Эттерклифф — бывший футболист, выступающий за профессиональный клуб в северной Англии, — покинул спорт и сделал успешную карьеру спортивного журналиста. И если не считать того, что недавно от него ушла жена ради богатого владельца фирмы по продаже дорогих автомобилей, его судьба складывается как будто удачно. Но внезапно на его спокойную и безмятежную жизнь словно налетает ураган. Старшие дочки заводят знакомство с какими-то подозрительными юнцами — то ли наркоманами, то ли террористами, которых они приваживают в дом. Они забивают себе голову возмутительными, с точки зрения Фрэнка, феминистскими глупостями, словом, совсем отбиваются от рук и подают дурной пример младшим детям. А тут еще нежданно-негаданно в семью возвращается блудная жена с намерением выселить мужа из его же собственного дома! Девочки тотчас встают на сторону матери, обвинив отца в мужском деспотизме. И наконец, последний удар обрушивается на Фрэнка: в один прекрасный день редактор объявляет ему, что газета более не нуждается в нем... И Фрэнк обречен сидеть дома и вступать в бесконечные ссоры с воинственно настроенными домочадцами, ведя с ними ожесточенные и бесплодные споры о «нормах семейной жизни».

По мнению рецензента, Д. Стори попытался в своем романе создать на «малой территории» картину общественных нравов, царящих в Англии в наши дни. Но эта картина, считает рецензент, получилась слишком мрачной и утрированной и к тому же слишком тенденциозной. «Это не столько очерк современных британских нравов, сколько недобрый выпад против представительниц слабого пола, которые в последние годы все активнее вступают в борьбу за свои социальные права».

По британскому телевидению с успехом демонстрировался фильм «Жемчужина в короне», снятый по одноименному роману известного английского прозаика Пола Скотта. «Жемчужина в короне» — первая часть тетралогии писателя «Раджаийский квартет», масштабного исторического произведения, повествующего о закате английского владычества в Индии. Как сообщает рецензент журнала «Лиснер» Джон Ноутон, режиссер фильма Джонатан Миллер в ближайшем будущем собирается приступить к работе и над другими частями произведения.

На снимках: Сьюзен Вулдридж в жизни и в роли Дафны в фильме «Жемчужина в короне»

(Журнал «Лиснер»)

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ДЮЛЫ ХИНЦА

Большой резонанс получила демонстрировавшаяся в Будапеште, в Музее венгерского рабочего движения, персональная выставка Народного художника ВНР, лауреата Государственной премии Кошута и премии имени Мункача Дюлы Хинца. Выставка была приурочена к 80-летию мастера живописи и графики. На ней было представлено более ста произведений, созданных за последние шесть лет.

Творчество Дюлы Хинца хорошо известно и в Венгрии, и за ее пределами.

В городе Ваце находится постоянная экспозиция из собраний Хинца. Ежегодно выставки его работ устраиваются в различных городах Венгрии. Много общественных зданий украшает монументальная живопись художника. Так, например, здание инотской теплоэлектростанции отделано его мозаикой, а интерьер гостиницы «Золотой песок» в г. Кечкемете декорирован красивейшим панно. Получили широкое признание гобелены, сделанные по эскизам Хинца: «Дружба народов», «Мир», «Мартеновец», а также гобелены, украшающие внутреннее помещение Аграрного университета в г. Дебрецене и клуба творческой интеллигенции «ФЕСЕК» в Будапеште.

Дюла Хинц — талантливый книжный иллюстратор. Венгерское издание книг Вийона, Анатоля Франса, Жигмонда Морица сопровождено своего рода «живописным аккомпанементом» художника, помогающим более глубокому осмыслению прочитанного.

«Тем не менее, — пишет искусствовед Нора Аради на страницах журнала «Уй тюкёр», — каждая выставка Дюлы Хинца — сюрприз, сюрпризом явилась и нынешняя, на ней вряд ли найдется работа, которую можно было увидеть где-либо раньше».

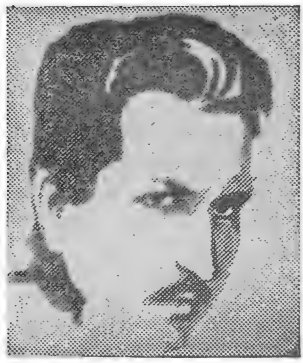
На выставке демонстрировались произведения, отражающие характерное как в тематическом и образном плане, так и в системе средств эстетической выразительности. Это и лирические зарисовки, относящиеся к началу творческого пути, и предметная живопись конца 20-х годов, и жанровые сценки, которыми был увлечен Хинц в 40-х годах.

Дюлу Хинца всегда волновало происходящее вокруг него и в мире, подчеркивает Аради. Дальневосточные впечатления, например, органически соединены у него с темой Вьетнама. Аради особо отмечает такие его работы, как серия портретов вождя крестьянского освободительного движения Дьёрдя Дожи, эскизы к портретам Аттилы Йожефа, Шандора Петефи.

«Произведения, представленные на персональной выставке Дюлы Хинца в Музее рабочего движения, — пишет Аради,— являются ценным вкладом в наше изобразительное искусство».

«ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ЖИЗНИ»

Под таким заголовком в будапештском издательстве «Сейпиродалми» вышел в свет сборник стихов Гезы Дёни, столетие со дня рождения которого отмечалось в июне этого года. «Геза Дёни. О многом ли говорит нам, читателям 80-х годов, это имя?» — спрашивает известный венгерский поэт Деже Тандори, откликнувшийся на выход книги рецензией в ежемесячнике «Кёнывлаг». Д. Тандори предлагает не торопиться с ответом, ведь теперь у читателей появилась возможность внести поправки в прежние представления о поэте.



На снимке: фотопортрет Гезы Дёни (1917).

Геза Дёни прожил недолгую жизнь. Он родился в 1884 году в Дёне (подлинное имя поэта — Геза Ахим), погиб в 1917 году «на театре военных действий». До призыва в армию в 1914 году Г. Дёни сотрудничал в будапештских и провинциальных газетах, опубликовал несколько сборников стихов. Когда разразилась первая мировая война, Г. Дёни, как и многие его соотечественники, был захвачен шовинистическим угаром. Находясь в австрийской крепости Пшемысль, осажденной русскими войсками, писал прославляющие войну стихи и пересылал их на родину самолетом. Буржуазные газеты поднимали на щит стихи Дёни, противопоставляли их бунтарской антивоенной поэзии Эндре Ади.

Но пребывание на фронте очень скоро помогло поэту освободиться от многих заблуждений. В стихах своих он все чаще пишет о страданиях солдат, оторванных от родины, об их страстной тоске по дому, по мирному труду. «Хоть на одну ночь» — это стихотворение-обвинение, стихотворение-крик о помощи сделало поэта знаменитым, оно было переведено на немецкий, итальянский, финский, словацкий, хорватский и английский языки. В 1914 году в осажденном Пшемысле выходит сборник стихов Дёни «На польских полях, у бивачных костров», за короткое время было напечатано 10 тысяч экземпляров, через несколько месяцев эта страстная, антивоенная книга была издана в Дрездене, на немецком языке.

Когда в марте 1915 года крепость капитулировала, Дёни вместе с тысячами других своих соотечественников попал в плен и оказался в Красноярске, в ла-

На снимке: репродукция картины Дюлы Хинца «Интернационал».

(Журнал «Уй тюкёр»)

гере для военнопленных. Русское революционное движение не могло не оказать большого влияния на творчество поэта. Укрепилась его вера в необходимость социальных перемен, в революцию, в братство народов. В красноярском лагере для военнопленных «печальный, тоскующий сын далекого народа» приветствовал февральскую революцию 1917 года. Он понимал, что будущее его страны связано с русской революцией.

Геза Дёни не дожил до Октября. 8 июня умер его младший брат Михай, бывший вместе с ним в плену, а 25 июня, в день своего рождения, скончался и сам поэт. Последние стихи поэта были опубликованы на его родине посмертно, в 1919 году.

Книги Гезы Дёни издавались потом в Венгрии несколько раз. И все же широкому венгерскому читателю он малоизвестен, разве что как автор стихотворения «Хоть на одну ночь».

«Мы вправе чувствовать себя богачами, — пишет Д. Тандори, — если даже там, где вовсе не ожидаем что-либо найти, обнаруживаем подлинную поэзию, волнующий человеческий документ... Книга Г. Дёни будет иметь успех».

Одновременно с рецензией Деже Тандори журнал «Кёньвтлаг» публикует и два стихотворения Гезы Дёни из книги «Возлюбленный жизни». Одно из них посвящено Эндре Ади.

ГДР

РОМАН О ПОДРОСТКЕ

Издательство «Киндербухферлаг» выпустило новый роман писателя Юргена Лескиена «Георг». Главный герой романа — тринадцатилетний мальчик, круглый сирота, выросший в детском доме, — попадает в совершенно новые условия: его берут на воспитание в хорошую семью, он обретает мать, отца, брата. Круто меняется вся его жизнь, и мальчик не сразу привыкает к этому. Переезд из сельской местности в город, другие люди, другой быт... Многому Георг учится заново, медленно и трудно приспосабливается он к своему положению.

В основу повествования положены переживания самого писателя, который рано потерял родителей, рос в детском доме, пока его не взяли в свою семью друзья родителей. Лескиену очень близка психология подростка, его чувства и переживания.

«Новая книга Юргена Лескиена ставит важные вопросы о взаимоотношениях поколений, о взаимопомощи и взаимопонимании», — отмечает рецензент газеты «Нойес Дойчланд».

«Лескиен рассказывает историю своего юного героя с большой деликатностью, его повествование очень поэтично, — пишет в газете «Берлинер цайтунг» писатель Гюнтер Гёрлих. — Лаконично и подчас скупо рисует писатель картины современной жизни. Книга заинтересует и подростков и взрослых, она по-настоящему трогает... Я считаю, что это лучшая книга писателя, она открывает новый этап его творчества».

ЕГИПЕТ

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

С января этого года в Египте начал выходить журнал «Адаб ва-накд» («Литература и критика»), издаваемый национально - юнионистской (левой) партией. Новый журнал выпускается ежемесячно. В состав его редколлегии входят видные прогрессивные египетские писатели, критики и деятели культуры. Председатель редакционного совета журнала — Тахер Ахмад Мекки, ответственный редактор — писательница и критик Фарьда ан-Наккаш. В номерах «Адаб ва-накд» за этот год опубликованы литературно-критические статьи, рассказы, стихотворения, информация о культурной жизни Египта и других стран. В одном из последних номеров журнала помещен отчет об обсуждении нового романа известного египетского писателя Гамаля аль-Гитани «Книга откровений», которое состоялось в клубе национально-юнионистской партии. Там же публикуется доклад об этом романе, с которым выступил видный литературовед профессор Каирского университета доктор Абд аль-Мухсин Таха Бадр.

Выход нового журнала был встречен с большим удовлетворением прогрессивной арабской общественностью. Пресса и радио арабских стран широко комментировали это событие. В адрес редакции «Адаб ва-накд» поступили многочисленные приветственные телеграммы.

ИНДИЯ

ПРЕМЧАНД НА БЕНГАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

Прогрессивная общественность Индии готовится торжественно отметить «золотой» юбилей Ассоциации прогрессивных писателей Индии (АППИ) — организации, у истоков создания которой стоял классик индийской литературы Премчанд (1880—1936); в 1986 году исполнится 50 лет со дня основания АППИ, деятельность которой имеет непреходящее значение для всех литератур Индии.

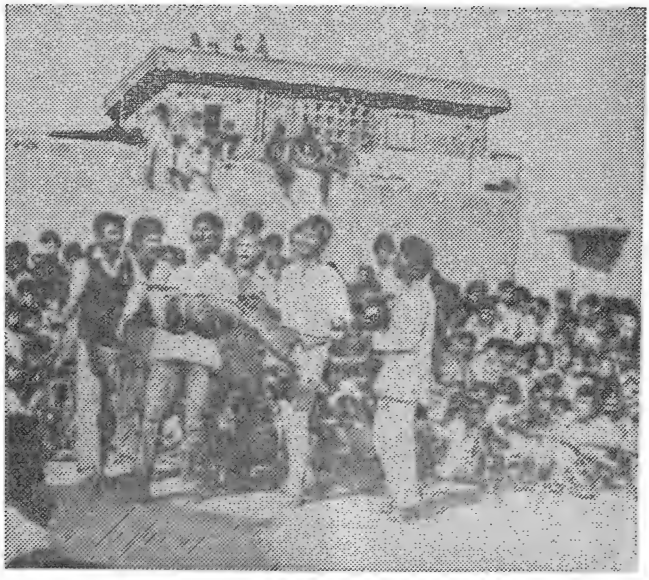
Как сообщает индийская

На 12-й конференции Ассоциации прогрессивного театра Индии, проходившей в городе Патне — столице штата Бихар, прозвучал призыв к работникам культуры приложить все силы для укрепления мира во всем мире.

В дни конференции по инициативе АПТИ в городе проходил «Фестиваль под открытым небом»; силами самодеятельных артистов на улицах и площадях Патны был показан ряд антивоенных пьес.

На снимке: выступления артистов на улицах города.

(Газета «Джан юг»)



печать, правительство штата Западная Бенгалия, сформированное из представителей левого фронта во главе с КПИ(м), приняло решение об издании на бенгальском языке избранных произведений Премчанда в четырех томах. Первый том, в который войдут 80 избранных рассказов писателя и очерк его жизни и творчества, поступит в продажу уже в текущем году. Второй и третий тома составят романы Премчанда, а в последний, четвертый, том будут включены письма и статьи. Очерк жизни и творчества Премчанда подготовит его младший сын — известный прогрессивный писатель хинди Амритрай (род. в 1921 г.), перу которого принадлежит монографическое исследование «Премчанд — солдат пера», удостоенное премии Литературной академии Индии.

Выступая на пресс-конференции, представитель департамента информации и культуры штата сообщил, что для издания четырехтомника создана редакционная коллегия, в состав которой входят ученые, писатели, общественные деятели: выдающийся исследователь индийской литературы Махадэв Саха, известный прозаик хинди — в прошлом генеральный секретарь Литературной академии Прабхакар Мачве и ряд других.

Представитель департамента сообщил также, что цена на четырехтомник Премчанда будет значительно снижена за счет правительственной дотации, чтобы его произведения могли дойти до самых широких слоев бенгальских читателей.

Решение правительства штата Западная Бенгалия встречено в литературных кругах Индии с большим одобрением.

ИСПАНИЯ

ЗАВЕРШЕНА РЕСТАВРАЦИЯ

Известный американский художник-реставратор Джон Брейли, как сообщает газета «Паис», завершил работу над реставрацией одного из шедевров Веласкеса — полотна «Лас Менинас» («Фрейлины»), выставленного в мадридском музее Прадо. Воссоздана яркость и свежесть красок картины. Однако просветление полотна, достигнутое снятием образовавшегося от времени желтоватого налета, вызвало неоднозначную реакцию у испанских специалистов. Представители института хранения и реставрации выразили министру культуры Испании «свое глубокое сожаление» в связи с тем, что реставрация «Лас Менинас» была проведена без учета необходимости сохранить естественный вид картины в соответствии с ее возрастом.

ИТАЛИЯ

КАК ПОЛЮБИТЬ ЛАТЫНЬ

Не секрет, как трудно дается латынь учащимся, для которых это самый нелюбимый и скучный предмет. Однако похоже, что такое положение может измениться. Возродить утраченную привлекательность языка Цицерона и Вергилия — такую попытку предпринял 60-летний кюре из города Реканати Ламберто Пиджини.

Вот уже год, как выходит под его редакцией «Ювенис», молодежный журнал комиксов на латинском языке — рисованных историй, полных фантазии и юмора. Правда, латынь, на которой изъясняются забавные персонажи, учитель Теобальдус и магистр Электрикус, несколько упрощена по сравнению с классическими образцами и в нее введены неологизмы. Но это не уменьшает энтузиазма читателей журнала, преподавателей, студентов и школьников из многих стран мира, которые буквально засыпали письмами Ламберто Пиджини. «Латынь, интерес к которой, казалось, навсегда убит зубрежкой, благодаря «Ювенису» обрела второе рождение», — пишет швейцарский журнал «Иллюстре».

ЖИВОПИСЬ ЛУИДЖИ ПИРАНДЕЛЛО

«Она для многих станет неожиданностью», — пишет газета «Унита» о выставке картин Луиджи Пиранделло. Неожиданность — не только в том, что выдающийся писатель и драматург, театральный деятель и режиссер предстал в совершенно иной ипостаси своего творчества. К этому итальянцы привыкли: только в последние годы они становились зрителями выставок рисунков Гёте и Гюго, Феллини и Пазолини, пейзажей Антониони. Неожиданность, считает корреспондент «Униты», состоит прежде всего в том, что неутомимый экспериментатор в области драматургической формы, предвосхитивший многие новации современных театральных постановок, в живописи своей был принципиальным традиционалистом. Он не принимал авангардистские течения начала века, отвергал помпезно-демагогическое искусство фашистского режима. Один из основоположников «новой драмы», в живописи Пиранделло опирался на реалистические традиции европейского искусства XIX века.

Выставка картин Луиджи Пиранделло дополнена не публиковавшимися до сих пор письмами, заметками, в которых трактуются вопросы изобразительного искусства. Одно из писем, адресованное сыну — известному итальянскому художнику, недавно скончавшемуся Фаусто Пиранделло, воспроизведено газетой «Унита». «Писать как видишь и что видишь» — вот к чему призывал писатель своего сына.

12 картин драматурга, которые предстали на его недавней выставке (это сицилийские и римские пейзажи, портреты членов семьи, прежде всего сына Фаусто), выполнены с безупречным изяществом, в мягких, пастельных тонах маслом или легким штрихом угольного карандаша.

На снимке: обложка первого номера журнала «Ювенис».

КАНАДА

ЭРЛУ БЕРНИ — 80 ЛЕТ

Литературно - критический ежемесячник «Букс ин Кэнэда» поместил большую статью о творчестве одного из крупнейших канадских поэтов Эрла Берни, которому в этом году исполнилось восемьдесят лет.

Первые поэтические опыты Берни относятся еще ко времени его учебы в школе и университете в середине 20-х годов. В трудную для Канады пору экономического кризиса Берни, переменивший множество профессий, сближается с социалистическим движением. В своих стихах тех лет он, подобно и другим американским поэтам «красных тридцатых», выходцам из пролетарской среды, стремился запечатлеть с репортажной конкретностью унылые картины повседневной жизни канадских бедняков и с публицистической страстностью выступал против социальной несправедливости капиталистического строя, обрекающего тружеников на нищету и голод.

Вскоре после того как разразилась вторая мировая война, Берни добровольцем ушел в армию. В 1942 году ему удалось издать свой первый сборник стихотворений «Давид», но в военное лихолетье книжке не суждено было найти читателей. Когда в 1946 году Берни, тогда уже профессор университета, читавший курс

средневековой английской литературы, выпустил сборник «Настало время», его заметили. Обе книги поэта были удостоены высшей литературной премии Канады — премии генерал-губернатора.

В послевоенные годы Берни — один из активных участников большой группы канадских поэтов, ратовавших за создание самобытной, свободной от подражательности, подлинной национальной поэзии. В это время Берни снова выступает и как публицист, обеспокоенный нависшей над миром ядерной угрозой.

Берни, отмечает журнал, принадлежит большая заслуга в развитии поэтического языка, обогащения канадского стиха новыми формами. Задорным духом экспериментаторства — порой плодотворного, а порой и бесперспективного — отмечены многие его стихи 60-х годов.

Берни, пишет журнал, обладает завидной работоспособностью. В интервью корреспонденту «Букс ин Кэнэда» поэт сообщил, что сейчас готовит к печати сразу несколько книг: том новых стихов, том рассказов, мемуары, сборник очерков о творчестве Джефри Чосера. И еще, как десятилетия назад, много времени он охотно отдает работе с молодыми поэтами, в которых видит будущее литературной Канады. (На русском языке стихи Берни опубликованы в антологии «Из современной канадской поэзии», М., «Прогресс», 1981.)

Широк диапазон творчества молодого талантливого художника Д. Гунгаа. Особенно плодотворно работает он в жанре графики.
На снимке: линогравюра Д. Гунгаа «Встреча».

(Газета «Утга зохиол урлаг»)

МОНГОЛИЯ

«Одна из лучших Чио-Чиосан», — так говорят о солистке Государственного академического театра оперы и балета МНР, народной артистке республики Х. Уртнасан зарубежные мастера оперного искусства. Недавно певица выступила с режиссерским дебютом: она поставила оперу-сказку Б. Ямпилова «Чудесный клад».

На снимке: Х. Уртнасан в роли мадам Баттерфляй.

(Газета «Новости Монголии»)

НДРИ

«ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОЭМА О ЙЕМЕНЕ»

Йеменский поэт Мухсин Али Ясер опубликовал «Героическую поэму о Йемене», приуроченную им к двадцатой годовщине начала вооруженного восстания против британских колонизаторов на юге страны.

В этой поэтической эпопее, написанной на народно-разговорном йеменском диалекте, автор рисует важнейшие события истории Йемена на протяжении более 125 лет, начиная с британской оккупации Адена в 1839 г. и захвата севера страны турками (1872) до установления республиканского режима в Северном Йемене (1962) и получения независимости Южным Йеменом (1967).

В «Героической поэме» более тысячи стихотворных строк. Выходящий в Адене журнал «Ас-Сакафа аль-джадида» поместил рецензию на это произведение, автор которой критик Мухаммед Нуаман подробно излагает содержание поэмы, давая ей высокую оценку.

ПОЛЬША

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ

Как пишет газета «Трибуна люду», не только у книг, но и у рукописей своя судьба. Это целиком относится к сборнику рукописных материалов 1947—1948 гг., которые включают воспоминания шлёнских молодых патриотов о годах гитлеровской оккупации 1939—1945 гг. и которые были недавно опубликованы Шлёнским научно-исследовательским институтом в Катовицах под названием «Шлёнск всегда хотел быть польским».

Эта книга, пишет газета, целиком захватывает внимание, она необычайно насыщена фактами, которые отображают весь ужас вой-

Януш Кидава, ранее много и успешно работавший в документальном кино, стал снимать художественные фильмы. В основу его последнего фильма «Ультиматум» легли подлинные события о нападении бандитов на польское посольство в Швейцарии. Остросюжетный фильм рассказывает о польских патриотах и об отщепенцах, предавших свою родину.

На снимке: режиссер Януш Кидава.

(«Кинобюллетень»)

ны, террор и зверства оккупантов, стремившихся уничтожить поляков как нацию. В ней отражена трагедия польской молодежи, рассказывается о ее чувстве достоинства, о ее непокорности врагу и о ее вере в победу над ним. Особая ценность этих воспоминаний в их непосредственности. Их авторы, говоря о подлинных событиях и своем участии в них, тем самым раскрывают высокую нравственность своих поступков и устремлений, свою преданность Родине.

«За что они гибли? — говорит один из деятелей подполья.— За то, что не отреклись от любви к своей земле, которая была заложена в их сердце и передавалась из поколения в поколение от прадеда к деду, от отца к сыну и была для них священна. Земля была их матерью. их Родиной, которую надо было защищать».

Публикация эта, заключает газета, имеет огромное значение для молодежи, для воспитания ее патриотических чувств.

РУМЫНИЯ

НОВЫЙ РОМАН К. ШТЕФАНАКЕ

Румынский писатель Корнелиу Штефанаке (род. в 1934 г.) известен как автор психологических романов, воссоздающих объективную картину человеческих нравов. В его произведениях явно прослеживается приверженность к осмыслению эпического движения действительности. Писатель, как подчеркивает рецензент «Ромыния литерарэ» М. Йоргулеску, принципиально далек от формулы «ни слова о прошлом».

Новое свидетельство этому — и роман «Разрыв» (изд-во «Жунимя», 1983). Это книга о «прозрении» молодого человека из «добропорядочной семьи», о сыне преуспевающих родителей, умном, не лишенном тщеславия, полном веры в себя и в свои способности, привыкшем «никогда не терять первого места», «проникнутого сознанием, что его предназначение (по рождению и воспитанию) — непременное преуспевание во всем». Случайно «заглянув» в прошлое своих старших родичей, он вдруг обнаруживает, что весь их лоск, благородство, интеллигентность — лишь тщательно поддерживаемая в семье видимость, прикрывающая нравственную нечистоплотность. «Триумфальное шествие» главного героя в начале произведения, отмечает рецензент, приводит его в конечном итоге к краху иллюзий, к поискам новой истины, к попытке — пусть запоздалой — искупить содеянное отцом и дедом. С большим мастерством, подчеркивается в рецензии, описывает автор романа жизнь семьи Георгиану — сегодняшнюю и вчерашнюю, — вскрывая хищнический дух мещанства, «рисуя всеобъемлющую картину карьеризма и духовного распада», столь чуждого новому, социалистическому миру.

СИРИЯ

«ДАЛЬНЯЯ ГАВАНЬ»

Бейрутское издательство «Дар аль-Адаб» выпустило третью часть романа-эпопеи «История моряка» известного сирийского писателя Ханны Мины под названием «Дальняя гавань».

В романе рассказывается о тружениках моря, о нелегких условиях их жизни, о борьбе с морской стихией. Как пишет обозреватель журнала «Афак арабийя», в новой книге романа Х. Мина создал живые, запоминающиеся образы героев. Особенно удался ему образ Катрин — главного женского персонажа. По мнению обозревателя, «Дальняя гавань» чем-то напоминает роман Г. Мелвилла «Моби Дик».

Х. Мина в новом произведении придерживается традиционного повествовательного стиля, используя простой, неусложненный язык.

В целом, заключает обозреватель, книга «Дальняя гавань» не уступает другим произведениям писателя, если не считать некоторых его романов, особенно романа «Солнце в пасмурный день».

Как сообщает арабская пресса, еще один новый роман Ханны Мины «Весна и осень» был напечатан недавно в нескольких номерах ливанского журнала «Аль-Кифах аль-араби».

США

СТОЛЕТИЕ «ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

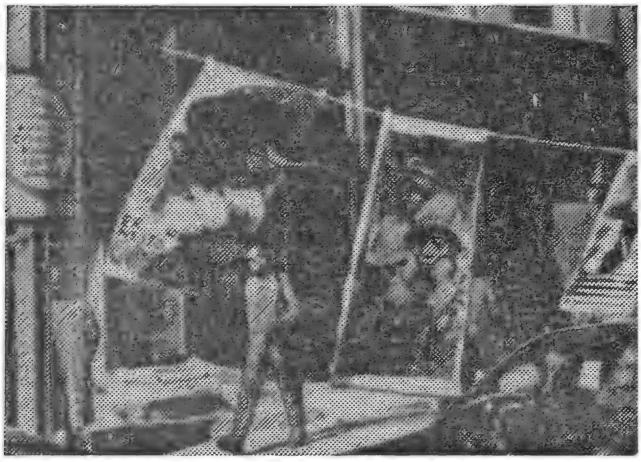
В заметке «Родной городок Гека все еще носит «печать» Твена» американская газета «Интернэшнл геральд трибюн» рассказывает о том, что в родном городке Марка Твена Ганнибал, штат Миссури, который больше известен под другим своим названием — Санкт-Петербург, название улиц и достопримечательностей приведено в соответствие со знаменитой повестью, ставшей классикой мировой юношеской литературы. Сегодня здесь можно увидеть лодку «Марк Твен», мотель «Том и Гек», ресторан «Бекки Течер», остров Джексон и пещеру Марка Твена.

Заметка напоминает, что прототипами всех персонажей книги стали родные и знакомые писателя, а его слава привлекает сегодня на его родину до 250 тысяч туристов в год не только из Америки, но и других стран мира, что приносит Ганнибалу примерно 40 миллионов ежегодного дохода. Многое изменилось за прошедшее столетие в Ганнибале, но и сегодня городок сплавляет по реке выращенный здесь урожай пшеницы. В День независимости 4 июля здесь проводится Национальный день Тома Сойера с состязаниями на плотах, играми в волейбол на импровизированных площадках, соревнованиями по росписи заборов и лягушачьими бегами.

В 1935 году, напоминает газета, Эрнест Хемингуэй сказал: «Вся современная американская литература вышла из одной книжки

На снимке: обложка первого издания повести о Гекльбери Финне, столетний юбилей которой отмечается в этом году.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)



Во многих городах Соединенных Штатов художники включились в движение «Призыв художников», направленное против интервенционистской политики США в Латинской Америке. «Искусство на баррикадах» — под таким заголовком еженедельник «Ньюсуик» поместил статью, в которой приводится заявление художников: «Если нас вынуждают быть свидетелями разрушения культуры других народов, мы отказываемся от права создавать собственную культуру».
На снимке: художники вышли из студий на улицу.

(Еженедельник «Ньюсуик»)

Марка Твена, которая называется «Приключения Гекльберри Финна». Высоко ценил знаменитую повесть и Уильям Фолкнер. Однако, пишет газета, несмотря на широчайшую популярность, повесть Твена не раз подвергалась гонениям американской критики, ее неоднократно запрещали во многих школах Америки. Случается это и в наши дни. «Сегодня главные возражения вызывает нарисованный писателем с большой симпатией и достоверностью образ беглого раба Джима». Однако американская критика называет «Приключения Гекльберри Финна» в ряду классических произведений национальной литературы.

ДЕТЕКТИВ НОРМАНА МЕЙЛЕРА

23-я книга Нормана Мейлера «Крепкие ребята не танцуют» вызвала разноречивые оценки критики. Так, по мнению рецензента еженедельника «Ньюсуик» У. Клеменса, она написана второпях, читателя озадачивает полное отсутствие логики: использование одной интуиции как средства раскрытия преступлений (в романе пять убийств) трудно признать очень убедительным приемом. Однако критик замечает, что при вторичном чтении, предпринятом им, чтобы проследить все-таки, кто же кого убил, он заметил, что Мейлер создал несколько достоверных второстепенных персонажей, появляющихся во второй части книги. Клеменс предлагает читателю «не следить за сюжетом», а наслаждаться авторскими отступлениями и точными зарисовками жизни Провинстауна. «Ни одну книгу Мейлера не назовешь абсолютно пустой тратой времени», — заканчивает он.

Рецензент журнала «Тайм» П. Грей отмечает, что, хотя название неминуемо наводит на ассоциации с сатирическими произведениями, вроде «Настоящие мужчины не едят яблочное пюре» или «Мертвецы не носят костюмы в полоску», детектив «Крепкие ребята не танцуют» не пародия. Пусть автор, по мнению критика, хотел всего лишь развлечь своего читателя, но знание им американской жизни, точность реалистических деталей — несомненные достоинства книги.

Писатель рисует знакомый ему «как собственные пять пальцев» Провинстаун, типичный американский город, жизнь которого являет все возможные пороки цивилизации. В романе читатель найдет все проблемы, о которых его уже заставляли задумываться предыдущие произведения Нормана Мейлера. однако, как пишет рецензент, в последней книге писателя они сконцентрированы как никогда. Что значит жить в Америке в конце XX века, что стало с «американской мечтой», прошедшей испытание деньгами и изобилием, — в круговорот всех этих вопросов читатель погружается уже с первых страниц романа.

ТУНИС

РАССКАЗЫ РАДВАНА АЛЬ-КУНИ

Как сообщает журнал «Аль-Фикр», в Тунисе вышел сборник рассказов молодого писателя-новеллиста Радвана аль-Куни «Тоннель». По словам обозревателя журнала Мохсена Бен Хамиды, сборник включает семь рассказов, «возвращающих нас к новеллистике, которой отнюдь нельзя предъявить обвинение в герметичности или нарочитой неясности».

В то же время, считает обозреватель, аль-Куни «продолжает верить в необходимость дать встряску читателю, чтобы пробудить его от спячки, согнать с него дремоту и сон, чтобы он принял участие в сознательном процессе чтения и освободился от духовной лени». Вместе с тем писатель стремится к легкости и простоте изложения, используя традиционные формы притчи и сказки.

Сюжеты рассказов сборника почерпнуты из повседневной действительности. Затрагиваемые в них проблемы близки большинству читателей и несомненно найдут у них отклик, заключает обозреватель.

ФИДЖИ

ВИДЕО АТАКУЕТ ОСТРОВА ФИДЖИ

Как сообщает американская газета «Интернэшнл геральд трибюн», на островах Фиджи, где нет телевидения, стало быстро расти число магазинов, торгующих видеокассетами. В последние два года появилась даже газета «Фиджи видео», которая рекламирует последние новинки, поступившие в продажу. Покупают главным образом популярные американские телесериалы, о поступлении каждой новой части которых специально оповещают население. Очень популярны «фильмы насилия».

Взрыв видео подрывает кинобизнес, и кинотеатры ведут упорную борьбу за внимание публики: они расширяют свои программы до девяти фильмов в неделю — от последних американских боевиков до классики 30-х годов. Однако, по свидетельству газеты, в борьбе с кино видео побеждает, несмотря даже на то, что и техника и кассеты — сравнительно дорогое для жителей островов удовольствие. Они выходят из положения, покупая в складчину аппаратуру и кассеты.

Бум видео повлек за собой волну преступности, связанной с незаконным прокатом и пересъемкой кассет.

ФИНЛЯНДИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР

Знакомство советского читателя с одним из крупнейших писателей современной Финляндии лауреатом литературной премии Северного Совета Бу Карпеланом состоялось в 1983 году, когда издательство «Радуга» выпустило сборник его прозы и поэзии «В темных комнатах и светлых».

На самобытное творчество Карпелана, пишущего на шведском языке, почти в равной степени оказали влияние финская и шведская литературы. Поэтому свою задачу писатель видит в том, чтобы способствовать взаимодействию культур Финляндии и Швеции, в частности пропагандировать финскую поэзию в Швеции, которая, по его мнению, недостаточно там известна.

Недавно в ведущем шведском издательстве «Боньерс» вышла в свет «Современная финская лирика». Составителем, переводчиком и автором предисловия этой уникальной антологии является Бу Карпелан.

В сборник включены стихотворения двадцати четырех финских поэтов, чей расцвет пришелся в основном на 50—60-е годы. В «Современную финскую лирику» входят такие признанные мастера, как Саарикоски, Анхава, Кирстинэ, Хаавикко, Кай Вестерберг и Яркко Лайне.

Рецензент прогрессивной финской газеты «Арбетарбладет» отмечает удачный выбор имен и высокое качество переводов, среди которых есть «настоящие шедевры». «Карпелан удивительно тонко чувствует текст оригинала».

Далее рецензент выражает надежду, что в последующих изданиях «Современной финской лирики» поэзия Финляндии будет представлена еще полнее, временные ее границы расширятся и читатель сможет познакомиться с творчеством совсем молодых, но уже заявивших о себе финских поэтов.

Публикация антологии — большое событие в культурной жизни обеих стран. «Современная финская лирика» дает представление о лучших образцах финской поэзии не только шведским читателям, но и шведоязычной читающей публике в самой Финляндии.

На сцене театра «Мариньи» состоялась премьера спектакля «Унесенные ветром» по роману Маргарет Митчелл, знакомому и советскому читателю. Инсценировку сделал Жорж Сориа, он бережно сохранил канву романа. В спектакле шестьдесят две сцены, длится он три часа.
На снимке: Габриель Лязюр в роли Скарлетт О'Хары.

(Газета «Юманите»)

ФРАНЦИЯ

СЛОВАРЬ ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Выпуск «Словаря франкоязычной литературы» предприняло одно из крупнейших издательств — «Бордас». Это трехтомное фундаментальное издание посвящено не только литературе Франции, но и франкоязычной литературе Бельгии, Швейцарии, Канады, Ливана, Антильских островов, Египта, государств Магриба. Коллективом из 250 авторов под редакцией Ж.-П. де Бомарше, Д. Кути и А. Рея написано около двух тысяч статей. Словарь содержит сведения о более чем 1800 писателях, 1700 художественных произведениях, в нем также разъясняются термины, применяемые в литературной критике, говорится о жанрах, эстетических школах и направлениях, прослеживается связь литературы с искусством, в частности кино. Раздвинув рамки франкоязычной литературы, авторы-составители включили в издание статьи о Шекспире и Брехте, а также статью о русской литературе, оказавшей значительное влияние на всю мировую литературу.

Нашли отражение в словаре и некоторые политические события в истории Франции, связанные с литературно-общественной жизнью страны, например, дело Дрейфуса. Однако, как считает критик газеты «Монд» Жаклин Пьятье, остаться до конца последовательными в этом направлении авторам не удалось: так, обойдена молчанием Парижская Коммуна, оказавшая, как известно, огромное воздействие на умы и сердца людей, определившая творчество крупнейших писателей. Не всегда, по мнению Ж. Пьятье, можно согласиться и с тем, какое место уделено тому или иному писателю. Возвращены из незаслуженного забвения Жорж Санд, братья Гонкур, настоящих исследований удостоены С. Беккет не забыты поэты-шансонье Ж. Брассанс и Ж. Брель, однако недостаточно полно оказалось освещенным творчество таких писателей, как Коллет или Р. Рено.

Высказывая критические замечания, «Монд» в то же время признает, что выход «Словаря франкоязычной литературы» представляет собой значительное явление в жизни литературной Франции и то обстоятельство, что первые десять тысяч экземпляров разошлись в рекордно короткий срок, является дополнительным подтверждением того интереса, который читатели проявили к новой книге.

ШВЕЦИЯ

САРА ЛИДМАН — В ЗАЩИТУ ЛЕСА

Замечательную шведскую писательницу, общественного деятеля, активного борца за мир Сару Лидман советскому читателю представлять не надо. Два ее лучших романа — «Край морошки» и «Я и мой сын» — переведены на русский язык.

«Позор тем, кто уничтожает наш лес»,— говорит Сара Лидман в беседе с корреспондентом газеты «Дагенс нюхетер». На снимке: Сара Лидман.

Немалую часть своего времени Сара Лидман посвящает борьбе за охрану окружающей среды. Творчество Лидман, которая последние годы живет в родном краю — в лене Вестерботтен, неразрывно связано с природой, с лесом. Недавно в шведской газете «Дагенс нюхетер» была опубликована запись беседы писательницы с корреспондентом газеты «Об умирающем лесе и о том, что он значит для человека».

В детстве у Сары Лидман была «своя» ель. Именно ели она поверяла самые сокровенные тайны. Но вот маленькая Сара пошла в школу, у нее появились новые заботы и интересы, и она забыла о дереве. Через год она случайно увидела ель, та высохла, «умерла». Впечатлительная, эмоциональная девочка придала этому эпизоду символическое значение: «Когда-нибудь я превращусь в дерево, а я это дерево убила». С тех пор она поняла, что к деревьям надо относиться так же бережно, как к людям.

Почти пятьдесят гектаров пышного, густого леса ее детства в 50-х годах вырубили почти целиком. На его месте растут малорослые новые посадки. О былом великолепии напоминают торчащие тут и там высохшие березовые пни. Если безжалостное уничтожение леса продолжится, то человечество умрет от нехватки кислорода, говорит писательница.

Причину варварского отношения к лесному богатству страны Сара Лидман видит в жестоких законах капиталистического рынка, на котором лес — лишь один из источников прибыли. Она справедливо считает, что ответственность за гибель леса несут лесопромышленные компании, рассматривающие деревья только как сырье для промышленности.

«Лес может жить без человека, а человек без леса — нет,— решительно заявляет писательница,— те, кто убивают лес, убивают саму жизнь!»

РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ НА ШВЕДСКОЙ СЦЕНЕ

По шведскому телевидению с успехом прошла премьера спектакля «Смерть Тарелкина», поставленного режиссером Гун Юнссон по пьесе Александра Сухово-Кобылина.

«Трагические обстоятельства жизни одного из интереснейших русских драматургов прошлого века, продолжателя традиций Гоголя — Александра Сухово-Кобылина, привлекли внимание режиссера»,— пишет театральный обозреватель газеты «Дагенс нюхетер».

Пьесу, которую перевел Леннарт Вестерберг, с интересом смотрят шведские телезрители.

Репертуар шведских театров пополнился еще одной постановкой из русской классики. «Бака-театр» из Гётеборга гастролирует по стране со спектаклем «История лошади», инсценировкой рассказа Льва Толстого «Холстомер». Этот спектакль требует от актеров высокой профессиональной культуры, пластической и музыкальной фантазии, импровизации и в то же время абсолютной сценической точности. И актеры Ульф Дольстен, Мария Фаль, Рольф Карссон играют философскую притчу Толстого с юмором и драматизмом.

«Яркая зрелищность спектакля, его гуманистический пафос привлекают юных и взрослых зрителей»,— пишет критик Ингемар Гланселиус в воскресном приложении к газете «Дагенс нюхетер».

На снимке: актеры Дан Экборг, Фрей Линдквист и Бьёрн Гедда в спектакле «Смерть Тарелкина».

(Газета «Дагенс нюхетер»)

Авторы этого номера

БЭГЗИЙН ЯВУУХУЛАН (1929—1982)

Монгольский поэт, лауреат Государственной премии МНР. Автор поэтических сборников «Наше желание» (1954), «Звон серебряной уздечки» (1961), «Осеннее серебряное утро» (1977), «Небо полдня» (1978), «Счастливая сабля» (1978), «Мир» (1979) и др. Стихи Б. Явуухулана выходили в нашей стране отдельными книгами, печатались в сборниках монгольской поэзии, в периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе». Публикуемые стихи взяты из сборника «Осеннее серебряное утро» («Намрын монгон оглоо». Улаанбаатар, 1977).

МИШИГИЙН ЦЭДЭНДОРЖ (1932—1982)

Монгольский поэт, прозаик, переводчик. Автор книг «Самый бедный и самый богатый» (1964), «Девять желаний» (1965), «Радость живущих» (1968), «Пейзажи и портреты» (1980) и др. Известен и как переводчик русской и советской классики, Уитмена и Хемингуэя. Стихи М. Цэдэндоржа печатались в сборниках монгольской поэзии, в советской периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе». Стихи взяты из книги «Камни родины» («Нутгийн чулуу». Улаанбаатар, 1975).

ДОЖООГИЙН ЦЭДЭВ (род. в 1940 г.).

Монгольский поэт, прозаик, критик, кандидат филологических наук, Председатель Союза монгольских писателей. Автор книг «Сын Ундрал» (1965), «Добрый человек земли» (1970), «Вкус кумыса» (1970), научных работ «Традиции и новаторство монгольской поэзии» (1973), «Мастерство писателя» (1978), «Размышления» (1979) и др. В Советском Союзе стихи и рассказы Д. Цэдэва печатались в периодических изданиях, в том числе в «Иностранной литературе», стихи — также в сборниках монгольской поэзии.

Мы публикуем фрагменты поэмы Д. Цэдэва «Ритм сердца», полученной редакцией от автора в рукописи.

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР — ALEJO CARPENTIER (1904—1980)

Кубинский писатель — романист, поэт, эссеист, искусствовед. Лауреат национальных и международных литературных премий. Его романы и повести переведены на многие языки мира. В русском переводе изданы «Царство земное», «Потерянные следы», «Век просвещения», сборник рассказов «Война времени», книга «Музыка Кубы» и др. В «Иностранной литературе» напечатаны роман «Превратности метода» (1977, № 10), повести «Погоня» (1974, № 8), «Концерт барокко» (1982, № 4), рассказы и статьи.

Предлагаемый вниманию читателей последний роман Алехо Карпентьера «Арфа и тень» печатается по кубинскому изданию («El arpa y la sombra». La Habana, Letras Cubanas, 1979).

ТЫНЯНОВА ИННА ЮРЬЕВНА

Советский переводчик поэзии и прозы с испанского и португальского, литературовед; начала печататься в 1944 г. В ее переводах выходили произведения Николаса Гильена (Куба), Пабло Неруды (Чили), Жоржи Амаду, Кастро Алвеса, Томаса Антонио Гонзаги (Бразилия), Рубена Дарио (Никарагуа), Альваро Юнке (Аргентина); классиков Испании и Португалии — Хорхе Манрике, Лопе де Веги, Кальдерона, Камоэнса, Эсы ди Кейроша; стихи и пьесы Ф. Гарсиа Лорки. В ее переводах публиковались также стихи португальских поэтов сопротивления, революционных поэтов Никарагуа, бразильский фольклор и др.

И. Тынянова — автор книги об испанской поэзии «Ветер борьбы народной» (1972), ряда работ, посвященных творчеству испанских и латиноамериканских писателей.

БОГДАНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1932 г.)

Советский литературовед, кандидат филологических наук, специалист по истории литературы Чехословакии. Редактор и ос-

новной автор книги «История словацкой литературы» (1970) и многих статей по чешской и словацкой литературам XIX—XX вв.

УИЛЬЯМ КУПЕР — WILLIAM COOPER (род. в 1910 г.)

Английский писатель. Автор более пятнадцати романов. На русский язык переведены «Сцены провинциальной жизни», «Не один ты» (М., «Прогресс», 1982). В статье «Уильям Купер или Гарри Хофф?», опубликованной в «Иностранной литературе» (1983, № 7), писатель рассказывает о себе и своем творчестве.
Статья «Два направления в современном английском романе» получена редакцией в рукописи.

ЗДЕНЕК ГОРЖЕНИ — ZDENĚK HOŘENÍ (род. в 1930 г.)

Чехословацкий публицист, главный редактор газеты «Руде право». Автор книги «Ярослав Гашек — журналист», переведенной на русский язык (М., «Радуга», 1983), очерков и статей, публиковавшихся в периодических изданиях.
Статья «Все это нужно для революции. Как Россия стала второй родиной бравого солдата Швейка» получена от автора в рукописи.

КАГРАМАНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.)

Советский публицист. Автор книги «Без знамени» (1979) и многих статей по вопросам зарубежной культуры, истории и социологии.

ПАТРИК ДЭВИС СМИТ — PATRICK DAVIS SMITH (род. в 1927 г.)

Американский писатель. Автор романов «Река — дом родной» («The River is Home», 1953), «Навеки остров» («Forever Island», 1973), «Аллапатта» («Allapattah», 1979), «Энджел-Сити, или Ангельский город» (опубликован в «ИЛ», 1981, № 2) и др.

В этом номере печатаются отрывки из его книги «В поисках русского медведя» («In Search of a Russian Bear») — о поездке в Советский Союз, полученной редакцией в рукописи.

АЛЬФРЕД КОППАРД — ALFRED COPPARD (1878—1957)

Английский писатель, автор многих сборников рассказов. В русском переводе вышла книга избранных рассказов «Вишневое дерево», многие новеллы А. Коппарда печатались в советской периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе».

◆

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.
Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, [illegible]БИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. [illegible] Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. [illegible] М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. [illegible] ЭЙДЛИН.**

Худо[illegible] Технический редактор **Е. П. Поляков.**

[illegible]цкая ул., д. 41. телефон 233-51-47.

Сдано [illegible]6.10.84. А. 03943. Формат 70×108¹/₁₆ усл. п. л., уч.-изд. л. 26,29.

[illegible]1 — 332000 экз.) Зак. 3160

Орден [illegible] деп[illegible] [illegible]ография «Известий Советов народных [illegible]Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Монгол ка в национальном головном уборе

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394